ISSN 0130-6545

4. 1996

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ
Пенсионер

УИЛЬЯМ КЕННЕДИ
Железный бурьян

АДОЛЬФО БЬОЙ КАСАРЕС
Дневник войны со свиньями

1996

ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ РЕДАКЦИЯ НАМЕРЕНА ОПУБЛИКОВАТЬ

«ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЧАЕВА» - знаменитый роман испанца **Хорхе Семпруна**

«НА ЛЕСНОМ ОЗЕРЕ» - роман американца **Тима О'Брайена**, ярчайшее событие последней Франкфуртской книжной ярмарки

«ПОКА МЫ ЛИЦ НЕ ОБРЕЛИ» - роман-миф англичанина **Клайва С. Льюиса**

«ФРАНЦУЗСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» - роман пишущего по-французски русского писателя **Андрея Макина**, в 1995 году удостоенный впервые в истории сразу двух главных литературных премий Франции - Гонкуровской и премии Медичи

«КОНИ, КОНИ...» - роман **Кормака Маккарти**, написанный в лучших традициях великой американской прозы

«АРХИПЕЛАГ» - бестселлер **Мишеля Рио**, одного из самых заметных французских писателей новой генерации

«КЛУБ РАДОСТИ И УДАЧИ» - роман американки **Эми Тан**, принесший писательнице громкий успех

«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ» - эссеистическую книгу **Александра Гениса** о современном искусстве

«СЕКТЫ-УБИЙЦЫ» - документальное исследование американца **Джеймса Бойла**

Фрагментами будут представлены только что вышедшие книги:

«ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ МАВРА» - роман, написанный **Сальманом Рушди** в подполье и ставший литературной сенсацией

«ДОРОГА В МИР» - блестящий роман вест-индского писателя **В.С.Найпола**

Готовятся специальные номера:

АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-х
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ
ВОСТОК НА ЗАПАДЕ И ЗАПАД НА ВОСТОКЕ

Среди материалов, находящихся в портфеле редакции:

ИОСИФ БРОДСКИЙ. IN MEMORIAM

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ и ЛУ АНДРЕАС САЛОМЕ - большая публикация, приуроченная к 70-летию со дня смерти великого австрийца

Одноактные пьесы СЭМЮЭЛА БЕККЕТА

ПАУЛЬ ЦЕЛАН и БРУНО ШУЛЬЦ в рубрике БОРИСА ДУБИНА ***«Портрет в зеркалах»***

Новые главы книги ПЕТРА ВАЙЛЯ ***«Гений места»***: *Верона — Шекспир, Севилья — Мериме; Мехико — Ривера, Буэнос-Айрес — Борхес; Венеция — Карпаччо, Виченца — Палладио*

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи. Подписной индекс 70394.

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ОФОРМЛЕНА ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ, ЦЕНА НА ЖУРНАЛ НЕ ПОВЫШАЕТСЯ.

А если Вы имеете возможность получать номера в редакции, советуем подписаться прямо у нас - это надежнее и намного дешевле. Подписка в редакции будет производиться с 1 апреля до 1 июня ежедневно с 12 до 18 часов, кроме пятницы и выходных. *А д р е с р е д а к ц и и: Пятницкая улица, дом 41 (метро «Новокузнецкая» или «Третьяковская»), т е л е ф о н 233 -51-47.*

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 27 050 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 000 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ,
П.Л. ВАЙЛЬ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА, Б.В. ДУБИН,
А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ, Вяч.Вс. ИВАНОВ,
В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

4 апрель 1996

СОДЕРЖАНИЕ

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ — Пенсионер (*Фрагмент детективного романа. Перевод с немецкого С.Фридлянд. Послесловие П.Топера*) .. 5

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ — Стихи (*Перевод с болгарского и вступление Льва Озерова*) 34

УИЛЬЯМ КЕННЕДИ — Железный бурьян (*Роман. Перевод с английского В.Голышева*) 40

АДОЛЬФО БЬОЙ КАСАРЕС — Дневник войны со свиньями. (*Роман. Перевод с испанского Е.Лысенко. Вступление Мих. Рощина*)..... 152

Мастера перевода

МОРИС ВАКСМАХЕР — Из французской поэзии конца века (*Вступление И. Кузнецовой*) 202

Критика и публицистика

ЗИНОВИЙ ЗИНИК — Возвращение в Дублин 211

ОПЫТ-ПРЕДЕЛ: СЛУЧАЙ ЭМИЛЯ ЧОРАНА

От переводчика 225

ЭМИЛЬ МИШЕЛЬ ЧОРАН — Механика утопии (*Перевод с французского Бориса Дубина*)..... 226

СЬЮЗЕН СОНТАГ — «Думать наперекор себе»: размышления о Чоране (*Перевод с английского Бориса Дубина*) 232

Трибуна переводчика

МОРИС ФРИДБЕРГ — Перевод в России. Искусство, цензура, читатель (*Фрагменты книги. Перевод с английского А. Осокина, А. Финогеновой, Ю. Велембовской. Вступление В. Голышева*) 242

Авторы этого номера 254

© «Иностранная литература», 1996

В следующем номере «ИЛ»

Роман «НЕСПЕШНОСТЬ» **Милана Кундеры**, в котором знаменитый писатель сравнивает различные стороны бытия современного человека, живущего в мире сверхскоростей, с «неспешностью» жизни, описанной в новелле Вивана Денона, французского автора XVIII века.

Роман **Гюнтера Грасса** «СОБАЧЬИ ГОДЫ» — заключительная часть его знаменитой «данцигской трилогии» — гротескная история немецкого народа, немецкого фашизма и немецкой овчарки.

Цветные иллюстрации номера — произведения с выставки «Пьеро — меланхолия и маска», проходившей в Мюнхене осенью 1995 года:

На 1-й стр.обложки — ДЖОЗЕФ КОРНЕЛЛ «Гримерная Жиля» (1939).
На 2-й стр.обложки — АВГУСТ МАККЕ «Русский балет» (1912).
На 3-й стр.обложки — ДЖИНО СЕВЕРИНИ «Пьеро-музыкант» (1924).

Организация марафонцев на инвалидных колясках для осуществления 3-го этапа кругосветного марафона приглашает спонсоров.
Обращаться по адресу: г. Москва, 119285, а/я 38.

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 4.03.96. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага типографская. Усл. печ. л. 22,40. Усл. кр.-отт. 23,80. Уч.-изд. л. 26,97. Заказ №1518

Тираж 27 050 экз. Цена по подписке 13 000 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ

Пенсионер

Фрагмент детективного романа

Перевод с немецкого С. ФРИДЛЯНД

1

Тридцатого ноября, в свой последний рабочий день, Хёхштетлер, комиссар бернской кантональной полиции, так и не наведался к себе в бюро, что в Рингхофе.

Вообще-то Хёхштетлер был бы не комиссар, а капитан полиции, и уже даже не капитан, а комендант, если б, конечно, все делалось по правилам, но поскольку здесь следовали не столько правилам, сколько «правосудию», он так и остался капитаном, а раз так, он сам себя из капитанов разжаловал и упорно именовал себя комиссаром.

Впрочем, все это — без тени досады, ибо относился он к своей профессии с изрядной долей скептицизма и без всякого тщеславия, которое зачастую присуще государственным чиновникам. Вдобавок он был готов к неизбежному крушению своей карьеры. Неудача всякий раз постигала его на одном и том же месте, потому что стрелка, перевод которой должен был направить его локомотив по пути, где конечная станция называлась «Комендант», так никогда и не была переведена, даже более того — и не могла быть переведена.

Первый раз — в конце пятидесятых годов — комендант, доктор Люций Лутц, вызвал его к себе.

— Дружище, — сказал он, — завтра я отправляюсь на заслуженный отдых. Весь кантон поет и ликует. Вы юрист, как и я, индустрия вступает в эпоху бурного расцвета, все так и норовят ускользнуть из-под опеки доброго папаши — государства, и вы вполне могли бы у нас в кантоне стать самым молодым комендантом полиции всех времен. Но ваш характер! Просто с ума сойти! Правда, вы по большей части молчите, но уж коли откроете рот, то непременно ляпнете что-нибудь бредовое. Вот, пожалуйста: федеральному советнику Кобельту, нашему добродетельнейшему Кобельту, вы, чудовище эдакое, рассказываете, что избрали карьеру полицейского, поскольку полиция есть учреждение необходимое, тогда как армия — излишнее, особенно для маленьких государств, которые и без того наделены способностью возрождаться снова и снова. Уж молчали бы лучше! Можно подумать, что Гитлер боялся нашей полиции. Если кто ее и боялся, так это эмигранты. Но как раз перед нашей армией он трепетал, во что надлежит верить всякому бравому швейцарцу и прежде всего — главе военного департамента, не то рухнет боевой дух нации, хотя все это полнейший вздор. А нашему федеральному советнику Штайгеру вы что ляпнули? А ведь он у нас и без того звезд с неба не хватает. Ему вы сказали, что надо сажать за решетку не государственных преступников, а преступников именем государства! Хёхштетлер! Ну какой вас бес подстрекает? И вот я должен вместо вас предложить в качестве своего преемника Шлагинхауфена, этого недоумка. И еще одно, — завершил Лутц свою прощаль-

© 1995 by Diogenes Verlag AG, Zürich.

ную речь, — два ваших развода! Я и сам разводился, против природы не попрешь! Героя слабость — это жены, кто ж не знает, а мы, разумеется, все герои, но, видит Бог, мне пришлось за свою слабость дорого заплатить. Еще спасибо, что меня вообще не выгнали на пенсию раньше времени. А смысла это не имело ни малейшего. Жена и есть жена. Но один раз — это еще куда ни шло, вы же ухитрились развестись два раза, а в настоящее время потребляете уже третью супругу. И если говорить о вашей карьере, вы еще раскаетесь в таком неумеренном потреблении, если не умерите свой пыл, ой как раскаетесь!..

Затем, в конце шестидесятых, Шлагинхауфен, лежа на смертном одре, в больнице прошептал лейтенанту полиции Лугинбюлю:

— Я никогда не подсиживал Хёхштетлера. Напротив, я все время говорил, что ему надо вступить в партию, хотя бы в ту, где крестьяне и горожане, как и положено настоящему бернцу, или на худой конец — хоть к социалистам. И что же он мне ответил? Он-де сам себе партия, вот что он мне ответил. А вдобавок он еще недавно женился в пятый раз.

В результате комендантом полиции стал Лугинбюль, член той самой партии крестьян и горожан. Желая сохранить теплые воспоминания о своем начальнике, который когда-то сам был у него под началом, комиссар с полгода тому назад навестил Лугинбюля в Тифенауской больнице.

На трассе Тун — Шпиц Лугинбюль на своем «порше» столкнулся с машиной, которая вылезла на встречную полосу.

Выглядело это чудовищно. Врачи ампутировали ему обе ноги, после чего заявили, что спасти его все равно было нельзя.

Жена Лугинбюля пребывала в Кении, дети — где-то в Средиземном море, на яхте, родители отдыхали на Бермудских островах, а сестра была замужем в Бразилии.

Лугинбюль улыбнулся одинокой улыбкой:

— Ради бога, не разводитесь больше, — сказал он комиссару и испустил дух.

В коридоре с тощим букетиком эдельвейсов в руках ждал нарушитель, крестьянин восьмидесяти пяти лет из Гриндельвальда.

— Ну как, лучше ему? — спросил он.

— Да, намного, — ответил комиссар.

Вернувшись к себе в бюро в Рингхоф, он увидел на своем столе письмо.

Это подавала на развод его седьмая жена.

Два дня спустя правительственный советник Гюмлигер, глава полицейского управления Берна, у себя на Крамгассе тупо созерцал документ, производящий комиссара в коменданты, если он, правительственный советник, подпишет этот документ.

— Немыслимо, — сказал он национальному советнику Оксенбайну, который сидел в кожаном кресле для посетителей и курил бриссаго, — мы уж не обращаем внимания, когда дамы без лифчиков купаются в бассейнах, но комендант полиции, который семь раз разводился... А знаешь что, дорогуша: Хёхштетлеру вот-вот стукнет шестьдесят, тут-то я и отправлю его на пенсию! С тридцатого ноября. Я произнесу на прощанье торжественную речь, и все у нас будет в полном порядке. А пост коменданта мы пожалуем Ванценриду.

2

Но отнюдь не тридцатого, а уже двадцать девятого комиссар не явился в свой кабинет, в Рингхоф.

Именно двадцать девятого слушалось дело о его разводе с седьмой женой, а после слушания председатель гражданского суда доктор Элленбергер попросил

его задержаться, тогда как его седьмая жена, адвокат седьмой жены, адвокат комиссара, четверо заседателей и секретарь суда удалились.

Комиссар, правда, успел крикнуть вслед своей седьмой: «Будь здорова, Лизи, всего тебе хорошего», но та притворилась, будто не слышит, и лишь ее адвокат небрежно кивнул. Это был старик Хабеггер, который уже выступал адвокатом у его первой жены, а потом и у шести последующих.

Комиссар хорошо к нему относился: состарившийся за это время адвокат, с редкими и неухоженными усами, стал для него почти родным человеком.

Шел первый час. Элленбергер встал. Был он гигантского роста — почти два метра, весил за сто пятьдесят килограммов, лысый, ухоженные усы и карие глаза сенбернара, преданное выражение которых делало не столь страшными его приговоры. За ним закрепилось прозвище «Гора Судьбы».

— Все-таки развод — это немыслимый расход человеческих резервов, — удрученно заметил комиссар, — сколько я одних заседателей израсходовал — подумать страшно.

— Двадцать восемь заседателей и три протоколиста, — сказал Элленбергер, закрывая свой портфель. После чего спросил: — А обедать где будем?

— Не знаю, — отозвался комиссар. Зато он, Элленбергер, заказал столик в «Commerce».

Оба надели пальто и покинули здание суда.

— В воздухе пахнет снегом, — сказал Элленбергер.

Они молча побрели к улице Правосудия, пришли в «Commerce» и сели подальше, возле стойки. Элленбергер заказывал на испанском: для себя сразу двойную порцию паэльи — рагу из мяса и рыбы, у Элленбергера был дом в Андалусии, и он немало гордился своим «андалусским». Обедали молча. Элленбергер, который ел очень быстро, а вино пил как воду, заказал и третью порцию паеллы и даже успел проглотить ее прежде, чем комиссар управился со своим бифштексом. У него, как на грех, сегодня не было аппетита и все казалось ему невкусным. Ресторан был полон. Когда часов около двух стало чуть потише, а они к тому времени успели выпить по два кофе и по две сливянки, Элленбергер спросил:

— Возьмем еще полбутылочки фендана? — и добавил: — Я угощаю. Ты себе теперь мало что можешь позволить.

— Это еще почему? — спросил комиссар.

— Ну, после семи-то разводов...

Комиссар пробурчал, что Элленбергеру, как холостяку, лучше бы помалкивать, и вдобавок Элленбергер проедает такие суммы, которые во много раз превосходят издержки на всех до единой жен семикратно разведенного комиссара, и даже не одного, а двух.

Председатель суда возразил, что, как человек осторожный, он имеет полное право говорить все, что считает нужным, поскольку его аппетит — это его личное дело, затем он потребовал ящик с сигарами и выбрал оттуда бразильскую. «Президент», полагая, что они легче, чем гавайские, затем он пригубил свой фендан, раскурил сигару, сказал: «Твое здоровье!» — и медленно, со смешанным выражением восхищения и недоумения покачал головой.

— Не думал я, что мне еще раз доведется пережить такое до выхода на пенсию...

— Какое «такое»? — спросил комиссар.

— Твой седьмой развод, — ответил Элленбергер. — Семь раз! Неслыханно! И все семь — женщины стройные. Разве что с ходом времени становилась все более заметной разница в возрасте. И все они выдвигали одну и ту же причину: ты якобы по целым неделям с ними не разговариваешь и вообще утрачиваешь к ним какой бы то ни было интерес.

Огромный детина с черной окладистой бородой и в черном вельветовом костюме подсел к ним.

— Здорово, Элленбергер, — сказал он.

— Приветствую тебя, Мусхабер, — ответил тот.

— Тьфу ты черт, — вдруг воскликнул Мусхабер, встал и покинул ресторан.

— Я его уже три раза разводил, — констатировал Элленбергер. — Всего-навсего три. — Потом рассмеялся: — Ну, ты меня, конечно, избаловал...

— Он из-за меня сидел, — пояснил комиссар.

— Как это из-за тебя?

— Он продал Ходлера[1].

— Ну и что?

— А то, что это был не Ходлер, а сам Мусхабер, — ответил комиссар.

Элленбергер помолчал, затянулся сигарой, допил до конца свою рюмку и промолвил:

— Мне он тоже сосватал Ходлера.

— Так-так, — буркнул комиссар.

— Ну, Мусхабер и сам неплохой художник, — неуверенно произнес Элленбергер.

— Художник он, может, и неплохой, да вот подделыватель никудышный, — пояснил комиссар, затем тоже осушил свою рюмку, снова наполнил обе рюмки и добавил: — Тюрьма ему пошла на пользу. Он заметно прогрессировал.

— Пейзажи у него просто фантастические, — кивнул Элленбергер.

— Последний Ходлер у него тоже получился фантастический, — добавил комиссар.

— И ты не упрятал его снова за решетку? — спросил председатель гражданского суда, нахмурив чело.

— А чего ради? — спросил комиссар и выпил. — Хорошая подделка всегда лучше плохого оригинала, — пояснил он. — Будем надеяться, что тебе досталась именно такая, — и он задумался. — А знаешь, Элленбергер, — признался он, — когда я вспоминаю своих жен, мне теперь задним числом кажется, будто все это была одна и та же женщина. Это ты верно подметил. Я, может, потому израсходовал столько жен, что в моей жизни они не играли никакой роли. Они это чувствовали и начинали скучать. Но что тут поделаешь? После работы мне требуется покой.

— Требовался, — возразил Элленбергер. — Завтра у тебя последний рабочий день. И об этом вам следовало подумать загодя.

— Кому «вам»?

— Тебе и твоей седьмой жене.

— О чем «об этом»?

— Вам следовало бы вдвоем подождать, пока ты выйдешь на пенсию, — убежденно втолковывал Элленбергер. — Может, на сей раз из твоего брака и вышло бы что-нибудь путное.

— Бог с тобой, — удивленно уставился на него комиссар, качая головой. — Да ни за что, у моей седьмой жены, как и у предыдущих шести, оказался безошибочный инстинкт. Я недолго представляю интерес для женщин, месяца два они находят меня вполне симпатичным, на такой срок у них хватает фантазии, потом еще два-три года они надеются, что не могли же так ошибиться, а уж потом...

— Возьмем еще полбутылки, — предложил Элленбергер. Затем он положил сигару на край пепельницы, сказав при этом, что она все-таки слишком крепкая, а он как-никак не молодеет, достал свою старую трубку, набил ее, и пока кельнер, принесший еще полбутылки вина, разливал его по стаканам, аккуратно раскурил трубку и задумчиво спросил комиссара:

— Скажи на милость, какого черта ты тогда вообще женился?

---

[1] Фердинанд Ходлер — известный швейцарский художник (1853 — 1918; *прим.перев.*).

— Да просто так, — ответствовал комиссар.

Элленбергер все еще возился со своей данхилкой.

— Я понимаю, Хёхштетлер, что задаю тебе смешной вопрос после семи неудачных браков, но мне кажется, что для тебя было бы куда лучше, если б ты вообще никогда не женился. Признаться, я так и не смог понять ни одного из твоих браков.

— Кому ты это говоришь? — отозвался комиссар. — Черт бы подрал эту собачью профессию.

— Какую?

— Да мою же.

— А я думал, ты про мою, — сказал Элленбергер. — Они у нас у обоих собачьи, — и, поразмыслив, добавил: — Но какое отношение имеют твои браки к твоей профессии?

— Профессиональная деформация личности, — пояснил комиссар и подлил себе вина.

Элленбергер пыхал трубкой и благоухал табаком.

Комиссар снова отставил свою рюмку.

— Почему ты так ни разу и не женился, а я целых семь раз? Могу тебе объяснить: потому что оба мы унылые личности и оба мы слуги закона. Звучит патетически, потому и смешно. Мы комедианты, Элленбергер, понимаешь, комедианты. Разница между нами состоит в том, что ты судишь по закону, мне же полагается по закону действовать. Полагалось. Тебе надлежит решать, что допустимо с точки зрения закона, брак, к примеру, тогда как я — я должен действовать, причем лишь после того, как я совершу действие, вы, судьи, и в вашем лице закон будете решать, правильно ли я поступил.

Элленбергер потирал свой нос. Так он поступал всякий раз, когда задумывался.

— Это наложило отпечаток и на тебя, наложило и на меня, — мрачно продолжал комиссар, — я хочу сказать, наложило свой отпечаток общение с этими собачьими законами. Ты стал уж чересчур осторожным в своем отношении к женщинам, ты так никогда и не женился, чтобы, не дай бог, тебе не пришлось потом просить своего коллегу, этого жуткого зануду Кестенхольца, развести тебя самого. И бьюсь об заклад, что исключительно из почтения к закону ты ни разу не переспал ни с одной из жительниц нашего города — для этой цели, дружочек, ты и проводишь отпуск за границей, тебя, к примеру, очень даже часто тянет в Гамбург, тогда как я — хочешь верь, хочешь не верь — женился на каждой, с которой собирался переспать. Так сказать, по долгу службы. Я и сам удивляюсь. В конце концов, нет особой разницы, арестовываешь ты человека или вступаешь с ним в брак. Я несчастный человек, понимаешь, Элленбергер? По долгу службы я всегда действую в соответствии с законом и, следовательно, там, где дело касается женщин, всегда вступаю в брак. Просто беда! Каждая моя женитьба представляла собой идиотское следование букве закона. А этого женщины никогда не прощают, видит Бог. И едва догадавшись об этом, они подавали на развод.

Элленбергер откинулся назад и поглядел на комиссара.

— Мне тебя жалко, — сказал он.

Комиссар пожал плечами.

— А мне тебя.

Элленбергер задумался.

— Неужели ты никак не мог оставить на свободе хотя бы одну?

— На десятой я жениться не стану, — заверил его комиссар, — с десятой я просто пересплю.

Кельнер сообщил, что комиссару звонят из Рингхофа. Комиссар даже не шелохнулся. Потом явился хозяин ресторана и сказал, что с комиссаром желает по-

говорить доктор Ванценрид. Комиссар продолжал сидеть.

— Давай возьмем еще полбутылочки, — предложил Элленбергер. — Мне сегодня никого больше разводить не надо. А один развод в день — это нынче редкость. Надо спрыснуть.

Когда кельнер принес вино, Элленбергер как бы вскользь полюбопытствовал:

— А что тебе известно про Гамбург?

— Гамбург — очень большой город, — уклонился от ответа комиссар.

— Я имею в виду: про меня и про Гамбург, — настаивал председатель гражданского суда.

— Выбрось из головы, Элленбергер, — попытался успокоить его комиссар. — Мы в полиции по ходу дела узнаем иногда много такого, что нам вовсе и знать ни к чему. В том числе и про председателей гражданского суда. С течением времени мы превратились в эдакую мультинациональную шайку-лейку.

— Да, пожалуй, так можно это назвать,— Элленбергер кивнул и устремил взгляд в дымные облака от своей сигары.

Оба помолчали. За столиком возле окна молодые люди жарко спорили о мультинациональных концернах. Причем все были друг против друга и против концернов.

— На редкость красивая женщина, — вдруг сообщил Элленбергер.

— Это кто же? — спросил комиссар, прислушиваясь к спору молодежи.

— Лизи, — ответил его собеседник.

Комиссар залпом осушил свою рюмку и снова себе налил.

— Вообще-то, конечно, это подлость, — сказал он.

— Что «это»? — спросил Элленбергер.

— Ну которые мультинациональные.

— Ах, ты про концерны. Возможно. Не спорю, — буркнул Элленбергер, — это не по моей части.

И оба снова замолчали.

— А про какую Лизи ты говорил? — вдруг спросил комиссар.

Элленбергер тоже залпом осушил свою рюмку.

— Да про твою седьмую жену, — пояснил он. — По-моему, ты уже позабыл, как ее звали.

— Ну, все имена не упомнишь, — ответил комиссар.

Председатель гражданского суда призадумался.

— В будущем году мне тоже на пенсию, — сказал он.

3

Они все еще сидели в «Commerce». Распив последние полбутылки, заказали еще одну, последнюю, а уж потом еще одну, воистину последнюю. После чего комиссар довел председателя гражданского суда, который не совсем твердо держался на ногах, к месту его службы. С неподвижного, шиферно-серого неба начали, покачиваясь в воздухе, падать на землю большие снежные хлопья. От здания суда комиссар по подземному переходу у вокзала вынырнул в квартал Ленггассе и там на Гезельшафтштрассе нерешительно остановился перед домом, на третьем этаже которого проживал. Комиссар думал о том, что будет утром, о своем бюро в Рингхофе, которое всегда ненавидел, о Гюмлигере, который страсть как любит произносить прощальные речи и потому не преминет заявиться, о своем преемнике Ванценриде, который с присущим ему ханжеством тоже толкнет какую-нибудь речугу. Он, комиссар, должен будет, разумеется, невнятно пробормотать в ответ слова благодарности, это ясно, и еще они, вероятно, в качестве прощального подарка закупили для него корзину с вином и фруктами, а если не корзину, то книгу про их кантон, с иллюстрациями. Гюмлигер любит выпендриваться по исторической части,

но к чему это все? Снегопад усиливался, и Гезельшафтштрассе постепенно белела. Комиссар подошел к своей машине. По привычке он поставил свой старый «шевроле» перед квартирой соседа, как раз напротив студенческой столовой; вообще-то говоря, это было запрещено, но городская полиция к нему не цеплялась. Комиссар открыл свою «импалу», сел за руль, включил радио и откинулся на спинку. По радио выступал некто с докладом о писателе, чье падение давно уже сделалось неудержимым, писателе, которого никогда не интересовали социальные перемены и который к тому же сам во всеуслышание заявил, что он — антигегельянец.

Это ж надо какое преступление, подумал комиссар, глядя, как снег заваливает ветровое стекло. Еще он пытался подсчитать, сколько полбутылок они с Эллербергером выпили, но все сбивался со счета, тогда он включил дворники, но прежде чем включить зажигание, ему пришлось вылезти из машины и очистить от снега заднее стекло и заодно боковые. После этого он поехал из города в снежную круговерть.

Быстро темнело. В свете фар казалось, будто снег улетает от него прочь. Со всех сторон его обступил мир сплошь из серебра, за которым притаилась тьма, и он вплывал в эту тьму, а в ней то и дело вспыхивали огромные желтые глаза встречных машин. Тип, вещавший по радио, сказал, что «литературные угодья данного писателя лежат в сфере банального, недаром же в своем последнем произведении он снова обратился к жанру детективного романа, а многотомная проза, о которой он вечно твердит, есть не более как один из многочисленных примеров хвастовства, которое ему вообще присуще». Снегопад превратился в снежную бурю. Движение на дороге почти разом замерло. Наступление зимы после долгой, погожей осени совершилось для многих неожиданно. Множество машин вообще дальше не поехали — или не смогли поехать. «Дворники» еле-еле одолевали такую уйму снега. «А единственное, что не разочаровывает в попытке писателя снова вернуться к жанру детективного романа, — продолжал свою лекцию человек на радио, — это предисловие к роману — новация хотя бы и потому, что прежде это были сплошь послесловия, и данное предисловие вполне удовлетворяет невысоким требованиям, предъявляемым ныне к данному автору». Только литературной программы мне не хватало, подумал комиссар, но яростный натиск снежной массы не давал ему поискать другую станцию. «Импала» начала буксовать, потом двинулась дальше. Крутой подъем за городом она одолела с превеликим трудом. «Фольксваген» играючи обошел его. И вдруг перед «импалой» что-то возникло. Машина заскользила, заскользила и встала поперек дороги. Что-то свалилось прямо на «дворники». «Дворники» остановились. Комиссар вылез из машины и сразу увяз в снегу. Прямо на радиаторе лежал мальчик. Большая собака — так показалось комиссару — с санками, на которых был закреплен молочный бидон, убегала вниз по заснеженному шоссе и скрылась в снегу, засыпавшем все и вся.

— Ой, извините, — пробормотал мальчик, сполз с радиатора и, юркнув между комиссаром и машиной, припустил вдогонку за своими санками.

— Вот дурень, — крикнул ему вслед комиссар и, довольный тем, что все кончилось так благополучно, снова сел за руль; не будучи уверен, что машина снова заведется, захлопнул дверцу и все-таки тронулся с места, хоть и не понимал, как именно; хоть и опасался каждую минуту, что уж этого «импала» не осилит, но «импала» осилила все. «Описание того, как у автора возникла мысль сочинить детективный роман, — услышал он снова наставительный голос по радио, причем каждое слово этот голос выделял, будто некую драгоценность, — это наиболее интересное в книге. Собственно говоря, снежную бурю, с которой и начинается действие романа, автор просто-напросто увидел во сне, когда однажды его занесло в отель на одном из Больших Антильских островов, среди тропического леса». Бу-

дем надеяться, он видел во сне не этот буран, подумал комиссар, такой буран даже во сне увидеть невозможно. Казалось, подъем так никогда и не кончится. «Импала» бороздила снег. «Непрестанно обрушивающиеся на землю водяные массы, — вещало радио, — невыносимый шелест пальм, который можно уподобить звуку непрерывно натачиваемых ножей, душный и сырой воздух, в котором ему тогда пришлось жить и который увлажнял решительно все, так что начинало казаться, будто внутренних помещений больше не существует, будто потолок и стены его комнаты утратили всякий смысл, а есть лишь монотонность и усталость, в которую он погружается под неумолчный стук дождя и вжиканье натачиваемых ножей». Машина наконец-то одолела подъем. Комиссар был крайне удивлен, потому как вел машину весьма своенравно и вдобавок он не слишком владел искусством вождения, о чем ходило множество анекдотов. Ну и, наконец, его раздражало, что он до сих пор не знает, куда, собственно, держит путь, хотя снег пошел, еще когда он был на Гезельшафтштрассе. Если он завтра не намерен появляться в своем бюро, вполне можно было посидеть дома. Перед ним возникли огни какой-то деревни. Не сбавляя скорости, скользя и буксуя, он миновал деревню. Только ехать, ехать и не останавливаться. Рецензия по радио все не кончалась: «Как противовес сочащимся влагой и непроходимым пальмовым джунглям, которые раскинулись у него под окном, как защита от парной бани адского климата, утверждает автор, перед ним возникло видение поездки в ночной буран». Вот трепло, подумал комиссар, не зная толком, кого он имеет в виду: то ли автора, то ли критика, то ли обоих. Он выжимал из машины все что мог. «Импала» одолевала косогор. Навстречу ему попалась целая колонна машин, они ехали медленно, осторожно. А за ним, как он лишь теперь заметил, тоже ехала машина, слепя его в зеркале заднего вида. «Разумеется, мы даже готовы поверить автору, — продолжал голос по радио, — поверить, что и остальные приключения в ходе путешествия подстрекнули его снова попытать счастья с детективным романом, но мы способны видеть глубже, нежели чрезмерно наивный автор. Снежная буря есть метафорический образ оцепеневшей творческой силы, а возврат к детективному роману — отчаянная попытка снова ее оживить». Джаз бы теперь послушать, крутой джаз, подумал комиссар, но не рискнул повернуть рычажок, а еще крепче вцепился в баранку. Встречная колонна все никак не кончалась. Потом внезапно дорога опустела. Комиссар перевел дух. «Но пусть даже и так, — не унимался радиоголос, — автор чистосердечно признается нам, что больше всего трудностей при написании окончательного варианта было связано с тем обстоятельством, что со времени возникновения замысла и первой редакции прошло целых десять лет, что за это время автор сравнялся возрастом со своим героем и тем самым перед ним встал вопрос, как, собственно, намерен его герой прожить последнюю часть своей жизни». Надо бы запретить передачи о культуре, подумал комиссар, выключил радио, но, взглянув при этом через ветровое стекло, выругался про себя: еще издали он увидел в свете фар что-то большое и темное поперек дороги. Он сбросил газ, о том, чтобы притормозить, и речи быть не могло. Слишком поздно. Машина сзади приближалась. Надо тормозить. «Импала» заскользила, как при замедленной съемке, ударилась о большую черную массу, которая лежала на дороге. Масса вскочила. И оказалась коровой. Машина сзади благополучно проехала мимо и скрылась в белой мгле. Корова же бесшумно исчезла в снежном поле возле шоссе. Комиссар опустил стекло. Внутрь машины полетел снег. Возле «импалы» возникла фигура, тоже одетая снегом.

— Спасибо вам большое, — произнес хриплый мужской голос, — я так и знал, что скотина умеет вставать без посторонней помощи.

С комиссара было довольно. Он поехал вдоль опушки и остановился у ближайшего ресторанчика. Теперь он знал, где находится и почему затеял эту поездку среди внезапно ударившей зимы.

4

Ресторанчик расположился на краю леса. Раньше это была маленькая захудалая харчевня, которая сгорела дотла несколько лет назад. Сгорела, как вязанка соломы. Быстро и почти бесшумно. А уже на другое утро все было чистенько и, можно сказать, прибрано, даже обугленных балок — и тех не осталось. Вдобавок захудалая харчевня была застрахована от пожара на очень высокую сумму, просто удивительно, до чего высокую, и спустя полгода здесь выросло новое заведение, та самая гостиница, перед которой комиссар и припарковал свою машину, просто-напросто оставив ее у входа столь же беззаботно, сколь и незаконно, так как новое заведение имело и изысканный ресторан с отборным бургундским и бордо, и собственную стоянку для машин, впрочем, сейчас машин там было немного, и все накрыты густым белым ковром. А через дорогу находилась еще одна стоянка, и на ней — три грузовика.

Комиссар вошел в дом, но направился не в зал изысканного ресторана национальной кухни, где вкушали всевозможные яства люди, которые могли себе многое позволить, а в буфетную, где сидели шоферы с грузовиков и резались в карты да крестьяне из окрестных деревень. Никто не поднял глаз. Комиссар сел в угол поближе к теплой печке. Молодая, стройная кельнерша со светло-русыми волосами и россыпью веснушек на открытых руках, выйдя из-за стойки, вздрогнула, увидев его. Комиссар заказал яичницу-глазунью из двух яиц, хлеб и тройное божоле.

— Только чтоб не слишком холодное, — добавил он. В зале появилась хозяйка, сделала вид, будто не видит комиссара, и снова исчезла. А кельнерша после этого принесла яичницу, хлеб и вино.

— Как дела, фройляйн Блазер? — спросил комиссар.

— Можете спокойно называть меня, как и все остальные, — хмуро обронила она.

— Как дела, Клер? — повторил комиссар.

— А так, что это не ваше дело, — ответила кельнерша и водрузила тарелку с яичницей на стол.

Тут появился хозяин.

— Какой дурак поставил машину перед самым входом?.. — начал он, оборвал на полуслове, помялся, а потом сел напротив комиссара.

— Гм-гм, — сказал комиссар, — Клер, значит, у вас работает, господин Боттигер?

— Она что-нибудь натворила? — спросил Боттигер.

— С послезавтра я уже на пенсии, — ответил на его вопрос комиссар.

— Я знаю, — сказал хозяин, — в свое время она пошла на панель. Случалось, прихватывала и чужой кошелек. Но теперь она у нас только прислуживает, а живет не у нас.

Комиссар ел свою яичницу, макая в нее хлеб.

— Недурной ресторанчик вы отгрохали, господин Боттигер.

— Старый был хорошо застрахован, — ответил хозяин.

— Даже чересчур хорошо, — заметил комиссар.

— Клер, еще, пожалуйста, божоле, — скомандовал хозяин.

Оба помолчали. Комиссар обводил взглядом ряды окон, за которыми стеной громоздилась ночная тьма, чужая, неприветливая и непроглядная.

— Снег не перестал? — спросил он.

— Так и валит, так и валит, — сказал хозяин. — Ума не приложу, как гости вернутся в город.

— Вот уж не моя забота.

Кельнерша с веснушчатыми руками принесла полбутылки и рюмку для хозяина, после чего налила обоим. Комиссар протянул хозяину через стол черный маленький предмет.

— Это что такое? — спросил хозяин.

— Зажигалка, которая покорежилась от огня. Ваша зажигалка, господин Боттигер, — объяснил комиссар.

Хозяин допил свою рюмку и высказал предположение, что зима будет затяжная.

— Моя «старуха» несколько раз начинала буксовать, — поведал комиссар.

— У меня «мерседес двести двадцать», он с автоматической коробкой передач.

— Да, господин Боттигер, теперь вы себе вполне можете это позволить, — констатировал комиссар. — Кстати, должен вас поздравить, вы сейчас и выглядите лучше, чем раньше.

— Пью меньше, — объяснил хозяин и придвинул зажигалку комиссару. — Это не моя, — сказал он.

Комиссар тоже допил свою рюмку.

— После пожара, господин Боттигер, я побродил по пожарищу. Вы, верно, помните. И в развалинах сгоревшего дома нашел эту зажигалку. Там, где раньше была кладовая. Остатки сена я послал на экспертизу. Оказывается, сено было полито бензином.

— Что-то мне божоле сегодня не нравится, — сказал хозяин, — давайте лучше разопьем с вами бутылочку «Ля тур», местный разлив тысяча девятьсот семидесятого года.

— С удовольствием, — согласился комиссар.

Кельнерша принесла бутылку.

— Хорошая выдержка, — сказал хозяин, — я впервые такое пью. Его заказывают лишь те гости, которые могут это себе позволить.

— Ну вы-то теперь вполне можете это себе позволить.

— Первый и последний раз, — буркнул хозяин и, собственноручно откупорив бутылку, заботливо разлил вино в две специальные рюмки для бордо.

— Изумительно, — похвалил комиссар.

— Пойак, — смущенно пояснил хозяин.

Комиссар снова пригубил вино и заметил, что плохо разбирается в дорогих винах.

— Это лучшее бордо, которое вообще существует, — сказал хозяин, и голос его звучал печально.

— А комнаты у вас тоже есть, господин Боттигер?

— Тоже.

— Тогда я здесь и заночую, — сказал комиссар. — А пижамы у вас для меня не найдется? Я ничего с собой не захватил. Просто взял и поехал.

Хозяин помолчал, после чего переспросил:

— Просто так?

— Просто так.

— Можете надеть одну из моих пижам, — задумчиво предложил хозяин.

Комиссар откинулся на спинку стула.

— Давайте сперва допьем наше «Шато ля тур», — сказал он, — и еще одна просьба, господин Боттигер, вот ключ от моей машины. В багажнике у меня лежат две зимние покрышки. Велите их завтра поставить. До гаража отсюда рукой подать.

5

На другое утро, когда комиссар вышел из дверей, холод стоял собачий, хотя и сияло солнце. Ночью тоже шел снег, но сейчас задул норд-ост. Машину уже подогнали к дверям, зимние покрышки были смонтированы. Возле комиссара возник хозяин.

— Может, выпьем по чашке кофе на дорогу? — спросил он.

— Охотно, — ответил комиссар, — этот собачий холод ударил слишком рано.

— Ну, что я вам вчера говорил? — заметил хозяин. — Зима будет суровая, вот что я вам вчера говорил.

— Напротив, — сказал комиссар, садясь за столик возле печки. — Зима будет мягкая. Когда сразу выпадает столько снега — это плохая примета для прилично зимы, скоро опять потеплеет, зарядит дождь, и так будет весь декабрь.

— Сладкий кофе со сливками? — спросил хозяин.

Комиссар ответил, что пьет только с молоком. Подавала хозяйка, а больше в зале никого и не было.

— Ну, нам, верно, пора? — спросил хозяин, когда комиссар допил свой кофе.

— Нам? — повторил комиссар и недоуменно поглядел на хозяина. — В каком это смысле «нам», господин Боттигер?

Хозяин помолчал, затем с запинкой ответил:

— Я ведь признаю, что поджег старую халабуду. Можете увезти меня с собой, господин комиссар, я уже готов, и жена моя тоже готова. Вы же из-за этого приехали.

— Это я тогда подбила мужа, — сказала хозяйка и присела к ним.

Комиссар повторил, что приехал вовсе не за этим.

— А зачем тогда? — спросил хозяин.

— Я же вам говорил, господин Боттигер, что приехал просто так, — сказал комиссар и задумчиво допил свой кофе. Лишь потом он поднял глаза.

— Год назад, фрау Боттигер, я частенько сиживал в вашем трактирчике. Нынче из него получилась умопомрачительная едальня. Вы оба сумели кое-что сделать из прошлогоднего пожара. Спору нет, страховой компании пришлось изрядно раскошелиться, но разве она теперь меньше процветает? В своей жизни я столько людей упрятал за решетку, что считаю, черт подери, своим моральным долгом время от времени оставить кого-нибудь на свободе. Понимаете, господин Боттигер, знавал я когда-то одного пастора, который каждый год клал десятую часть своего дохода в особую кассу, в кассу для бедных, так и я помещаю каждого десятого из моих преступников в особую кассу, в неправосудную. Вот, господин Боттигер, ваша зажигалка. Выбросьте ее куда-нибудь подальше в лесу. Экспертиза по поводу облитого бензином сена давным-давно уничтожена. А теперь подайте мне счет за еду, за три божоле, за ночлег и за смену покрышек, чтобы мы впредь ничего не были должны друг другу. А вот на «Шато ля тур» вчера вечером и на кофе с молоком сегодня утром вы сами меня пригласили, и я вам за это от души благодарен.

6

Комиссар не направил свою старую «импалу» к автостраде, а, напротив, избрал шоссе, ведущее в лес. По этому шоссе сегодня уже прошел снегоочиститель, но когда комиссар хотел свернуть на лесную дорогу, оказалось, что проехать по ней вообще невозможно. Комиссар вылез из машины, запер ее и потопал по заснеженной лесной тропинке. Ели были совершенно белые, и комиссару, который терпеть не мог природу, чудилось, будто он пробирается сквозь огромный сахарный торт. Он, правда, не мерз в своем пальто, но в башмаки набрался снег. Навстречу ему шла женщина в высоких сапогах и черной каракулевой шубке.

— Доброе утро, Клер, — приветствовал ее комиссар, — вы, оказывается, живете у Феллера?

— А вы к нему? — спросила Клер. Черты лица у нее стали резче, но она по-прежнему оставалась красивой девушкой, хотя комиссар и не мог бы объяснить самому себе, почему Клер так ему нравится.

— Судя по всему, дела у вас идут недурно, — заметил комиссар.

— Вы зачем идете к Феллеру? — спросила Клер.

Комиссар задумчиво поглядел на женщину.

— Мы с Феллером друзья, — наконец ответил он.

— Вот уж не знала.

— Он этого, между прочим, тоже не знает, — засмеялся комиссар и затопал дальше по снегу.

Она недоверчиво глядела ему вслед, пока он не скрылся за ближайшей группой деревьев, потом со всех ног припустила в глубь леса. Здесь можно было двигаться быстрее, чем по дороге, потому что под елями не навалило столько снега. Лишь на небольшой просеке она упала, и кто-то помог ей подняться на ноги. Это был комиссар.

— Можете спокойно идти к Боттигеру и начинать работу, — сказал он, — ничего вашему Феллеру не будет. Обещаю вам.

Клер вскинула на него глаза.

— Ну, раз вы так говорите, — пробормотала она почти беззвучно.

— Я так говорю, — подтвердил комиссар и смотрел ей вслед, пока она не скрылась в лесу. Потом он снова начал месить снег.

7

Спустя четверть часа комиссар добрался до феллеровской свалки старых автомобилей. Раздавленные, помятые, искореженные, а то и просто древние, давно вышедшие из моды и наполовину раскуроченные машины под толстым слоем снега выглядели причудливо, и комиссар не без удовлетворения заметил, что по большей части это были грузовики. Феллер сидел на старом тракторе, с помощью которого пытался оттащить в барак еще более старый грузовик.

— Доброе утро, Феллер! — приветствовал его комиссар.

Феллер слез с трактора, поскреб в затылке и спросил:

— А вы кто такой будете?

— Ты и сам прекрасно знаешь.

— Ну, — пробурчал Феллер, — сдается мне, вы комиссар кантональной полиции.

— Зайдем в дом, — предложил комиссар.

— Зайдем, — согласился Феллер.

Они зашли и оказались в коридоре. Дверь в комнату была распахнута.

— Кухня выглядит очень прилично, Клер неплохо хозяйничает, — заметил комиссар.

— Классная девушка, — сказал Феллер и недоверчиво поглядел на комиссара. — Она что, опять там в городе... я хочу сказать, ей опять что-то шьют?

— Нет, — отвечал комиссар.

— Я бы все равно на ней женился.

— Я тоже — на твоем месте, — поддержал его комиссар.

— Но жениться — это нынче как-то не принято.

— Это в твоих кругах, — поправил его комиссар.

Они сели за кухонный стол. На плите на маленьком огне стоял кофейник.

— Кофе хотите?

— С удовольствием.

Феллер налил кофе из кофейника в две большие синие чашки. Комиссар сбросил ботинки и протянул ноги к огню.

— Налить вишневки? — спросил Феллер и снял с полки бутылку из-под кьянти.

— Почему бы и нет, — кивнул комиссар.

— Вишневка — класс, — сказал Феллер. — Прямо в кофе?

— Прямо в кофе.

Феллер подлил вишневки в кофе. Комиссар попробовал.

— «Кофе с прицепом» тебе тоже понадобится, — заметил комиссар.

— Вы, стало быть, из-за меня пришли, — наконец-то сообразил Феллер.

— Из-за тебя.

Оба помолчали.

— Вы один приехали? — спросил Феллер.

— Один. Никто не знает, что я у тебя. Никто, кроме Клер, — сказал комиссар.

— Никто, кроме Клер, — подтвердил Феллер и раскрыл большой складной нож. — А она ничего не скажет.

8

Складным своим ножом Феллер старательно отрезал большой кусок от длинного батона, принес головку сыра, так же старательно вырезал из нее кусок и снова закрыл нож.

— Ну и чего вам от меня надо? — полюбопытствовал он.

Комиссар допил свой «кофе с прицепом» так же вдумчиво, как Феллер резал хлеб и сыр.

— Феллер, — заговорил он, — с завтрашнего дня я считаюсь на пенсии, и, как у всякого пенсионера, у меня должно быть хобби. У меня хобби такое: проведать свои незакрытые дела.

Феллер снова открыл нож.

— Вы, значит, хотите закрыть эти незакрытые дела? — спокойно спросил он. — Вот уж не стал бы на вашем месте.

Комиссар протянул ему пустую чашку.

— Не закрыть, а проведать, — объяснил он, — мне просто любопытно, как они все поживают.

— У вас никогда не поймешь, к чему вы, собственно, клоните, — ответил Феллер, налил комиссару кофе, добавил из бутылки еще вишневки и снова схватился за свой нож. — Странный вы человек и говорите странно, — добавил он, отрезав новую порцию сыра. — Это ж надо, проведать незакрытые дела. Я для вас никакое не дело. И не пойму, чего вам от меня надо.

— Вместе с тобой устроить грабеж, — сказал комиссар.

9

Феллер снова закрыл нож и начал заверять комиссара, что в жизни еще не совершал никаких грабежей.

Комиссар прихлебывал кофе.

— Феллер, — сказал он, — мы, криминалисты, исходим из определенного правила, которое хоть и нельзя считать законом, но которое можно принять за практическую рабочую гипотезу.

— Больно мудрено для меня.

— Мы исходим из предположения, — коротко пояснил комиссар, — что каждый преступник всегда пользуется одним и тем же методом.

— Ах вот вы про что, — холодно произнес Феллер, а тем временем жевал хлеб с сыром и снова подлил вишневки в кофе.

— Красивый у тебя ковер в коридоре, красный, афганский. А в комнате лежат два иранских кермана, бьюсь об заклад, что найду у тебя и еще два ковра — один исфаханский и один бухарский.

— Можете проверить, — сказал Феллер.

— Да нет, чего ради проверять, я и так знаю, что найду их.

— Найдете, — согласился Феллер и снова раскрыл нож.

— Найду, — подтвердил и комиссар.

— Какая-то китайская у вас грамота получается.

— Нет, это ковер, который ты для красоты повесил на стенку в коридоре, китайский.

Феллер все так же держал в правой руке раскрытый нож.

— Вы, верно, думаете, что я ворую ковры? — спросил он и победно осклабился прямо в лицо коменданту.

— Нет, я думаю, что ты воруешь сейфы.

10

— Видишь ли, Феллер, — продолжал комиссар, тогда как сам Феллер все еще неподвижно сидел напротив, за кухонным столом, за своей чашкой, где было много вишневки и почти не осталось кофе, за своим сыром и своим хлебом, — видишь ли, Феллер, есть ряд случаев, которые нам, кантональной полиции, так и не удалось раскрыть. Вот, например, в Цецивиле сейф уперли с шоколадной фабрики, в Вильдисбахе — из дома общинного секретаря, в Майдорфе — из сберегательной кассы, перед тем как ее закрыли на ремонт, еще из дирекции лесопильной фабрики в Хютлигене — ну все, ясное дело, не упомнишь.

— А при чем тут мои ковры? — спросил Феллер и снова налил себе вишневки в уже совсем пустую кофейную чашку.

— Все помещения, из которых были похищены сейфы, являлись кабинетами директоров и располагались на втором этаже либо в бельэтаже, — пояснил комиссар.

— А дальше что? — опять спросил Феллер и хлебнул вишневки.

— Сейфы тяжелые и солидные, — уточнил комиссар. — Открыть сейф прямо в бюро — нелегкое дело. Для этого нужны специалисты.

— А я не специалист, — сказал Феллер и опять выпил.

— То-то и оно, — согласился комиссар. — Потому ты и выбрал другой метод.

— Это какой же? — Феллер мало-помалу начал прислушиваться.

Комиссар, однако, не дал себя сбить.

— Все здания, из которых были похищены сейфы, располагались около железной дороги.

Феллер покачал головой.

— Случайность, — сказал он.

— Уж и не знаю, — отвечал комиссар, — если среди ночи ковер из директорского кабинета расстелить на дне кузова и в ту минуту, когда мимо пройдет товарный поезд, сбросить сейф через окно или с балкона прямо на ковер, проходящий мимо товарняк заглушит грохот. После чего сейф можно бы отвезти куда-нибудь в лес или в чистое поле и там открыть его без всяких помех.

— Можно бы, — согласился Феллер и закрыл бутылку из-под кьянти.

— Все сейфы впоследствии были обнаружены, — продолжал комиссар, — и все — в безлюдных местах.

— А вы попробуйте доказать, что я имею к этому отношение, — обронил Феллер, очень внимательно разглядывая свой нож. — Это не удастся ни вам, ни всей кантональной полиции.

— Феллер, — возразил комиссар, — на твое счастье, ты не знаком с современной криминалистикой. Ты себе даже представить не можешь, чего только не наговорят специалисты, когда изучат твои ковры, да и пострадавшие никуда не де-

лись. Они вмиг опознают свои ковры.

Феллер молчал.

— Комиссар, — наконец произнес он.

— Чего тебе?

— С каких пор вы знаете, что эти ковры у меня?

Комиссар рассмеялся.

— Первые ограбления имели место четыре года назад. Два года назад, незадолго до того, как заболеть, я как-то воскресным днем бродил по этому лесу. И наткнулся среди леса на кладбище старых автомобилей, что показалось мне более чем странным. И не без причин. Два дня спустя, возвращаясь ночью, я увидел, как ты куда-то уезжаешь на своем грузовике, после чего обыскал твой дом. И ковры сразу бросились мне в глаза. Их было гораздо меньше, а Клер еще тогда у тебя не жила.

Комиссар умолк. Феллер таращился в пустую чашку из-под кофе, а комиссар продолжил свою повесть и сказал, что в ту же самую ночь произошло ограбление в Конигене, в мусульманской миссии, что находится рядом с линией Бургдорф — Тун.

— Мусульман, как говорят, очень трудно обратить в другую веру, — пробормотал Феллер.

— А сейф у мусульман тем не менее сперли. И нашли его потом у ручья между Обердисбахом и Кизеном.

11

В дверях возник мужчина. Гигантского роста. В черном кожаном пальто, подбитом цигейкой, выкрашенной в красный цвет. Мужчина в немом изумлении уставился на комиссара и лишь спустя некоторое время пробормотал:

— М-мать...

— Добрый день, Келлер, — приветствовал его комиссар. — Феллер, а покурить у вас не найдется?

Феллер придвинул ему коробку бриссаго и сказал:

— Комиссар знает все.

Затем он взял из коробки сигару и для себя.

— М-мать... — вторично высказался Келлер.

— Что-то у тебя словарный запас истощился, — сказал комиссар, — в Торберге, помнится, дело обстояло совсем по-другому.

Келлер зарычал.

— За четыре года в Торберге я должен вам сказать спасибо.

— Настоящий преступник не попадается, — сухо возразил комиссар, после того как по всем правилам раскурил свою сигару, — а ты — мелюзга среди преступников.

— Тогда и вы мелюзга среди комиссаров, — съязвил Келлер.

— Да уж мельче не бывает, — ответил комиссар.

— Ну не скажи, — промолвил Феллер.

Келлер на минутку задумался.

— Дай мне вишневки, — наконец изрек он.

— Тебе лучше не пить, — выразил сомнение комиссар. Сегодня, мол, Келлеру еще предстоит сидеть за рулем. После такого пояснения Келлер в третий раз употребил главное слово из своего лексикона.

Феллер, поигрывая ножом, сказал, что комиссар хочет с ними пойти на дело, потому что он уже на пенсии.

— Не уже, а с завтрашнего дня, — уточнил комиссар.

Келлер подумал-подумал и разозлился.

— Хороши мы будем, если попадемся на удочку, — наконец изрек он.

Феллер его успокоил.

— Никто не знает, что он здесь.

— Это кто тебе сказал?

— Он сам.

— Красота, — воскликнул Келлер, — тогда все ясно, — и он тоже открыл свой нож.

— Дурость, — пробормотал Феллер.

— А кто нам докажет, что он не врет? — поинтересовался Келлер.

Ответа не последовало.

Великан в черном кожаном пальто снова на несколько минут погрузился в раздумье, после чего пустил в ход свой основной словарный запас.

Тут лицо его вдруг озарило сияние, и он заявил, что у него возникла идея.

— Вот этого я давно уже опасался, — заметил Феллер.

— А вот возьмем и не пойдем на дело, — сказал Келлер, безмерно гордясь своей идеей.

Феллер вздохнул.

— Допустим, комиссар сказал нам неправду и всей полиции известно, что он сидит у нас, тогда нам крышка, хоть мы пойдем на дело, хоть нет, потому как у комиссара есть доказательства, что мы крали сейфы. С другой стороны, я не думаю, что он сказал нам неправду, раз эти доказательства уже есть у него целых два года.

— Стало быть, его надо тюкнуть? — спросил окончательно сбитый с толку Келлер.

— Нет, ты у меня не [illegible], — констатировал Феллер и воткнул нож в столешницу, так что он встал торчком. — Если же допустить, что он нас все-таки обманул, у нас на счету плюс к грабежам будет еще и убийство, и сидеть нам тогда всю оставшуюся жизнь. Короче, у нас нет другого выхода, кроме как прихватить комиссара с собой на дело.

Келлер в пятый раз употребил свое коронное слово.

Потом и он взял себе сигару.

12

Около половины восьмого они похлебали из котелка супа с луком, брюквой, капустой, сельдереем, чесноком и лавровым листом. Мясо покрошили в суп. Ели молча. Затем комиссар и Феллер выпили вишневки. А Келлеру пить не полагалось.

— Ночь будет холодная, — сказал Феллер.

Около половины двенадцатого пришла Клер и сняла свою каракулевую шубку.

— Эта шубка Утценштайнши, — сказал комиссар, — личной секретарши директора. Она ее оставила висеть в бюро возле сейфа.

— Потому что сама лежала за стенкой со своим шефом.

Комиссар искусно раскурил новую сигару.

— Вы что, сегодня ночью собираетесь? — спросила Клер.

Феллер встал:

— Прямо сейчас.

Клер ничего на это не сказала.

Трое мужчин покинули кухню и вышли из дома. Оказывается, снова пошел снег.

— Мы сейчас подъедем, — сказал Феллер.

Феллер и Келлер скрылись за черными чудищами автомобильного кладбища.

Ночь была светлая, почти полнолуние, и месяц сверкал между елями. Комиссар посмотрел на небо, отыскал Большую Медведицу, Малую Медведицу и очень обрадовался, отыскав Алькор, однако ему показалось, будто теперь он лучше, чем обычно, видит эту довольно слабую звездочку. Развивается дальнозоркость, подумал комиссар.

Бесшумно подъехал грузовик. Без огней. Он выглядел большим — как фургон для мебели. Дверь дома отворилась, и комиссар ощутил дыхание Клер. Потом дверь закрылась снова.

Кто-то спрыгнул с водительского места. Это был Келлер.

— Сесть! — скомандовал он.

Комиссар повиновался. В кабине он оказался между Феллером и Келлером.

Ехали через лес, медленно, без огней, откуда-то вдруг донесся бой часов — пробило двенадцать.

— Вот теперь я уже на пенсии, — с удовлетворением отметил комиссар.

Остановились. Феллер и Келлер вылезли, комиссар тоже вылез — из любопытства и по неосторожности по колени провалился в снежную гряду, которая горбилась вдоль лесной дороги. Феллер и Келлер возились с машиной. Они сняли с бортов и крыши темные брезентовые полотнища, отчего грузовик стал похож на белый мебельный фургон и отражал лунный свет, во всяком случае, комиссару так казалось.

— Вы чего с машиной сделали? — спросил он.

— Покрыли белым лаком, — подтвердил Феллер догадку комиссара.

— И вывели большую надпись «АО Перевозка мебели».

— Зачем?

— Чтобы бросаться в глаза, — отвечал Феллер. — Поэтому мы и предпочитаем лунные ночи для своих поездок. Пусть нас все видят.

— Хитро, — рассмеялся комиссар.

Включив дальний свет, они выехали с лесной дороги на шоссе, миновали несколько деревень и въехали в Берн, который проезжали по новому мосту через Аре. На съезде с моста стояла полицейская машина с Лохером, тем, что из городской полиции. Если не считать этой встречи, людей на улице им почти не попадалось, да и то сказать, была уже половина первого. Лохер велел им остановиться, и Феллер притормозил.

— Переключите на городской свет, — приказал Лохер.

— Уж вы нас извините, — сказал Феллер.

— Можете следовать дальше, — приказал Лохер.

Они и поехали.

— Вы этого недоумка знаете? — словно бы невзначай спросил Феллер.

— Он из городской полиции, мы с ним иногда в картишки перекидываемся, — сухо ответил комиссар.

— Повезло, значит, — высказался Келлер, — что он вас не узнал.

— Узнал бы, так и вовсе бы ничего не заподозрил, — сказал комиссар.

— А теперь, выходит, заподозрил? — спросил Феллер, тормозя перед знаком «Стоп».

— Нет, — твердо ответил комиссар, — Лохер — человек слишком безобидный, чтобы заметить чужой номер.

— А с чего это он вдруг его заметит? — Феллер выехал на перекресток.

— С того, что вы приспособили на мебельный фургон номер инспектора полиции из Солотурна.

— Тьфу, черт, — буркнул Келлер.

— Вот балда, — выругался Феллер, — ты спер этот номер.

— Ну, — вмешался комиссар, — такое может заметить только очень ушлый недоумок.

Они ехали через Бетлехем. Комиссару стало любопытно, какое они теперь изберут направление, то ли Муртен — Лозанна, то ли Керцерс — Инс — Невшатель. За Гюммененом они свернули на шоссе к Невшателю. Миновав Инс, поехали в сторону Вицвильской тюрьмы и, чуть не доезжая ее, свернули на стоянку.

— Здесь всего надежнее, — пояснил Феллер.

— Вот и я так думаю, — согласился комиссар.

— А ну посвети, — приказал Феллер, и Келлер достал фонарик, а Феллер тем временем приделывал к машине другой номер.

— Ну как, этот получше будет? — спросил он у комиссара.

— Самую малость, — ответил комиссар. — Этот снят с машины фрайбургского прокурора.

Феллер разразился проклятиями, и комиссар подумал, что он сейчас отдубасит Келлера. Потом оба они начали отвинчивать борт мебельного фургона.

— Вы нам фонарь не подержите? — спросили они у комиссара.

— С удовольствием, — ответил тот и взял фонарь.

Машина теперь выглядела совершенно по-другому. Борта у нее стали низкие, и комиссар увидел, что дно кузова выложено толстым слоем соломы.

— Мы действуем с умом, — гордо заявил Феллер, после чего они проехали мимо Вицвильской тюрьмы.

— Я тут проработал девять месяцев на огородах, — заметил Келлер также не без гордости. — Я был хороший огородник.

Комиссар кивнул.

— Овощи в столовую полиции тоже всегда поступали отсюда.

У Гампелена они снова выехали на шоссе в сторону Невшателя.

Было без малого три.

— Товарняк проходит в четыре часа пять минут, — сказал Феллер.

Они проехали через Сен-Блез, а за Сен-Блезом остановились возле какой-то авторемонтной мастерской. Шоссе на Невшатель проходило под железнодорожным мостом. В мастерской было темно, да и световая реклама фирмы «Шелл» не горела. Феллер осторожно повел машину вокруг мастерской на задний двор и остановился под балконом.

— А балкон как раз в бюро, — пояснил он, — давайте взберемся туда.

С грузовика они вскарабкались прямо на балкон. У Келлера был с собой алмаз, чтобы резать стекло.

— Я вырежу круг в оконном стекле, — пояснил он тоном профессионала.

Комиссар отворил балконную дверь.

— Дилетантство, — сказал он. — Нормальные люди сперва проверяют, заперта ли балконная дверь. У тебя, Келлер, уже два раза случалось, что ты резал стекло, хотя дверь была открыта.

— Я ж всегда говорил! — бушевал Феллер. — Келлер так и останется новичком.

В пристроенном к мастерской доме, где явно жил хозяин, залаяла собака.

— Вот видите, — заметил комиссар, — вы оба слишком громко разговариваете.

— Сматываемся, — шепотом предложил Феллер.

— Чепуха, — ответил комиссар.

— Кто-нибудь может встать и поглядеть, — прошептал Келлер, и комиссар почувствовал, как уголовник дрожит от страха.

— После трех люди не так легко вылезают из постели, — успокоил комиссар обоих, и они вошли в бюро.

Феллер и Келлер снова расхрабрились. С машины на балкон, перила которого были сделаны из железа, они перевалили некое устройство, напоминающее двухколесную багажную тележку.

— Не беспокойтесь, — шепнул Феллер, — перила устойчивые. Посветите нам, пожалуйста.

Комиссар посветил.

Феллер и Келлер, уже в бюро, скатывали в трубку джутовый ковер.

Ковер был красный.

— Ну, таких у меня полно, — заметил Феллер.

— Так вы ведь не ковры воруете, — сказал комиссар и посветил фонарем.

Феллер и Келлер расстелили ковер на соломе. Комиссар остался один в бюро и, светя, огляделся по сторонам. Рядом с сейфом была дверь. На двери висел серый рабочий халат.

Немного погодя Феллер и Келлер снова вскарабкались на балкон.

— А теперь займемся сейфом, — возвестил Феллер.

Феллер и Келлер подкатили двухколесное устройство вплотную к сейфу, который стоял у стены возле двери, повозились, подняли сейф и выкатили на балкон. Там снова домкратом подняли его кверху, чтобы он стал много выше перил.

— Гениальная конструкция, — сказал Феллер, — я сам изобрел.

— Через двадцать минут поезд, — заметил Келлер.

— В нашем деле надо уметь ждать, — лаконично подытожил Феллер.

Все трое стояли на балконе и ждали.

Холод был собачий.

Они страшно замерзли.

Луна спряталась. Звезды казались вырезанными формочкой для печенья.

— Эх, если бы курить можно, — причитал Келлер.

— Заткнись, — шикнул Феллер.

Наконец пришел бесконечный товарняк и загрохотал по мосту.

Феллер и Келлер скинули сейф через перила на грузовик, потом спустились вместе с комиссаром. Они уже включили зажигание, а товарняк все еще грохотал по мосту.

Миновали Инс, Финстерхеннен, Зиссельн — прямо в Большие болота.

У канала свернули в кусты и, вооружась молотком и ломом, приступили к работе.

Комиссар светил им карманным фонариком.

Без двадцати пять сейф был вскрыт. Он содержал деловые бумаги и двадцать пять франков наличными.

13

Примерно в половине седьмого утра они уже были у автомобильного кладбища Феллера. Сейчас грузовик выглядел как обычный зеленый фургон.

Клер их дожидалась. Она сварила горячий кофе с молоком, приготовила яичницу, хлеб и сыр.

— Добыча составляет двадцать пять франков, — сказал Феллер и надолго умолк, другие тоже молчали, пили, ели.

— Итак? — спросил Феллер.

Комиссар прихлебывал горячий кофе.

— Ну, насчет номерных знаков я готов забыть и что Келлер хотел вырезать стекло, хотя дверь не была заперта, — тоже. Забыть и простить. Другое дело — метод, которым вы пользуетесь. Слишком сложно. Вечная замена бортов и всего прочего — ни к чему. Я часто задавал себе вопрос: почему, как правило, проделывается такая огромная работа? Да потому, что работают непрофессионалы. Настоящие профессионалы работают просто. Они прекрасно знают, что у полиции не хватит сотрудников, прежде всего квалифицированных сотрудников, чтобы успешно действовать против настоящих профессионалов. Поэтому, если даже по-

лиция отловит профессионала — значит, ей повезло, а если настоящий профессионал позволит себя изловить — значит, ему не повезло. Короче говоря, Феллер и Келлер, с точки зрения криминалистики, вы не более как любители.

— Ишь как круто, — сказал Феллер, — такую критику я без возражений не стерплю.

— Ты с чего больше имеешь — с автомобильного кладбища или с грабежей?

— С кладбища, — сказал Феллер.

— И на сколько больше?

— Намного, — уныло признался Феллер.

— Верно, — сказал комиссар.

— Времена настали плохие, — объяснил Келлер.

— Застой бьет и по нашему ремеслу, — пожаловался Феллер. — С одной стороны, у клиента нет денег, с другой — нам надо держать ухо востро, чтоб нас не приняли за террористов.

— Эта гнусная свора подрывает репутацию честных уголовников, — бранился Келлер.

— А уж про торговцев наркотиками и говорить нечего, — жаловался Феллер. — Откуда взялись эти люди? Сплошь из буржуазных кругов. И террористы оттуда же. Нет, комиссар, я не согласен, что мы непрофессионалы. Возьмите свои слова обратно.

— Уж и не знаю, брать или не брать, — ответил комиссар. — На двери возле сейфа, между прочим, висел халат.

— Ну висел, а дальше что? — безмятежно спросил Феллер.

— Я его обследовал, — признался комиссар. — В правом кармане лежало двадцать восемь тысяч франков.

— А, чтоб тебе, — сказал Феллер.

— По-честному говоря, мне вас даже жалко, — сказал комиссар, допивая свой кофе. — И себя тоже. Двадцать восемь тысяч! За такие деньги я вполне мог бы купить новую «импалу».

14

После завтрака комиссара разморило. Вообще-то говоря, он хотел вернуться в город, но, когда Феллер отвел его в соседнюю комнату, решил погодить с отъездом до полудня. Он оглядел комнату. Ставни были закрыты, над кроватью на деревянной стене висела цветная литография с изображением якоря.

Комиссар снял ботинки и пиджак, лег прямо на одеяло и сразу заснул. Позднее ему приснилось, будто рядом с кроватью кто-то стоит и глядит на него, а когда он открыл глаза, то увидел перед собой Клер.

— Клер, вам что здесь надо? — спросил комиссар.

— А вы лежите на моей кровати, — ответила Клер, спокойно глядя сверху вниз на комиссара, который только сейчас заметил, что она стоит перед ним в ночной рубашке.

— Который час? — спросил комиссар. Он чувствовал себя слишком усталым, чтобы самому взглянуть на часы. Взглянул только на окно. Но ставни были по-прежнему закрыты.

— Полночь, — пояснила Клер.

— Вот видите, — сказал комиссар, — не успел я выйти на пенсию, как уже проспал свой первый нерабочий день.

— Грабежи очень утомляют, — пояснила Клер.

— Просто я старый человек, — сказал комиссар, не шелохнувшись. Он все еще испытывал усталость. — А Феллер? — спросил он.

— Пьянствует с Келлером на кухне. Двадцать пять франков — это все-таки маловато.

Комиссар все не вставал.

— Вообще-то мне пора, — сказал он, — мне еще надо отыскать свою старушку «импалу».

— А на дворе сейчас дождь, — сказала Клер, — погода переменилась.

Комиссар прислушался.

— И правда дождь, — согласился он, а потом добавил: — От сырости мне ничего не сделается, — вставать ему по-прежнему не хотелось, — а вообще-то я замерз.

— Я тоже замерзла, — сказала Клер, — и если вы разденетесь и ляжете под одеяло, я могла бы лечь рядом.

— Вас что, Феллер послал? — спросил комиссар.

— Нет, — ответила Клер, — его не касается, что я делаю. У него есть двадцать пять франков и вишневка.

Комиссар задумчиво поглядел на Клер, а та стояла перед ним стройная, в белой ночной сорочке и с веснушчатыми руками.

— У меня уже давно не было женщины, — сказал он.

— Значит, надо, чтоб этой ночью она у вас была, — ответила Клер. — Вы благородно вели себя по отношению ко мне, вы не допустили, чтобы меня упрятали в Хиндельбанк. Пора и мне проявить благородство по отношению к вам.

15

Когда на другое утро часов около одиннадцати довольный комиссар вернулся в свою квартиру на Гезельшафтштрассе (а дождь лил как из ведра), он застал у себя в кабинете на старой кожаной софе художника Базиля Фойца, погруженного в глубокий сон и, без сомнения, пьяного, каковое впечатление резко усилилось, когда комиссар заглянул на кухню и в ванную. У комиссара не оставалось иного выхода, кроме как пригласить фрау Гвандер с нижнего этажа, хотя было воскресенье, да к тому же первое из предрождественских — первый адвент.

— Все дело в том, господин доктор, — негодовала она, — что вы никогда не закрываете входную дверь. Диво еще, что к вам не наведались грабители. Впрочем, полицию, наверно, и не грабят.

На это комиссар, переодевавшийся в соседней комнате, отвечал, что больше не служит в полиции и что не любит, когда его называют доктором, о чем ей должно быть хорошо известно.

В кабинете зазвонил телефон.

Комиссар надел толстые красные носки. Он терпеть не мог обувь. Дома он ходил зимой в носках, а летом — босиком. Он пошел на звонок.

Звонил Ванценрид.

— Немедленно явитесь ко мне в бюро, — приказал Ванценрид.

— Во-первых, я уже на пенсии, — ответил комиссар, — а во-вторых, сегодня воскресенье.

Фрау Гвандер все еще шуровала тряпкой и веником в ванной комнате.

Базиль Фойц попытался встать с софы и рухнул на колени.

— Где я? — с усилием спросил он.

— У меня, — ответил комиссар.

— Я рисовал вдов. Гигантское полотно, и на нем сотни вдов, — поведал Базиль Фойц. — Моя главная картина. Вдовы правят миром. Богатые вдовы, веселые вдовы, жадные вдовы, беременные вдовы, — потом он вдруг запнулся. — А почему я здесь? — спросил он не без труда.

— Понятия не имею.

— Тогда с каких пор? — не унимался Фойц.

— Тоже понятия не имею, — сказал комиссар.

— Зря ты пошел в полицейские, — заключил Фойц.

— Я и сам теперь вижу, — согласился комиссар.

— Возможно, я обмывал свою картину с вдовами? — размышлял Фойц.

— Вполне возможно, — кивнул комиссар.

— Мы ведь познакомились, когда однажды в три часа ночи я залез на фонтан с Пожирателем детей и помочился прямо на статую.

Комиссар и тут кивнул:

— Я помню.

— А комиссар не заявил на него куда надо, — с признательностью продолжал Фойц.

Комиссар пояснил, что это и не входило в его обязанности, благо он не сотрудник городской полиции.

— Обоссать эту статую было моим святым правом, — продолжал объяснять Фойц. — И не только правом, но и обязанностью. Я против того, чтобы детей пожирали.

Комиссар добавил со своей стороны, что фонтан с Пожирателем — это еще и антисемитский памятник.

— Да кто это теперь помнит?! — бушевал Базиль Фойц. — И плевать, каким он когда-то был, но теперь он подстрекает граждан пожирать детей и, между прочим, охраняется государством как памятник архитектуры.

Он снова заснул, теперь — на полу. Телефон зазвонил второй раз. Опять Ванценрид.

— Я бы попросил вас немедленно явиться ко мне в бюро, — сказал он, причем на сей раз более вежливо.

— А я на пенсии, — повторил свой отказ комиссар и повесил трубку. Художник проснулся снова.

— И про мою связь с тринадцатилетней ты тоже не сообщил куда надо, — заговорил он.

— Ну это я сделал не только ради тебя, — спокойно ответил комиссар.

— Эта соплюха меня совратила.

— Знаю.

— И не только меня.

— Знаю.

— А целых полгорода.

— Несколько преувеличено.

Фойц снова захрапел. И на сей раз в кресле, возле батареи центрального отопления. Комиссар пристроился на кожаной софе, поблагодарил фрау Гвандер, которая все с таким же сердитым видом, неся тазик, веник и тряпку, вышла из ванной и удалилась, раскурил маленькую «гавану» и приступил к изучению «Взгляда», купленного по дороге. На первой странице сообщалось об ограблении авторемонтной мастерской между Сен-Блезом и Невшателем.

Ванценрид, правительственный советник Гюмлигер и Рюфенахт в мокрых плащах вошли в гостиную.

— Мы звонили, — пояснил Ванценрид.

Комиссар, не поднимая глаз, ответил:

— Звонок испорчен.

— Поэтому мы и вошли, — добавил Гюмлигер.

— Приветствую тебя, Рюфенахт, — сказал комиссар. Рюфенахт был его преемник. Затем он дочитал до конца заметку во «Взгляде».

— Роскошный грабеж, — высказался он, — жаль только, грабители не заметили двадцать восемь тысяч в кармане халата. Но в принципе, с точки зрения криминалистики они вправе рассчитывать на наше уважение.

Троица промолчала, дожидаясь, когда ей предложат сесть, но комиссар не

делал к этому никаких поползновений.

Тогда правительственный советник Гюмлигер прокашлялся.

— Комиссар, — наконец заговорил он. — Мы пришли по крайне важному поводу. Поэтому сейчас неважно, что эти грабители в Нойенбурге украли, а что нет.

— Я на пенсии, — сказал комиссар.

— Разумеется, — подтвердил Гюмлигер. — И все же мы должны с вами поговорить.

— Ну так говорите, — сказал комиссар.

— Наедине,— возразил Ванценрид, искоса глянув на художника, спящего в кресле возле батареи.

— Кто храпит, тот не слушает, — сказал комиссар.

— И все же мы настаиваем на своем требовании.

Комиссар растолкал художника.

— Ступай, Фойц, — пояснил он, — мне тут нанесли государственный визит.

Базиль Фойц тупо уставился на визитеров, потом наконец поднялся с кресла, еще раз чуть не рухнул в него, пропел: «Кто падает, тот падает глубоко», сообщил попутно, что однажды темной ночью в два часа влез на фонтан с Пожирателем детей и помочился на статую, шатаясь вышел прочь и с грохотом захлопнул за собой дверь.

— Наконец-то, — воскликнул Ванценрид.

Все трое расселись по креслам, стоявшим напротив софы. Между креслами и софой был стеклянный стол.

Рюфенахт извлек записную книжку.

— Значит, он на фонтан с Пожирателем... — сказал Рюфенахт. — Это я возьму себе на заметку.

— Ты хочешь на него заявить? — спросил комиссар, нахмурив лоб.

— Фонтан с Пожирателем детей охраняется государством, — это Ванценрид поспешил на помощь Рюфенахту.

— Но мы не за этим пришли, — с нетерпением прервал их правительственный советник.

Рюфенахт испуганно спрятал свою записную книжку.

— Итак? — спросил комиссар.

— Рюфенахт, передайте ему фотокопию, — приказал Гюмлигер. Рюфенахт повиновался. Комиссар бегло глянул на фотокопию и положил ее на стеклянный столик.

— Кто ж ее сработал? — спросил комиссар.

— Рюфенахт, — ответил Ванценрид.

— Тайно, — констатировал комиссар.

— Его обязанность, — пояснил Гюмлигер.

— А-а, — протянул комиссар.

— А оригинал где? — спросил Гюмлигер.

— Уничтожили, — ответил комиссар.

— Даже не ознакомив меня с его содержанием, — с горечью обронил Ванценрид.

— Не ознакомив, — признался комиссар.

— Я потрясен, — изрек правительственный советник Гюмлигер.

Трое мрачно глядели перед собой неподвижным взглядом.

— Мораль — это основа нашего государства, — объяснил Гюмлигер.

— Очевидно, — сказал комиссар.

— К счастью, поблизости оказался Рюфенахт, — сообщил Ванценрид.

— К несчастью, — сказал комиссар.

Молчание. С нижнего этажа зазвучал граммофон фрау Гва́ндер. Симфония «Юпитер».

— Комиссар, — сумел наконец продолжить Гюмлигер, — из этой копии проведенного вами допроса итальянского рабочего вытекает, что данный молодой человек состоял в гомосексуальных отношениях с господином правительственным советником Рональдом фон Рюбигеном.

— Ну и?

— А вы это обстоятельство скрыли.

— Фон Рюбиген — лучший из наших правительственных советников.

— Был лучшим, — поправил его правительственный советник Гюмлигер.

Комиссар промолчал, сложил «Взгляд» и раскурил очередную маленькую «гавану».

— Как это понимать? — спросил он наконец.

— Правительственный советник Рональд фон Рюбиген сегодня подал в отставку, — спокойно ответствовал Гюмлигер, — завтра его дело будет слушаться в парламенте.

Комиссар курил.

Трое встали с мест.

— Верните нам фотокопию, — потребовал Ванценрид.

Комиссар протянул им фотокопию. Гюмлигер взял ее и спрятал.

И все трое пошли к двери.

— Господин правительственный советник Гюмлигер, — спокойно произнес комиссар.

Правительственный советник остановился в недоумении.

— Я хотел бы поговорить лично с вами, — сухо пояснил комиссар.

Ванценрид и Рюфенахт тотчас исчезли.

— Итак, комиссар, — холодно сказал господин советник, — вы, надо полагать, утаили и другие документы.

— Так точно.

Тогда правительственный советник порекомендовал комиссару признаться заодно уж во всем и с отеческим видом опустился в кресло напротив комиссара.

— Фойц и в самом деле мочился на статую.

Правительственный чиновник изумленно вскинул на него глаза:

— И только из-за этого вы хотели со мной поговорить?

— Из-за этого.

Правительственный советник был крайне удивлен.

— И что с того? Ну возьмут с него штраф...

— Не возьмут, — сказал комиссар.

— Сейчас, комиссар, не то время, — величественно изрек правительственный советник. — Вы больше не служите в полиции...

Комиссар молча разглядывал правительственного советника, потом положил сигару в пепельницу, потом наконец сказал, что у художника есть на совести и другой грех.

— У Базиля Фойца была связь с тринадцатилетней девочкой.

— Какой кошмар! — взвился Гюмлигер. — Любезнейший комиссар Хёхштеттлер, вы и это скрыли. Это может самым неблагоприятным образом отразиться на вашей пенсии. Нам придется создать комиссию и заняться вашим делом.

— Любезнейший советник Гюмлигер, — невозмутимо отвечал комиссар, — эта тринадцатилеточка — дочь одного национального советника, который сейчас вдобавок заделался правительственным советником и возглавил департамент полиции.

Правительственный советник Гюмлигер медленно поднялся с кресла.

— Моя дочь... — пролепетал он.

— Ну теперь-то ей пятнадцать, — все так же невозмутимо резюмировал комиссар. — Она и с Ванценридом путалась.

Правительственный советник тупо смотрел прямо перед собой.

— И с Ванценридом тоже? — прошептал он.

— Вам надо бы получше приглядывать за своей дочерью, — посоветовал комиссар.

— И как же вы поступите? — спросил советник.

— Ничего не бойтесь, — сказал комиссар. — Рюфенахт ничего не знает, фотокопий нет. Дело вашей дочери не будет слушаться в парламенте.

— Большое спасибо, — пробормотал советник.

— Пожалуйста, — ответил комиссар.

— Мне очень жаль, что с Рюбигеном так получилось.

— Тут уж ничего не изменишь, — с горечью заметил комиссар.

— Ничего, — сказал и советник, — ведь парламент...

— А ходят слухи, — продолжал комиссар, — что федеральный советник Креенбюль собирается ближе к концу года подать в отставку.

— Да-да, — смущенно подтвердил советник.

— Фон Рюбиген должен был стать его преемником.

— Да-да, — снова сказал советник.

— А теперь преемником Креенбюля станете вы, — подытожил комиссар.

На это правительственный советник Гюмлигер вообще ничего не ответил.

— А знаете что, — сказал комиссар, — я вскорости сам залезу на фонтан «Правосудие» и помочусь на статую Правосудия.

Правительственный советник вышел не попрощавшись.

16

По воскресеньям комиссар предпочитал питаться дома. Поскольку он ничего не успел купить, ему пришлось разбить на сковородку два яйца, к яичнице он взял хлеб и выпил рюмку белого сухого бордо, партию которого закупил в литровых бутылках как «вино кулинарное».

В два он вышел из своей квартиры. Между «дворником» и ветровым стеклом его «импалы» торчала бумажка с требованием уплатить штраф.

У калитки маленького палисадника стоял сосед, врач. Он был широкий и приземистый, волосы, которые он отпустил на височках, постепенно превратились в бакенбарды.

— Наконец-то правосудие добралось и до вас, — сказал врач с явным облегчением, — сколько лет я ждал этого дня.

— Первое предрождественское воскресенье, — ответил комиссар и скомкал извещение. — Не успевает наш брат выйти на пенсию, как мигом лишается всех привилегий...

И поехал на Лаубекштрассе.

Он позвонил у дверей. Женский голос спросил по домофону, кто звонит, и комиссар назвал себя. Калитка зажужжала, он открыл ее и через заботливо ухоженный сад прошел к вилле. Фрау фон Рюбиген стояла в дверях и дожидалась его.

Комиссар, без сомнения, хотел бы повидать ее мужа, предположила она, но муж сейчас находится в Шомоне, в их загородном доме. Завтра — очень важное заседание Большого совета, и ее муж должен хорошо к нему подготовиться. Затем она спросила, не хочет ли комиссар выпить кофе.

Комиссар ответил, что это очень мило, что он с удовольствием выпьет кофе, что со стороны фрау советницы очень мило его пригласить.

Она провела его через столовую в салон, где они сели за маленький столик перед камином. Сидели оба в мягких, обтянутых ситцем креслах. Лишь теперь комиссар заметил огромного водолаза, который спал в углу у окна.

— Это первый раз Рихард не взял Бодо с собой, — пояснила фрау фон Рюби-

ген, подавая кофе. — Пес так любит бывать в Шомоне, но муж хотел там заночевать и оттуда сразу ехать на заседание.

— Значит, сегодня ваш муж не собирается возвращаться домой, — в раздумье заключил комиссар.

— Вообще-то он всегда возвращается, когда ездит туда один, — пояснила фрау фон Рюбиген, — хотя бы из-за Бодо, раньше-то он брал с собой детей, но теперь, когда они ходят в гимназию — ну вы ведь сами понимаете, как оно бывает, — у детей теперь свои друзья...

Фрау фон Рюбиген подлила еще кофе сперва комиссару, потом себе.

— А коньяку вы не хотите или, может быть, вишневки? Или «Марк»? — спросила она. — Совсем забыла вам предложить.

— Пусть будет «Марк», — мрачно ответил комиссар.

Фрау советница встала, прошла к буфету и вернулась с рюмками и бутылкой.

— Соглашаться Роберту или нет? — спросила она, наливая вино в рюмку.

Комиссар призадумался.

— Его хотят выдвинуть на пост председателя партии?

— В прошлый понедельник, — продолжала фрау Рюбиген, — президиум партии принял решение на партийном съезде выдвинуть его кандидатуру. А Роберт все время думал, что выдвинут Гюмлигера.

— Ну, с руководителем департамента полиции им лучше не связываться, — сказал комиссар. — Председатель партии станет очередным федеральным советником, и никому не известно, примет ли национальный совет Гюмлигера. Вот вашего мужа они бы приняли. Кстати, госпожа советница, он когда уехал в Шомон?

— Рано, в восемь утра, — ответила фрау фон Рюбиген. — Я еще спала. И когда он вернулся домой вчера вечером, я тоже спала, хотя до часу его дожидалась. Сегодня я нашла письмо, очень теплое, очень личное письмо, а в конце он пишет, что ему надо в Шомон и что вернется он только завтра утром.

Комиссар допил свою рюмку, сказал, что со стороны госпожи советницы было очень любезно его пригласить, но что теперь ему пора.

Послесловие

На этом 16-я главка заканчивается и рукопись «Пенсионера» обрывается. В архиве Дюрренматта сохранилось много документов, связанных с этой поздней работой великого швейцарца, но нет ни одного листка, который пролил бы свет на дальнейшее развитие действия.

Опубликованный осенью 1995 года архивный текст был представлен публике с большой торжественностью; он появился в еженедельнике «Вельтвохе» и одновременно в прекрасно оформленном томе (анонсированном издательством «Диогенес», придворным издательством Дюрренматта 80-х годов, на Франкфуртской книжной ярмарке), в котором рядом с воспроизведением последнего по времени варианта (июнь 1979) помещены также факсимильная рукопись, перепечатка с авторской правкой, опись архивных документов, ряд сопровождающих материалов и т. д. Что касается еженедельника «Вельтвохе», то он позаботился даже о продолжении неоконченного романа и опубликовал его «Возможное завершение», принадлежащее перу известного швейцарского писателя Урса Видмера.

Книга, выпущенная в «Диогенесе», представляет собой неоценимый материал для всех, кто хотел бы проникнуть в творческую лабораторию Дюрренматта — в духе успешно развивающейся сейчас так называемой «генетической критики». Если прав Гёте, который говорил, что «произведения природы и искусства нельзя изучать, когда они готовы; их нужно уловить в их возникновении, чтобы сколько-нибудь понять», то сопоставление черновиков «Пенсионера» ведет в глубь творчества Дюрренматта, к основе основ его взгляда на мир и человека.

При этом выясняется, что замысел «Пенсионера» дремал в сознании писателя едва ли не со времени его первых громких успехов еще в 40—50-е годы, когда его острая и неожиданная, парадоксальная по идеям и совершенно новая по построению драматур-

гия быстро завоевала (вместе с пьесами его старшего современника Макса Фриша) сценические площадки многих стран и сделала швейцарскую литературу середины XX века предметом внимания всего мира — «Ромул Великий», «Визит старой дамы», «Физики».

То, что сейчас воспринимается как время триумфа, не было таким в непосредственном смысле слова; молодой Дюрренматт, который видел себя прежде всего драматургом и театральным деятелем, нелегко пробивался к известности, он и позднее знал провалы и чувство невозможности далее работать для театра и не раз резко отзывался о не понимавшей его «слишком умной» критике, «создающей климат, в котором литературу еще можно изучать, но делать уже больше нельзя». В 1954 году он тяжело заболел диабетом, что сказалось на всей его дальнейшей жизни и творческой судьбе. В том же году он писал: «Роман: одна из больших возможностей отступления (также и у Глаузера)». Упоминание Фридриха Глаузера, швейцарского писателя 20—30-х годов, к сожалению, еще мало известного у нас, знаменитого прежде всего своими детективными романами, здесь не случайно. Дюрренматт писал в другом месте: «Как утверждает себя художник в мире образованных, грамотных? Вопрос, который меня угнетает, на который я еще не знаю ответа. Может быть, лучше всего, если он пишет детективный роман, творит искусство там, где его никто не предполагает. Литература должна сделаться такой легкой, чтобы она на весах современной литературной критики ничего уже не весила. Только так она снова станет весомой».

Слова о легковесности детективого жанра кажутся в контексте всего творческого пути Дюрренматта несколько лукавыми. Его романы, помеченные как детективные, о которых он нередко говорил, что писал их только ради хлеба насущного, создавались всерьез, лежат в русле его основной проблематики и чаще всего, как и все его творчество, парадоксальны; но еще важнее то, что произведения, не помеченные им как детективные, пронизаны темами и сюжетными мотивами, присущими детективному жанру. Границы здесь очень условны. Преступление, угроза преступления или возможность преступления — постоянные атрибуты его книг, и с годами все заметнее, идет ли речь о сюжете, по-своему исключительном, за которым стоит вопрос о жизни или атомной смерти человечества («Физики»), или, что еще характернее, о сегодняшней швейцарской повседневности, такой благополучной, устойчивой, добропорядочной, лежащей, казалось бы, в стороне от больших и громких дорог истории. Его герои ступают по мостовым ухоженных швейцарских городов как по тонкому льду, который постоянно грозит надломиться и обнажить шевелящийся под ним страшный хаос, путаницу понятий, где все искренние чувства оборачиваются своей противоположностью, где добропорядочному человеку не на что опереться, где за уродливым гротеском таится гибель. Дюрренматт создал свою литературу абсурда, отличную от экзистенциального театра абсурда Беккета и Ионеско, построенную на несовпадении естественных законов жизни с законами, людьми же установленными (сам он говорил, что речь у него идет не об абсурде, а о парадоксах, а «в парадоксах является действительность»). Его книги ироничны и смешны, но они и пугающе страшны, ибо, по Дюрренматту, только комедия может показать трагизм современного существования. В каждой из них совершается предательство или обман, убийство или самоубийство, но не это роднит их с детективами и не это главное в них; главное в том, что в каждой из них герои, вслед за автором, ищут не столько убийцу или даже вовсе не убийцу, а скрывающийся за убийством смысл («Зло, великая загадка, которую ему страстно хотелось разрешить...»). «Исследование» (Untersuchung) — одно из наиболее часто встречающихся слов в книгах Дюрренматта.

Детектив принадлежит к самым молодым литературным жанрам, он имеет свою, многократно описанную историю, начинающуюся в 1841 году с рассказа Э. По «Убийство на улице Морг». Сегодня это один из самых популярных жанров современной литературы, может быть, самый многотиражный и распространенный, во всех странах мира у него есть множество ипостасей (разных «поджанров»), принадлежащих большей частью к так называемой «массовой», а то и просто низкопробной книжной продукции; но его схемы и каноны, его особые приемы сюжетостроения привлекали внимание и замечательных писателей XX века, создавших запоминающуюся портретную галерею неординарных сыщиков (как правило, центральный персонаж детективного произведения), не просто мастеров своего дела, а философов, гуманистов, поборников справедливости, готовых бескорыстно помогать бедным и гонимым — Шерлок Холмс Артура Конан Дойла, патер Браун Гилберта Кита Честертона, Пуаро Агаты Кристи, Мегрэ Жоржа Сименона, Бек Пера Валё (если называть только наиболее известных); в этом ряду мы можем сегодня назвать и Хёхштетлера Фридриха Дюрренматта. Почему именно в Швейцарии, самой благополучной и устойчивой европейской стране, не знающей ни экономических кризисов, ни политических потрясений, ее первое литературное имя середины XX века столько сил отдает детективным сюжетам, неизменно связанным с преступлениями, убийствами, пролитой кровью, — это особый вопрос; но нельзя не заметить, что поиски решения «великой загадки» на основе этих сюжетов оказываются для такого автора, как Дюрренматт, делом весьма сложным. Жизнь запутанна, плохо поддается расшифровке, ее невероятно трудно «схватить» целиком, а пролившаяся кровь не помогает дойти до сути. Образ лабиринта, из которого нет выхода и стены которого сделаны из стекла, тысячекратно по-разному отражающего каждого, кто в нем находится, принадлежит к постоянным символам в его книгах, начиная с «Города» (1947) вплоть до позднего «Минотавра» (1985), и наиболее развернуто представлен в автобиографически построенных «Материалах» («Stoffe»),

над которыми он работал все последние годы жизни («Лабиринт — прообраз того, что человек живет в мире, который он сам создает и в котором он не может найти себя»). Мысль о непреодолимых противоречиях между правом и законодательством, между правом и правосудием, открыто обозначенная в первых строках «Пенсионера», проходит как лейтмотив через все его творчество, начиная с самых ранних произведений.

Есть и чисто документальные свидетельства связи «Пенсионера» с ранним творчеством Дюрренматта: правительственный советник Лутц перешел сюда со своим именем и должностью из его первых детективных романов «Судья и его палач» (1950) и «Подозрение» (1951); оттуда же взят и главный герой Хёхштетлер, который в ранних вариантах «Пенсионера» еще именовался Берлах, как и комиссар полиции в этих романах, и т. д. Правда, с годами изменился его характер: если в ранних романах он напоминал Дон Кихота, в одиночку сражающегося с фашистскими преступниками, то теперь, хотя он и не ищет поддержки у других («сам себе партия»), в нем появляются черты гамлетовской неуверенности. Как и принц Датский, он не действует последовательно и решительно от имени закона, которому служит, не потому, что слаб, а потому, что его действия, как он убедился, не приводят к торжеству справедливости.

Первое непосредственное упоминание о романе «Пенсионер» относится к 1969 году, может быть, самому тяжелому году в жизни Дюрренматта, когда произошел очередной кризис в его театральной деятельности и ему пришлось уйти из руководства Базельского театра, а сам он перенес тяжелый инфаркт, после чего врачи запретили ему работать за пишущей машинкой (отныне он писал свои вещи от руки). Во время путешествия по Америке он сделал такую запись о себе в третьем лице: «Когда Фридрих Дюрренматт 23 дек. 1969 работал в саду гостиницы «Шератон» в Пуэрто-Рико над своим новым романом «Пенсионер», в котором речь идет о том, как комиссар полиции в первые дни после своей отставки посещает всех тех преступников, которых он на протяжении своей долгой службы отпускал без наказания из гуманности или из сознания несовершенства человеческих законов; когда Фридрих Дюрренматт в своей рукописи как раз заставлял комиссара полиции объявить случайному воришке, что настоящий профессионал отличается от любителя простотой и быстротой своих действий и заранее налаженным сотрудничеством с посвященными, из портмоне его жены были украдены его часы, 180 долларов наличными и ключ от сейфа гостиницы «Шератон». И хотя автор детективного романа обнаружил пропажу в течение 25 минут и потребовал немедленно открыть сейф, из него уже исчезли находившиеся там 2900 долларов. Говоривший по-немецки представитель треста гостиниц «Шератон» назвал происшедшее невозможным, признал, что писатель может рассматривать его как гангстера, но что и он, со своей стороны, имеет основания рассматривать писателя как гангстера, однако снял с себя какую бы то ни было ответственность за содержимое сейфа гостиницы «Шератон»...»

По этому отрывку видно, что замысел «Пенсионера» к тому времени уже полностью сложился в голове писателя; дальнейшие этапы работы сводились прежде всего к углублению центрального образа и совершенствованию уже имеющегося текста. Характерна необычайная, можно сказать, избыточная точность в описаниях декораций места действия. Перед нами не просто Берн, столица Швейцарии, и Бернский кантон, родина Дюрренматта, а их фактографически точное изображение. В Берне в самом деле есть и улица Правосудия, где стоит фонтан Правосудия, на который комиссар собирается помочиться, и ресторан «Commerce», в котором он обедает с Элленбергером, и в путеводителях сказано, что специальность этого ресторана составляет испанская кухня и блюдо паэлья, которое заказывает Элленбергер, и т. д. Множество рек, дорог и населенных пунктов, вплоть до самых мелких, названия которых мелькают в тексте, — все можно найти на географической карте, не только Солотурн или Невшатель, но и Хютлинген, Гампелен, Тифениус и т.д. Оценить эту документальную точность в состоянии лишь немногие читатели, но для Дюрренматта она очень важна. Может быть, потому, как иногда пишется, что в прозаических произведениях с детективным сюжетом он ориентировался на восприятие швейцарцев; но скорее дело в том, что Дюрренматт хотел показать, насколько исчерпывающе он их знает, и достоверно для себя и других выстроить свой Берн и Бернский кантон как модель всей Швейцарии, а свою Швейцарию — как модель всего мира.

Характерна и стремительность развития действия. Оно начинается с почти оперетточной истории о семи женах комиссара Хёхштетлера, и первое анти-расследование, которое он проводит, даже еще не дождавшись начала своего пенсионного существования, касается банального поджога ради высокой страховки; второе — хитроумного способа воровства сейфов, который он, однако, разоблачает как дилетантский. Но уже третье выводит действие на высокие этажи государственных чиновников, чьи моральные характеристики не оставляют сомнения в том, среди каких потенциальных и реальных преступников приходилось жить и действовать неподкупному Хёхштетлеру. Как пишет П.Рюди, автор послесловия к книге, изданной в «Диогенесе», прогнозируя дальнейшее развитие действия, «можно предполагать или, во всяком случае, предчувствовать, что на фоне разбойничьей идиллии события в этом кругу примут самый плохой из всех возможных оборот, когда гангстеры выглядят как кроткие обыватели, а свиньи — как столпы общества, причем именно высшего общества правительственных и потенциальных федеральных советников». К тому же на последних страницах раскрывается один из тех служебных проступков Хёхштетлера, который его начальство должно квалифицировать как преступление, а он сам называет пополнением «неправосудной кассы для бедных». Следо-

вательно, он вынужден будет действовать более решительно; очень трудно, однако, предположить, что, достигнув такой социальной высоты и такого напряжения, сюжетное действие смогло бы и дальше продолжать стремительно развиваться в прежнем русле.

Характерна, наконец, и высокая мера автобиографичности; дело не только в ироническом воспроизведении радиопередачи (вставленной в текст в его последнем варианте) о безымянном писателе, которого «занесло однажды на Антильские острова» (почти Пуэрто-Рико) и который «снова обратился к жанру детективного романа», но и в таких, известных только узкому кругу деталях, как счастливо окончившийся наезд Хёхштетлера в снежную бурю на мальчика, за чем стоит воспоминание о подобном эпизоде с самим Дюрренматтом, или как сама снежная буря, которая у Дюрренматта всегда символизирует трудный путь к решающему нравственному поступку, и т. д.

Перенесший тяжелую болезнь и покинувший театр Дюрренматт сам чувствовал себя «пенсионером», проводящим ревизию своим старым, незавершенным рукописям. В этой связи по-особому воспринимаются слова из радиоприемника о том, что за прошедшие со времени возникновения первоначального замысла десять лет автор сравнялся в возрасте со своим героем, и «перед ним встал вопрос, как, собственно, намерен его герой прожить последнюю часть своей жизни». В комиссаре полиции Хёхштетлере обнаруживается больше, чем можно было подозревать, общего с самим автором. Случай, нередкий в истории литературы; в одном из детективных романов Дюрренматта сказано: «Писатель — своего рода полицейский».

Тем интереснее вопрос: как должно было дальше развиваться действие?

У самого Дюрренматта можно найти на этот счет только упоминание о том, что в романе будет еще убийство и самоубийство. Что касается самоубийства, то ясно, что по меньшей мере попытку его предпримет неожиданно уехавший в загородный дом правительственный советник Рюбиген. Урс Видмер в своем «Возможном завершении» (написанном как эпилог «десять лет спустя») реализовал этот замысел: отправившийся за город комиссар находит там бездыханное тело Рюбигена. Труднее было, конечно, представить себе дальнейшее действие и тот неожиданный «Schlusspointe», который непременно завершает книги Дюрренматта и бывает всегда так эффектен и важен. Видмер не стал этого делать и даже не подвел к мысли, что объявленное наперед убийство могло бы иметь отношение к последним сценам романа. Может быть, сам Хёхштетлер, не связанный более узами государственной службы и чувствующий себя свободным от клятв и обязательств, должен был выступить как мститель во имя справедливости, пусть и не собственной персоной, а через подставных лиц, продолжив линию многих книг Дюрренматта, как детективных, так и не детективных? Это было бы вполне логично, хотя такой поворот не в духе позднего Дюрренматта, у которого «лобовые» сюжетные ходы могут сопутствовать завязке действия, но никогда — развязке.

Однако правильнее всего предположить, что никакого продолжения и не должно было быть, и именно этим объясняется, почему, упорно работая над уже созданным текстом, автор не продвинулся в развитии действия. Публикация «фрагментов» — привычное для Дюрренматта дело, так печатались многие его произведения, начиная с рассказа «Город»; столь же обычна для него и длительная, мучительная работа десятилетиями над одним и тем же произведением — исправления, добавления, переделки, переписывание — все то, что швейцарская печать не раз именовала «сизифовым трудом». Сборники «Материалов», которые он называл «История моего писательства», Дюрренматт стал готовить и издавать в том же 1969 году, когда был начат «Пенсионер», включая в них в виде «комплексов» свои разнообразные тексты — от завершенных цельных вещей до мелких записей, в том числе и «фрагменты» неоконченных произведений, которым отныне предстояло оставаться навсегда неоконченными. Работа над «Пенсионером», который свободно мог быть включен в эти сборники, но почему-то включен не был, шла параллельно. В какой-то момент Дюрренматт, судя по всему, мог прийти к выводу, что завершать историю необычных поступков своего необычного героя не следует или, может быть, нет возможности, и оставил нам «фрагмент» вывернутой наизнанку действительности, в которой человек безукоризненной честности и высочайший профессионал своего дела не хочет вершить справедливость, опираясь на закон и на всесильное государство, а доверяет правосудие только одному себе. Нравственная позиция, если подумать, не такая уж редкая в современном мире, скорее распространенная, несмотря на всю дюрренматтовскую парадоксальность. Гангстеры в обличии кротких обывателей и свиньи в роли столпов общества ходят и по улицам наших городов; это делает чтение «Пенсионера» не только занимательным, но и поучительным.

П. ТОПЕР

■

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ

Стихи

Перевод с болгарского ***ЛЬВА ОЗЕРОВА***

От переводчика

В благодарной памяти моей таинственно мерцают дни, когда с утра, поощряемые солнечной погодой, мы с Валерием Петровым отправлялись к высотам Витоши, возносящейся над Софией горы, неудержимо манящей к себе каждого столичного жителя. Чтение своих и чужих стихов, размышления о поэзии, беседы о Пейо Яворове, которого я в ту пору переводил, чередовались со встречами с людьми, которых в пестром изобилии мы встречали на склонах, полянах, у нарядных домиков. Попутно мы восхищались пейзажами, весьма многообразными и сочетавшими гору с городом. Тогда я ощутил и понял, что значит Витоша для болгарина, для болгарской поэзии. Здесь же возникали видения близкой нам обоим России и не понаслышке знакомых моему собеседнику Италии и Англии. С Валерием Петровым, уразумел я, не соскучишься. Его живая ассоциативная мысль и стремительная речь были обращены к высотам — от Витоши до не столь далекого отсюда Олимпа. Точнее, того Олимпа, к вершинам которого поднимаются за рабочим столом в горячий момент творчества.

Пора напомнить, что рожденный в Софии в 1920 году Валерий Петров окончил итальянскую школу в Софии и медицинский факультет столичного университета. В качестве военного корреспондента участвовал во второй мировой войне. Разнохарактерные впечатления военных лет, а до этого антифашистской борьбы, пережитой как юношеское увлечение, выплеснулись в последующие годы, когда были написаны многие стихи и поэмы, снискавшие Валерию Петрову имя истинного поэта современной Болгарии. Это подтвердили газеты самого разного толка, поздравляя его с 75-летием в прошлом году.

Лирик и одновременно сатирик (кстати, один из основателей сатирического еженедельника «Стыршел»), признанный киносценарист, драматург (пьесы он тоже пишет в стихах!) и одновременно переводчик, давший Болгарии полного Шекспира. И всегда честный гражданин, среди первых в 60-е годы заговоривший о духовном раскрепощении во времена болгарской «оттепели», один из пяти, осмелившихся на собрании писателей не голосовать за осуждение Солженицына.

Вынужденно короткая и сухая эта информация не может создать портрет Валерия Петрова. Главные черты портрета — в его сочинениях и переводах. Знаток европейских языков, он душу свою выражает по-болгарски — как властитель поэтической стихии, как виртуоз словесной игры или мастер отточенной миниатюры. В полном блеске его талант представал на пространстве поэмы или стихотворного цикла. Тридцать лет назад многие грани его творчества открылись нам благодаря трудам М.Алигер, Д.Самойлова, В.Корнилова в сборнике, вышедшем по-русски. С тех пор, однако, ему не везло у нас на публикации. Да и с годами он все больше и больше тяготеет к простоте и лапидарности, нелегко поддающимся переложению на другой язык.

Сам я не раз обращался к поэзии Валерия Петрова и как читатель, и как переводчик. По опыту знаю: очень трудно добиться творческой верности оригиналу, не просто добиться, чтобы в переводе чувствовалась первородность поэзии, а не опосредованность словесности. Переводя Валерия Петрова, ловишь себя на мысли, что ни одна из возникающих версий не должна быть признана окончательной. И все же... наступает момент, когда перевод можно и должно показать людям.

Вроде бы о Брейгеле

Прошел он курс охотничьей науки
и с детских лет с отцом ходил на лов,
и до того, как уголь взял он в руки,
уже пейзаж был в голове готов.

Не потому ль, что знал, как фон студеный,
избавясь от туманной полумглы,
уходит вглубь, как только он по склону
свободно пустит голые стволы,

иль по причине третьей, что, поверьте,
важнее, чем талант и мастерство,
он оставался юношей до смерти,
и юным было сердце у него.

Наверное, судьба к нам благосклонна.
Спустя века, мы видим тот маршрут, —
как будто соскользнувши с небосклона, —
спиною к нам — охотники идут

к деревне, где заметно потемнело,
хотя на двух озерах в этот миг
детишки режут лед коньками смело
и слышится вокруг их смех и крик.

К нам тянется из воздуха оттуда
и запах мокрых псов, и горький дым,
мы, возвращаясь, ощущаем чудо
прикосновенья к временам седым.

Мы ощущаем теплоту ночлега,
нас горячит вино среди зимы.
Фламандский дом шестнадцатого века
сквозь эти стены ясно видим мы

и кошку, что сметану ест, и темень
посудной полки, огонек в окне.
Искусство, помоги хотя б на время
на этом свете задержаться мне.

* * *

По-детски на тропинке снежной
средь тишины и пыли звезд
на синее тростинкой нежной
я имя милое нанес.

Под месяцем, вдыхая свежесть,
оно поблескивало чуть...

© Валери Петров, 1990
c/o Jusautor, Sofia

До невозможного разнежась,
я тихо продолжал свой путь.

Отвлекшись и предавшись неге,
избыв сполна недавний пыл,
о том, написанном на снеге,
я, возвращаясь, позабыл.

Потом с укором невеселым
представил, как моя нога,
в ботинке топая тяжелом,
сминала синие снега.

Светлое окно

С приятелем прибыли мы на турбазу.
Приятель, до места добравшись едва,
готовить стал ужин. Меня же он сразу
отправил во двор с фонарем по дрова.

И я, возвращаясь с дровами во мраке,
увидел, как в светлом проеме окна
он чиркает спичкой, не зная, однако,
что эта работа кому-то видна.

Яйцо разбивает о край сковородки,
качает он, соль не найдя, головой,
и вот — как он рад этой малой щепотке,
так рад я минуте, настолько живой,

что просто доступно мне, без лицедейства,
увидеть всю сцену в мерцанье огня,
без страха вдруг стать соглядатаем действа,
что он пожелал бы укрыть от меня.

Веселый бес

В «Святом Илье» — мгновенье!
Над вратами — стоп!
Есть изображение:
богатей и поп.

В позах больно строгих,
со свечой в руке.
Кто же козлоногий
от них невдалеке?

Те каноны чтили,
он же — сын земной
в ренессансном стиле,
пестрый, озорной.

Крепкою рукою
век назад иль два —
кто писал такое?
Говорит молва:

негаданно-нежданно
явились в некий миг
мастер бесталанный
и гений ученик.

Дерзок, вольнодумен
с самых юных лет,
ктитор и игумен
порешили: нет!

Зло его бранили
(как-никак, а власть),
и не заплатили,
и побили всласть.

От обиды жгущей
снова ученик,
востроглазый, злющий,
пред стеной возник.

И назло интригам
(ремесло он знал)
подмастерье мигом
беса набросал,

чтобы куролесил,
священников бесил.
Был художник весел —
лихо отомстил.

Вышел подмастерье
с песней в ближний лес,
ткнул он кисти, перья
в шапку и — исчез.

Спохватились сразу
власти, а потом
кистью ктитор мазал,
поп скоблил ножом.

А под краской — старый
слой, в нем кровь и пот,
гнев запекся ярый,
что скопил народ.

И сегодня также
жив он, не исчез —
бес поет и пляшет,
корчит рожи бес.

Жалоба динозавра

Мы, динозавры, — скромны, безучастны,
мы неуклюжи, но неопасны.
Жили мы долго, жили по-свойски
в пору, что прозвана мезозойской.
Наши головы маленькие напрягая,
чувствуем: надвигается эра другая,
иные твари ловкими стали —
появились клювы и ногти из стали,
железные челюсти, зубы-буравы
и ко всему — незнакомые нравы.
А мы, рожденные во времена былые,
едим лишь папоротник и злаки земные,
потому-то у нас так неразвиты зубы,
потому-то и жрут нас легко душегубы,
потому-то и род наш так быстро хиреет
и все быстрей вымирает, редеет.
Ничего не поделаешь, слишком сурова
поступь прогресса — жизни основа.
Но динозавр не привык унижаться
и до такого фокуса опускаться:
вставлять себе зубы, чтоб выжить на свете,
ему несвойственны фокусы эти.
Так что же нам делать, если и завтра
хотим сохранить мы честь динозавра —
поскольку теперь сознаем мы в печали,
что род наш себя сохранит едва ли.
И что же выходит? Тихонько шагаем
по царственной нашей дороге, пусть краем,
тридцатиметровые, смутные, как виденья,
шагаем — наивные до удивленья, —
чтоб выставить где-нибудь в залах музейных
остовы наших скелетов идейных.

Вечер в винограднике

Миг долгожданный! Наконец-то в душу
нисходит нескончаемый покой.
Что ж, огородных пугал я не трушу —
средь голых лоз смеются день-деньской.

А море — прежде в блеске, — и оно,
что зеркало, сегодня потускнело.
Ты удивляешься себе: чудно —
лоза нам отдала все, что имела,

все, что могла, ты все же ради грозди
оставшейся, сидишь и шаришь тут,
и мышь летучая непрошеною гостьей
летает, пролагая свой маршрут.

И вроде бы спокоен день и тих,
ты примирен со всеми, но желанье
творить повелевает делать стих,
чтобы тебе внимало мирозданье.

Дурак! Дождешься — сумерки нагрянут
на ум и на талант, притупят глаз.
И стыдно, если вдруг тебя обманут
досужие мечты в последний час.

От трудной жизни — благодатный знак —
передохни, сумей избыть тревогу,
смотри, маяк сквозь падающий мрак
сулит тебе обратную дорогу.

Но нет — внутри тебя идут сраженья,
и лихорадочно за уходящим днем
ты ищешь слово высшего значенья,
чтоб звуки сердца выразились в нем.

И вот оно! Уже и там, и тут
движенье звезд, поблескивают воды.
И вот в залив медлительно идут,
огнями полыхая, пароходы.

И это все перетекает в слово,
а вот и рифмы прилетают вмиг.
У жизни и стихов — одна основа,
одна и та же красота у них.

Твоя судьба предрешена, поэт.
Ну что поделаешь с такой болезнью
неизлечимою, спасенья нет,
уж если ты навек сдружился с песнью.

Раз виноград не собран — неустанно
идет работа творческой души.
Пиши, пиши, ведь уходить нам рано,
покуда темень не пришла, пиши!

■

УИЛЬЯМ КЕННЕДИ

Железный бурьян

РОМАН

Перевод с английского В.ГОЛЫШЕВА

Эта книга посвящается хорошим людям:
Биллу Сегарре, Тому Смиту, Гарри Стейли и Франку Триппетту

Железный бурьян (вернония) принадлежит к семейству сложноцветных. У него высокий прямой стебель и фиолетово-синие цветы, образующие верхушечные сравнительно рыхлые соцветия. Листья длинные, тонкие, заостренные, с опушенной нижней поверхностью. Плод — семянка с двумя рядами фиолетовых щетинок. Цветет с августа по октябрь на влажных плодородных почвах от Нью-Йорка на севере до Джорджии на юге, а западнее — от Мичигана, Иллинойса и Миссури до Луизианы. Название свое получил из-за крепости стебля.

Изложено по «Определителю диких цветов Северной Америки» Одюбоновского общества

Для лучших вод подъемля парус ныне,
Мой гений вновь стремит свою ладью,
Блуждавшую в столь яростной пучине.

Данте. Чистилище.
Перевод М. Лозинского

I

В кузове разболтанного грузовика, на дороге, петлявшей по кладбищу Святой Агнесы, Френсис Фелан понял, что покойники еще больше, чем живые, любят общество себе подобных. Грузовик внезапно обступила чаща памятников и кенотафов; сходные по архитектуре и поражающие своим размером, они сторожили покой привилегированных мертвецов. Но грузовик ехал дальше, и граница простых привилегий обозначилась: дальше лежали гектары подлинно престижной смерти. Выдающиеся мужчины и женщины, капитаны жизни, погребенные без своих мехов, бриллиантов, карет, лимузинов, но с помпой и почестями, покоились под сводами роскошных гробниц, выстроенных наподобие небесных сейфов или частей Акрополя. Ну а затем, конечно, — неизбежные массы, ряд за рядом, под простыми камнями и крестами попроще. Феланы селились в этом районе.

Мать Френсиса нервно завозилась в могиле, когда подъезжал грузовик, а отец раскурил трубку, улыбнулся беспокойству жены и выглянул из-под своей дерни-ны — сильно ли изменился сын со дня несчастья на железной дороге.

© William Kennedy, 1979, 1981, 1983

Отец Френсиса курил корешки трав, погубленных засухой, периодически нападавшей на кладбище. Вещество корешков он хранил в карманах, покуда оно не становилось хрупким на ощупь, затем растирал между пальцами и набивал в трубку. Мать плела кресты из одуванчиков и других корневатых сорняков; стараясь сохранить растения во всей их долготе, она плела их, пока они были еще на зеленой стадии смерти, а потом поедала с неутолимым отвращением.

— Погляди на эту могилу, — сказал напарнику Френсис. — Ничего себе, а? Это Артур Т. Гроган. Мальчишкой я видел его в Олбани. Он был хозяин всего электричества в городе.

— Теперь у него электричества маловато.

— Не скажи, — возразил Френсис. — Такие мужики хорошую вещь не упустят.

Приближавшийся прах Артура Грогана, которому не лежалось в своей модели Парфенона, озарился воспоминанием Френсиса о важном, давно минувшем дне. Грузовик продолжал свой путь вверх по склону.

ФАРРЕЛЛ, — назвалась придорожная могила. КЕННЕДИ, — назвалась другая. ДОГЕРТИ, МАКИЛЛЕНИ, БРУНЕ́ЛЛ, МАКДОНАЛЬД, МАЛО́УН, ДУАЙР и УОЛШ, — объявили остальные. ФЕЛАН, — сказали две маленькие плиты.

Френсис увидел пару фелановских камней и отвел взгляд из опасения, что под одним из них может оказаться его крошка сын Джеральд. Он не встречался с Джеральдом с того дня, как выронил его из пеленки. И сейчас не хотел встречаться. Отвернулся же он от камней под тем предлогом, что они принадлежат совсем другой семье. И был прав. В этих могилах лежали два дюжих брата, два молодых Фелана; оба работали на канале, и оба были пропороты одной и той же водочной бутылкой в 1884 году, сброшены в канал Эри возле салуна «Черная рыба» в Уотервлите и притоплены длинной палкой. Братья взглянули на одежду Френсиса, на обтрепанный коричневый пиджак, мешковатые черные брюки, замызганную синюю кочегарскую рубашку и признали в нем своего, хоть и не родича. Туфли на нем были такие же сношенные, как те башмаки, в которых они проходили последний день жизни. И еще братья прочли у него на лице знакомые следы алкогольного томления, которое сильно у них развилось в могиле. Оба были крепко пьяны и беззащитны, когда головорез Маггинс убил их одного за другим и забрал все их деньги, 48 центов. Мы погибли ни за грош, сказали безмолвные, мертвецки пьяные братья Френсису, который трясся в кузове, глядя на веселые белые облака, теснившиеся в утреннем небе. На солнышке соки в нем побежали живее, и он истолковал этот прилив сил как небесный дар.

— Холодновато, — сказал он, — но денек, видно, выстоит.

— Если не блеванет, — сказал Руди.

— Дятел стебанутый, как ты о погоде выражаешься? Выпал хороший денек — радуйся. Разве можно говорить, что небо на нас блюет?

— У меня мать была чистокровная чероки.

— Врешь. Твоя мать мексиканка была — вот откуда у тебя скулы. Про индейцев мне не заливай.

— Она из резервации в Скоки, Иллинойс, уехала в Чикаго и устроилась продавать арахис на Ригли-Филд.

— Нет никаких индейцев в Иллинойсе. Сколько был там, ни одного не встретил.

— Он сами по себе живут.

Грузовик миновал последнюю обитаемую часть кладбища и направился к холму, где пятеро мужчин с кирками и лопатами копали землю. Шофер остановился, отпер задний борт, и Френсис с Руди выпрыгнули. Вместе с пятерыми они стали грузить машину землей. Руди громко пробормотал:

— Сообразим.

— Чего ты опять соображаешь? — спросил Френсис.
— Червей. Сколько червей помещается в грузовике земли.
— Считаешь их?
— Пока что сто восемь, — сказал Руди.
— Чумной, — сказал Френсис.

Когда машину нагрузили, Френсис и Руди влезли на кучу, и шофер повез их к склону, где десятка два свежеумерших распространяли сладкий запах разложения, фимиам незаслуженной бренности и прерванных грез. Водитель, видимо привыкший к таким запахам, подогнал машину поближе к новым могилам и задремал, а Руди с Френсисом стали таскать мертвецам землю. Некоторых похоронили два-три месяца назад, но гробы их все еще забуровливались в раскисшую от дождей почву. Нагульный вес прожитых дней искал себе горизонт упокоения на первопутке смерти, создавая над каждой могилой прямоугольную впадину. Отдельные гробы устремились как будто к ядру Земли. Ни на одной могиле еще не поставили плиты, но некоторые были украшены американским флагом на палочке или глиняным горшком с букетиком линялых матерчатых цветов. В изголовье Луиса (Большого Папы) Дугана поникли в корзине гладиолусы, еще сохранившие кое-какую желтизну на бурой стадии смерти. Папа Дуган, бильярдный артист из Олбани, умер всего неделю назад, захлебнувшись собственной рвотой. Тщетно пытаясь освежить в памяти, как он выполнял обратный винт и верхний, Папа Дуган узнал Френни Фелана, хотя не видел его двадцать лет.

— Интересно, тут кто? — сказал Френсис.
— Наверно, католик какой-нибудь, — ответил Руди.
— Ясно, католик, башка. Кладбище-то католическое.
— Иногда и протестантов пускают.
— Ни в жизнь.
— И евреев иногда пускают. Индейцев тоже.

Папа Дуган запомнил форму Френсисова рта с того дня, когда впервые увидел его на бейсбольном поле в Чедвик-парке. Папа сидел в первом ряду напротив третьей базы и видел, как Френни взлетел на трибуну за верховым мячом; мяч угодил бы Папе прямо в грудь, если бы Френни не встал на уши, чтобы перехватить его. Папа видел, как улыбнулся Френни после этого номера, и, хотя зубов у Френни теперь почти не было, он улыбнулся точно так же, кинув свежую землю на могилу Папы Дугана.

Твой сын Билли спас мне жизнь, сказал Френсису Большой Папа. Поставил меня на голову, когда меня стошнило на улице. Я все равно помер, в другой раз. Но он меня выручил, и я хотел бы взять назад те поганые слова, что сказал ему. И позволь дать тебе личный совет. Никогда не вдыхай свою рвоту.

Френсис не нуждался в таких советах. От спиртного его никогда не тошнило, как Папу. Френсис умел пить. Он пил все время и не блевал. Он пил все, что содержало спирт, — все, и всегда мог ходить, и высказать мог не хуже любого все, что у него на душе. Алкоголь погружал его в сон в конце концов, но — на его условиях. Когда он принимал свою норму, а все вокруг уже выпадали в осадок, он просто опускал голову, свертывался калачиком, как старый пес, засовывал руки между ног, чтоб охранить остатки прежней роскоши, и засыпал. Так он делал, когда пил. Сейчас он не пил. За два дня он не выпил ни капли и чувствовал себя ничего. Даже немного бодрым. Он перестал пить потому, что кончились деньги, а вдобавок Элен чувствовала себя не очень замечательно, и надо было за ней присмотреть. К тому же и в суд хотел прийти трезвым — а идти пришлось потому, что зарегистрировался на выборах двадцать один раз. В суд он пошел, но под суд не пошел. Его адвокат, кудесник Маркус Горман, отыскал в документах ошибку в дате, и обвинение против Френсиса развалилось. Обычно Маркус брал с клиента пятьсот долларов, с Френсиса же затребовал всего пятьдесят, потому что его попросил скос-

тить Мартин Догерти, газетный обозреватель и бывший сосед Френсиса. Но у Френсиса и пятидесяти не нашлось, когда пришла пора расплачиваться. Он их пропил. А Маркус требовал.

— Ну нет у меня, — сказал Френсис.

— Тогда иди работать и заработай, — сказал Маркус. — Мне за работу платят.

— Никто не возьмет меня на работу, — сказал Френсис. — Я бродяга.

— Я добуду тебе работу на кладбище, — сказал Маркус.

И добыл. Маркус игрывал в бридж с епископом и знал всех католических шишек. Одна из них заведовала кладбищем Святой Агнесы в Минандсе. Френсис спал в бурьяне под мостом на Донган авеню и, проснувшись сегодня в семь утра, пошел в миссию на Медисон авеню пить кофе. Элен там не было. Она куда-то девалась. Он не знал, где она, и никто ее не видел. Говорили, что вчера вечером она околачивалась поблизости, а потом исчезла. Перед этим Френсис поскандалил с ней из-за денег, и она ушла куда-то, черт ее знает куда.

Френсис получил кофе и хлеб с бродягами, которые завязали, и с теми, которые только еще карантинили; за ними наблюдал священник и желал пообжиматься с их душами. В душу ко мне не лезь, был девиз Френсиса. Дай просто кофе. Потом он стоял перед миссией, убивал время, ковыряя в зубах картонкой от спичек. И тут подошел Руди.

Руди тоже был трезв на этот раз и причесан и подстрижен, хоть и сед. Усы тоже подстрижены, на ногах белые замшевые туфли, хотя и октябрь на дворе, что за черт, бродяга же, и рубашка белая, и стрелка на брюках. Френсис, с одним шнурком на две туфли, с колтуном в волосах, вдыхал вонь своего тела и, впервые в жизни ее устыдясь, почувствовал себя обойденным.

— Красиво выглядишь, бродяга, — сказал Френсис.

— Я был в больнице.

— А чего?

— Рак.

— Брось. Рак?

— Он говорит мне: умрешь через шесть месяцев. Я говорю: умру от пьянки. Он говорит: никакой разницы, хочешь пей, хочешь ешь, все равно не жилец. Рак тебя съест. Желудок — это такая сволочь, ты понял меня? Я сказал: хочу дожить до пятидесяти. А он говорит: ни за что не доживешь. Я говорю: ну и ладно, какая разница.

— Хреново, дед. Есть бутылка?

— Доллар есть.

— Черт, мы в доле, — сказал Френсис.

Но тут вспомнил, что должен Маркусу Горману.

— Слушай, — сказал он, — хочешь поработать со мной и сшибить доллар-другой? Возьмем пару бутылок, переночуем под крышей. Холода идут. Погляди, какое небо.

— А работать где?

— На кладбище. Грязь таскать.

— На кладбище? Можно. Мне надо привыкать к нему. Как платят?

— Черт их знает.

— Я говорю, деньгами платят или дают бесплатную могилу, когда умрешь?

— Без денег пусть другого поищут, — сказал Френсис. — Я себе могилу не копаю.

Они пошли пешком из Олбани в Минандс, километров десять, а то и больше. Френсис чувствовал себя здоровым, идти ему нравилось. Жаль, что он не чувствовал себя здоровым, когда пил. Он хорошо себя чувствовал, но не здорово, особенно по утрам или проснувшись среди ночи. Иногда чувствовал себя мертвым. И

голова, и горло, и желудок: чтобы наладить их, надо было выпить стакан, а то и два — иначе в мозгу получался перегрев от стараний разобраться в жизни и глаза выскакивали. Выпить нужно позарез, когда горло — как язва, а времени — четыре утра, и вино кончилось, и все закрыто, и денег нет, и стрельнуть не у кого, даже если бы и было где открыто. Вот гадость-то. Гадость.

Руди и Френсис шли по Бродвею, и на углу Колони-стрит Френсиса потянуло свернуть, поглядеть на дом, где он родился и где до сих пор живут его брательники с сеструхами. Раз он так сделал в 1935 году, когда мать умерла и он подумал, что уже можно. И чего достиг? Выставили под ж коленкой, вот чего он достиг. Пускай на них обвалится этот дом, тогда я, может, подойду, думал он. Пускай сгниет. Пускай клопы его съедят.

На кладбище, почувствовав воинственное настроение сына, Катрин Фелан забеспокоилась: в смерти ожидались перемены. В вороватом приливе энергии она сплела еще один крест из росших сверху трав с мочковатым корнем, быстро заглотала его, но осталась недовольна вкусом. Травы были тем приятней, чем длинней их корень. Чем длинней сорняк, тем противней крест.

Френсис и Руди шагали по Бродвею на север. Правая туфля у Френсиса хлопала, и задник настырно тер пятку. Он щадил ногу, но вскоре углядел веревочку на тротуаре перед магазином сантехники. Френки Ликхайм сопляк был, когда Френсис был уже большим парнем, а теперь у него свой магазин сантехники — а у тебя что, Френсис? У тебя веревочка. Когда недалеко идешь, шнурков не нужно, а если дорога длинная, без шнурков испортишь ноги на несколько недель. Думаешь, все мозоли, какие нужны в пути, у тебя есть, — а набрел на другую пару туфель, и тут же тебе свеженькие волдыри. Потом до крови их сотрешь, и сиди на месте, покуда не закроются струпьями, а по ним уж новую мозоль набивай.

Веревочка не пролезала в дырки. Френсис рассучил ее и вдел половину, пропустив несколько дырок, чтобы хватило завязать. Потом подтянул носок, вернее, воспоминание о нем — в пятке дыра, на пальце дыра, на подошве тоже, надо другие достать. Стертое место носком проложил и завязал новый шнурок, не туго, а чтобы только туфля не шлепала.

— Есть семь смертных грехов, — сказал Руди.

— Смертных? Это как — смертных?

— Мрут от них. Вот как.

— Что касается меня, я только один признаю, — сказал Френсис.

— Суеверие.

— Ага. Суеверие. Так.

— Зависть.

— Зависть. Это да. Точно.

— Похоть.

— Верно, похоть. Этот мне всегда нравился.

— Трусость.

— Это кто трус?

— Трусость.

— Не знаю, о чем ты. Слова такого не знаю.

— Трусость, — повторил Руди.

— Это слово мне не нравится. Что ты там сказал про трусость?

— Ну трус. Он трясется. Ты знаешь, кто такой трус? Он убегает.

— Нет, такого слова я не знаю. Френсис не трус. Он с кем хочешь будет драться. Слушай, знаешь, что мне нравится?

— Что тебе нравится?

— Честность, — сказал Френсис.

— Тоже грех, — сказал Руди.

По Шейкер-роуд дошли до Норт-Пёрл-стрит и снова повернули на север. Те-

перь они там живут. Церковь Святого сердца перекрасили с тех пор, как он в последний раз ее видел, а напротив, в 20-й школе, устроили корты. И много домов появилось с шестнадцатого года. Вот их квартал. Когда Френсис проходил по этой улице в последний раз, она мало чем отличалась от пастбища. Коровы старика Руни ломали забор и бродили по улице, валили прямо на тротуар и на мостовую. Ты это прекрати, сказал старику судья Роунан. Что прикажешь делать, спросил старик, пеленки на них надевать?

Они добрались до конца Норт-Пёрл-стрит, где она входила в Минандс и, повернув, вливалась в Бродвей. Миновали место, где некогда стояла таверна «Бычья голова». Френсис мальчиком видел там кулачный бой: Гас Рулан вышел из своего угла, лопух-соперник протянул руку для пожатия, а Гас заехал ему, и кончен бал, погасли свечи. Честность. Миновали стадион Хокинса — здоровую дуру отгрохали на месте Чедвик-парка, где Френсис играл в бейсбол. Хороший удар, и мяч катится на край света, в травы. Гав-Гав Бакли кинется за ним, тут же найдет, фокусник, и высадит бегуна с третьей базы, когда до дому рукой подать. Гав-Гав держал в траве пяток запасных про такой случай и хвастал потом своей игрой в поле. Честность. Умер Гав-Гав. Развозил лед и лошадь кулаком огрел, а она его стоптала, так словно бы? Не-ет. Ерунда какая-то. Кто же лезет на лошадь с кулаками?

— Слушай, — сказал Руди. — Не с женщиной ли я тебя видел на днях?

— С какой?

— Не знаю. Элен. Ага, ты звал ее Элен.

— Элен. Ее теперь ищи-свищи.

— Чего же? Сбежала с банкиром?

— Она не сбежала.

— Тогда где она?

— Кто ее знает? Приходит, уходит. Я ей не табельщик.

— У тебя их тыща.

— Там еще много свободных.

— И все хотят с тобой погулять.

— Они на носки мои падают.

Френсис задрал брюки и показал носки: один зеленый, один синий.

— Ты прямо... как его... повеса.

Френсис опустил штанины и пошел дальше, а Руди сказал:

— Эй, что там за чертовщина вчера с марсианами? В больнице только о них и разговору. Ты слышал радио?

— А как же. Они приземлились[1].

— Кто?

— Марсианы.

— Где приземлились-то?

— Где-то в Джерси.

— И что?

— Им там не больше, чем мне, понравилось.

— Нет, серьезно, — сказал Руди. — Я слышал, люди, как увидели их, повыскакивали в окно, из города удрали.

— Молодцы, — сказал Френсис. — Правильно сделали. Как увидишь марсиана, в два окна надо выскакивать.

— С тобой нельзя говорить серьезно. Ты... как это называется... легкомысленный.

— Что ты сказал? Легкомысленный?

---

[1] В 1938 г. Орсон Уэллес сделал радиопостановку по роману Герберта Уэллса «Борьба миров». Многие приняли ее за документальную передачу, и она вызвала панику. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

— То, что ты слышал. Легкомысленный.

— Что это значит, черт возьми? Ты опять читал, фриц полоумный? Говорил же — нельзя вам, трехнутым, читать. Бегаете потом, людей обзываете.

— Это не оскорбление. Легкомысленный — хорошее слово. Вежливое слово.

— Забудь слова, вон кладбище. — И Френсис показал на ворота. — Мне мысль пришла.

— Какая?

— На кладбище полно памятников.

— Это верно.

— Сроду не слыхал, чтобы памятник поставили бродяге.

Прошли длинной подъездной дорогой от Бродвея до кладбищенских ворот. Френсис полюбезничал с привратницей, упомянул Маркуса Гормана и представил ей Руди, тоже хорошего работника, готового трудиться. Она сказала, что грузовик скоро подъедет, а они пусть пока посидят. Потом они с Руди поехали в кузове и занялись могилами.

Поправив последнюю, сели отдохнуть. Шофер грузовика куда-то пропал, и они сидели, глядя с холма на Бродвей, на холмы Ренсслера и Трои за Гудзоном, на плотный дым, извергавшийся из трубы коксового завода за мостом в Минандсе. Френсис решил, что здесь неплохо было бы лечь в землю. Холм был приятно покат: вниз по траве в воду и дальше, за реку, через деревья на дальний холм — вынесет одним махом. Лечь здесь — значит обрести свое место в пространстве и времени. Обзавестись соседями, и даже вполне древними, как Тобиас Баньон, Илиша Скиннер, Элси Уиппл, что покоятся у подножия холма, измельчаясь под белокаменными плитами, с которых исподволь стирают имя снега, пески, кислоты забвения. А много ли стоит увековечение имен? Да, есть такие, кто в смерти, как при жизни, будет всегда нести бремя известности. Потомкам тех, впадающих в безымянность у подошвы холма, суждена более долгая память. Их мраморные плиты на склоне и новее и массивнее, и буквы в них врезаны вдвое глубже, так что имена их будут видны по меньшей мере вечно.

И наконец, Артур Т. Гроган.

Грогановский пантеон что-то смутно напомнил Френсису. Френсис глядел на него и недоумевал, что́, помимо величины, может означать это сооружение. Он ничего не знал об Акрополе, а о Грогане — немногим больше: только то, что он был богатый влиятельный ирландец и в Олбани имя его было у всех на слуху. Френсису не приходило в голову, что это мраморное хранилище ветхих костей есть благолепный сплав древней культуры, современного цента и самообожествления. На его взгляд, гробница Грогана могла бы приютить десятки тел. Это соображение царапнуло память, и перед мысленным взором Френсиса возникла могила Клубничного Билла Бенсона в Бруклине. В девятьсот восьмом году, когда Френсис играл на третьей базе, Клубничный Билл был левым полевым в команде Торонто, а в шестнадцатом, когда Френсис ушел из дома после смерти Джеральда, они встретились на переезде в Ньюберге и вместе вскочили на нью-йоркский товарняк.

Билл кашлял и через неделю после приезда в город умер, прокляв свою короткую жизнь и взяв клятву с Френсиса, что он проводит его на кладбище. Один не хочу туда ехать, сказал Клубничный Билл. Он умер без денег, и поэтому гробом ему был ящик — несколько корявых досок да фунт гвоздей. Френсис доехал с ним до места захоронения и, когда городской возчик с помощником переложили ящик Билла на доски, постоял там, чтобы Билл пообвыкся в новом окружении. Место неплохое, корешок. Вон даже пара деревьев. Тут выглянуло солнце за спиной у Френсиса и, проникнув в щель между досками, осветило полость в земле. Это зрелище поразило Френсиса: огромная каверна с десятком таких же грубых гробов, сваленных один на другой, иные на боку, один стоймя. Вырыто было столько, что поместилось бы еще три-четыре десятка ящиков с мертвецами. Через не-

сколько недель соберется штабель — коробки с пирожками для большой утробы. Теперь тебе нечего волноваться, сказал приятелю Френсис. Большая компания. Поди, и не уснешь еще в таком кагале.

Френсис не хотел быть похороненным, как Клубничный Билл, в коммунальной могиле, но и кувыркаться в мраморном храме размером с общественную баню тоже не хотел.

— Я не прочь, чтобы меня здесь похоронили, — сказал он Руди.

— Ты здешний?

— Был когда-то. Родился здесь.

— Твои родные здесь?

— Кое-кто.

— А кто?

— Ты задавай вопросов больше, а я тебе ответов подвалю.

Френсис узнал холм, где похоронены его родные: как раз напротив меченосного ангела-хранителя, что стоял на цыпочках на третьей мраморной ступеньке и охранял карлика Тоби, героически погибшего на пожаре в гостинице «Дилаван» в 1894 году. Надгробие заказал старик Эд Догерти, писатель, когда прочел в газете, что на могиле нет памятника. Ангел Тоби указывал вниз, туда, где была могила Майкла Фелана, и Френсис отыскал ее взглядом. Мать должна лежать там же, наверное спиной к нему. Хабалка.

Солнце, выглянувшее ради Клубничного Билла, выглянуло и в тот день, когда хоронили Майкла Фелана. Френсис в тот день обливался слезами; отброшенный поездом, Майкл описал в воздухе роковую дугу на глазах у него, и воспоминание об это рвало душу. Френсис нес отцу горячий обед; Майкл увидел его и пошел навстречу. Он благополучно миновал маневровый паровоз, двигавшийся по первому пути, а потом обернулся назад и, пятясь, угодил под поезд, которого не было слышно за лязгом маневрового. Он отлетел и упал комком, и Френсис подбежал к нему первым. Он хотел как-нибудь расправить изломанное тело, но боялся шевельнуть его; поэтому только стащил с себя свитер и подложил отцу под голову. Сколько же людей умирают скрюченными.

Несколько человек из бригады отвезли Майкла домой в фургоне Джонни Коди. Он протянул две недели и удостоился больших некрологов как знатный бригадир, самый известный путеец на Нью-Йоркской центральной железной дороге. Всех путейских дистанции отпустили утром на похороны, и проводить Майкла на новое жительство пришли сотни людей. И королева-мама правила домом единолично, пока не последовала за ним в могилу. Раскопать бы сейчас, подумал Френсис, влезть туда и задушить ее кости. Он вспомнил, как плакал, стоя перед открытой могилой отца, и подумал, что в один прекрасный день некому уже будет вспомнить, что он плакал в то утро, — как некому подтвердить, что кто-то оплакивал Тоби, Илишу, Элси. От горя не остается следов, абстракции первыми заметает снег забвения.

— Я обошелся бы без камня, — сказал он Руди. — Главное, чтоб не одному умирать.

— Если умрешь раньше меня, я разошлю приглашения, — сказал Руди.

Вдруг осознав, что ее никчемный сын готов примириться со смертью, ежели таковая произойдет в товарищеской обстановке, Катрин Фелан фыркнула и высказала свое неодобрение мужу. Но Майкл Фелан провожал взглядом сына, направлявшегося к клену, под которым был похоронен Джеральд. Майкла всегда изумляло, что живые инстинктивно находят дорогу к покойным родичам, не зная заранее их местоположения. Френсис никогда не видел могилы Джеральда, не был на похоронах Джеральда. Весь приход Святой Агнесы был скандализован его отсутствием. Но вот он здесь, идет целеустремленно и слегка прихрамывая, чего Майкл у него прежде не замечал, — идет и закрывает брешь между отцом и сыном, между внезапной смертью и неизбывной виной. Майкл дал знать соседям,

что, кажется, происходит акт духовного обновления, и глаза мертвецов, очевидцев своих собственных исторических упущений и непоправимых расколов в минувшей жизни, безмолвно хлопали Френсису, шагавшему вверх к клену. Руди следовал за приятелем на почтительном расстоянии, чувствуя, что присутствует при событии этапном. Вид побитый, отметил он.

В своей могиле, под кельтским крестом[1], Джеральд наблюдал за приближением отца и раздумывал, как ему надлежит поступить при встрече. Отпустить ли отцу прегрешения — не то, что уронил, это была случайность, а то, что бросил семью, малодушно бежал, когда от него требовалась стойкость? Могила Джеральда задрожала от чаемого великодушия. При жизни не овладевший речью, умерший с односложным лексиконом гуков и нямов, в могиле Джеральд обрел языковой дар. Его способность выражать свои мысли и понимать чужие сделала его гением среди мертвых. Он мог беседовать с любым из местных взрослых на любом языке, но еще изумительнее была его способность понимать верещание векш и воркотню барундуков, безмолвные сигналы жуков и муравьев, склизкие семафоры слизней и червей, ползавших по его могиле и ниже. Он мог читать убывающий ток энергии листьев и крылышек, что ронял на него клен. А поскольку уделом его была невинность и недоля, Джеральд вырастил защитную паутину, отводившую от него всякую влагу, всяких кроликов и кротов и прочую землеройную тварь. Паутина сплелась из яркой серебряной пряжи — тонкотканый, почти прозрачный кокон. Тело его, мало того что избавленное от необходимости гнить, в некоторых отношениях — например волосяного покрова на голове — обрело законченность, с одной стороны, естественную, а с другой — волшебную. В младенческом своем великолепии он приобрел тот лоск, какой наводит ранняя смерть: сияющая золотисто-белая кожа, серебристо-серые ногти, густые кудри с антрацитовым блеском и, в масть им, глаза. Ни кисти, ни перу не описать его, спеленутого в могиле. Не прекрасным и не совершенным предстал бы он зрителю, а несказанным и сказочным существом, подобного которому не сыскать на кладбище, хотя оно изобиловало мертвыми младенцами.

Френсис нашел могилу, не разыскивая. Он стал над ней и воскресил в памяти то мгновение, когда ребенок выскальзывал из его пальцев в смерть. Он помолился об отмене времени, чтобы успеть повеситься в подвале с углем до того, как возьмет перепеленать сына. За невозможностью этого, помолился о том, чтобы сыну был дарован вечный мир в могиле. Верно, конечно, что мальчик не узнал страданий в своей короткой жизни: он быстро умер от перелома шеи и не почувствовал боли: крак, и все кончено. *Джеральд Майкл Фелан*, было выбито на камне. *Родился 13 апреля 1916 г., умер 26 апреля 1916 г. Родился 13-го, прожил 13 дней. Несчастное любимое дитя.*

Слезы потекли у Френсиса из глаз, и, когда одна из них капнула на башмак, он повалился на могилу, вцепился в траву и вспомнил, как его пальцы цеплялись за пеленку. Она пахла душистой младенческой мочой, и, когда ужаснувшаяся рука Френсиса сжала ее, капля священной жидкости упала ему на башмак. Двадцать два года минуло, но и нынче память Френсиса могла выстроить — в зримых, слышных, осязаемых подробностях — всю панораму того дня, с минуты, когда он вышел после смены из депо, до разговора о бейсболе с Бантом Данном в салуне Кинга Брейди и даже путешествия домой с Капом Лоулером, сказавшим, что пиво у Брейди задохлось и пора ему промыть трубы и что Тейлоров мальчишка, их сосед, ходит зелеными острицами. Память начала возвращать забытые образы, когда он составлял уравнение между Артуром Т. Гроганом и Клубничным Биллом, но теперь он просто видел все воочию.

— Я помню все, — сказал Френсис Джеральду. — В первый раз сейчас задумался об этом с тех пор, как ты умер. Тогда после смены я взял четыре пива. Я

---

[1] Кельтский крест — с кругом или концентрическими кругами.

уронил тебя не потому, что был пьян. Четыре пива, и четвертого даже не допил. Оставил на стойке у Брейди возле банки со свиными ножками, чтобы с Капом Лоулером домой идти. Билли тогда было девять лет. Он раньше Пегги узнал, что ты умер. Она еще не вернулась с занятий в хоре. Твоя мать сказала два слова: «Боже мой», и мы разом присели, чтобы поднять тебя. Присели и замерли, когда разглядели тебя. Тут вошел Билли и тоже увидел. Почему Джеральд скрючился? — спрашивает. Знаешь, я видел Билли неделю назад, хорошо выглядит. Хотел купить мне новый костюм. Из тюрьмы меня взял под залог, денег дал пачку. Говорили о тебе. Говорит, мать никогда не кляла меня за то, что я тебя уронил. Двадцать два года — и ни одной живой душе не сказала, что это я. Вот женщина, а? А линолеум под тобой, я помню, был желтый в красную клетку. Как думаешь — раз я начал вспоминать это в открытую, может, хоть теперь помаленьку забуду?

Немым излучением воли Джеральд возложил на беглого отца обязанность совершить последние искупительные акты. Ты не узнаешь, в чем они состоят, молча сказал сын, пока не исполнишь их все. А когда исполнишь — не поймешь, что это было искупление, как не увидел искупления в своем нынешнем убожестве. Но после того как совершишь искупление, ты больше не будешь стараться умереть из-за меня.

Френсис перестал плакать и попробовал высосать хлебную крошку, застрявшую между двумя коренными зубами, последними в почти беззубом рту. При этом он чокнул языком, и белка, заготовлявшая на зиму провиант, испугалась, перестала скрести землю и спиралью взлетела по клену. Френсис воспринял это как сигнал к окончанию визита и обратил взгляд на небо. Исполинский бурт шерсти, режущий глаз белизной, двигался с юга на север по восточной стороне небосвода. Прекрасная шерсть приплыла и согрела день, ветерок ослаб, солнце поднималось к полудню. Френсис уже не зяб.

— Эй, бродяга, — окликнул он Руди. — Давай поищем шофера.

— Ты что там делал? Там у тебя кто-то знакомый лежит? — спросил Руди.

— Мальчик один знакомый.

— Мальчик? А чего он — молодым умер?

— Да, молодым.

— Что с ним стряслось?

— Упал.

— Куда упал?

— На пол упал.

— Ха, я в день по два раза на пол падаю — и не умер.

— Это ты так думаешь, — сказал Френсис.

II

С кладбища в город они ехали на автобусе Олбани — Троя, через Уотервлит. Френсис сказал Руди:

— Раскошелься на десять центов, бродяга.

И они вошли в плоскорылую, красно-кремовую витрину на колесах, обтекаемую по форме, но без уютности коня-качалки, без огонька и живости, свойственных вымирающему трамваю, без искры электрической жизни. Френсис помнил трамваи сердцем, как помнил отцовское лицо, ибо все его молодые годы прошли в любовной близости к трамваю. Трамвай владел его жизнью так же, как железная дорога — жизнью отца. Он проработал в Северном депо Олбани много лет и мог разобрать и собрать трамвай с закрытыми глазами. Из-за трамваев он даже убил человека — в 1901 году, во время трамвайной забастовки. Потрясающие машины, но век их уходит.

— Куда направляемся? — спросил Руди.

— Не все ли тебе равно куда? У тебя что, свидание назначено? Или у тебя билеты в театр?

— Нет, просто охота знать, куда я еду.

— Ты двадцать два года едешь, не знаешь куда.

— Пожалуй, это ты верно заметил.

— Мы едем в миссию, посмотрим, что там и как, может, кто скажет, куда Элен девалась.

— Как зовут Элен?

— Элен.

— Нет, фамилия как?

— На что тебе знать?

— Охота знать, какая у человека фамилия.

— Нет у ней фамилии.

— Ладно, не хочешь говорить — не надо.

— Об том и речь, что не надо.

— Поедим в миссии? Я оголодал.

— Можем поесть, почему нет? Мы трезвые, значит, пустит нас. Я там ужинал на днях — тарелку супу дали, с голоду подыхал. Кислый, гады. Кто завязал, живут там, обжираются, как свиньи, а объедки — все в бак и нам выносят. Помои.

— Нет, кормит все-таки хорошо.

— Хорошо, что не из параши.

— Нет, первый сорт.

— Кто в сортах того самого разбирается. И жрать не даст, сука, пока его проповедь не послушаешь. Смотрю я на бродяг, что там сидят, и удивляюсь. Чего вы сидите, вшей мозгами ловите? А они старые и усталые, все алкоголики. Ни во что они не верят. Голодные просто.

— Я верю, — сказал Руди. — Я католик.

— Ну и я католик. При чем тут это?

Автобус ехал на юг по Бродвею, вдоль бывших трамвайных путей, через Минандс, к Северному Олбани, мимо машиностроительного завода Симмонса, мимо фетровой фабрики, пекарни Бонда, Восточной писчебумажной компании, бумажной фабрики. Остановился на Северной третьей улице, чтобы впустить пассажира, и Френсис увидел через окно свой район — никак нельзя было теперь его не увидеть: начало Северной улицы, спуск к каналу, лесоперевалочную базу, низину, реку. По-прежнему на углу — салун Брейди. Жив ли Брейди? Хорошо подавал. Он играл за Бостон в 1912-м, когда Френсис играл в вашингтонской команде. А закончив, Брейди открыл салун. Только двое из Олбани выступали в высшей лиге — и оба осели на одной улице. Рядом с Брейди стояла закусочная Ника — новая, — и перед ней играли в классики ряженые ребята — клоун, привидение и чудовище. Один прыгал по меловым квадратам. И Френсис вспомнил, что сегодня канун Дня всех святых, Халлоуин, когда привидения заглядывают в дома и мертвые бродят где попало.

— Я жил в конце этой улицы, — сказал он Руди и сам удивился — зачем? Он не собирался раскрывать перед ним душу, но день работы рядом с простаком, забрасывание мертвецов землей в неровном ритме создали между ними связь, и Френсис находил это странным. Руди, двухнедельной давности друг, казался теперь спутником в странствии к невыясненной точке в ином краю. Простак, безнадежный и пропащий, такой же пропащий, как сам Френсис, хотя помоложе годами, он умирал от рака, плавая в невежестве с балластом глупости. Он был бестолков, покорен, как овца, и плакал иногда о своей потерянности; но что-то в нем поднимало дух Френсиса. Оба они искали поведения, приличествующего их ситуации, их невыразимым чаяниям. Оба до тонкости знали все табу, этикет, протокол бродяг. Из разговоров своих они поняли, что разделяют веру в братство обез-

доленных, но в шрамах их глаз написано было, что никакого такого братства нет и в помине, что все их братство в одном — в вечном вопросе: как я перекантуюсь еще двадцать минут? Они боялись остаться без горючего, боялись полицейских, надзирателей, начальников, моралистов, психов, правдолюбцев, друг друга. Они любили рассказчиков, врунов, шлюх, боксеров, певцов, шотландских овчарок, которые виляют хвостом, щедрых бандитов. Руди, думал Френсис, он просто бродяга. А кто нет?

— Долго тут жил? — спросил Руди.

— Восемнадцать лет. Шлюз был под самым домом.

— Какой шлюз?

— На канале Эри, тыква. Я с крылечка мог забросить камень на другой берег.

— Реку я видел, а канала не видел.

— Река была в той же стороне, подальше. И сейчас есть. А лесоперевалки нет уже, осталась только низина, где засыпали канал. Там бродяги селятся. На прошлой неделе я переночевал там с одним старым приятелем. Там и рельсы еще лежат — по этой дороге я как-то ехал на матч в Дейтон. В тот сезон я бил 387.

— Это в каком году?

— В девятьсот первом.

— Мне было пять лет, — сказал Руди.

— А сейчас сколько — восемь?

Они проехали мимо бывшего трамвайного депо на Эри-стрит, теперь там стояли автобусы. Здания покрашены в другой цвет, да и новые появились, но, в общем, похоже на то, что было в шестнадцатом. В тот день в девятьсот первом году из депо выехал трамвай, набитый штрейкбрехерами и солдатами, и нагло понесся к центру по Бродвею, покорно подстелившемуся под колеса. Но на углу Колумбии улица переменила позу: она вскипела яростью забастовщиков и их жен; на углу трамвай попался в ловушку между двумя пылающими простынями, которые Френсис помог зажечь на контактном проводе. Трамвай сопровождали кавалеристы; внутри ехали солдаты с винтовками. И когда продажные шкуры застряли между двумя огненными столпами, Френсис отступил, откинул тренированную руку и круглым гладким камнем, тяжеленьким, как бейсбольный мяч, засветил в голову залетному кондуктору. На солдат посыпались камни, солдаты ответили огнем, двое в толпе осели пустыми мешками — но не Френсис: он рванул к железной дороге и бежал вдоль нее на север, пока не стали лопаться легкие. Он нырнул в канаву и просидел там лет девять в ожидании погони; но погоня так и не появилась, а появился брат Чик и приятели Патси Маккол и Мартин Догерти, и, когда они остановились у канавы, он вылез, и вчетвером побежали дальше на север, мимо лесного склада, и укрылись у его тестя, Железного Джо Фаррелла, начальника очистной станции, которая из воды Гудзона приготовляла питьевую для народа Олбани. А немного позже, выяснив точно, что возле Олбани ему обретаться нельзя, потому что штрейкбрехер точно умер, Френсис вскочил на поезд, следовавший на север: на запад он не мог поехать, для этого пришлось бы сперва вернуться в безумный город. Не велика беда: он поехал на север, потом пошел пешком, добрался до дороги западного направления и поехал по ней на запад, до самого Дейтона, Ага-йо.

Штрейкбрехер был первым, кого убил Френсис Фелан. Звали его Гарольдом Алленом, и был он холостяк из Вустера, Массачусетс, член НОЧ[1], шотландско-ирландского происхождения, двадцати девяти лет, два года как из колледжа, ветеран испано-американской войны, в боях не участвовал, странствующий маляр, который нанялся штрейкбрехером в Олбани и теперь сидел через проход от Френ-

[1] Независимый орден чудаков — общество взаимопомощи с ритуалом масонского типа, основано в начале XVII в. в Англии.

сиса в длинной черной шинели и форменной фуражке.

За что ты меня убил? — с таким вопросом обратились к Френсису глаза Гарольда Аллена.

— Я не хотел тебя убить, — сказал Френсис.

И поэтому кинул камень величиной с картофелину и раскроил мне череп? У меня вытекли мозги, и я умер.

— Ты получил по заслугам. Штрейкбрехеры получают то, что им причитается. Я поступил правильно.

Значит, ты совсем не раскаиваешься.

— Вы, суки, отбираете у нас работу — что же это за человек, если он не дает человеку кормить семью?

Странно слышать это от человека, который бросил семью на все лето и потом бросал каждый год на весну и лето, сколько длился бейсбольный сезон. И не ты ли бросил семью окончательно в 1916 году? Насколько я понимаю, за двадцать два года ты ни разу не навестил своих.

— Были причины. А камень? Солдаты бы меня застрелили. Что же мне — лапки кверху? А потом я уронил новорожденного сына, и он умер, и я не в силах был с этим жить.

Трус — он бежит.

— Френсис не трус. У него были причины, и веские, черт возьми.

Тебе нечем оправдать свой поступок.

— Нет есть чем, — закричал Френсис. — Мне есть чем оправдать.

— Ты кого там оправдываешь? — спросил Руди.

— Вон там, — Френсис показал на железнодорожные пути за трамвайным депо, — я сидел в товарном вагоне и ехал на север, неведомо куда, но опасность вроде уже миновала. Он шел не очень быстро, иначе бы я не вскочил на ходу. Смотрю и вижу, впереди бежит парень, бежит как угорелый, как я только что бежал, а за ним гонятся двое, и один из них, похожий на полицейского, еще и стреляет. Остановится и выстрелит. А парень бежит, мы его нагоняем, и тут я вижу, что сзади него бежит еще один. Оба — к поезду. Я выглядываю из-за двери, осторожненько, чтобы не подстрелили, и вижу, первый хватается за лесенку одного вагона и нырь туда — влез, а они все стреляют, и тут — как раз мы по переезду катимся — второй подбегает к моему вагону и кричит: «Помоги мне, помоги», а они палят по нему, как сволочи, — вылезешь помогать, подстрелят в два счета.

— И что ты сделал? — спросил Руди.

— Лег на брюхо и вывесился — чтобы мишень им была поменьше, — протянул парню руку, он хватается за нее, почти ухватился, я уж втягивать его начал, и тут шарах — влепили ему в спину, и будь здорова, дорогая, я надолго уезжаю. Парень убит, я вкатываюсь в вагон и только в Уайтхолле, когда второй парень заваливается ко мне, узнаю́, что оба — беглые, их везли в Олбани, в окружную тюрьму. А тут — трамвайная забастовка, стрельба и заваруха, потому что кто-то кинул камень и убил штрейкбрехера. Толпа на улице ошалела, шум, беготня, конвоиры, которые с ними, отвлеклись, и ребята дали деру. Убежали, залегли где-то, потом выскочили, пробежали еще километров пять, как я, но конвоиры напали на след и погнались за ними. Этого первого так и не поймали. Он доехал со мной до Дейтона, благодарил меня, что я хотел помочь его корешу, и даже двух кур украл, пока мы стояли на сортировочной. Наелись — прямо в вагоне их жарили. Он был убийца, этот парень. Задушил какую-то приличную женщину в Селкерке и сам не понял зачем. А которого подстрелили, тот был конокрадом.

— Видно, ты много нехорошего на своем веку повидал, — сказал Руди.

— Да, где кровь течет и черепа раскалываются, — сказал Френсис, — я знаю, чем там пахнет.

Конокрада звали Альдо Кампьоне: иммигрант из города Терамо в Абруцци,

он поехал в Америку искать счастья и нашел работу на строительстве Нью-Йоркского баржевого канала. Но как человек сельский, соблазнился видами на лошадей в городе Коймансе, был сразу пойман, посажен в тюрьму, препровожден для суда в Олбани и убит при попытке к бегству. Урок его Френсису был таков: жизнь полна капризов и несостоявшихся поездок; воровать дурно, в особенности если тебя ловят; пулю не перегонишь, будь ты даже итальянец; рука, поданная в минуту нужды, прекрасна. Все это Френсис и сам знал неплохо, так что истинный урок Альдо Кампьоне заключался не в умственных выводах, а в зрелище; ибо Френсис до сих пор помнил обращенное к нему лицо Альдо. Оно походило на его собственное; вот почему, возможно, Френсис и пошел на риск: чтобы спасти свое лицо своею собственной рукой. Кинулся Альдо к раскрытой двери вагона. Протянулась ему навстречу рука Френсиса Фелана. Прикоснулась к согнутым пальцам Альдо. Пальцы Френсиса сжались и потянули. И напряглась рука. Напряглась! И Альдо поддается — к двери, к двери, вверх! Прыгни! Тащи, Френсис, тащи! Ну, оп! Хват прочен. Человек уже в воздухе, летит к свободе на сильной руке Френсиса Фелана. А потом шарах — и отпустил. Шарах — и он внизу, он катится, он мертвый. До свиданья, дорогая.

Когда автобус остановился на углу Бродвея и Колумбия-стрит, на том самом, где позорный трамвай попался в ловушку между пылающими простынями, в салон вошел Альдо Кампьоне. В белом фланелевом костюме, в белой рубашке, с белым галстуком, волосы прилизаны, в бриолине. Френсис сразу понял, что белый этот наряд — не невинности, а смирения. Низкого происхождения был человек, с низким доходом и поступок совершил низкий. И смерть за него принял ниже некуда, в пыли и прахе. Новый костюм ему, наверно, выдали на том свете. И вот он прошел по проходу и встал между Руди и Френсисом. Он протянул руку Френсису с намерением непонятным. То ли это просто приветствие, принятое в Абруцци? То ли угроза, предостережение? Или запоздалая благодарность, или даже сочувствие к такому человеку, как Френсис, который прожил долго (по сравнению с ним), много пережил и продвигался к смерти. Или, чего доброго, — милостивый жест, приглашение туда, если уже не «добро пожаловать» оттуда. При этой мысли Френсис, протянувши было руку навстречу, живо ее отдернул.

— Мертвым конокрадам руки не подаю, — сказал он.

— Я не конокрад, — сказал Руди.

— А похож, — сказал Френсис.

Тем временем автобус остановился на углу Медисон авеню и Бродвея, и Руди с Френсисом сошли в морозные шестичасовые сумерки последнего вечера октября 1938 года, нечестивой поры, когда благодати нехватка, а старо- и новопреставленные лезут в общественный транспорт на этой земле.

* * *

В песке и пыли, на лысом пустыре возле миссии Святого Спасения, простершись под освещенным окном, лежало человеческое тело. Вытянутость его позы заставила Френсиса остановиться. Тела в проулках, тела в канавах, тела повсюду были вечной составляющей его ландшафта: телесная литания усопших. Это тело было женским и будто выполняло посмертный полет во прахе: лицом вниз, руки вперед, ноги раскинуты.

— Эге, — сказал, остановившись, Руди. — Это Сандра.

— Сандра, а дальше как?

— Сандра дальше никак. У ней только имя. Как у Элен. Она эскимоска.

— Черт полоумный! Все у тебя или чероки, или эскимосы.

— Нет, точно говорю. Она на Аляске работала, когда там строили дороги.

— Умерла?

Руди нагнулся, взял Сандру за руку, подержал. Сандра отняла руку.

— Нет, — сказал Руди, — не умерла.

— Тогда вставай давай, Сандра, — сказал Френсис, — а то собаки жопу отгрызут.

Сандра не шевелилась. Волосы ее утекали от ее неподвижности — желто-белые космы струились в пыли, линялое грязное платье закрутилось под коленями, открыв чулки, разорванные в стольких местах, что их уже и нельзя было назвать чулками. Поверх платья на ней были два свитера, заляпанные и драные. Левая туфля отсутствовала. Руди нагнулся и похлопал ее по плечу.

— Эй, Сандра, это я, Руди. Ты меня знаешь?

— Х-х-х-н, — сказала Сандра.

— Что с тобой? Заболела или как? Или просто пьяная?

— Д-н-н-н, — сказала Сандра.

— Она пьяная, — выпрямившись, сказал Руди. — Совсем уже не может пить. Валится.

— Замерзнет тут, придут собаки и жопу отгрызут, — сказал Френсис.

— Какие собаки?

— Собаки — собаки. Не видел, что ли?

— Собак я мало вижу. Я люблю кошек. Кошек я много вижу.

— Если пьяная, в миссию не впустят, — сказал Френсис.

— Это верно, — согласился Руди. — Придет пьяная — он ее выпрет. Пьяных женщин он еще хуже, чем нас, не любит.

— Какой же он к черту проповедник, если не проповедует тем, кто нуждается в этом?

— Пьяницы не нуждаются, — сказал Руди. — Ты хотел бы служить в комнате, полной бродяг вроде нее?

— Она бродяга или просто в запое?

— Бродяга.

— Похожа на бродягу.

— Она всю жизнь бродяга.

— Нет, — сказал Френсис. — Всю жизнь нельзя быть бродягой. Кем-то она раньше была?

— Раньше была проституткой, а стала бродягой.

— А до того, как стала проституткой?

— Не знаю, — сказал Руди. — Говорит только, что была проституткой на Аляске. А до того, наверно, — просто девочкой.

— Вот видишь? Девочкой! Значит, не бродягой и не проституткой.

Френсис увидел в потемках потерянную Сандрой туфлю и подобрал. Положил рядом с ее левой ногой, потом присел и сказал ей в левое ухо:

— Ты замерзнешь сегодня ночью, поняла? Холод будет, мороз. Может снег пойти. Слышишь? Тебе надо убраться куда-нибудь от холода. Я эти две ночи спал в траве, и был жуткий холод, а сегодня уже сейчас холоднее, чем вчера ночью. Я чуть руки не отморозил, а прошел всего два квартала. Сандра! Слышишь, что я говорю? Если добуду тебе чашку горячего супа — выпьешь? Сможешь проглотить? Непохоже, что сможешь, но вдруг. Примешь в себя горячего супу — не так скоро замерзнешь. А может, ты хочешь сегодня замерзнуть, может, потому и улеглась в пыли. Тут даже травы нет, чтобы в уши не надуло. Я когда на улице сплю, люблю, чтобы бурьян был повыше. Супу хочешь?

Сандра повернула голову и поглядела на Френсиса одним глазом.

— Ты кто?

— Да так, бродяга, — сказал Френсис. — Но трезвый и могу достать тебе супу.

— Выпить достанешь?

— Нет, у меня таких денег нет.

— Тогда супу.
— Хочешь встать?
— Нет. Я тут подожду.
— В пыли вся вывозилась.
— Ну и ладно.
— Как хочешь, — сказал Френсис, поднимаясь. — Но смотри берегись собак.

Она заскулила вслед уходившим Руди и Френсису. Ночь была — черный ворон, и ветер нес миру лед. Френсис признал, что проповедовать Сандре — бессмысленно. Кто стал бы проповедовать Френсису в бурьяне? Но разве правильно — не пускать ее погреться? Если ты пьяный, это не значит, что ты не мерзнешь.

— Если ты пьяный, это не значит, что ты не мерзнешь, — сказал он Руди.
— Верно, — согласился Руди. — Кто это сказал?
— Я это сказал, макака.
— Я не макака.
— А похож.

Из миссии доносились ревностные звуки, производимые органистом-любителем, и несколько голосов пели хвалу нашему Христу, где бы мы все были без Него? Голоса принадлежали его преподобию Честеру и пятку мужчин в рубашках. Они сидели на складных стульях в первых рядах церкви. Честер, раблезианского вида косолапый мужчина с буйными седыми волосами и смолоду воспалившимся от виски лицом, стоял у аналоя и наблюдал паству — десятка четыре мужчин и одну женщину.

Элен.

Френсис увидел ее с порога — серый берет набекрень, старое черное пальто. В отличие от остальных, она не держала псалтырь, а сидела, сложа руки и всем своим видом дерзко отрицая возможность спасения усилиями методиста, подобного Честеру: Элен была католичка. Если ей и подвалит спасение, то пусть уж через ее церковь, истинную церковь, единственную.

Христово имя, — пели Честер и его приверженцы в рубашках, —

Христово имя, ты рассеешь страх,
Покончишь ты с печалью и тоской,
Ты музыка у грешника в ушах,
Ты наша жизнь, здоровье и покой[1].

Остальные семь восьмых паствы, мужчины с чумазыми, удрученными, разнообразно обросшими лицами, нахохлившись в своих пальто и держа на коленях шляпы — у кого они были, — хранили молчание или рассеянно подбормотывали певчим, а то и вовсе клевали носом. Пение продолжалось:

Грех сокрушает Иисуса сила,
Надежду и для узника храня.
Христова кровь всех грешников отмыла,
Христова кровь спасла меня.

Меня-то нет, сказал себе, неспасенному, Френсис, вновь ощутив свою немытую вонь, которая по сравнению с утром усилилась. Пот трудового дня, запах засохшей земли на руках и одежде, гнилостное кладбищенское амбре, притворившееся ветреной продувной свежестью, — все это наделось, как обонятельный наряд, на личную вонь. Когда он повалился на могилу Джеральда, встречный выхлоп изгаженной жизни чуть не удушил его.

Услышьте, глухие,
Немые, раскройте уста,
Хвалы вознесите Мессии,
Слепые, узрите спасителя мира Христа,
Пляшите от счастья, хромые.

[1] Здесь и далее стихи в переводе Е. Кассировой.

Хромые и колченогие безрадостно опустили свои песенники, а Честер, перегнувшись через аналой, окинул взглядом собрание. Тут, как всегда, были хорошие люди, добропорядочные, в самом деле томившиеся без работы, жертвы общества, изуродованного алчностью, ленью, глупостью и Богом, впавшим в гнев при виде вавилонских излишеств. Эти бывали в миссии лишь транзитом; им священник мог только пожелать удачи, прочесть молитву, дать поесть перед долгой дорогой. Истинными же его адресатами были другие: пьянь, ханыги, дураки, полоумные, для которых одной удачи — мало. Им нужен расписанный путь, ментор и провожатый по адам и чистилищам их дней. Нести слово и свет стало трудно, ибо вера в людях дышала на ладан и антихрист был на коне. Предсказано было у Матфея и в Откровении, что все меньше и меньше будут почитать Библию, все больше будет беззакония и разврата. Слово, песнь, свет — они скоро погибнут, ибо мы, без сомнения, присутствуем при конце времен.

— Заблудшие, — сказал священник и подождал, пока слово осядет в их поврежденных скворечниках. — Пропащие, пропащие навеки. Мужчины и женщины, заблудшие, безнадежные. Кто спасет вас от праздности вашей? Кто помчит вас по шоссе спасения? Христос спасет! Христос избавит!

Священник выкрикнул слово «избавит» и разбудил половину прихожан. Руди, клевавший носом, вскинулся и, ошалело взмахнув рукой, вышиб псалтырь из рук у Френсиса. Книжка шлепнулась на пол, его преподобие Честер уперся в Френсиса взглядом. Френсис кивнул, священник ответил ему кремнёвой улыбкой.

Затем он благословил паству. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство небесное. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Братья, катящиеся под уклон, вы, обитатели бедных улиц в вечном городе, всем нам давшем приют, не печальтесь, что пали духом. Не страшитесь мира оттого, что вы кротки и смирны. Не думайте, что горькие ваши слезы напрасны, ибо все сие есть ключ к Царствию Божию.

Люди сразу погрузились в сон, а Френсис решил, что смоет с лица трупную вонь и стрельнет у Честера новую пару носков. Честеру слаще нет как одарять носками исправившихся пьяниц. Напитай голодного, трезвого одень.

— Готовы ли упокоить ум свой и сердце? — спросил священник. — Есть тут сегодня человек, желающий иной жизни? Господь говорит: Приидите ко Мне. Внемлете ли Его слову? Так встаньте же. Выйдите вперед, преклоните колени и будем говорить. Сделайте так и спасены будете. Ну! Ну!

Никто не шелохнулся.

— Тогда аминь, братья, — с досадой сказал священник и сошел с амвона.

— Слава Богу, — сказал другу Френсис, — супу сейчас даст.

Началась толчея у стола, разливка кофе, черпание супа, раздача хлебов ревностными добровольцами приюта. Френсис нашел Махоню, добрую душу, приютского хозяйственника, и попросил у него чашку супа для Сандры.

— Ее бы впустить надо, — сказал Френсис. — Замерзнет там.

— Ее впускали, — сказал Махоня. — Он ее не оставил. Она была набравшись, а у него на этот счет — сам знаешь. Супу он даст, только Боже тебя упаси сказать, кому это.

— Секретный суп, — сказал Френсис.

Он вынес суп черным ходом, прихватив с собой Руди, и нашел Сандру на прежнем месте, за пустырем. Руди перевалил ее на спину и усадил. Френсис поднес чашку ей под нос.

— Суп, — сказал он.

— Псу, — отозвалась Сандра.

— Ешь, — Френсис наклонил чашку. Суп потек по подбородку, но Сандра ничего не проглотила.

— Не хочет, — сказал Руди.

— Хочет, — сказал Френсис. — Злится, что это не вино.

Он попробовал еще раз, и Сандра сделала глоток.

— Когда я там ночевал, — сказал Руди, — Сандра, помню, говорила, что хотела стать сестрой. Не то была сестрой. Так, Сандра?

— Нет.

— Чего — нет? Не была или не хотела?

— Врач.

— Врачом хотела быть, — объяснил Френсис и снова наклонил чашку.

— Нет, — сказала Сандра, оттолкнув суп.

Френсис поставил чашку и надел драную туфлю ей на левую ногу. Потом поднял ее — перышко, отнес к приюту и посадил к стене спиной, чтобы хоть не так дуло. Ладонью стер плотную пыль с ее лица. Дал ей еще глотнуть из чашки.

— Врач хотел, чтоб я стала сестрой, — сказала она.

— А ты не хотела, — сказал Френсис.

— Хотела. А он умер.

— А-а, — сказал Френсис. — Любовь?

— Любовь, — сказала Сандра.

В миссии Френсис отдал чашку Махоне, а тот вылил суп в раковину.

— Как она, ничего? — спросил Махоня.

— Лучше не бывает.

— Ее и «скорая» теперь не возьмет. Разве что кровью исходить будет.

Френсис кивнул и пошел в уборную, чтобы смыть с рук Сандрину пыль и кладбищенский смрад. Потом он вымыл лицо, шею и уши; закончив, вымыл еще раз. Прополоскал рот, указательным пальцем левой руки почистил зубы. После этого смочил волосы, расчесал их девятью пальцами и вытерся мокрым полотенцем, висевшим на стене. К тому времени, когда он взял суп и хлеб и уселся рядом с Элен, многие уже поели.

— Где ты пряталась?

— А то тебе интересно. Я уж три раза могла бы на улице сдохнуть, а ты бы и не узнал.

— Откуда я к чертям узна́ю: орешь, топочешь, а потом сбегаешь как ненормальная.

— Будешь с тобой ненормальная — все до гроша спустил. Ты совсем рехнулся, Френсис.

— У меня есть деньги.

— Сколько?

— Шесть.

— Где взял?

— Весь день работал на кладбище как проклятый, могилы ровнял. Наломался.

— Ты работал?

— Целый день, правда.

— Чудесно. И трезвый. И ешь.

— И вина не пил. Не курил даже.

— Как мило. Хороший мальчик, я тобой горжусь.

Френсис набросился на суп, а Элен улыбнулась и допила кофе. Половина народу уже ушла из-за стола. Напротив них рассеянно ел Руди. Махоня и отзывчивые добровольцы шумно собирали посуду и носили на кухню. Священник тоже допил кофе и подошел к Френсису.

— Я рад, что ты встал на путь исправления.

— Ага, — сказал Френсис.

— А ты как, маленькая леди?

— Я — совершенно восхитительно, — сказала Элен.

— Если хочешь, Френсис, для тебя, кажется, нашлась работа.

— Я сегодня работал на кладбище.

— Отлично.

— Не скажу, что всю жизнь мечтал копать землю.

— Может быть, новая окажется лучше. Сегодня заходил старьевщик Росскам — ищет помощника старик. Я ему иногда посылаю людей и вспомнил про тебя. Если всерьез хочешь покончить с пьянкой, сможешь прилично подзаработать.

— Старьевщик, — сказал Френсис. — А работа какая?

— Ездить по домам с тележкой. Росскам покупает тряпье, бутылки, лом, бумагу; мусор не берет. Возит сам, но состарился — ему нужна пара крепких рук.

— Где он?

— На Грин-стрит, под мостом.

— Спасибо, я к нему зайду. А еще буду благодарен, если дадите мне пару носков. Мои совсем сопрели.

— Какой размер?

— Десятый. Да хоть девятый, хоть двенадцатый.

— Найду десятый. А ты, Френсис, хорошую работу не бросай. Рад, что и у тебя все хорошо, маленькая леди.

— У меня все очень хорошо, — сказала Элен. — Исключительно замечательно. — Когда Честер отошел, она сказала: — Рад, говорит, что у тебя все хорошо. У меня все прекрасно, и не хрена мне говорить, что у меня хорошо.

— Не ссорься с ним, — сказал Френсис. — Он мне носки обещал.

— Возьмем пару бутылок? — спросил у него Руди. — А на ночь приткнемся где-нибудь.

— Бутылок? — переспросила Элен.

— Это я утром сказал, — объяснил Френсис. — Нет, никаких бутылок.

— На шесть долларов можем снять комнату и выкупить чемодан, — сказала Элен.

— Шесть я не могу, — сказал Френсис. — Надо дать чего-то адвокату. Два ему дам. Ведь это он мне работу сосватал, а я ему должен полсотни.

— А где собираешься ночевать? — спросила Элен.

— А ты где ночевала?

— Нашла место.

— У Финни в машине?

— Нет, не у Финни. Знаешь же, что больше там не останусь. Ни на одну ночь там больше не останусь.

— А куда ты пойдешь?

— А ты где ночевал?

— Я ночевал в бурьяне, — сказал Френсис.

— А я койку нашла.

— Да где, черт возьми, где?

— У Джека.

— Я думал, ты больше не любишь Джека и Клару.

— Не скажу, что они мои любимцы, но койку они мне дали.

— Это хорошо с их стороны.

Подошел Махоня со второй чашкой кофе и сел напротив Элен. Махоня был толстый, лысый и целыми днями жевал незажженную сигару. В молодости он занимался стрижкой, но когда его жена вынула все их деньги из банка, отравила его собаку и сбежала с парикмахером, которого Махоня, за счет усердия и тупейного таланта, вытеснил с рынка, Махоня запил и кончил бродягой. Однако гребенку и ножницы он носил с собой в доказательство того, что талант его — не вымысел пропойцы, и стриг бродяг за пятнадцать центов, иногда за десять. Он и в приюте продолжал стричь — уже бесплатно.

В 1935 году, вернувшись в Олбани, Френсис познакомился с Махоней, и они не просыхали месяц. А несколько недель назад, когда Френсис снова появился в городе, чтобы регистрироваться за демократов — по пять зеленых за фиктивную душу, — пути его с Махоней вновь пересеклись. Избирательная кампания принесла Френсису 50 долларов и еще 55 осталась должна — но на эти рассчитывать не приходилось. А Махоня теперь был в завязке и полон энергии — заведовал хозяйством в приюте у Честера. Теперь он стал смирным, не пил и не пел, как прежде. Френсис сохранил к нему доброе чувство, но считал его эмоциональным калекой: да, трезв, но какой ценой?

— Видал, кто играет в «Позолоченной клетке»? — спросил Махоня.

— Я газет не читаю.

— Оскар Рио.

— Наш Оскар?

— Он самый.

— Что он делает?

— Бармен-певец. Докатился, а?

— Оскар Рио, который выступал по радио? — спросила Элен.

— Тот самый, — подтвердил Махоня. — Фарт свой пропил, но теперь завязал, работает в баре. Не то, что было, конечно, но хотя бы жив.

— Мы с ним и с Махоней дня три гудели в Нью-Йорке. Так, Махоня?

— Если не неделю, — сказал Махоня. — Счет дням потеряли. Но спел он миллион раз и в каждом месте, где пили, садился за рояль. Такого музыкального выпивохи я в жизни не встречал.

— И я когда-то пела его песни, — сказала Элен. — «Возлюбленный индиец», «Джордж, мой пирожок» и эту красивую, протяжную: «С тобой под персиковым деревом». Он сочинял душевные и добрые, я их все пела, когда еще пела.

— Я не знал, что ты пела, — сказал Махоня.

— Я безусловно пела и превосходно играла на фортепьяно. Пока был жив отец, я училась классической музыке. В Вассаре[1].

— Альберт Эйнштейн был в Вассаре, — сообщил Руди.

— Черт ненормальный, — сказал Френсис.

— Он там речь произносил. Я читал в газете.

— Это могло быть, — сказала Элен. — Там все выступают. Вассар — один из трех лучших институтов в мире.

— Надо пойти проведать Оскара, — сказал Френсис.

— Без меня, — сказал Махоня.

— Нет, — сказала Элен.

— Почему? — спросил Френсис. — Боишься, напьемся, если зайдем поздороваться с приятелем?

— Этого я не боюсь.

— Тогда пойдем. Оскар хороший малый.

— Думаешь, он тебя помнит? — спросил Махоня.

— Может, помнит. Я его помню.

— И я.

— Так пошли.

— Я пить не буду, — сказал Махоня. — Я два года не был в баре.

— Там есть лимонад. Лимонад тебе разрешают?

— Бар, надеюсь, не дорогой? — спросила Элен.

— Смотря что пьешь, — сказал Махоня. — Цены обычные.

— Публика чванливая?

— Бар как бар, в старинном духе. Но половина выручки — от богатых пижо-

---

[1] Респектабельный колледж в Покипси, штат Нью-Йорк, первоначально — женский.

нов, которые ходят туда повидать дно.

К ним бодро подошел его преподобие Честер — рот благодушным полумесяцем, широкую грудь расперло добротой — и вручил Френсису пару серых шерстяных носков.

— Примерь.

— Спасибо вам за носки.

— Они хорошие, теплые.

— Как раз то, что нужно. Мои совсем сносились.

— Молодец, что не пьешь. И выглядишь сегодня свежее.

— Это у меня маска для Халлоуина.

— Не надо себя принижать. Не теряй веры.

Открылась входная дверь, и в проеме возник худенький молодой человек с рыжими вихрами и в бифокальных очках. На нем было синее пальто размера на два меньше положенного. Он стоял прямо под лампой, не отбрасывая тени, и держался за дверную ручку.

— Дверь закрой! — крикнул Махоня.

Молодой человек сделал еще шаг и захлопнул дверь. Испуганный кроличий взгляд его бегал по помещению, лицо было как треснутая тарелка.

— Кранты ему, — сказал Махоня.

Священник решительно подошел к двери, остановился вплотную к пришельцу, вгляделся, принюхался.

— Ты пьян.

— Пару всего принял.

— Э, нет. Это уже через край.

— Честное слово, — сказал молодой человек. — Две бутылки пива.

— Где ты взял деньги на пиво?

— Один там отдал мне долг.

— Ты попрошайничал.

— Нет.

— Ты бездельник.

— Я только выпил чуть, ваше преподобие.

— Складывай вещи. Я сказал тебе: в третий раз этого не потерплю. Артур, дай его чемоданы.

Махоня встал из-за стола и поднялся наверх, где обитала временно горстка тех, кто разбирался со своей жизнью. Священник и Френсису предложил остаться — если он просохнет. У него будет чистая постель, чистая одежда, трехразовый харч и теплая комната на двоих с Христом, покуда он будет решать для себя вопрос: «Что дальше?» Рекорд миссии принадлежал Махоне: восемь месяцев житья, а с четвертого — заведующий хозяйством, столь стоек он был в воздержании. Не пей, не кури наверху (пьяные пожароопасны), неси свою трудовую ношу и подымешься тогда, непременно подымешься в сияющие объятия Бога праведного. Кухонные добровольцы прервали работу и с торжественной жалостью пришли наблюдать изгнание молодого многообещающего собрата. Махоня спустился с чемоданом и поставил его у двери.

— Махоня, дай сигаретку, — сказал молодой человек.

— У меня нет.

— Ну скрути тогда.

— Говорю, нет у меня табаку.

— А-а.

— Ты должен уйти, Рыжик, — сказал священник.

Элен встала, подошла к Рыжику и протянула ему сигарету. Он взял ее, ничего не сказав. Элен зажгла спичку, дала ему прикурить и вернулась на место.

— Мне некуда идти, — сказал он, выдув дым мимо священника.

— Надо было подумать об этом до того, как начал пить. Ты своеволен, молодой человек.

— Мне чемодан даже некуда деть. И я забыл наверху карандаш и бумагу.

— Чемодан оставь здесь. За карандашом и бумагой придешь, когда из тебя выветрится отрава и ты сможешь говорить о себе как разумный человек.

— Штаны там остались.

— Никуда они не денутся. Никто твоих штанов не возьмет.

— Можно выпить чашку кофе?

— На пиво деньги нашлись — найдутся и на кофе.

— Куда мне идти?

— Не имею представления. Приходи трезвый, получишь еду. А теперь — ступай.

Рыжик взялся за ручку, открыл дверь, шагнул за порог. Потом вернулся и показал на чемодан.

— У меня там сигареты.

— Так забери их.

Рыжик расстегнул ремень на чемодане и, порывшись, достал пачку «Кемела». Потом снова стянул чемодан ремнем и выпрямился.

— Если я завтра приду?..

— Завтра и посмотрим, — сказал священник, открыв дверь, и вытолкнул молодого человека в темноту.

— Штаны мои не потеряйте, — крикнул Рыжик в стекло затворившейся двери.

* * *

Френсис в новых носках первым вышел из приюта, первым тревожно заглянул за угол, где со вчерашнего вечера, все так же прислонясь к стене, сидела Сандра: ночь зашила ей глаза, как дневной птице. Френсис тронул ее твердым пальцем, она пошевелилась, но глаз не открыла. Он поглядел на полную луну — серебряный уголь, который освещал эту ночь для кровящих женщин и пенногубых безумцев, а его согревал — его же собственной огромной тенью, мостившей ему путь. Когда Сандра пошевелилась, он прикоснулся к ее щеке тыльной стороной руки и ощутил ледяной холод ее тела.

— У тебя нет там старого одеяла, или тряпок, или от какого бродяги пальто осталось — накинуть на нее? — спросил он Махоню, который стоял в тени, размышляя о неожиданной встрече.

— Что-нибудь найдется, — Махоня высвободил ключи и отпер дверь темного приюта: все огни были погашены, только на кухне еще горели и будут гореть до одиннадцати — до окончательного закрытия.

Махоня распахнул дверь и вошел, а Руди, Элен и Френсис, окружив Сандру, наблюдали за ее дыханием. На глазах у Френсиса человек двенадцать испустили последний вздох — все были бродяги, кроме отца и Джеральда.

— Может, перережем ей горло, тогда ее «скорая» заберет, — сказал Френсис.

— Не нужна ей «скорая», — сказала Элен. — Она заспать все это хочет. И даже холода не чувствует, точно вам говорю.

— Она как ледышка.

Сандра шевельнулась, повернула голову на голоса, но глаз не открыла.

— Вино есть? — спросила она.

— Вина нет, золотко, — сказала Элен.

Вышел Махоня с серой тряпкой, возможно бывшим одеялом, — и шершавой этой двуличностью обернул Сандру. Он заткнул край в ворот ее свитера и соорудил вокруг головы подобие капюшона, отчего она сделалась похожа на монахиню.

— Я на нее нагляделся, — сказал Френсис и пошел прочь, из-за холода прихрамывая сильнее обычного. За ним последовали Элен с Махоней, а потом и Руди.

— Ты ее раньше знал, Махоня? — спросил Френсис. — Ну — когда она была в форме?

— Конечно. Ее все знали. По очереди. А потом она стала устраивать любовные вечеринки — так у ней это называлось, — только злобничать начала: сперва, значит, любовь, а потом искусает. Столько народу поранила, что потом только незнакомые соглашались. А потом кончила с этим, сошлась с одним ханыгой, Фредди, и с год они специализировались друг на дружке. Потом он куда-то уехал, а она — нет.

— Никто так не страдает, как покинутые возлюбленные, — сказала Элен.

— Это всё колеса, — возразил Френсис. — Полно народу страдает, а никогда не любили.

— Кто любил, страдает больше, — сказала Элен.

— Ну да. Махоня, где этот шалман? На Грин-стрит?

— Ага. Еще пару кварталов. Где раньше был «Веселый театр».

— Я ходил туда. Смотрел канканных кисок с письками.

— Френсис, веди себя прилично, — сказала Элен.

— Я приличный. Приличней меня ты за неделю ничего не встретишь.

На Грин-стрит их окружили домовые, привидения в капюшонах, Чарли Чаплин с набеленным лицом, при котелке и тросточке, и девочка в старинной громадной шляпе, которую украшала натуральной величины птица.

— Они заберут нас! — сказал Френсис. — Остерегись! — Он вскинул руки и затрясся в жуткой пляске. Дети засмеялись и заухали страшными голосами.

— Ох какой славный вечер, — сказала Элен. — Холодно, но славно, и погода ясная, правда, Френ?

— Славно, — сказал Френсис. — Все славно.

* * *

Дверь «Позолоченной клетки» вела в вестибюль бывшего театра «Веселье», превращенный в заднюю часть бара. Сам же бар изображал — отчасти пародийно — богемные пивные Нью-Йорка сорокалетней давности. Френсис уставился на пару монументальных полуодетых грудей, колыхавшихся под рыжей шевелюрой и алым ртом. Обладательница этого богатства исполняла с эстрады городские страдания: «Ты б меня не оскорблял, если б рядом Джек стоял» — голосом, настолько лишенным музыкальности, что это уже было пародией на пародию.

— Она ужасна, — сказала Элен. — Чудовище.

— Да, так себе, — сказал Френсис.

Пол был посыпан опилками, зал освещен старинными люстрами и бра, переделанными под электричество. Длинный ореховый бар с надраенной латунной подножкой и тремя сияющими плевательницами; за полупустым баром человек со стоячим воротничком, узкой бабочкой и резинками на рукавах разливал пиво по высоким бокалам, а за столами, никак территориально не выделенными в зале, сидела публика, знакомая Френсису: проститутки, бродяги, пропойцы. Среди них, за другими столами, расположились мужчины в строгих костюмах и женщины в лисьих горжетках и шляпах большой парусности — их места в зале если чем-то и выделялись, то тем только, что люди на этих местах выглядели иначе. Так что «Позолоченная клетка» сегодня была музеем противоестественного братства, и улыбка бармена приглашала бродяг Френсиса, Элен и Руди, равно как их друга в чистой рубашке Махоню, принять в этом участие.

— Вам стол, друзья?

— Пока есть бар — не нужно, — сказал Френсис.

— Так прислонись же, друг. Что будем пить?

— Лимонад, — сказал Махоня.

— Я, пожалуй, тоже, — сказала Элен.

— Это пиво прямо соблазняет, — промолвил Френсис.

— Ты сказал, не будешь пить, — напомнила Элен.

— Я сказал — вино.

Бармен придвинул к Френсису бокал и посмотрел на Руди. Руди заказал то же самое. Пианист заиграл попурри из «Она знала дни получше» и «Мой любимый свалился с Луны» и предложил тем, кто знает слова, подпевать.

— Ты похож на одного моего приятеля, — сказал Френсис бармену с пронзительной улыбкой.

Бармен с пышной, волнистой седой шевелюрой и выразительными седыми усиками ответил ему взглядом, достаточно долгим для того, чтобы разморозить память. Потом перевел взгляд с Френсиса на Махоню, тоже улыбавшегося.

— Кажется, я вас знаю, орлы, — сказал бармен.

— Тебе правильно кажется, — ответил Френсис, — только когда я тебя последний раз видел, ты не отращивал щекоталку.

Бармен погладил серебристые усики.

— Ну и напоили вы меня, ребята, в Нью-Йорке.

— Это ты поил нас в каждом баре на Третьей авеню, — сказал Махоня.

Бармен подал руку Френсису.

— Френсис Фелан, — сказал Френсис, — а это Руди-фриц. Хороший человек, но малость того.

— Люблю таких, — сказал Оскар.

— Махоня Пакер, — сказал Махоня и подал руку.

— Я помню, — сказал Оскар.

— А это Элен, — сказал Френсис. — Живет со мной, а почему — убей Бог, не знаю.

— А я все так же прозываюсь Оскаром Рио, друзья, и я вас в самом деле помню. Только не пью теперь.

— Хе, я тоже, — сказал Махоня.

— А я еще не отстал, — сказал Френсис. — Подожду до пенсии.

— Он сорок лет уже как на пенсии, — сказал Махоня.

— Неправда. Сегодня весь день работал. Заколачивал деньги. Как тебе мой новый костюм?

— Красавец, — сказал Оскар. — Нипочем не отличить от тех вон франтов.

— Что франты, что бродяги — разницы никакой, — заметил Френсис.

— Только франты выглядят как франты, — сказал Оскар, — а бродяги — как бродяги. Правильно?

— Ты умный мужик, — сказал Френсис.

— Ты еще поёшь, Оскар? — спросил Махоня.

— За ужин.

— Так спой же, черт тебя подери, — сказал Френсис.

— Раз ты так вежливо просишь... — согласился Оскар и повернулся к пианисту: — «Шестнадцать».

Немедленно раздались аккорды «Шестнадцати нежных лет».

— Чудесная песня, — сказала Элен. — Я помню, ты пел ее по радио.

— Твоя любовь не ржавеет, дорогая.

Оскар запел в микрофон, стоявший на баре. Голоса своего он не пропил и слуха не потерял. Время будто вернулось вспять: этот голос был так же привычен американскому уху, как голос Джолсона или Мортона Дауни, — и даже Френсис, редко слушавший радио, да и редко его имевший и в прежние годы, и нынче, явственно помнил этот тембр и это тремоло, помнил по нью-йоркскому загулу, ког-

да песни Оскара были хоралом нескончаемой радости для всех, кто мог их слышать, — так, по крайней мере, помнилось Френсису за далью лет. И то, с каким вниманием слушали Оскара бродяги, франты, официанты, лишь подтверждало, что этот пьяница не мертв, не умирает, а проживает эпилог незаурядной жизни. А все же, все же... вот он, спрятавшийся за усами, такой же калека, и в усталых его глазах читает Френсис страдания собрата, для которого жизнь оказалась, вопреки большому успеху, обещанием неисполненным и теперь уже точно неисполнимым. И песню он пел состарившуюся, но не от лет, а от износу. Песня его обтрепалась. Вытерлась песня.

Прозрение это вызвало у Френсиса потребность исповедаться во всех своих грехах перед законами естества, морали и общества, безжалостно обнажить и исследовать каждый изъян своего характера, даже самый мелкий. Что же погубило тебя, Оскар? Захочешь ли ты сказать это нам? И сам знаешь ли? Меня-то погубил не Джеральд. Не пьянство, не бейсбол и даже не маманя. Что же там такое поломалось, Оскар, и почему никто не придумает, как нас починить?

Когда Оскар плавно перешел ко второй песне, талант его показался Френсису безмерным и несоответствие между его талантом и загубленной жизнью — совсем необъяснимой тайной. Чтобы человек такое *умел* и это ничего не значило? Френсис задумался о своих подвигах на солнечных, подернутых дымкой полях вчерашнего дня: как он угадывал полет мяча после любого удара биты, как бросался на мяч, словно ястреб на цыпленка, как гасил его скорость — летящего или коварно катящегося по траве. Ловил его хищным взмахом перчатки, а правая рука уже тянулась к ее кожаной полости и — бежал ли он, падал ли — хватала добычу тренированными когтями и швыряла в сторону первой или второй базы или куда там было нужно — и тебе конец, дружок, ты вылетел. Ни один игрок не владел своим телом так, как Френсис Фелан, безотказная бейсбольная машина, и не было на свете игрока быстрее его.

Френсис вспомнил цвет и крой своей перчатки, ее запах — запах пота и промасленной кожи — и подумал: сберегла ли ее Энни? Кроме воспоминаний да двух-трех вырезок из газет, эта перчатка была единственным, что сохранилось от конченной карьеры, достигшей пика в ту пору, когда давно остались позади лучшие годы; но сама эта просрочка будто обещала, что где-то может ждать его другая слава, что где-то пропоют осанну Френни Фелану, одному из самых лучших в бейсболе бегунов.

На кульминационной строке голос Оскара задрожал от горькой утраты: слезы застилают глаза, когда он вспоминает о потерянной жемчужине своей жизни, разбитое сердце зовет и зовет ненаглядную. Френсис повернулся к Элен, и увидел, что она плачет прекрасными очистительными слезами: Элен, с неизгладимой печатью печали на коре головного мозга, с безысходной любовью до гроба, лила слезы над всеми жемчужинами, потерянными с тех пор, как впервые пропели эту старую нежную песню любви.

— Как это было прекрасно, как прекрасно, — сказала Элен Оскару, когда он присоединился к ним возле пивного крана. — Эта песня — одна из самых моих любимых. Я сама ее пела.

— Пела? — сказал Оскар. — А где?

— О, всюду. Концерты, радио. Когда-то я пела на радио каждый вечер — но это было сто лет назад.

— Вы должны исполнить нам.

— Ни в коем случае.

— Посетители здесь всегда поют.

— Нет, нет. Да как я выгляжу!

— Ты выглядишь не хуже любой здесь, — сказал Френсис.

— Нет, ни в коем случае, — сказала Элен. Но она уже настраивала себя на то,

чего не могла сделать ни в коем случае: заправляла волосы за уши, одергивала воротничок, разглаживала платье на более чем выпуклом фасаде.

— Что будете петь? — спросил Оскар. — Джо их все знает.

— Дайте подумать.

Френсис увидел, что за дальним столиком сидит Альдо Кампьоне, с кем-то вдвоем. Ходит за мной, сукин сын, подумал Френсис. Он уперся взглядом в Кампьоне, и тот сделал неопределенный знак рукой. Что ты хочешь сказать мне, мертвец, и кто это сидит с тобой? У Альдо в петлице белого фланелевого пиджака был белый цветок — что-то новенькое после встречи в автобусе. Чертовы мертвецы, разъезжают толпами, цветы покупают. Френсис присмотрелся к его соседу, не узнал, и ему захотелось подойти поближе, разглядеть получше. А что, если там никто не сидит? Что, если я один вижу этих амбалов? Подошла цветочница с корзинкой белых гардений.

— Ку́пите цветок, сэр? — спросила она у Френсиса.

— Это можно. Почем?

— Двадцать пять центов.

— Дайте нам один.

Он выудил из брюк монету и пришпилил гардению к лацкану Элен булавкой, которую ему дала цветочница.

— Давненько я не дарил тебе цветов, — сказал он. — Ты будешь петь нам, надо прифрантиться.

Элен перегнулась через стол и поцеловала Френсиса в губы; он краснел, когда Элен целовала его на людях. Она всегда была первостатейной озорницей между простынями — когда были простыни, когда было чем между ними заняться.

— Френсис всегда дарил мне цветы, — сказала она. — Как разживется деньгами, так первым делом мне — дюжину роз, а то и белую орхидею. Главное — мне цветы, а деньги — дело десятое. Правда ведь, Френ?

— Всё — правда, — сказал он, хотя не мог припомнить, чтоб покупал орхидею, да и не знал, как они выглядят.

— Мы жили как голубки́, — сказала Элен Оскару, улыбавшемуся этой сцене бродяжьей любви у себя в баре. — У нас была прекрасная квартира на Гамильтон-стрит. Посуда — вся, какая только может понадобиться. У нас был диван и большая кровать, простыни, наволочки. Чего у нас только не было, правда, Френ?

— Правда, — сказал Френсис, пытаясь вспомнить эту квартиру.

— У нас была герань в горшках и цвела всю зиму. Френсис обожал герань. И ледник, набитый едой. Мы так ели, что приходилось садиться на диету. Какое чудесное было время.

— Когда это? — спросил Махоня. — Я и не знал, что вы где-то засиживались надолго.

— На сколько надолго?

— Ну, не знаю. Наверно, на месяцы, раз была своя квартира.

— Да было раз, я месяца на полтора задержался.

— Нет, квартира у нас была гораздо дольше, — сказала Элен. — Френсис пить не бросил, стало нечем платить, пришлось отдать и наволочки и посуду. У нас был хевилендский фарфор, самый лучший. Меня отец учил: покупаешь — так покупай самое лучшее. У нас были кресла цельного красного дерева и красивое пианино. Оно стояло у брата, и брат не хотел с ним расставаться, но оно было мое. На нем однажды играл Падеревский — в девятьсот первом году, когда приезжал в Олбани. За этим пианино я пела все мои песни.

— Она классно играла на пианино, — сказал Френсис. — Точно говорю. Может, споешь нам, Элен?

— Пожалуй.

— Что вам хочется спеть? — спросил Оскар.

— Не знаю. Может быть, «Когда-то славным летом».

— Самое время ее спеть, — сказал Френсис, — когда мы мерзнем там как цуцики.

— А впрочем, я лучше спою Френсису, — сказала Элен, — за то, что он подарил мне цветок. Ваш друг знает «Он мой друг» или «Любимый мой»?

— Ты слышал ее, Джо?

— Я слышал, — сказал пианист Джо и сыграл несколько тактов из припева песни «Он мой друг», а Элен тем временем улыбнулась и встала и пошла на эстраду уверенно и грациозно, как и подобало при возвращении в мир музыки — мир, с которым она не должна была расставаться, — и зачем только ты рассталась с ним, Элен? По трем ступенькам на эстраду подняли ее знакомые аккорды, всегда приносившие радость, — аккорды не одной этой песни, а целой эпохи песен, тридцати-, сорокалетней эпохи песен, прославлявших любовь, верность, дружбу, и семью, и страну, и мир природы. Легкомысленная Сал была сущим чертом, но честней и надежней ее — поискать. Мэри была прекрасной подругой, подарком небес, и любовь к ней не угасла. Свежескошенная трава, лунное серебро, огонь в очаге — вот были заповедники души Элен, песни, что она пела сызмалу, песни, жившие в ней, как классика, навеки заученная в молодые годы, и говорили они с ней не абстрактно с эстетических вершин искусства, которым она когда-то надеялась овладеть, а прямо и просто о насущной валюте души и сердца. Бледная луна озарит наших сердец переплетенье. Ты похитил мое сердце, любимый, так не расстанемся же никогда. Любовь моя, души моей огонь, говорили ей песни, ты моя, я твой навеки. Ты девичество мое сгубил, мои надежды разлетелись пылью. Прогони меня с улыбкой, но запомни: солнце жизни ты моей погасил.

Любовь.

В груди Элен волной поднялась жалость. Френсис, печальный человек, был ее последней великой любовью, но он не был единственной. Вся жизнь ее прошла в любовных печалях. Первый любимый сжимал ее в неистовых объятиях годами, а потом объятия разомкнул, и она покатилась, покатилась вниз, и в конце концов в ней умерла надежда. Лишенной надежды — вот кем была Элен, пока не повстречала Френсиса. И когда под звуки рояля Элен подошла к микрофону на эстраде «Позолоченной клетки», она была живым взрывом нестерпимых воспоминаний и неукротимой радости.

И не волновалась ни капли, ни Боже мой, потому что была профессионалкой и перед публикой не робела нигде — ни в церкви, ни на музыкальных вечерах, ни у Вулворта, где продавала ноты, ни на радио, где каждый вечер ее слушал целый город. Не ты один, Оскар Рио, пел американцам в эфире. Были золотые деньки и у Элен — не ей робеть перед публикой.

Однако сейчас она... ну, скажем, девушка охвачена смятением, потому что радость и печаль наполняют ее одновременно, и она сама не знает, которая возьмет через минуту верх.

— Как фамилия Элен? — спросил Оскар.

— Арчер, — ответил Френсис. — Элен Арчер.

Руди удивился:

— Как же ты сказал мне, что у нее нет фамилии?

— Мало ли кто чего тебе скажет, — ответил Френсис. — Замолчи давай и слушай.

— А теперь, — объявил в свой микрофон Оскар, — вас порадует парой песен испытанная артистка. Милая Элен Арчер.

И, не сняв обтрепанного черного пальто, чтобы не показывать еще более рваную юбку и блузку, на тонких ногах, упершись в стойку микрофона выпуклым животом, придававшим ей вид беременной на шестом месяце, являя себя публике олицетворением женской катастрофы и прекрасно сознавая очевидность своего

образа, Элен стильно надвинула берет на бровь. Она схватила микрофон с уверенностью, отодвигавшей катастрофу по крайней мере до конца песни, и запела «Он мой друг» — песню бойкую и короткую, запела воодушевленно и насмешливо, и в посадке головы, во взмахах кисти, в движении глаз читалась горделивая добродетель. Характером он крут, пела она, зато не плут. И он поделится с ней последним. Ей не нужен даром никакой миллионер. Лишь бы друг ее был рядом с его пятнадцатью долларами в неделю. Эх, Френсис, если бы ты зарабатывал хоть пятнадцать.

Если бы.

Аплодисменты были громкими и длительными, и ободренная Элен запела «Моего любимого», приняв факел от Фанни Брайс и Элен Морган. Тезки. Эх, Элен, ты пела по радио, и куда это привело тебя? Какая судьба увела тебя от вершин, тебе предназначенных по праву таланта и образования? Ты родилась, чтобы стать звездой, — так многие говорили. Но на вершины взошли другие; тебе же досталась лишь горечь. Как научилась ты завидовать тем, кто поднялся вместо тебя, незаслуженно, не имея ни школы, ни таланта. Подобно однокласснице Карле, которая простого мотивчика не могла спеть, а снялась в кино с Эдди Кантором, или Эдне, прямиком из Вулворта попавшей в бродвейское шоу Кола Портера только потому, что научилась вилять задом. Но и сладостью Элен не обнесли: Карла свалилась с обрыва в автомобиле, а Эдна взрезала себе вены и истекла кровью в ванне у любовника, так что Элен смеялась последней. Элен поет в эту минуту на эстраде — и только послушайте, какой она сохранила голос после всех невзгод. Посмотрите на этих нарядных людей, жадно ловящих каждую ноту.

Элен закрыла глаза, слезы рвались наружу, и она сама не могла понять — блаженной ли это радости слезы или же смертной тоски. В какую-то секунду чувства слились, и это стало неважно: тоска или радость, радость или тоска, жизнь для Элен от этого не менялась. Любимый, как она обожает тебя. Ты не можешь себе представить. Бедная девочка, она само отчаяние. Если она ушла, то вернется к тебе на коленях. Когда-нибудь. Она твоя. На веки вечные.

И гром! Гром аплодисментов. Нарядные люди встают перед ней — когда это было в последний раз? Еще, еще, еще, кричат они, и теперь она рыдает от радости — или от утраты, — и, глядя на нее, Махоня с Френсисом тоже плачут. И хотя слушатели просят еще, еще, еще, Элен изящно спускается по трем ступенькам, идет с гордо поднятой головой и неописуемо мокрым лицом к Френсису и целует его в щеку, чтобы все знали: вот он, о ком она пела, если вы сами не поняли этого, когда мы сюда вошли. Вот он, любимый.

Ей-Богу, это было прекрасно, говорит Френсис. Ты лучше всех.

Элен, говорит Оскар, это первый класс. Хочешь петь у нас — завтра подходи к хозяину, и обещаю, он берет тебя на жалованье. У тебя замечательный голос. Замечательный.

Благодарю вас душевно, говорит Элен, я глубоко вам всем благодарна. Как приятно, когда твой дар получает признание — и твоя превосходная школа, и врожденная грация. Я благодарна вам и приду петь вам снова, можете не сомневаться.

Элен закрыла глаза, слезы рвались наружу, и она сама не могла понять — блаженной ли это радости слезы или же смертной тоски. Какие-то странного вида люди вежливо хлопали ей, а остальные сидели хмуро. Раз они хмурые, значит, им не понравилось твое выступление, Элен. Элен изящно спускается по трем ступенькам, с высоко поднятой головой подходит к Френсису, и он чмокает ее в щеку.

— Очень славно, старушка, — говорит он.

— Неплохо, — говорит Оскар. — Может, как-нибудь еще разок споете?

Элен закрыла глаза, слезы рвались наружу, и она понимала, что жизнь не переменилась. Если она ушла, то вернется на коленях. Приятно получить признание.

Элен, ты — как черный дрозд, когда ненадолго выглянет солнышко. Ты встрепенулась, Элен, как черный дрозд на солнышке. Но что с тобой будет, когда солнышко зайдет.

Благодарю вас.

И я приду к вам петь еще.

Ах ты птичка черная! Встрепенулась!

III

Руди, пьяненький после шести стаканов пива, отправился один искать ночлег, а Френсис, Элен и Махоня пошли назад по Грин-стрит и по Медисон к миссии. Проводим Махоню домой и снимем комнату в гостинице «Паломбо», согреемся, ляжем, вытянем ноги. Потому что у Френсиса и Элен есть деньги: пять долларов семьдесят пять центов. Два остались от тех, что Френсис дал ей прошлой ночью, да три семьдесят пять из кладбищенского заработка — в «Позолоченной клетке» истратили мало, две трети выпивки поставил Оскар.

К полуночи город замер, и луна была белой, как первый снег. По Пёрл-стрит медленно проезжали редкие автомобили, в остальном все было тихо. Френсис поднял ворот пиджака и поглубже засунул руки в карманы. Возле приюта луна осветила Сандру, сидевшую на прежнем месте. Они подошли посмотреть. Френсис сел на корточки и потряс ее.

— Ты уже протрезвела, леди?

Сандра окуталась молчанием. Френсис сдвинул назад ее капюшон и при ярком свете луны увидел на ее носу, щеке и подбородке следы зубов. Он помотал головой, чтобы яснее видеть, — и увидел, что на руке у нее отгрызен один палец и мясо между большим и указательным.

— Собаки до нее добрались.

Он повернул голову: на той стороне улицы, в полуосвещенном углу, сидела и ждала красноглазая дворняга. Он кинулся к ней, схватив по дороге камень, псина побежала в проулок, а Френсис подвернул ногу на высунувшемся из тротуара кирпиче и растянулся во весь рост. Потом встал, тоже раскровененный из-за дворняги, и пососал ссадины.

Когда он переходил улицу обратно, с Бродвея налетели домовые в тряпье и масках и заплясали вокруг Элен. Махоня, склонившийся над Сандрой, выпрямился, а домовые заплясали еще свирепее.

— Две ноги, два уха и большое брюхо, — закричали они Элен. Она попробовала подобрать живот, но домовых это только раззадорило.

— Эй, ребята, — крикнул Френсис. — Отстаньте от нее.

Они продолжали плясать, и домовой с черепом вместо головы ткнул ее в живот палкой. Она хотела стукнуть его по черепу, а в это время другой домовой выхватил у нее сумочку, и они бросились врассыпную.

С криком «Чертенята, паршивцы!» Элен погналась за ними. Френсис с Махоней пустились следом, топая по ночной мостовой и уже потеряв из виду мальчишку с черепом. Домовые разбежались по проулкам, попрятались за углами и стали недосягаемы.

Френсис обернулся к далеко отставшей Элен. Она плакала и задыхалась, согнувшись почти пополам в приступе горя.

— Сучьи дети, — сказал Френсис.

— Ой, деньги, — простонала Элен. — Деньги.

— Он ушиб тебя палкой?

— Кажется, нет.

— Да какие там деньги? Завтра еще достанем.

— Большие.

— Что большие?

— Там, кроме этих, было еще пятнадцать долларов.

— Пятнадцать? Откуда у тебя пятнадцать?

— Твой сын Билли дал. В тот вечер, когда нашел нас в «Испанском» Джорджа. Ты уже валялся, а он дал нам сорок пять долларов — все, что при нем было. Тридцать я тебе отдала, а пятнадцать у себя оставила.

— Я смотрел в сумке. Там не было.

— Я их за подкладку засунула, чтобы ты не пропил. Я хотела выкупить чемодан. И комнату снять на неделю — передохнуть.

— Черт подери, теперь у нас ни гроша. Всё ваши бабьи хитрости.

Тоже никого не догнав, вернулся Махоня.

— Ну и шпана здесь, — сказал он. — Элен, ты как?

— Хорошо, я хорошо.

— Не зашибли?

— Да вроде ничего.

— А Сандра-то, — сказал Махоня. — Умерла.

— Еще хуже, — отозвался Френсис. — Ее обгрызли.

— Надо внести ее, пока не догрызли, — сказал Махоня. — Я вызову полицию.

— А ты думаешь, ее можно внести? — спросил Френсис. — Она ведь и протрезветь не успела.

Махоня ничего не ответил и распахнул дверь миссии. Френсис поднял Сандру из пыли и внес в дом. Он положил ее на старую церковную скамью у стены и накрыл ей лицо колючим одеялом — последний подарок Сандре от мира.

— Будь у меня четки — я бы почитала над ней, — сказала Элен, сев на стул возле скамьи и глядя на труп Сандры. — Они у меня лежали в сумочке. Я носила эти четки двадцать лет.

— Посмотрю с утра на пустырях и в урнах, — сказал Френсис. — Они объявятся.

— Наверно, Сандра мечтала о смерти, — сказала Элен.

— Да ну, — отозвался Френсис.

— На ее месте я бы мечтала. У нее уже была не человеческая жизнь.

Элен посмотрела на часы: двенадцать десять. Махоня звонил в полицию.

— Сегодня святой день обязанностей, — сказала она. — День всех святых.

— Ага, — сказал Френсис.

— Я утром хочу пойти в церковь.

— Ладно, иди в церковь.

— Пойду. Хочу слушать мессу.

— Слушай. Это завтра. А что нам сегодня делать? Куда мне тебя спать девать?

— Можешь остаться здесь, — предложил Махоня. — Кровати все заняты, но можешь спать здесь, на скамьях.

— Нет, — сказала Элен. — Мне что-то не хочется. Можем пойти к Джеку. Он сказал, можно приходить, если захочу.

— Это Джек сказал? — спросил Френсис.

— Это его слова.

— Тогда нечего рассиживаться. Джек — ничего. Клара — стерва бешеная, а Джека я люблю. Всегда любил. Это точно, что он так сказал?

— «Приходи когда захочешь» — я уже в дверях была.

— Хорошо. Тогда мы двинулись, Махоня. Насчет Сандры постараешься?

— Все остальное беру на себя, — сказал Махоня.

— Ты знаешь, как ее фамилия?

— Нет. Никогда не слышал.

— Теперь это не имеет значения.
— И раньше не имело, — сказал Махоня.

* * *

Френсис и Элен шли по Пёрл-стрит к Стейт, которая вот уже двести лет была самым центром городской жизни. Один трамвай полз вверх по крутому склону Стейт-стрит, другой скатился им навстречу, свернул на Пёрл. Из ресторана «Уолдорф» вышел мужчина, поднял воротник пальто, запахнул лацканы, поежился и пошел дальше. Пальцы у Френсиса коченели, иней расцветал на крышах автомобилей, прохожие выдыхали зыбкие султаны пара. Из люка посреди мостовой вдруг хлынул пар и растаял в воздухе. Источник его представился Френсису подземным жителем: огромная человечья голова с заведенными в уши трубами, пар бьет из гнойной раны в черепе.

Альдо Кампьоне, шедший по другой стороне Норт-Пёрл, сделал рукой тот же двусмысленный жест, что и давеча в баре. Пока Френсис раздумывал над его смыслом, из тени на свет фонарей вышел тот, кто сидел тогда рядом с Альдо, и жест Альдо стал понятен: Альдо хотел представить Френсиса Дику Дулану, бродяге, который пытался отхватить ступню Френсису мясным секачом.

— Я ходил сегодня к мальчику на могилу, — сказал Френсис.
— К какому мальчику?
— К Джеральду.
— Ты ходил? — сказала она. — Это в первый раз, что ли? Вроде в первый.
— Да.
— Ты думал о нем в последние дни. На прошлой неделе его помянул.
— Я все время о нем думаю.
— Что это на тебя нашло?

Френсис увидел улицу, лежавшую перед ним: Пёрл-стрит, центральный сосуд города — когда-то его города, теперь — чужого. Коммерческая топография ее неприятно удивила Френсиса: столько нового, столько магазинов позакрывалось, о которых он и не слышал. Кое-что осталось прежнего: Уитни, Майер, старая Первая церковь над Клинтон-сквер, библиотека Прейна. Он шел; булыжник под ногами превратился в гранитные плиты, дома — в магазины, жизнь обветшала, умерла, возродилась, и видения того, что было, и того, что могло бы быть, пересеклись в зрачке, не способном припомнить одно и истолковать другое.

Что бы ты отдал, Френсис, чтоб никогда отсюда не уезжать?

— Я говорю, что на тебя нашло?

— Ничего на меня не нашло. Просто думаю о всякой всячине. Вот эта улица. Когда-то она была моя.

— Не надо было продавать ее, если мог обойтись.

— Деньги. Я не о деньгах толкую.

— А я и не думала, что о деньгах. Это я для смеху.

— Смеху мало. Говорю, я был на могиле Джеральда. Я с ним разговаривал.

— Разговаривал? Как разговаривал?

— С гоял и с травой трепался. Умом, наверно, тронулся, как Руди. Он штаны на ходу теряет.

- Ты не тронулся, Френсис. Это потому, что ты здесь. Не надо нам здесь оставаться. Надо уехать куда-нибудь.

— Правильно. Вот куда нам надо. Куда-нибудь.

— Больше не пей сегодня.

— Слушай. Не лезь ты мне в печенку.

— Пожалуйста, не пей. Не надо тебе пить.

— Такого трезвого, как я, ты за неделю не встретишь. Вот какой я трезвый.

На той стороне улицы было. Вот что было: Билли мне кое-что сказал про Энни. Я тебе не говорил. Билли мне сказал про Энни: она никому не рассказала, что я его уронил.

— Кому не рассказала — полиции?

— Никому. Ни одной живой душе. Ни Билли, ни Пегги, ни брату, ни сестрам. Ты слыхала что-нибудь подобное? Чтобы женщина пережила такое и не сказала ни одной душе.

— Тебе есть что рассказать об этих людях.

— Да ничего особенного.

— Может, пора повидаться с ними.

— Нет, толку от этого не будет.

— На душе станет легче.

— А чего там тяжелого?

— Ну уж — что есть.

— Ты о моей душе не беспокойся. Чего это ты не осталась в миссии, когда приглашают?

— Не нужна мне их благотворительность.

— А суп их ела.

— Не ела. Только кофе выпила. А потом, я Честера не люблю. Он не любит католиков.

— А католики не любят методистов. Выходит — квиты. Что-то я католических приютов тут не видел. И католического супу давно не ел.

— Не останусь, и все тут.

— Ну и замерзай на здоровье. Цветок твой уже замерз.

— Замерз, и ладно.

— Ну, ты хоть песню спела.

— Спела. Я пела, а Сандра умирала.

— Она бы и так умерла. Срок ей пришел.

— Нет, я другого мнения. Это фатализм. Я думаю, мы умираем, когда больше не можем терпеть. Я думаю, мы терпим, сколько можем, и, когда можем, умираем — вот и Сандра решила, что можно умереть.

— С этим я не спорю. Умираем, когда можем. Лучше не скажешь.

— Я рада, что хоть в этом мы согласны.

— Мы нормально ладим. Вообще ты ничего.

— Ты тоже не поганый.

— Мы оба не поганые, — сказал Френсис, — только у нас ни гроша и ночевать негде. Мы бездомные. Пошли скорей к Джеку, пока он свет у нас перед носом не выключил.

Элен взяла Френсиса под руку. По другой стороне вровень с ними шагали молча Альдо Кампьоне и Дик Дулан, под конец жизни прозванный Бузилой.

* * *

Элен отпустила руку Френсиса, стянула на шее воротник, потом обняла себя и спрятала руки под мышками.

— Я продрогла до костей, — сказала она.

— Да, холодновато.

— Нет, я по-настоящему продрогла, насквозь.

Френсис обнял ее одной рукой, и они вместе поднялись по ступенькам к двери Джека. Дом стоял на Тен-Брук-стрит, короткой улице в районе Арбор-хилла, названной в честь героя Революции и известной тем, что в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого века здесь поселились новоиспеченные богачи-лесопромышленники, числом до дюжины, и жили стенка в стенку, состязаясь в роскоши.

Дома они себе отгрохали каменные, а теперь эти дома были заняты под квартиры, как у Джека, и под меблированные комнаты.

Подъезд у Джека не запирался. По широкой ореховой лестнице, еще сохранившей следы элегантности, несмотря на вытертый ковер, Элен и Френсис поднялись к двери в квартиру и постучались. Джек приоткрыл дверь и выглянул наружу с выражением воинственного ракообразного. Одной рукой он придерживал дверь, а другой держался за косяк.

— Зашли навестить тебя, Джек, — сказал Френсис. — Не найдется выпить бродяге?

Джек приоткрыл дверь чуть шире, заглянул Френсису за спину, увидел Элен и, отпустив дверь, сделал шаг назад. Их встретил голосок Кэт Смит из проигрывателя, подключенного к приемнику. На кого-то, ждавшего Кэт, светила луна в Каролине. Перед проигрывателем на ночном горшке сидела Клара; горшок был обложен пурпурными подушками, и от этого казалось, что она сидит верхом на огромном животном. Ноги ее были прикрыты красным одеялом, но оно съехало на сторону, обнажив голое бедро до самой ягодицы. Рядом с проигрывателем на столике стояла бутылка с белой жидкостью, а на другом столике, поменьше, — четверть мускателя, которую можно было наклонить, не поднимаясь с места. Элен подошла к Кларе и остановилась над ней.

— Ну и холодный же ноябрь выдался. Снег того и гляди пойдет. Ты пощупай мои руки.

— Между прочим, это мой дом, — хрипло сказала Клара, — и руки твои щупать не собираюсь. И голову тоже. И снега никакого не вижу.

— Выпей, — сказал Джек Френсису.

— Ага, — сказал Френсис. — Часов шесть назад я съел тарелку супа, но она уже пролетела насквозь. Не мешало бы скоро поесть.

— Ешь ты или нет, меня не касается, — сказал Джек.

Джек ушел на кухню, а Френсис спросил у Клары:

— Тебе полегче?

— Нет.

— Ее несет, — сказала Элен.

— Я сама скажу людям, что со мной, — сказала Клара.

— Она потеряла мужа на прошлой неделе, — сказал Джек, вернувшись из кухни с двумя стаканчиками. Он наклонил бутыль и налил оба до половины.

— Как ты узнала? — спросила Элен.

— Прочла сегодня в газете, — сказала Клара.

— Утром я сводил ее на похороны, — сказал Джек. — Взяли такси и поехали в похоронный зал. Ее даже не позвали.

— Выглядел совсем так же, как на нашей свадьбе.

— Брось! — сказал Френсис.

— Только волосы — как снег, и всё.

— Ее дети там были, — сказал Джек.

— Чванятся, — сказала Клара.

— Иногда думаю: что, если я удеру или протяну ноги? — сказал Френсис. — Элен, наверно, с ума сойдет.

— Если протянешь ноги, она тебя похоронит раньше, чем завоняешь, — сказал Джек. — Вот и всё.

— Душевный ты человек, — сказал Френсис.

— Надо погребать своих мертвецов, — сказал Джек.

— Это католической церкви правило, — сказала Элен.

— Не о католической церкви речь, — сказал Френсис.

— Короче говоря, теперь она холостая, — сказал Джек. — Я узнаю, какие у ней планы.

— У меня план жить нормально, — сказала Клара.

— Нормально — это хорошо, — сказал Френсис. — Только вот что такое нормально, черт возьми? Холод сегодня нормальный. Адский прямо холод. Пальцы. Все тер себя — проверял, жив ли. Знаешь, хочу задать тебе один вопрос.

— Нет, — сказала Клара.

— Ты сказала «нет». Это как понять?

— Что он хотел спросить? — сказал Джек. — Ты узнай, что он хотел спросить.

Клара молчала.

— Как вообще дела? — спросил Френсис.

* * *

Со столика, где доскрипывала последней бороздкой пластинка Кэт Смит, Клара взяла бутылку с белой жидкостью и отпила. Сделав глоток, она тряхнула головой, и сальные нечесаные пряди взметнулись хлыстами. Глаза ее сидели низко в орбитах — пара убывающих лун. Она заткнула бутылку и запила неприятную жидкость мускателем. Затянулась сигаретой, закашлялась и злобно сплюнула в скомканный платок.

— Дела у Клары не очень, — сказал Джек, выключив проигрыватель.

— Ползаю пока, — сказала Клара.

— Для больной ты неплохо выглядишь, — заметил Френсис. — По мне, так не хуже обычного.

Клара улыбнулась Френсису, не отнимая стакана от рта.

— Меня никто не спрашивает, как дела, — сказала Элен, — но я скажу. У меня дела чудесно. Просто чудесно.

— Пьяная как не знаю что, — сказал Френсис.

— Да, нагрузилась до жабер, — со смешком подтвердила Элен. — На ногах не стою.

— Ты ни в одном глазу, — сказал Джек. — Пьяный у вас — Френсис. Тебе уж не завязать, а, Френни?

— Если Элен останется со мной, ничего путного из нее не выйдет.

— Я всегда считал, что ты умный, — сказал Джек, отпив из своего стакана половину, — но это не так, это не так.

— Ты мог ошибаться, — сказала Элен.

— А ты не встревай, — сказал Френсис, показав на нее большим пальцем и глядя на Джека. — От этих забот в сумасшедший дом загреметь недолго: где она будет жить да где ей притулиться.

— Думаю, ты был бы завидным мужчиной, — сказал Джек, — если бы отстал от вина. В любое время имел бы в кармане двадцать долларов, в неделю бы пятьдесят зарабатывал, а то и семьдесят пять, красивую квартиру имел бы со всем хозяйством и какой хочешь выпивкой — если бы бросил пить.

— Я сегодня работал на кладбище.

— Работа постоянная? — спросил Джек.

— Только на сегодня. Завтра надо повидать одного человека — таскальщика себе ищет. Кое-какая силенка пока есть.

— Будешь работать, всегда будешь с полсотней.

— Была бы полсотня, на нее бы истратил, — сказал Френсис. — Или туфли бы купил. Мои сносились, а Гарри, комиссионщик, дал мне за четверть доллара. Увидел, что я почти босой, и говорит: «Френсис, разве можно так ходить?» — и дал мне эти. Но размер не мой, и в одном шнурка нет. Бечевкой вот завязал. Шнурок-то у меня в кармане, да все не вставлю.

— Это что же, шнурок в кармане, а в туфлю не вставил? — спросила Клара.

— Он у меня в кармане, — сказал Френсис.
— Так вставь его в туфлю.
— Кажись, в этом был. Элен, ты знаешь, где он?
— Меня не спрашивай.
— Сам поищи, — сказала Клара.
— Она хочет, чтобы я вставил шнурок в туфлю, — сказал Френсис.
— Да, — сказала Клара.
Френсис перестал рыться в кармане и уронил руки.
— Я отрекаюсь, — сказал он.
— Ты — чего? — спросила Клара.
— Я отрекаюсь, а я это не люблю делать.

* * *

Френсис поставил свой стакан, ушел в ванную, сел на крышку унитаза и стал думать, почему он соврал насчет шнурка. Зловоние, исходившее от его паха, ударило ему в нос; он встал и спустил брюки. Вышел из них, потом стянул трусы и бросил в раковину. Поднял крышку унитаза, сел на сиденье и мылом Джека, пригоршнями черпая воду из раковины, вымыл причинное место и ягодицы — все заросшие корой отверстия, тайные складки и морщины. Ополоснулся, еще раз намылился и снова ополоснулся. Вытерся одним из полотенец Джека, вынул трусы из раковины и подтер ими залитый пол. После этого он набрал в раковину горячей воды и опустил в нее трусы. Стал намыливать — и у него в руках они распались на две части. Тогда он выпустил из раковины воду, выжал трусы, сунул в карман пиджака и, приоткрыв дверь, крикнул: «Джек!» Когда Джек вошел, Френсис прикрыл свою наготу полотенцем.

— Джек, друг мой, у тебя не найдется старой пары трусов? Любых, старых. Мои разорвались к чертям.

— Пойду погляжу.

— А бритвой твоей можно попользоваться?

— На здоровье.

Джек принес трусы, и Френсис оделся. Когда он начал намыливать бороду, в ванную вошли Альдо Кампьоне и Бузила Дик Дулан. Франтоватый Дик в синей диагоналевой тройке и жемчужно-серой кепке сел на крышку унитаза. Альдо устроился на бортике ванны; гардения его совсем не пострадала от ночной стужи. Бритва не брала трехдневную щетину Френсиса; он смыл мыло, намочил лицо горячей водой и снова намылил. Пока Френсис втирал мыло в бороду, Бузила Дик разглядывал его лицо, но ни одной черты не мог припомнить. Ничего удивительного: в последний раз Дик видел его ночью в Чикаго, под мостом, неподалеку от сортировочной станции, где пятеро их делили богатство страны в 30-м, голодном, году. Один из них показал на опору моста, где прежний обитатель этого пространства написал стишок:

Барашек, ты бедняга,
Проснешься — холод, лужи,
Продрог ты весь от стужи,
А скоро будет хуже.
Барашек, не тужи,
Почешем ходом пешим
С тобой мы в дальний путь
И пиво будем дуть,
Пошлем заботы к лешим.

Бузила Дик помнил этот стишок не хуже, чем смех сестры Мэри, располосованной насмерть, когда она, катаясь на санках, въехала под конные сани; и так же ясно помнил жалобно нахмуренный лоб брата Теда, умиравшего от врожденного порока сердца. До тех пор их было трое, и жили они с дядей, потому что родители

умерли по очереди и оставили их одних. И остался из них Дик, совсем один, — и вырос злым, работал в доках, потом нашел занятие полегче, в районе, где ночью бурлила жизнь, — разбивал лица скандальным пьяницам, хмельным карманникам и толстым охотникам до клубнички. Но и это продлилось недолго. У Бузилы Дика долго ничто не длилось, и он пошел бродяжить и очутился под мостом с Френсисом Феланом и еще тремя людьми, ныне уже безликими. Запомнил он у Френсиса только руку, которая скребла сейчас бритвой намыленное лицо.

А Френсис запомнил, что в ту знаменитую ночь он рассказывал о бейсболе. В неспешном темпе, поскольку деваться им все равно было некуда, он стал воспроизводить незабываемые картины детства, дабы слушателям стало понятно, как зародилось в нем стремление сделаться третьим бейсменом[1]. Мальчиком, рассказывал Френсис, он играл среди взрослых, в непосредственной близости наблюдал их подвиги, их фирменные приемы, их умение перехватить низовой мяч, поймать верховой, овладеть катящимся по земле с такой же легкостью, с какой дышишь. Они играли на Ван-Вурт-стрит, на площадке для поло (козьем пастбище Малвани), и было их восемнадцать — героев, приходивших сюда вечерами, по два-три раза в неделю, тренироваться после работы — мужчин под тридцать или за тридцать, воссоздававших игру, которая захватила их в ранней юности. Был там Энди Хефферн, худой, угрюмый туберкулезник, умерший на курорте Саранак, — хороший питчер и никакой бегун; он играл в перчатке с длинными пальцами и почти без подкладки: только тонкая кожица стояла между скоростью мяча и его закаленной ладонью. Был Уинди Эванс, филдер, игравший в кепке, в шиповках и в суспензории; он ловил мячи за спиной, дальний мяч обгонял на милю — хлоп, и нерасторопный мяч уже у него в перчатке, и Уинди скачет, сияя, и говорит миру: нас таких мало осталось! И Ред Кули, шортстоп, покоривший детское воображение Френсиса, — он болтал без умолку и бросался за каждым приземлявшимся мячом так, словно это был ключ от рая, и, если бы не домоседская скромность, сделавшая его узником Арбор-хилла до конца его недолгих дней, имел бы все основания прославиться как величайший игрок своего времени.

Эти мемуары Френсиса вызвали у Бузилы зависть, превосходящую разумение. Почему один человек должен быть так одарен — не только приятной биографией, но и красноречием, способным заворожить квартет бродяг у костра под мостом? Почему не изольется словами то, что лежит и преет на сердце у Дика Дулана, то, что ему позарез нужно выразить, хотя что́ нужно, он и сам никогда не поймет.

Так вот, этот большой вопрос остался без ответа, и волшебных слов не нашлось. Ибо в фокусе злобного внимания Бузилы оказались туфли говорливого Френсиса — самый желанный и, не считая горящих палок и планок в костре, самый заметный под чикагским мостом предмет. И Бузила Дик залез к себе под рубашку, где носил с колорадских времен нож, и вытянул его из ножен, сделанных из картона, клеенки и бечевки, и сказал Френсису: я отрежу к матери твою ногу; объявил это, одновременно сделав выпад, и все-таки преждевременно объявил, ибо реакция у Френсиса в те дни была, наверное, получше, чем теперь, в ванной у Джека. Реакция был пружинистая, жилистая и взрывная, и прежде чем Дик, принявший днем слишком много сивухи, купленной из соображений цены, а отнюдь не пользы для здоровья, успел чем-либо загладить свою запальчивость, Френсис отразил секач, направленный уже не на ногу, а на голову, потеряв в процессе две трети указательного пальца правой руки и приблизительно три миллиметра оконечности носа. В страшном крене, теряя кровь, он выбил нож у Бузилы и, схватив его за штанину и под мышку, с размаху, о Агнца гнев, ударил об устой моста, где было написано стихотворение, — ударил, как тараном, и расколол Бузиле голову

---

[1] Бейсбол еще мало распространен в России, словарь его не русифицирован, и здесь употребляются термины, принятые Федерацией бейсбола и среди игроков.

от левой теменной области до чешуйчатой части затылочной кости, и бросил окровавленное, бесчувственное, протекшее и мгновенно ставшее мертвым тело.

Из этой неподконтрольной ситуации Френсису запомнился позыв к бегству, желание самое частое — после желания ни к чему не стремиться. В спешном порядке поискав потерянные фаланги и заключив, что они окончательно ушли в пыль и бурьян и никакой и ничьей руке их оттуда не извлечь, задержавшись еще чуть-чуть для рекогносцировки — не с целью возмещения утраченной части носа, а скорее для того, чтобы запомнить, как выглядела эта доселе неотъемлемая часть, Френсис пустился бежать и тем возобновил состояние столь же приятное для его существа, сколь и естественное, — бега по периметру бейсбольной бубны после удара битой, бегства от обвинений, от женской и мужской клеветы, от семьи, от уз, от обнищания духом через ритуалы исправления и, наконец, бегства как такового, как чистого выражения душевной склонности.

Он нашел дорогу до товарного двора, нашел там товарный вагон с открытой дверью и так оставил без завершения очередной эпизод, череда которых и составляла истинную и полную историю его жизни. В больницу он явился, когда поезд прибыл в Саут-Бенд, Индиана, и молодой врач спросил его: где палец? А Френсис сказал: в бурьяне. А кончик носа? Если бы ты принес мне кончик, мы бы, возможно, сумели его пришить, и ты бы даже не вспомнил, что терял его.

К тому времени все уже перестало кровоточить, и Френсис снова был избавлен от тех неумолимых сил, что так часто стремились оборвать нить его жизни.

Он остановил кровотечение из своей раны.

Он остановился, твердый в своей нерешительности, перед лицом капризной и враждебной судьбы.

Он остановил, о дивный человек, самое смерть.

* * *

Френсис вытер лицо полотенцем, застегнул рубашку, надел пиджак и брюки. Он кивнул Бузиле, принося извинения за то, что лишил его жизни, и одновременно желая показать, что сделал это не нарочно и надеется на понимание со стороны Бузилы Дика. Бузила улыбнулся и приподнял кепку, открыв сияние, увенчивавшее его голову. Френсис увидел черепную трещину, которая вилась и поблескивала среди волос, как речка, и Френсис понял, что Бузила Дик в раю или в такой близости от рая, что уже приобрел качества ангела Господня. Дик снова надел кепку, и даже кепка испустила сияние, подобно солнцу, когда оно пробивается сквозь легкую серую тучку. Да, сказал Френсис, виноват, я сильно разбил тебе голову, но, надеюсь, ты помнишь, что у меня были на то причины. И протянул усеченный палец. Ты знаешь, что без пальца нельзя стать священником. Нельзя служить мессу с такой рукой. И бейсбольный мяч не кинешь. Он потер шишку на носу култышкой пальца. Шишка тут, да черт с ней. Доктор сильно ее забинтовал, но зачесалось, и я содрал. Потом воспалилось, я снова к доктору — а он говорит: нельзя было срывать бинты, теперь я должен ее выскоблить, и шишка у тебя будет еще больше. И так и так была бы шишка. Ну и черт с ней — такая шишечка ведь не очень меня портит? Я не жалуюсь. Я больше пяти лет обиды не держу.

— Френсис, ты как там? — крикнула Элен. — Ты с кем разговариваешь?

Френсис помахал Бузиле Дику, сочтя, что кое-какие долги насилия погашены; но это не заставило его забыть о разгуле мученичества, творящегося вокруг: о мучениках гнева, алкоголя, неудач, утрат, неблагоприятной погоды. Альдо Кампьоне жестом дал понять Френсису, что, несмотря на отсутствие в таком деле закономерности, молитвы иной раз доходят до адресата; однако откровение это мало утешило Френсиса, ибо с тех пор, как закончилось детство, он ни разу не знал, о чем бы ему помолиться.

— Эй, бродяга, — сказал он, выйдя из ванной, — не поднесешь бродяге выпить?

— Он не бродяга, — сказала Клара.

— Да разве я не знаю, черт возьми? Он настоящий человек. Рабочий человек.

— Что это ты побрился? — спросила Элен.

— Чесалось. Четыре дня — и волос обратно в кожу врастает.

— Тебе это правда к лицу, — сказала Клара.

— Это точно, — подтвердил Джек.

— Я знала, что Френсис интересный мужчина, — сказала Клара, — но бритым вижу его первый раз.

— Я думал: сколько бродяг на моей памяти умерли в бурьяне. Просыпаешься, весь засыпан снегом, а он уже замерз к хренам, окоченел. Некоторые все-таки встают и уходят своими ногами. Со мной самим так бывало. А другие так и остаются навсегда. Ты, когда скитался, не встречал такого Бузилу — Дика Дулана?

— Не встречал, — сказал Джек.

— А еще был один, Поконо Пит — умер в Денвере, как кирпич затвердел. И Собачник Фелтон — этот доплыл в Детройте: напустил в штаны и примерз к тротуару. А еще один чудила, — его так и звали Шестая Палата, без фамилии, — когда его нашли, у него из носу росла красная сосулька. Сколько же их — и никогда у них ничего не было, и не знали они ничего, глупые, воришки, сумасшедшие. Рыжий Фил Тукер, недоросток, замерз весь скрюченный, коленками к носу. Так вместо того чтобы разогнуть, его похоронили в половинке гроба. Господи помилуй, сколько дураков. И наверняка ведь все так помирают, и наверняка все попадают на небо, если только оно есть.

— А я так думаю: умер, в землю закопали, и всё тут, — сказал Джек. — А небо там всякое — это для меня одна бессмысленность.

— Ты все равно туда не попадешь, — сказала Элен. — Тебе забронировано в другом месте.

— Тогда я с ним, — сказала Клара. — Кому это небо надо, если там одни монашки. Скучища, Господи.

Френсис с Кларой познакомился меньше трех недель назад, но кривую ее жизни видел ясно: гулящая девчонка, но даром не любит, переходит в профессионалки; надоело, выходит замуж, рожает детей, потом и это побоку, и снова в проститутки; заболевает, больна не на шутку, стареет, страшнеет, вцепляется в Джека, превращается в мегеру. Но зубы почти все на месте, неплохие, и волосы: свести ее в парикмахерскую, завить, и будет ничего еще; одеть понарядней да в туфли с каблуками, в шелковые чулки; э, слушай, и грудь еще при ней, и нога — вон, кожа чистая.

Клара увидела, что Френсис изучает ее, и подмигнула.

— Я знала одного, очень был на тебя похож. Заводилась от него прямо.

— Да уж наверное заводилась, — сказала Элен.

— Ему нравилось, чем я его угощала.

— У Клары перебоев с мужчинами не было, — сказал Джек. — Мне повезло. Но она сильно болеет. Вот почему вам нельзя остаться. Она ест много тостов.

— О, я могу поджарить тосты, — сказала Элен и поднялась со стула. — Хотите, сделаю?

— Захочу есть — сама себе сделаю, — ответила Клара. — А потом, я спать собираюсь. Вы дверь заприте, когда будете уходить.

Джек схватил Френсиса за локоть и потащил на кухню, но не раньше, чем Френсис перенастроил зрение на Клару, верхом на навозной машине, беззвучно славшую смрады из разрушенного кишечника и его стоков.

* * *

Когда Джек и Френсис вернулись с кухни, Френсис курил сигарету Джека. Потянувшись за вином, он уронил ее, и Элен застонала.

— Все падает на пол, — сказал Френсис. — Я не упрекну тебя, если выставишь этих бродяг, которые не умеют вести себя уважительно.

— Час для меня поздноватый, — сказал Джек. — Раньше два-три часа поспать мне хватало, теперь — нет.

— Сколько я у тебя не ночевал? — спросил Френсис. — Недели две уж, а?

— Да брось ты, Френсис, — сказала Клара. — Четырех дней не прошло. А Элен вчера ночевала. А в воскресенье ты.

— В воскресенье мы ушли, — сказала Элен.

— Я тут две ночи пробыл, да? — сказал Френсис.

— Шесть, — уточнил Джек. — Считай, неделю.

— Я с тобой не соглашусь, — сказала Элен.

— Неделю с лишним, — сказал Джек.

— А я знаю, что нет, — сказала Элен.

— С понедельника до воскресенья.

— Да нет же.

— Все перепуталось немного, — сказал Френсис.

— У него много чего перепуталось, — сказала Элен. — Надеюсь, еду у себя там в кафе ты не так путаешь.

— Нет, — сказал Джек.

— Ты оскорбительно разговариваешь, ясно? — сказал Френсис.

— Неделю, — сказал Джек.

— Ты врешь, — сказала Элен.

— Я знаю, что говорю, и вруном не обзывай.

— У тебя совсем мозгов нет? — спросил Френсис. — А считается еще, в колледже училась — я, мол, то да се.

— Я *училась* в колледже.

— Знаешь, Френни, — сказал Джек, — я думал тебя здесь оставить, пока работу не найдешь и денег не подкопишь. Ты мне ничего платить не должен.

— Ударьте по рукам, — сказала Элен.

— А теперь я засомневался, — сказал Джек.

— Потому что я бродяга, — сказал Френсис.

— Я бы так не сказал. — Джек подлил Френсису вина.

— Я знала, что это одни разговоры, — сказала Элен.

— Я тебе так скажу, Джек. Я всегда хорошо относился к Кларе.

— Ты напился, Френсис, — завопила Элен и снова вскочила со стула. — Ну и ходи пьяным всю жизнь. Я ухожу от тебя, Френсис. Ты ненормальный. Только и думаешь, где бы нажраться. Ты сумасшедший.

— А что я такого сказал? Сказал, что Клара мне нравится.

— И ничего в этом плохого, — сказал Джек.

— Я ничего против не имею, — сказала Элен.

— Что мне делать с этой женщиной, не знаю, — сказал Френсис.

— Будешь или нет здесь ночевать — это хоть ты знаешь? — спросила Элен.

— Нет, не будет, — сказал Джек. — Будешь уходить — забери его.

— Мы уходим, — сказала Элен.

— Клара болеет, понимаешь? — сказал Джек.

Френсис отпил вино, поставил на стол и принял позу чечеточника.

— Клара, как тебе нравятся мои обновки? Ты не сказала мне, какой я нарядный.

— Ты прямо артист, — сказала Клара.

— Не трать зря время, Френсис, — сказала Элен.

— Ты ведешь себя враждебно, поняла? Хочешь ночевать со мной сегодня в бурьяне?

— Я никогда не ночевала в бурьяне.

— Никогда? — сказала Клара.

— Да, никогда.

— Ну да, — сказал Френсис. — Она спала со мной в вагонах и в поле.

— Никогда. Выдумываешь все.

— Мы с ней и долиной ходили.

— Ты, может, и ходил. А я в такую даль вообще не заходила — и не собираюсь в такую даль заходить.

— Не такая уж и даль. Позавчера она спала в машине у Финни.

— Это в последний раз. Если до этого дойдет, я лучше к родным наведаюсь.

— Ты в самом деле наведайся к ним, милочка, — сказала Клара.

— Мои родные — почтенные люди. Мой брат — очень зажиточный адвокат, но я не люблю просить у него.

— Иногда приходится, — сказал Джек. — Поселилась бы с ним.

— Тогда — попрощаться с Френсисом. Нет, у меня есть Френсис. Мы бы завтра поженились, если бы он получил развод. Верно, Френ?

— Да, золотко.

— Иногда мы ссоримся — но только когда он пьет. Он тогда голову теряет.

— Надо тебе завязывать, — сказал Джек. — Всегда будешь с двадцаткой в кармане. Такие люди, как ты, нужны. У тебя будет все, чего пожелаешь. Новенький проигрыватель, вроде этого. Это радость.

— Имел я все это говно, — сказал Френсис.

— Поздно уже, — сказала Клара.

— Да, ребята, — сказал Джек. — Пора придавить.

— Сделай мне сандвич, а? — сказал Френсис. — С собой.

— Нет, — сказала Клара.

Элен встала и пошла на нее с криком.

— Ты забыла, как сама голодала?

— Сядь, заткнись, — сказал Френсис.

— Не заткнусь. Я помню, как она пришла ко мне, давно еще, и есть просила. Я ее давно знаю. Что знаю, я не забываю.

— Я никогда не просила, — сказала Клара.

— Он только сандвич попросил, — сказала Элен.

— Я дам ему сандвич, — сказал Джек.

— Джек больше не хочет, чтобы ты приходила, — сказал Френсис.

— Я и сама больше не приду.

— Он попросил сандвич. Я ему дам сандвич.

— Я знаю, что дашь.

— Правильно, черт возьми. Дам.

— Правильно, черт возьми, — сказал Френсис. — Я знал, что дашь.

— Вы мне мешаете, — сказала Клара.

— С острым сыром. Любишь острый сыр?

— Больше всех, — сказал Френсис.

Джек ушел на кухню и принес завернутый в вощеную бумагу сандвич. В комнате молчали. Френсис сунул сандвич в карман. Элен уже стояла в дверях.

— Спокойной ночи, друг, — сказал Френсис Джеку.

— Счастливо тебе, — сказал Джек.

— Ну, увидимся, — сказал Френсис Кларе.

— Пока, — сказала Клара.

* * *

На улице Френсис ощутил потребность бежать. Они двигались по Тен-Брук-стрит в сторону Клинтон авеню, то есть под уклон, и он ощущал, как сила тяготения вынуждает его перейти на рысь и предоставить Элен самой позаботиться о своих нуждах. Холод завернул еще круче, небо окончательно прояснилось, луна в стерильном одиночестве стояла еще выше. Норт-Пёрл-стрит была пустынна: ни людей, ни машин в эту пору — час сорок пять по большим часам на Первой церкви. Три квартала они прошли молча и теперь направлялись туда, откуда начали путь, к южному краю, к миссии, к табору бродяг.

— Ну и где ты теперь спать завалишься? — спросил Френсис.

— Не знаю, но у них бы не осталась, ни на шелковых простынях, ни на норковых подушках. Я помню, как она шлюхой была и вечно без денег. А теперь вишь как занеслась. Не могла я ей не высказать.

— Ну и чего ты добилась?

— Джек правда сказал, что больше не пустят меня?

— Да. А меня оставляли. Клара думает, что ты искушаешь Джека. Я думал, полюбезничаю с ней, так она из-за тебя не станет беспокоиться, а ты разошлась как не знаю кто. На! Откуси сандвича.

— Я им подавлюсь.

— Ничего, не подавишься. Еще рада будешь.

— Я не лицемерка.

— И я не лицемер.

— Нет, да?

— Знаешь, что с тобой будет? — Он схватил ее за ворот и за горло и заорал в лицо. — Я тебя по мостовой раскачу! Только попробуй со мной говниться. Будь же ты женщиной, черт побери! Потому тебя никто и не пускает. Я хоть сейчас туда пойду и лягу. Джек сказал: оставайся.

— Не сказал.

— Нет, сказал. А тебя не хотят. Я сандвич попросил. Дали?

— Ты изумительный и колоссальный.

— Слушай... — Он по-прежнему держал ее за ворот. — Еще прищурься на меня, и я тебя об этот автомобиль расшибу. Девять лет торчишь у меня занозой в жопе. Тебя не хотят, потому что ты заноза в жопе.

Наверху Пёрл-стрит возникли фары, они приближались, и Френсис отпустил Элен. Она не пошевелилась и смотрела на него в упор.

— А, у тебя глаза завелись, я вижу! — Он кричал. — Я их тебе раскрашу. Дура чертова! Знаешь, что сделаю? Сдеру с тебя пальто и в тряпках пущу гулять.

Она не шевельнулась и не моргнула.

— Съем сейчас сандвич. Весь сыр сожру.

— А я не хочу.

— А я хочу. Завтра буду голодный. И не подавлюсь им. Я за все благодарен.

— Ты прямо святой.

— Слушай. Приди в норму, или я тебя убью.

— Не буду есть. Крысиная жратва.

— Я убью тебя! — завопил Френсис. — Ты слышишь, черт бы тебя взял? Не доводи до греха. Будь же ты женщиной, черт бы тебя взял, отправляйся куда-нибудь дрыхнуть.

Они шли, не совсем рядом, к Медисон авеню, снова на юг по Саут-Пёрл — возвращались той же дорогой. Френсис задел руку Элен, и она отодвинулась подальше.

— Останешься у Махони в приюте?

— Нет.

— Со мной заночуешь?

— Брату позвоню.

— Правильно. Позвони. Позвони два раза.

— Он меня где-нибудь встретит.

— А где монету возьмешь для телефона?

— Это мое дело. Ей-Богу, Френсис, ты был нормальный, пока не принялся за вино. Вино, вино, вино.

— Я найду картонку. Пошли в старый дом.

— Там все время полицейские с облавами. Я в тюрьму не хочу. Не понимаю, почему ты не остался у Джека с Кларой, раз тебя так зазывали.

— С тобой по-хорошему нельзя.

Они шли по Медисон на восток, миновали миссию. Элен не взглянула в ту сторону. На углу Грин-стрит они остановились.

— Я пойду вниз, — сказала она.

— Кому ты рассказываешь? Некуда тебе идти. Получишь там по черепу.

— Это не самое плохое, что со мной бывало.

— Надо найти место. Собаку, и ту так не выгоняют.

— Значит, такие уж они люди.

— Ночуй со мной.

— Нет, Френсис. Ты сумасшедший.

Он схватил ее за волосы на затылке, потом взял за голову обеими руками.

— Ты меня ударишь, — сказала она.

— Не ударю, детка. Я тебя люблю малость. Сильно замерзла?

— Кажется, за два дня ни разу не согрелась.

Френсис отпустил ее, снял пиджак и накинул ей на плечи.

— Нет, нельзя без пиджака в такой холод, — сказала она. — У меня же пальто. Тебе нельзя в одной рубашке.

— Какая, к чертям, разница? Пиджак не согреет.

Она вернула ему пиджак.

— Я пошла.

— Не уходи от меня, — сказал Френсис. — Ты пропадешь в мире.

Но она ушла. А Френсис прислонился к фонарному столбу на углу, зажег сигарету, подаренную Джеком, потрогал долларовую бумажку, которую ему сунул на кухне Джек, доел то, что осталось от сандвича, а потом выкинул старые трусы в сток.

* * *

Элен дошла по Грин-стрит до пустыря и увидела костер, разведенный в бочке из-под керосина. Со своей стороны улицы она разглядела, что вокруг костра сидят пятеро цветных — мужчины и женщины. За бочкой, среди травы, на старом диване лежала белая женщина, а на ней цветной мужчина. Она вернулась туда, где стоял Френсис.

— Не могу сегодня ночевать на улице, — сказала она. — Я умру.

Френсис кивнул, и они пошли к автомобилю Финни — черному «олдсмобилю» 1930 года выпуска, безжизненному и бесколесному, в проулке возле Джон-стрит. В машине спали двое — Финни на переднем пассажирском сиденье.

— Я не знаю того, кто сзади, — сказала Элен.

— Знаешь. Это Рыжик из миссии. Он тебя не обидит. А попробует — я ему язык вырву.

— Я не хочу к ним, Френсис.

— Там хоть тепло. А в поле холод, детка, жуткий холод. Будешь шляться одна по улицам — заберут в два счета.

— И ты полезай назад.

— Нет. Мне там тесно. Ноги не помещаются.

— Куда пойдешь?

— Найду, где бурьян повыше, от ветра спрятаться.

— Ты вернешься?

— Конечно вернусь. Выспись как следует, а с утра приду или сюда, или в миссию.

— Я не хочу здесь спать.

— Надо, детка. Больше негде.

Френсис открыл правую дверь и толкнул Финни.

— Эй, бродяга. Двинься. К тебе гости.

Финни открыл глаза, налитые вином. Рыжик продолжал храпеть.

— Ты кто такой? — спросил Финни.

— Френсис. Подвинься, пусти Элен.

— Френсис. — Финни поднял голову.

— За это завтра принесу тебе бутылку, — сказал Френсис. — Ей нельзя там на холоду.

— Ну да.

— Ты мне не нудакай, а подвинься, в жопу, и дай ей сесть.

— Ууввр, — произнес Финни и перелез под руль.

Элен уселась спереди, свесив ноги из машины. Френсис погладил ее по щеке тремя пальцами и опустил руку. Она подобрала ноги.

— Тебе нечего бояться, — сказал Френсис.

— Я не боюсь. Не в том дело.

— Финни ничего плохого не допустит. А допустит — убью паразита.

— Она знает, — сказал Финни. — Она здесь бывала.

— Правильно, — сказал Френсис. — Ничего с тобой не случится.

— Да.

— Утром увидимся.

— Ага.

— Не унывай, — сказал Френсис.

И захлопнул дверь машины.

* * *

С пустой душой он шел на Полярную звезду; им безраздельно владело одно желание: переменить курс своей судьбы. Слишком часто ночевал он на южном краю, на пустыре, в бурьяне. Этого больше не будет. Завтра с утра ему надо было предстать перед старьевщиком, поэтому ночевка в одном из брошенных домов на юге Бродвея, регулярно прочесываемых бессмысленной полицией, — чрезмерный риск. Кому хуже от того, что переночуют под крышей, не на ветру, четыре, или шесть, или восемь человек — в доме с поломанными лестницами и дырами в полу, куда можно провалиться и сломать себе шею, в доме, где уже пять, а то и десять лет обитают только голуби? Кому хуже?

Он шел по Бродвею на север, мимо Стимбот-сквер, где мальчишкой пробирался на речные пароходы, чтобы прокатиться до Трои или Кингстона или устроить пикник на острове Лагун. Он миновал здание Делавэр-Гудзонской железной дороги и «Ивнинг джорнэл» Билли Барнса — на строительстве этого дома в 1913 году работал его туповатый брат Томми. Он дошел до угла, где стояла когда-то гостиница Килера — брат Питер, случалось, ночевал там, поссорившись с мамой. Но гостиница сгорела через год после того, как Френсис сбежал из дому, и теперь на ее месте торговый ряд. В тринадцатом году, когда река взбесилась и затопила половину центра, Френсис плыл к гостинице по Бродвею на лодке, и с ним сидел Билли. Малыш был в восторге. Сказал, что это лучше, чем на санках. Не сохранилась гос-

тиница. А что вообще сохранилось? Ну, я. Ну да, я. От меня тоже не Бог весть сколько сохранилось; не цел, но жив. И провалиться мне в пекло, если сдохну.

Полчаса Френсис шел строго на север из центра — в Северный Олбани. На Мейн-стрит он свернул направо — и вниз по ее пологому спуску, к реке, мимо дома Макгроу, потом мимо Гринов — некогда единственных цветных в Северном Олбани, мимо дома Догерти, где до сих пор жил Мартин, — света в окнах нет — и мимо забитой досками «Тачки», салуна Железного Джо Фаррелла; там Френсис научился пить, там смотрел петушиные бои в задней комнате, там впервые заговорил с Энни Фаррелл.

Он шагал к низине, где раньше был канал — не сохранился, давно засыпан. И шлюза нет, и дома при шлюзе, и бечёвник зарос травой. Но на подходе к Нортстрит Френсис увидел знакомое сооружение. Мать честная. Сарай Жестянки Уэлта — стоит! Кто бы мог подумать? Неужели и Уэлт жив? Вряд ли. Слишком глуп, чтобы так долго жить. Неужели им пользуются? И все еще — сарай? Похоже, сарай. Но кто нынче держит лошадей?

Сарай оказался скорлупой; через громадную дыру в дальнем конце крыши луна лила холодное пламя на старый выщербленный пол. Летучие мыши по-балетному описывали дуги около уличного фонаря — последнего фонаря на Нортстрит; всхрапывали и топали вокруг Френсиса призраки лошадей и мулов. Он сам потопал по половицам и нашел их крепкими. Он потрогал половицы и нашел их сухими. Дверь сарая висела на одной петле, и Френсис прикинул, что если удастся ее повернуть, то он сможет спать за ней, загородившись от ветра с трех сторон. Над этим углом лунный свет не затекал под крышу — здесь Жестянка Уэлт развешивал рядком на гвоздях свои грабли и вилы.

Френсис возродит этот угол, восстановит все грабли и вилы, вернет на ночь лицо Жестянки Уэлта в его прежнем виде, наловит залетных воспоминаний об ушедших временах. При лунном свете он увидел на дальней полке кипу газет и картонную коробку. Он расстелил газеты в своем углу, разорвал коробку и на эту плоскую кипу лег.

Когда-то он жил в двадцати пяти шагах от того места, где лежал сейчас.

В двадцати пяти шагах отсюда 26 апреля 1916 года умер Джеральд Фелан.

В автомобиле Финни Элен, наверное, дрочит ему или берет в рот. Финни негоден для совокупления, а Элен толста для игр на переднем сиденье. Элен годна для любого дела. Он знал, хотя она ему об этом не рассказывала, что однажды ей пришлось дать двум незнакомым — чтобы поспать в покое. Френсис принимал эти измены так же безропотно, как воспринимал обязанность стащить одеяло с Клары и проникнуть сквозь несчитанные уровни вони, дабы получить доступ в постель. Блуд — всеобщая валюта выживания; разве нет?

Нынешнюю ночь я могу и не пережить, подумал Френсис, спрятав ладони между бедрами. Он подтянул колени к груди, не так высоко, как Рыжий Фил Тукер, и подумал о смертях, которые причинил и, может быть, еще причиняет. Умирает Элен, и Френсис, возможно, главный фактор, приближающий ее к смерти, хотя сегодня вечером все его существо было устремлено к тому, чтобы не дать ей замерзнуть в пыли, как Сандре. Я не хочу умереть раньше тебя, Элен, — вот о чем думал Френсис. Без меня ты будешь в мире как ребенок.

Он подумал о том, как летел по воздуху его отец, и понял, что отец в раю. Добрые оставляют нас здесь, чтобы мы размышляли об их деяниях. Мать должна быть в чистилище и будет там, черт подери, вечно. Мегера из мегер, отрицательница жизни — но для ада в ней не хватало зла. А чтобы хоть на минуту ее пустили в рай — если есть у них такое место, — этого он себе не представлял.

Новый студеный воздух ноября лежал на Френсисе, как одеяло. Тяжесть его обездвижила тело, но принесла ему покой; а тишина положила конец мучениям ума.

В подступавшем сне из земли выросли рога и горы, и рога — небесные трубы — играли с блеском, достойным гибельности горных троп с их карнизами и глыбами, нависшими над головой. Затем, уступив не без трепета их закодированным призывам, он физически вознесся в заоблачные высоты, где давным-давно была сочинена эта песнь. И он уснул.

IV

Френсис стоял на подъезде к свалке и отыскивал взглядом старика Росскама. Серые облака, похожие на две летучие кучи грязных носков, стремительно пронеслись мимо утреннего солнца, мир озарился резкой вспышкой света, и Френсис заморгал. Взгляд его блуждал по кладбищу усопших вещей: ржавых газовых плит, сломанных дровяных плит, мертвых ледников, велосипедов с погнутыми колесами. Гора изношенных автомобильных шин бросала тень на равнину ржавых труб, детских колясок, тостеров, автомобильных крыльев. В длиннющем сарае с тремя стенами высилась горная цепь из картона, бумаги и тряпья.

Френсис вступил в этот отверженный мир и направился к покосившейся деревянной лачуге, перед которой стояла запряженная в тележку лошадь с просевшей седловиной. За тележкой виднелась горка тележных колес, а рядом с ней — россыпь сковородок, жестянок, утюгов, кастрюль, чайников и целое море металлических фрагментов, уже безымянных.

В единственном окошке лачуги Френсис увидел, вероятно, Росскама, наблюдавшего за его приближением. Френсис толкнул дверь и предстал перед хозяином, человеком лет шестидесяти, круглолицым, лысым, коренастым, грязным, с широким и несомненно жилистым торсом и похожими на корни дуба пальцами.

— Здоров, — сказал Френсис.

— Угу, — сказал Росскам.

— Священник говорил, тебе нужна пара крепких рук.

— Может, и так. У тебя что ли крепкие?

— Покрепче, чем у многих.

— Наковальню поднимешь?

— А ты наковальни собираешь?

— Всё собираю.

— Покажи мне наковальню.

— Нет у меня наковальни.

— Так на черта ее поднимать?

— А бочку? Бочку поднимешь?

Он показал на керосиновую бочку, до половины насыпанную деревяшками и железным ломом. Френсис обнял ее и с трудом приподнял.

— Куда ее тебе поставить?

— Туда, откуда взял.

— Сам-то поднимаешь такие? — спросил Френсис.

Росскам встал и, без видимых усилий оторвав бочку от земли, поднял выше колен.

— Так ты в приличной форме должен быть, если такие таскаешь, — сказал Френсис. — Тяжелая дура.

— Эта, по-твоему, тяжелая? — сказал Росскам и вскинул бочку стоймя на плечо. Потом спустил ее на грудь, перехватил и поставил на землю.

— Всю жизнь поднимаем, — сказал он.

— Да уж вижу. Это все — твое добро?

— Все мое. Не раздумал работать?

— Сколько платишь?

— Семь долларов. А работа до темноты.

— Семь. Не много за ручную работу.

— Другие хватаются за такую.

— Надо бы восемь или девять.

— Найдешь лучше — берись. На семь долларов люди семью кормят целую неделю.

— Семь пятьдесят.

— Семь.

— А-а, ладно — один черт.

— Залезай на телегу.

Проехав на тележке минуты две, Френсис понял, что к вечеру копчик будет жаловаться, если доживет до тех пор. Тележка подскакивала на гранитных плитах и трамвайных рельсах; ехали молча по ясным утренним улицам. Френсис радовался солнечному свету и, глядя, как люди этого старого города встают на работу, открывают магазины и рынки, выходят навстречу дню имущества и прибыли, чувствовал себя богатым.

На трезвую голову Френсис всегда тяготел к оптимизму; долгая поездка на товарном поезде, когда выпить было нечего, открывала новые горизонты выживания, и, случалось, он даже сходил с поезда, чтобы поискать работу. Он чувствовал себя богатым, но чувствовал себя мертвым. Он не нашел Элен, он должен ее найти. Элен снова пропала. У этой женщины просто специальность такая — пропадать. Может, пошла куда-нибудь в церковь. Но почему не зашла в миссию за кофе и за Френсисом? Почему, черт возьми, каждый раз из-за нее Френсис должен чувствовать себя мертвым?

Тут он вспомнил статью о Билли в газете и повеселел. Первым ее прочел Махоня и дал ему. Статья была о сыне Френсиса, и написал ее Мартин Догерти, журналист, некогда живший рядом с Феланами на Колони-стрит. Билл оказался замешан в похищении племянника Патси Маккола, местного политического босса. Племянника вернули целым и невредимым, но Билли влип, потому что не донес на предполагаемого похитителя. Мартин написал статью в защиту Билли и назвал Патси Маккола нечистым на руку честолюбцем за то, что он подло обошелся с Билли.

— Ну и что, нравится тебе? — спросил Росскам.

— Что? — спросил Френсис.

— Сексуальные штуки, — сказал Росскам. — По женской части.

— Я теперь мало об этом думаю.

— У вас, бродяг, много всяких вывертов по этой части, правильно я говорю?

— Некоторые это любят. Я — нет.

— А как ты любишь?

— Да я вообще уже не люблю. Скажу тебе честно. Я свое отгулял.

— Такой мужчина? Сколько тебе? Пятьдесят пять? Шестьдесят два?

— Пятьдесят восемь.

— А нам семьдесят один, — сказал Росскам. — И ничего не отгулял. По четыре-пять за ночь заделываю моей старухе. А днем — не сочтешь.

— Что — днем?

— Женщины. Сами просят. Ездишь от дома к дому, тебе предлагают. Не при нас это придумано на свете.

— Я никогда не ездил от дома к дому, — сказал Френсис.

— Я полжизни ездию от дома к дому, — сказал Росскам. — И знаю, что и как. Предлагают.

— И с триппером, поди, на короткой ноге.

— Два раза за всю жизнь. Лекарством пользуешься — он проходит. Эти женщины, они не так часто злоупотребляют, чтобы заразиться. Голод у них, а не триппер.

— Кладут тебя в постель в старой одевке?

— В подвале. Они в подвале любят. На дровах. В угле. На газетах старых. Идут за мной по лестнице, нагибаются над газетами, буфера показывают, или юбку передо мной на лестнице поднимут, другое показывают. Самая лучшая тут из последних была у меня на четырех урнах. Очень шумно — но женщина... Что она говорила — у тебя язык не повернется повторить. Горяча, ух, горяча. Сегодня утром мы ее навестим, на Арбор-хилле. Ты на телеге подожди: это недолго, если ты не против.

— С чего мне быть против? Телега твоя, ты начальник.

— Это правильно. Я начальник.

Они выехали на Северный бульвар, а оттуда на Третью улицу — всё под гору, чтобы не замучить лошадь. Ехали от дома к дому, грузили старые часы и разбитые приемники, бумагу без конца, две коробки увечных книг по садоводству, банджо со сломанным грифом, банки, старые шляпы, тряпье.

— Вот, — сказал Росскам, когда они подъехали к дому страстной дамы. — Хочешь, погляди в подвальное окошко. Она любит, чтоб смотрели, а мне все равно.

Френсис помотал головой и остался на тележке — глядеть на Третью улицу. Он мог бы восстановить ее всю по памяти. Детство, молодость проходили на улицах Арбор-хилла, девочки открывали в себе желания, мальчики на этом открытии грели руки. Шайка в проулках подглядывала за раздевавшимися женщинами, а однажды они наблюдали предварительные ласки голых мистера и миссис Райан, покуда те не выключили свет. Джон Килмартин дрочил во время этого спектакля. Воспоминание возбудило Френсиса. Хотел ли он женщину? Нет. Элен? Нет, нет. Он хотел снова подглядывать за Райанами и вместе с ними достигать готовности. Он слез с тележки и зашел за дом, где жила горячая дама Росскама. Он ступал тихо, прислушиваясь, и до него доносились стоны, невнятные слова и звук усталости металла. Он присел на корточки и заглянул в подвальное окошко: вот они, на урнах, штаны у Росскама спущены на туфли, а под ним дама в платье, задранном до подбородка. Когда Френсис разглядел их, стали внятны и голоса.

— Ох как, ох как, — говорил Росскам. — Ох как, ох как.

— Ох, я люблю, — говорила горячая дама. — Ох, я люблю. Ох, я люблю.

— Ох, любишь, — говорил Росскам. — Ох как, ох как.

— Суй мне, — говорила горячая дама. — Суй мне, сунь, сунь, сунь, сунь мне.

— На́ тебе, — говорил Росскам. — На тебе.

— Ох, еще, еще, — говорила дама. — Я злая баба. Еще, еще.

— Ох как, ох как, — говорил Росскам.

Горячая дама увидела в окошке Френсиса и помахала ему рукой. Френсис поднялся и пошел к тележке, против воли извлекая из памяти картины прошлого. Бродяги спаривались в вагонах, женщин харили хором в траве, бродяга насиловал восьмилетнюю девочку, а потом насильника били ногами до полусмерти другие бродяги и скидывали на ходу с поезда. Он видел легион женщин, с которыми спал: женщины ничком, женщины голые, женщины с задранными юбками, с раздвинутыми ногами, с раскрытыми ртами, женщины в охоте, потные и кряхтящие под ним и над ним, женщины, изъявляющие любовь, желание, радость, боль, нужду. Элен.

Он познакомился с Элен в нью-йоркском баре, и когда выяснилось, что оба из Олбани, любовь их ускорила свой ход. Он поцеловал ее, она — в ответ, с языком. Он погладил ее по телу, уже тогда старому, но отзывчивому и полному и еще без опухоли, и они признались друг другу в жарком взаимном желании. Френсис не решался утолить его, ибо восемь месяцев был без женщины после того, как с трудом и большими неудобствами для себя избавился от м-вошек и бесконечной слизистой капели. Однако близость пылающего тела Элен прогнала страх перед болезнью, и, в конце концов поняв, что сблизиться им предстоит не на одну ночь,

сказал: «Я не притронусь к тебе, детка. Пока не проверюсь». Она предложила ему надеть презерватив, но он сказал, что терпеть не может эту пакость. Сделаем анализ крови, вот что мы сделаем, сказал он ей, и они скинулись на поход в больницу, и получили хорошие анализы, и сняли комнату, и занимались любовью до изнеможения. Любовь, ты член мой, стертый до крови. Любовь, ты негасимый огонь. Ты обжигаешь меня, любовь. Я опален, я почернел.

***

Тележка ехала дальше, и Френсис понял, что она движется к Колони-стрит, где он родился и вырос, где до сих пор живут его сестры и братья. Колеса тележки скрипели, старье в кузове тряслось и гремело, возвещая возвращение блудного сына. Френсис увидел свой дом — все та же расцветка, беж и коричневая, — и рядом покрытый высоким бурьяном пустырь на месте сгоревшего дома Догерти и школы Христианских братьев[1].

Он увидел, как отец и мать после венчания сходят перед домом с коляски и, переплетя руки, поднимаются на крыльцо. На Майкле Фелане железнодорожный комбинезон, и выглядит он точно так, как в ту минуту, когда его сбил мчавшийся поезд. Катрин Фелан в венчальном платье выглядит так же, как в тот день, когда она влепила Френсису пощечину и он отлетел к буфету с посудой.

— Остановись на минутку, а? — попросил Френсис Росскама, который не промолвил ни слова с тех пор, как поднялся из подвала страсти.

— Остановить? — сказал Росскам и натянул вожжи.

Новобрачные перешагнули через порог и вошли в дом. Они поднялись по лестнице в спальню, которую им предстояло делить на протяжении всей совместной жизни, — теперь эта же комната стала их совместной могилой, и такая сдвоенность пространства представлялась Френсису столь же логичной, сколь и сам этот момент, где сошлось настоящее пятидесятивосьмилетнего Френсиса с годом, предшествующим его рождению, 1879-м, когда совершилось таинство брака. Комната имела вид, знакомый с детства. Дубовая кровать и два дубовых туалетных стола приросли к своим местам так же прочно, как деревья, бросавшие тень на могилы Феланов. Комната благоухала смесью материнских и отцовских запахов — разделявшихся, когда Френсис зарывался лицом в чью-либо подушку, или открывал ящики туалетов с интимной одеждой, или, скажем, вдыхал запах горелого табака в остывшей трубке или аромат куска мыла Пирса, используемого как саше.

На шестидесятом году совместного существования Майкл Фелан обнял в спальне молодую жену и провел пальцем по ложбинке между грудей; Френсис увидел, как его будущая мать содрогнулась от первого и, насколько он понял, отвратительного любовного прикосновения. Комната Френсиса, первенца, была рядом с их спальней, поэтому он годами слушал их ночные препирательства и отлично знал, что мать неизменно сопротивлялась мужу. Когда Майкл все же одолевал ее — силой воли или угрозой передать их дело на суд священника, — Френсис слышал ее возмущенное рычание, тяжкие стоны, извечные доводы относительно того, что половые сношения, не производящие потомства, греховны. Ей противно было даже то, что люди знают о ее совокуплениях с мужем, завершившихся рождением детей, — и эта ее печаль всю жизнь бесконечно радовала Френсиса.

Сейчас, когда муж стал стягивать с нее через голову рубашку, девственная мать шестерых детей отшатнулась в ужасе, духовная подоплека которого открылась Френсису впервые и который так же явственно выражался в ее глазах в 1879 году,

---

[1] Полностью — Христианские братья Ирландии — религиозное общество для образования бедных мальчиков.

как и на кладбище. Кожа ее была свежа и розова, как тафта внутренней обивки гроба, но, несмотря на молодой румянец, она была безжизненна, как шелк ее красного погребального платья. Она всю жизнь была мертвой, подумал Френсис и впервые за много лет пожалел эту женщину, кастрированную самокладеными монашками и самолегчеными священниками. В ту минуту, когда она по обязанности отдавала свое свежее тело молодому мужу, Френсис ощутил, как «железная дева»[1] навороженного целомудрия пронзает ее со всех сторон и стягивается с годами все туже, покуда совсем не задушит в ней чувственность и она не сделается холодной и бескровной, как гранитный ангел.

Она закрыла глаза и повалилась на брачное ложе, словно труп, готовясь принять мужа, и беспорочная кровь отца страстно впрыснулась в ее старый сосуд, и в ней завозилась жизнь новозачатой смерти. Френсис наблюдал, как эта первичная лужица набухает веществом, увидел, как она меняется и растет со скоростью света, достигает размеров младенца и, грубо выдернутая отцом из материнской полости, распрямленная и шлепком ввергнутая в бытие, быстро превращается под его руками в сорное существо. Диким ростом тело вымахало во взрослого человека и встало перед Френсисом, полностью одетое во все то, что было сейчас на нем. Он узнал беззубый рот, палец с недостающими фалангами, шишку на носу, смертную сутулость своей новорожденной тени и понял, что этой распадной личностью, так долго формировавшейся, он останется все бесконечные годы своей смерти.

***

— Но-о, — сказал Росскам, и старая кляча поплелась вниз по Колони-стрит.

— Ста-а-рье бе-ре-ём, — завопил Росскам. — Ста-а-рье бе-ре-ём. — Клич этот был на самом деле песней из двух нот: до и си-бемоль, а может, фа и ми-бемоль. И в окне напротив дома Феланов появилась женская голова.

—Ее-есть, — откликнулась она двумя нотами. — Ста-арье.

Росскам остановил лошадь перед углом дома.

—На заднем крыльце, — сказала женщина. — Газеты, ванна и кое-что из одежды.

Росскам застопорил тележку и слез.

— Ну? — сказал он Френсису.

— Не хочу заходить. Я ее знаю.

— Ну и что?

— Не хочу, чтобы она меня видела. Миссис Диллон. У нее муж железнодорожник. Я их всю жизнь знаю. Мои родственники живут вон в том доме. Я на этой улице родился. Не хочу, чтобы соседи увидели, что я похож на бродягу.

— А ты и есть бродяга.

— Мы с тобой это знаем, а они — нет. Я всё буду таскать. В следующий раз всё сам перетаскаю. Только не на этой улице. Ты понял?

— Чувствительный бродяга. Чувствительного бродягу я нанял в помощники.

Росскам отправился за старьем один, а Френсис стал смотреть через улицу и увидел, как мать в домашнем платье и фартуке украдкой сыплет соль на корни молодого клена, росшего на дворе у Догерти, но бесцеремонно ронявшего веточки, листья и крылатки на цветы и помидоры Феланов. Катрин Фелан сказала своей почти тезке Катрине Догерти, что мусор и тень этого дерева Феланам нежелательны. Катрина обрезала, где смогла, нижние ветви; обрезать верхние попросила Френсиса, к семнадцати годам прослывшего среди соседей мастером на все руки; и Френсис сделал: влез наверх и отпилил живые руки сильного, молодого дерева. Но на каждую обрезанную ветвь жизнь ответила новыми побегами, и дерево зазеленело пышнее всех на Арбор-хилле, приводя в ярость Катрин Фелан, которая

[1] Средневековое орудие пытки.

сыпала еще больше соли на корни, прораставшие под забор и все нахальнее вторгавшиеся на участок Феланов.

— Мама, почему ты хочешь погубить дерево? — спросил Френсис.

А мать сказала:

— Потому, что дерево не имеет права залезать на чужие дворы. Если нам понадобится дерево на дворе, мы посадим свое, — сказала она и подбросила соли. Листья на дереве кое-где увяли, а одна ветвь засохла окончательно. Но засолка не дала результата: Френсис увидел, что клен вырос вдвое против прежнего; зеленый гигант стоял над бурьяном и тянулся к солнцу оттуда, где некогда был двор Догерти.

Под ярким полуденным солнцем 1938 года дерево сократилось до половинного размера сорокалетней давности — такого, как в июле 1897-го, когда Френсис, сидя посреди кроны, спиливал ветку над головой. Он услышал, как открылась и закрылась задняя дверь нового дома Догерти, глянул вниз со своего насеста и увидел Катрину Догерти с продовольственной сумкой; на ней была серая летняя шляпа, атласные серые бальные туфельки, и больше ничего. Она спустилась по пяти ступенькам на заднюю веранду и направилась к новому сараю, где Догерти держали свое ландо и лошадь.

— Миссис Догерти, — крикнул Френсис и спрыгнул с дерева. — Как вы себя чувствуете?

— Я еду в город, Френсис, — ответила она.

— Вам не надо что-нибудь надеть? Какую-нибудь одежду?

— Одежду? — Она поглядела на свое голое тело, потом наклонила голову набок и, с насмешливо расширенными глазами, оцепенела.

— Миссис Догерти, — сказал Френсис, но она не ответила и не пошевелилась.

С перил веранды, которые он сооружал, Френсис взял кусок зеленой парусины, предназначенной для навеса над боковым окном, завернул в него голую женщину, взял ее на руки и внес в дом. Он усадил ее на диван в задней гостиной и, пока парусина еще не совсем сползла с ее плеч, стал искать в доме одежду. Он нашел халат, висевший на двери кладовки, поднял Катрину на ноги, просунул ее руки в рукава, завязал на ней пояс и, уже одетой, развязал под подбородком ленту шляпы. Потом снова усадил ее на диван.

В шкафчике он нашел бутылку шотландского виски, в буфете бокал, налил с четверть, поднес ей ко рту и уговорил глотнуть. Виски — волшебный напиток и вылечит вас от всех огорчений. Катрина отпила, улыбнулась и сказала:

— Спасибо, Френсис, ты такой заботливый.

Глаза ее уже не были расширены, муть из них ушла, оцепенение исчезло, лицо и тело оттаяли.

— Вам лучше? — спросил он.

— Мне хорошо, совсем хорошо. А ты как, Френсис?

— Хотите, я схожу за вашим мужем?

— Мужем? Мой муж в Нью-Йорке, боюсь, что он труднодосягаем. А зачем тебе понадобился мой муж?

— Может быть, привести кого-нибудь из родственников? Кажется, у вас был какой-то приступ.

— Приступ? Что значит — приступ?

— Там. На заднем дворе.

— На дворе?

— Вы вышли совсем неодетой, а потом как будто застыли.

— Послушай, Френсис, тебе не кажется, что ты слишком фамильярен?

— Этот халат я на вас надел. Я внес вас в дом.

— Ты внес меня?

— Завернул в парусину. Вот в эту. — Он показал на валявшуюся перед дива-

ном материю. Катрина посмотрела на парусину, сунула руку за пазуху и пощупала голую грудь. Когда она снова посмотрела на Френсиса, он увидел в ее лице лунное величие, леденящий сплав красоты и заброшенности. В дальнем конце парадной гостиной Френсис увидел лоб и глаза Мартина, девятилетнего сына Катрины Догерти, который наблюдал все это из-за спинки стула.

***

Прошел месяц, и в день, когда Френсис доделывал двери в сарае Догерти, Катрина окликнула его с заднего крыльца, поманила его в дом, провела в заднюю гостиную, села на тот же диван и жестом предложила ему кресло напротив. В длинном желтом платье с мягким воротом она показалась Френсису солнечным лучом.

— Можно налить тебе чаю, Френсис?

— Нет, мэм.

— Не хочешь ли сигару моего мужа?

— Нет, мэм. Я их не курю.

— Неужели у тебя нет мелких пороков? Может быть, ты виски пьешь?

— Пробовал, но больше пиво пью.

— Ты считаешь меня безумной, Френсис?

— Безумной? Как это?

— Безумной. Безумной, как Черная Королева. Странной. Сумасшедшей, если хочешь. Ты считаешь Катрину сумасшедшей?

— Нет, мэм.

— Даже после моего приступа?

— Я и считал, что приступ. Приступ не значит, что сумасшедшая.

— Конечно, ты прав, Френсис. Я не сумасшедшая. Кому ты рассказал о том происшествии?

— Никому, мэм.

— Никому? Даже дома?

— Нет, мэм, никому.

— Я знала, что ты не расскажешь. Можно спросить — почему?

Френсис потупился.

— Люди могли не понять. Что-нибудь не то подумать.

— Что — не то?

— Всякое могут подумать. Раздетые люди — это не совсем обычное дело.

— Хочешь сказать, что люди что-нибудь выдумают? Изобретут какие-то воображаемые отношения между нами?

— Могут изобрести. Чтобы сплетню распустить, им и не такого хватит.

— Значит, промолчав, ты хотел спасти нас от скандала?

— Да, мэм.

— Пожалуйста, не зови меня «мэм». Так обращаются слуги. Зови меня Катриной.

— Я не могу.

— Почему не можешь?

— Это слишком большая вольность.

— Но это — мое имя. Сотни людей зовут меня Катриной.

Френсис кивнул. Попробовал слово на вкус, молча, потом помотал головой.

— Не могу выговорить, — сказал он и улыбнулся.

— Скажи. Скажи: «Катрина».

— Катрина.

— Вот видишь, выговорил. Скажи еще раз.

— Катрина.

— Хорошо. Теперь скажи: «Что для вас сделать, Катрина?»

— Что для вас сделать, Катрина?

— Великолепно. И больше никак меня теперь не зови. Я настаиваю. А я буду звать тебя Френсисом. Так нас звали, когда мы родились, и в крещении это было утверждено. Друзья должны отбросить церемонии, а ты, после того как спас меня от скандала, — определенно мне друг.

***

В новой перспективе — с тележки старьевщика — Френсису открылось, что Катрина не только самая редкая птица в его жизни, но, возможно, самая редкая из всех, когда-либо гнездившихся на Колони-стрит. На улицу рабочих-ирландцев с нею явился дух изысканности, и улица немедленно ответила враждебными и завистливыми взглядами. Но через какой-нибудь год после ее вселения в новый дом (уменьшенную копию особняка на Элк-стрит, где она родилась, и взрастала, как тропическая орхидея, и жила до того, как вышла замуж за Эдварда Догерти, писателя, чьи занятия и слова, речь и национальность были анафемой для ее отца и который, в качестве компенсации, выстроил эту копию, где Катрина могла и дальше жить в своем коконе, — но выстроил в районе, где сам он никогда не почувствует себя чужеземцем, — строил с размахом, истратил весь капитал и для завершения вынужден был нанимать рабочую силу из соседских, вроде Френсиса) ее обаяние и щедрость, ее совершенная простота и множество других человеческих достоинств превратили враждебность большинства соседей в дружелюбный интерес и восхищение.

При первом появлении Катрины внешность ее поразила Френсиса: и ее светлые волосы, собранные сверху мягким венком, и темные блестящие глаза, полнота и величественность форм, царственная осанка, и неровные зубы, придававшие ее красоте неповторимость. Эта богиня, которая прошла нагой по его жизни и которую он нес на руках, сейчас сидела напротив Френсиса на диване и, глядя на него расширенными глазами, подалась вперед и спросила:

— Ты в кого-нибудь влюблен?

— Нет, м..., нет. Я еще молод.

Катрина рассмеялась, а Френсис покраснел.

— Ты такой красивый мальчик. В тебя, наверно, все девушки влюблены.

— Нет, — сказал Френсис. — У меня не очень получается с девушками.

— Почему?

— Я не говорю им то, что они хотят услышать. Я не умею разговаривать.

— Не все же девушки хотят от тебя разговоров?

— Которых я знаю — все. Я тебе нравлюсь? Очень? Я тебе нравлюсь больше Джоанны? В таком роде. Нет у меня времени для такой ерунды.

— Тебе снятся женщины?

— Иногда.

— А я тебе снилась?

— Один раз.

— Это было приятно?

— Нет, не особенно.

— Вот как? А что было?

— Вы не могли закрыть глаза. Только смотрели и даже не моргали. Я испугался.

— Этот сон мне совершенно понятен. Знаешь, один великий поэт сказал, что любовь входит через глаза. Человеку надо быть осторожным, чтобы не увидеть слишком много. Надо ограничивать свои аппетиты. Для большинства из нас мир чересчур прекрасен. Он может убить нас красотой. Ты никогда не видел, как падают в обморок?

— В обморок? Нет.

— Кому ты сказал «нет»?

— Нет, Катрина.

— Тогда я устрою для тебя обморок, милый Френсис.

Она встала, вышла на середину комнаты, посмотрела на Френсиса, закрыла глаза и упала на ковер, приземлившись сперва правым бедром, а потом опрокинулась на спину лицом к стене, забросив правую руку за голову. Френсис стоял и смотрел на нее.

— Хорошо у вас получилось.

Она не шевелилась.

— Ну, можно уже встать, — сказал он.

Она по-прежнему не шевелилась. Он взял ее за левую руку и тихонько потянул. Она не шевельнулась. Взял за обе руки и потянул. Тело ее никак не отозвалось на это, и глаз она не открыла. Он посадил ее, но тело осталось таким же вялым, глаза были закрыты. Тогда он взял ее на руки и перенес на диван. Когда он усадил ее, она открыла глаза и выпрямилась. Френсис все еще придерживал ее одной рукой за спину.

— Меня научила этому мать, — произнесла Катрина. — Сказала, что это может выручить при затруднительной ситуации в обществе. Однажды я исполнила это в живых картинах, и мне долго аплодировали.

— У вас хорошо получилось, — сказал Френсис.

— Я могу еще устроить припадок каталепсии.

— Я не знаю, что это такое.

— Это когда ты замираешь в каком-нибудь положении и не движешься. Вот так.

И вдруг оцепенела с расширенными, немигающими глазами.

***

Спустя неделю Катрина проходила мимо пастбища Малвани, где Френсис со случайной компанией играл в бейсбол. Она остановилась на самом краю поля, в двух шагах от улицы, а от Френсиса, который болтал и приплясывал вблизи третьей базы, ее отделял весь бейсбольный квадрат. Увидев ее, Френсис перестал болтать. В этом иннинге мяч к нему не попал ни разу. В следующем до биты его очередь не дошла. Катрина дождалась третьего иннинга, когда он поймал низко летящий мяч, а потом еще и высадил бегуна, увидела его дальний удар, которого ему хватило на две базы. Когда он добежал до второй, она отправилась домой, на Колони-стрит.

***

В тот день, когда он сделал новые навесы, Катрина позвала его обедать. Когда ее муж отсутствовал, а мальчик был в школе, она неизменно находила время поговорить с ним. Она подала ему омара gratiné[1], спаржу под голландским соусом и «Блан-де-Блан». Из всего этого Френсису была знакома только спаржа, без соуса. Катрина подала ему в столовой, молча, потом села напротив, по-прежнему молча принялась за еду, и он, глядя на нее, — тоже.

— Вкусно, — сказал он наконец.

— Правда? А вино нравится?

— Не особенно.

— Отборное. Ты его еще полюбишь.

— Как скажете.

— Я тебе снилась еще?

---

[1] В сухарях (*франц.*).

— Раз. Не могу рассказать.

— Нет, расскажи.

— Дурацкий сон, сумасшедший.

— Сон и должен быть таким. А Катрина не сумасшедшая. Скажи: «Что для вас сделать, Катрина?»

— Что для вас сделать, Катрина?

— Рассказать мне свой сон.

— Ну, вы там — маленькая птичка, но еще и такая же, как вы в жизни, и прилетела ворона и съела вас.

— А кто ворона?

— Простая ворона. Вороны всегда едят птичек.

— Тебе хочется меня оберегать, Френсис.

— Не знаю.

— А что обо мне знает твоя мать? Она знает, что мы разговариваем как друзья?

— Я ей не говорю. Я ей ничего не говорю.

— Хорошо. Никогда не рассказывай обо мне матери. Она твоя мать, а я Катрина. И останусь Катриной на всю твою жизнь. Тебе это известно? Ты никогда не встретишь такой, как я. Другой такой быть не может.

— И я так думаю.

— Тебе когда-нибудь хочется поцеловать меня?

— Всегда.

— Что еще тебе хочется со мной сделать?

— Не могу сказать.

— Можешь сказать.

— Я — нет. Я вперед сдохну.

Когда они поели, Катрина наполнила оба бокала и поставила на восьмиугольный столик перед диваном, где сидела обычно; а он сел в кресло, теперь уже как бы свое. Он выпил все вино, она налила снова, и они говорили о спарже и об омаре, и она объяснила ему, что значит gratiné и почему этим французским словом называют блюдо, приготовленное в Олбани из омара, пойманного в Мэне.

— Чудесные вещи приходят из Франции, — сказала она ему, а он, разгоряченный вином, удовольствием и перспективами, чувствовал себя непринужденно и все внимание сосредоточил на ней. — Ты знаешь о Святом Антонии из Египта, Френсис? Вы с ним одной веры — веры, которую я нежно люблю, не разделяя. Я говорю о нем потому, что он был искушаем плотью, и говорю о моем поэте, который пугает меня, ибо видит в женщине то, чего мужчина не должен бы видеть в женщине. Вот уже тридцать лет, как он умер, мой поэт, но он видит меня насквозь — в образе женщины, заключенной в клетку и рвущей зубами тело живого кролика[1]. Хватит, говорит ее сторож, нельзя сразу съедать все, что дано тебе на день, — и отнимает кролика, оставляя у нее в зубах свисающие кишки. Она по-прежнему голодна, только во рту у нее вкус того, чем она могла бы напитаться. О, маленький Френсис, кролик мой, ты не должен меня бояться. Я не разорву тебя на куски, и твои нежные внутренности не будут свисать у меня изо рта. Прекрасный Френсис, исполненный многих нежных достоинств, прекрасный юноша, мой желанный, не говори обо мне плохо. Не говори, что Катрина создана для огня luxuria[2]: ты должен понять, что я Антоний и дьявол искушает меня твоей нежностью — в моем доме, на кухне, во дворе, на моем любимом дереве, — тобой, мой нежный Френсис, несший меня нагую на руках.

— Я не мог допустить, чтобы вы вышли на улицу без одежды. Вас бы арестовали.

— Знаю, что не мог, — сказала Катрина. — Именно поэтому я и разделась. Я

---

[1] *Ш. Бодлер.* Стихотворения в прозе. «Женщина-монстр и кокетка».

[2] Здесь — сладострастия (*лат.*).

другого не знаю — каковы будут последствия. Не знаю, хватит ли у меня сил сопротивляться искушениям, которые своевольно вношу в свою жизнь. Знаю только, что любовь моя направлена в тысячу сторон, а так не должно быть, ибо это удел блудницы. Мой поэт говорит, что женщина в клетке с кроликом в зубах — истинный и ужасный образ нашей здешней жизни, а не женщина, оплакивающая вслух несбыточные надежды... мертва, до чего мертва, до чего печально. Ты конечно сам понимаешь, что я не мертва. Я просто женщина, добровольно отдавшаяся в рабство прекрасному человеку, образу жизни, который он называет таинством, а я — великолепной тюрьмой. Антоний жил отшельником, и я подумывала о такой жизни — чтобы противостоять врагу. Но муж боготворит меня, а я его, и оба мы боготворим нашего единственного сына. Понимаешь, не бывало на свете близости более прекрасной и теплой, чем у нас в доме. Мы семья благоговения, успеха, нежно исцеляемых ран. Мы томимся друг без друга, жаждем родного прикосновения. Мы не можем без этого жить. И, однако, ты здесь, я мечтаю о тебе, желаю наслаждений, о которых ты не смеешь говорить, радостей, недоступных даже твоему воображению. Я жажду радостей мадемуазель Ланцет[1], преследовавшей врачей так же, как я преследую тебя, мой чуткий юноша, мой прекрасный Адонис Арбор-хилла. Она любила своих врачей и их дело. Кровь на их фартуках была знаком их совершений в операционной, и мадемуазель обнимала ее, как я обнимаю твою лебединую шею с ожерельем грязи и гляжу в твои глаза, где застыла боль молодой невинности. Ты веришь, что Бог есть, Френсис? Конечно, веришь, и я тоже, и верю, что Он любит меня и будет лелеять меня на небесах, как я Его. Мы будем возлюбленными. Бог создал меня по Своему подобию, так почему мне не думать, что Он тоже невинное чудовище, любящее таких, как я, соблазнительница детей, запертое в клетку животное с кровавыми внутренностями в зубах, женщина, обнимающая окровавленные фартуки, припадающая к алтарю всего, что есть святого, в покаянной позе всех лицемеров? Думал ли ты, Френсис, когда я звала тебя с дерева, что вступишь в мир, подобный тому, где я обитаю? Поцелуешь ли меня, если я закрою глаза? И если упаду в обморок, расстегнешь ли платье, чтобы мне легче дышалось?

***

Катрина погибла в 1912 году, в пожаре, который вспыхнул в Школе Братьев и перекинулся на дом Догерти. Френсиса не было в городе, но он прочел об этом в газете и приехал на похороны. Он не увидел ее: гроб был закрыт. Убил ее не огонь, а дым, так же, как желание ее было задушено не пламенем ее чувственности, а пеплом — так думал Френсис.

Могила Катрины на сельском кладбище Олбани, где в подземный мир уходили протестанты, через несколько лет густо заросла одуванчиками и для цветочных парикмахеров кладбищенских стала курьезом. Точно так же, как Френсис и Катрина стригли клен, а он от этого становился лишь пышнее, прополка ее могилы ускоряла рост сорняка: словно на каждый порванный корень ответом было появление сотни новых корешков. И так буен был этот рост, что через десять лет после смерти Катрины могила стала достопримечательностью для кладбищенских туристов, дивившихся весенней желтизне ее последнего земного жилища. Мода прошла, но цветы сохранились и по сей день — и теперь об этом историческом диве помнят лишь древние старики, да праздношатающийся иногда набредет на него, блуждая среди могил, и, наверно, объяснит его капризным природным извержением.

---

[1] *Ш.Бодлер*. Стихотворения в прозе. «Мадемуазель Бистури». Bistouri — хирургический нож (*франц.*).

***

— Ну, — сказал Росскам, — хорошо отдохнул?

— Я тут не отдыхом занимаюсь, — ответил Френсис. — Ты все оттуда забрал?

— Все, — сказал Росскам, забросив в телегу охапку старой одежды.

Френсис оглядел ее, и в глаза ему бросилась белая с выработкой рубашка, чистая, с мягким воротничком и без половины рукава.

— Эту рубашку... — сказал он, — я бы купил. — Он вытащил ее из кучи. — Отдашь за двадцать пять центов?

Росскам взирал на Френсиса, словно на какую-то синюю в полоску жабу.

— Вычти у меня из жалованья, — сказал Френсис, — идет?

— На что бродяге чистая рубаха?

— От моей воняет, как от дохлой кошки.

— Чистоплотный бродяга. Чувствительный и чистоплотный мне попался бродяга.

***

Катрина развернула сверток на столе в столовой, взяла Френсиса за руку и подняла из кресла. Расстегнула на нем синюю рабочую рубашку.

— Сними это старье, — сказала она, держа перед ним на весу белую шелковую с выработкой рубашку — для Френсиса такую же диковину, как устрицы и «Шато Понте-Кане», которые он только что отведал.

Когда он обнажился до пояса, Катрина ошеломила его поцелуем и тем, что стала обследовать пальцами всю его спину. Он держал женщину, как хрустальную вазу, — боясь не только ее хрупкости, но и своей. Когда он снова увидел ее губы, ее глаза, священную долину ее рта, когда она отодвинулась на несколько сантиметров, все еще держа его за голую спину, он осторожно прикоснулся пальцами к ее лицу и шее. По ее примеру он потрогал обнаженную часть ее плеч и шеи, и по нисходящей линии воротника его рука естественно спустилась к верхней пуговице блузки. И тогда медленно, словно танец их пальцев был заранее отрепетирован, рука Катрины перебралась на грудь, скользнув по его руке, занятой тончайшим трудом, и спустила с левого плеча ненужную бретельку рубашки. Его пальцы сделали то же самое на правом плече, и он задрожал от наслаждения, и греха, и все еще немыслимых перспектив ниже границы, обозначенной спускаемыми одеждами.

— Тебе нравится мой шрам? — спросила она, прикоснувшись к овальному белому шраму с неровной розоватой кромкой там, где начинала угадываться выпуклость левой груди.

— Не знаю. Не знаю, нравятся ли мне шрамы.

— Ты единственный из мужчин, кто видел его, кроме мужа и доктора Фицроя. Никогда больше не смогу надеть открытое платье. Такое уродство, наверное, привело бы в восторг моего поэта. Тебя не оскорбляет его вид?

— Он есть. Часть ваша. По мне — ничего плохого. Все ваше, и все, что вы делаете, — все хорошо.

— Мой обожаемый Френсис.

— Откуда он у вас?

— При пожаре слетела горящая палка и пронзила меня. При пожаре в гостинице «Дилаван».

— Да, я слышал, что вы там были. Ваше счастье, что она не попала в шею.

— О, я вообще счастливая, — сказала Катрина, подавшись к нему, и снова его обняла. И они снова поцеловались.

Он приказывал своим рукам двигаться к ее груди, но они не повиновались. Лишь крепче сжимали ее голые руки. И только тогда, когда она перебралась паль-

цами с его лопаток в подмышки, его пальцы осмелились забраться в подмышки к ней. И только когда она снова отодвинулась, чтобы пальцам было удобнее дергать и гладить ранние волоски у него на груди, позволил он своим пальцам попробовать текучий изгиб, телесную белизну, живую наполненность ее грудей и завершить исследование розами сосков, лукаво устроившими для него сейчас сеанс каталепсии.

Когда Френсис надел новую рубашку и забросил старую в зад телеги, он увидел через улицу Катрину, манившую его с крыльца. Она завела его в спальню, где он никогда не бывал и где стена пламени поглотила ее, не повредив даже подола платья — того самого, в котором она пришла смотреть на его игру летним днем 1897 года. Они стояли друг против друга, разделенные брачным ложем, соединенные годами любви, веками мечты.

Не было женщины, как Катрина: она заставила его примерить перед нею рубашку, потом забрать с собой, чтобы когда-нибудь он прошелся в ней по улице, а она увидела бы его и заново пережила этот день; заставила его припрятать рубашку где-нибудь вне дома — пока не изобретет объяснение, откуда у семнадцатилетнего рабочего парня такая вещь, которую может позволить себе только утонченный поэт, или театральный актер, или немыслимо богатый лесопромышленник. Изобрел он — залог: он играл в покер в спортивном клубе, у другого игрока кончились деньги, и он предложил поставить свою новую рубашку; Френсис осмотрел ее, принял ставку и выиграл на фулле.

Мать, наверное, не поверила этой истории, хотя и не связала появление обновки с Катриной. Однако она не упускала случая позлословить на ее счет, поскольку знала, что у Френсиса появились обязанности перед женщиной, если не привязанность — и не просто к женщине, а к владелице вредного дерева.

Она наглая, высокомерная. (Неправда, сказал Френсис.)

Неряха, плохая хозяйка. (Сходи посмотри, сказал Френсис.)

Рисуется, сидит перед окошком с книгой. (Не зная, как оправдать книгу, Френсис негодовал молча, а потом вышел из комнаты.)

В окнах пляшущего пламени, которое поглотило Катрину и ее кровать, Френсис увидел голые тела, соединившиеся в любви, сладострастные корчи, поцелуи счастливой муки. Он увидел себя и Катрину в алчном броске, которого не было, в блаженных ласках, которые могли бы быть, и затем в верховном слиянии жажд, которое будет всегда.

Любили они? Нет, они никогда не любили. Они любили всегда. Они узнали любовь, которую ее поэт поносил бы и пачкал. И они запачкали свое воображение мутацией любви, которую поэт Катрины воспевал бы и прославлял. Любовь всегда неполна, она всегда ложь. Любовь, ты чистая рубаха моей души. Глупая любовь, недалекая.

Френсис обнял Катрину и вложил в нее беспорочную кровь своей первой любви, и она отдалась — не существо, а слово: милосердие. И слово набухло, как милость его набухшего члена, поднявшегося, чтобы принести ей стойкий багровый дар карающего греха. И тогда эта женщина внедрилась в его жизнь, прячась в самой сердцевине пламени, улыбаясь ему во всей бесстыдной красе своих снов; и пробудила в нем желание любви его собственной, любви, не принадлежащей больше ни одному человеку, — любви, которую ему не придется делить ни с другим мужчиной, ни с юношей вроде него.

— Но-о, — крикнул Росскам.

И под солнцем, всползавшим к зениту, телега покатилась с холма, и лошадь свернула с Колони-стрит на север.

V

Скажи мне, прекрасная дева, есть ли у вас еще такие, как ты. Встречаются, добрый сэр, и дум-ди-дум и дум-дум-ту.

Как изящно, как благородно.

Элен напевала, глядя на стену, освещенную поздним солнцем. В кимоно (шелк, правда, из десятицентового магазина, но не лишено элегантности, совсем как настоящее, никому не догадаться; кроме Френсиса, никто ее в нем не видел и не увидит; никто не видел, как ловко она стянула его с вешалки у Вулворта) — в кимоно, надетом на голое тело, усевшись поглубже в старом кресле, выпускавшем из себя начинку, она уставилась на пыльного лебедя на картине с треснутым стеклом, лебедя с красивой белой шеей и красивой белой спиной: лебедь был, был.

Да да-да.

Да да-ди-да-да.

Да да-ди-да-да.

Да да да.

Она пела. И мир менялся.

О сладостная сила музыки, она возвращала ей молодость. Мелодия вернула ее в тот фарфоровый век, когда она стремилась к высотам классической музыки. Ее план — а первоначально план ее отца — заключался в том, что она пойдет по стопам бабушки и семейную гордость вознесет на новые высоты: сперва Вассар, затем, если она действительно так одарена, как кажется, — Парижская консерватория, затем концертный мир, затем весь мир. Если что-то сильно любишь, говорила ей бабушка Арчер, когда на девочку нападала слабость, — ты согласна умереть за это; потому что, когда мы любим изо всех сил, наши глупые маленькие «я» уже мертвы, и нету уже страха перед смертью. А ты бы умерла за свою музыку? — спросила Элен. И бабушка сказала: я думаю, что уже умерла. А через месяц ее настигла весьма жестокая смерть.

Лебедь был, был.

Первая смерть у Элен.

Вторая явилась на занятия по математике, на третьем месяце ее пребывания в Вассаре. За Элен зашла миссис Кармайкл — молодая, хорошенькая, ходившая на высоких каблуках, слегка прихрамывая, — и повела ее в кабинет. К вам приехали, — сказала миссис Кармайкл, — ваш дядя Эндрю. Он сообщил Элен, что отец болен.

А в поезде из Покипси переменил болезнь на смерть.

А по дороге с вокзала в Олбани, когда они поднимались по Стейт-стрит, добавил, что он,

Немыслимо,

Бросился с виадуака на Хоук-стрит.

Элен, спутав страх с горем, сдерживала слезы еще два дня после похорон, но тут мать сказала ей, что с Вассаром для нее все кончено; что Брайен Арчер покончил с собой, промотав свое состояние; что оставшиеся деньги потратят не на образование глупой девочки Элен, а на то, чтобы ее брат Патрик мог доучиться последний год на юридическом факультете в Олбани; потому что адвокат может спасти семью. А что пользы для нее от классической пианистки?

Элен казалось, что она просидела в кресле много часов, хотя инструмента, чтобы убедиться в этом, у нее не было. Но с тех пор как к двери подошел старик-калека Донован, прошло точно не меньше часа. Донован подошел к двери и сказал: Элен, как ты там? Ты весь день не выходишь. Не хочешь что-нибудь поесть? Я кофе варю, не хочешь? А Элен сказала: о, спасибо тебе, старый калека, — ты вспомнил, что у меня еще есть тело, а я уж о нем почти забыла. А кофе — нет, не надо, спасибо, добрый сэр. Есть ли у вас еще такие, как ты?

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium![1]

День, можно сказать, начался с музыки. Она покинула машину Финни, напевая «Te Deum»[2] — почему, она сама не знала. Но в шесть часов, когда еще не рассвело и Финни с другим гостем еще храпели, «Te Deum» стало ее попутной песней. На ходу она размышляла о ближайшем будущем, своем и своих двенадцати долларов, последних двенадцати долларов из ее жизненного капитала, — об этих деньгах она не собиралась говорить Френсису, и они были надежно засунуты в лифчик.

Не трогай мою грудь, Финни, там больно, повторяла она снова и снова, боясь, что он нащупает деньги. Финни послушался и исследовал ее только между ног, изо всех сил стараясь спустить, а она, Господи, смилуйся над ней, старалась ему помочь. Но Финни так и не смог, и отвалился в изнеможении и сухом безразличии, и уснул; а Элен не уснула, не смогла — сон казался делом прошлым.

За последние недели единственным, чего достигала Элен во время отдыха, было иллюстрированное бодрствование возле самой границы сна: веселые ангелы, толпы на коленях перед Агнцем, и все они — личинки, порождающие одну гигантскую бабочку ангельских волос, радостное видение Элен.

Почему Элен радовалась в своей бессоннице? Потому что могла уклониться от дурной любви и кровожадных пауков. Потому что научилась прятаться в мир музыки и тешить себя воспоминаниями. Она натянула трико, боком вылезла из автомобиля и пошла навстречу зарождавшемуся дню; утренняя звезда еще светилась на исчезающем небе ее ночи. Венера, ты моя счастливая звезда. Элен шла к церкви с опущенной головой, ступала осторожно. И вдруг появился ангел (а она-то в кимоно) и сказал ей: «Опьяненные тобою, мы вошли в твой светлый храм!»

Как красиво.

Церковь была — Святого Антония. Святой Антоний Падуанский, святой-чудотворец, гроза еретиков, ковчег Писания, отыскиватель потерянных вещей, покровитель бедняков, беременных и бесплодных женщин. Сюда шли для сохранения души итальянцы, пребывавшие в этом городе на ролях нигеров и миков. Обычно Элен ходила в церковь Непорочного Зачатия — несколькими кварталами выше по склону, но опухоль сегодня давила такой тяжестью — словно булыжник в животе, — что она пошла к Святому Антонию — не так высоко взбираться, хотя итальянцев она боялась. Они смуглые, и вид у них опасный. И еда их ей не нравилась, особенно чеснок. И кажется, что они вообще не умирают. Целый день едят оливковое масло, объясняла ей мать, в этом все и дело; ты хоть раз в жизни видела больного итальянца?

Месса еще не началась, но из церкви неслись звуки органа, и Элен поняла, что день обещает быть добрым, раз приветствует ее с утра этой блаженной музыкой. В церкви сидело десятка три или четыре людей — немного для обязательного дня[3]. Не все такие обязательные, как Элен, а впрочем, и времени-то всего десять минут седьмого.

Элен прошла вперед и села в третьем ряду слева от прохода, позади человека, похожего на Вальтера Дамроша.

На глаза ей попалась полка со свечами; она встала, подошла и бросила два цента — всю мелочь, какая была у нее в кармане пальто. Органист непринужденно бродил по григорианским хоралам, а Элен зажгла свечку за Френсиса и прочла «Аве Мария», чтобы Господь руководил его в трудностях. Бедный человек, кругом виноват.

---

[1] Радость, пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам!
Фридрих Шиллер. «К радости». Перевод *И. Миримского.*

[2] Католическое церковное песнопение «Тебя, Бога, хвалим» (*лат*).

[3] У католиков — день, когда они должны ходить на мессу и воздерживаться от определенных работ.

Элен и сама сейчас помогала Френсису — тем, что не виделась с ним. Это решение она приняла, когда держала в руке коротенький, бескровный и необрезанный пенис Финни. Она не пойдет в миссию, не встретится утром с Френсисом, как условились. Она уйдет из его жизни, ибо поняла, что, снова оставив ее у Финни и точно зная, чем это для нее кончится, Френсис сознательно наставлял себе рога, сознательно унижал ее и таким образом разлучал их с тем, что еще осталось живого от их взаимной любви и уважения.

Зачем она позволила Френсису поступить так с ними?

Ну, она раболепствует перед Френсисом, так повелось с самого начала. Это она своим раболепством поддерживала его отношение к ней на протяжении почти всех девяти лет, что они были вместе. Сколько раз она от него уходила? Десятки и десятки. Сколько раз, всегда зная, где он будет, она возвращалась? Те же десятки, но теперь — минус один.

Похожий на Вальтера Дамроша наблюдал за ее манипуляциями у полки со свечами, а она тем временем вспомнила, как сам Дамрош смотрел в партитуру Девятой симфонии в Харманус Бликер-холле, когда ей было шестнадцать лет. Слушай внимательно, сказал ей отец. Вот про это говорил Дебюсси: волшебство распускающегося дерева, когда все листья раскрываются разом. Здесь впервые, сказал отец, в симфоническом произведении зазвучал человеческий голос. Может быть, и ты, моя Элен, создашь однажды нечто великое в музыке. Никто не знает, сколько сил таится в каждой человеческой груди.

Ударил колокол, из ризницы вышел священник с двумя служками, и месса началась. Без четок Элен не привыкла читать молитвы, она посмотрела, нет ли где рядом книги, и увидела на скамье перед собой брошюру «Слушаем мессу». Она дочла до Поучения, где Иоанн видит Ангела Божия, восходящего от востока солнца, и Ангел Божий видит еще четырех ангелов, которым дано вредить земле и морю, и говорит этим плохим ангелам: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам...

Элен закрыла книгу.

Зачем посылать ангелов вредить земле и морю? Она не помнила, чтобы когда-нибудь читала это место, но оно было ужасно. Ангел землетрясения расколет землю. Саргассов ангел задушит море водорослями.

Ей невыносимо было думать о таких вещах, и она стала смотреть на других людей, слушавших мессу, и увидела мальчика лет девяти, который мог бы быть ее мальчиком и Френсиса, если бы у нее получился ребенок, вместо выкидыша, после единственного оплодотворения, принятого ее чревом. Перед мальчиком на коленях стояла женщина с искривленными костями и параличным дрожанием и держалась обеими корявыми руками за спинку скамьи. Успокой ее тряску, Господи, выпрями ей кости, молилась Элен. А потом священник стал читать Евангелие. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

Радуйтесь. Да.

Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!

До конца Евангелия Элен не дотерпела. На нее напала слабость, и она села. Когда месса кончится, она попробует что-нибудь съесть. Кусок хлеба, чашку кофе.

Элен повернула голову и стала считать молящихся — церковь заполнилась уже больше чем на треть, человек, наверное, сто пятьдесят. Они не могли быть все итальянцами, потому хотя бы, что одна женщина напоминала мать Элен, представительную миссис Мэри Джозефину Нёрни Арчер в элегантной черной шляпе. Вот что еще было общего у Элен с Френсисом: матери презирали их.

Лишь через двадцать один год Элен нашла сложенное и хранившееся под замком в записной книжке последнее завещание отца, о существовании которого не было известно и которое он написал, уже собравшись покончить с собой; половина скромных остатков его состояния отходила к Элен, другую половину он велел разделить поровну между ее братом и матерью.

Элен вслух прочла его матери — парализованной и уже десять лет тащившейся к могиле на шее у сиделки-дочери, — и ответом ей была торжествующая улыбка родительницы: ловко же она украла у Элен будущее, чтобы самой и сыну жить как паве с павлином. Сын вырос в политического адвоката, прославившись своим умением отсуживать наследство у вдов, и неизменно вешал трубку, когда звонила Элен.

Элен так и не сквиталась с тобой за то, что ты сделал с ней, Патрик, сам того не ведая. Даже ты, больше всех нажившийся на этом, не знал о мамашином двурушничестве. Зато с мамой Элен расквиталась: бросила ее в тот же день и уехала в Нью-Йорк, предоставив заключительный уход за ней дорогому братцу — каковой он и осуществил, поместив старую инвалидку в то, что Элен предпочитает называть богадельней, а на самом деле общественную лечебницу, дабы последние дни ей оплатил округ Олбани.

Одна и никем не любимая в богадельне.

Куда подевалось твое оперение, мама?

Нет, Элен. Как ты смеешь быть такой мстительной? А не ходила ли ты сама в павлиньих перьях — пусть недолго, пусть давно? Взгляни на себя: как ты сидишь и смотришь на постель, что манит тебя грязным бельем? Тебе, утонченной, претит эта грязь, разве не так? Не только потому, что — грязь, а потому еще, что не хо́чется лежать на спине, не имея перед глазами ничего прекрасного — только треснутая штукатурка да шелушащаяся краска потолка, — тогда как, сидя в кресле, можно созерцать хотя бы дедушку Лебедя или даже синие картонные часы на этой стороне двери, которые позволяют оценить время твоей жизни: РАЗБУДИТЕ МЕНЯ В... — словно хоть один постоялец этого заведения когда-нибудь воспользовался или желал воспользоваться устройством или калека Донован увидел бы его, если бы даже им воспользовались, а увидев, принял к сведению. Часы показывали без десяти одиннадцать. Претенциозность.

Когда сидишь на краю постели в подобной комнате и держишься за тусклую желтую медь кровати, смотришь на грязное белье и мягкие коконы пыли в углах, возникает сильное желание пойти в ванную, где тебя только что полчаса рвало, и помыться. Нет. Пойти в настоящую ванную комнату в конце коридора, с ванной, где ты столько раз била и топила тараканов, а после драила эту ванну, драила, драила. Ты пойдешь туда по коридору в японском кимоно, с миндальным мылом в розовом полотенце, и ковер будет толстым и мягким под мягкими подошвами шлепанцев, которые в детстве ты держала под кроватью; шлепанцы с коричневыми шерстяными кистями и желтые внутри и мягкие, как лайковые перчатки, — ты нашла их под рождественской елкой, в коробке от Уитни. Санта Клаус покупает у Уитни.

Когда тебе уже нет дела ни до Уитни, ни до Санта Клауса, ни до туфель, ни до ног, ни до Френсиса, когда то, что, думалось тебе, будет длиться, пока ты дышишь, — когда все это сносилось и ты стала такой, как Элен, ты крепко держишься за медь и по коридору пошла бы наверняка босиком или в туфле с лопнувшей перепонкой, пошла бы по запакощенному вытертому ковру помыть себя под мышками и между старыми грудями махровой тряпкой — чтобы избавиться от запаха, — пошла бы, если бы было ради кого избавляться.

Конечно, Элен рисуется, когда предается таким мыслям: совсем как мать — и моет банную тряпку холодной водой, за неимением другой, и, только вымывши дважды, осмеливается употребить ее для лица. А потом бы она (да, да, она, мо-

жешь ли себе представить? вспомнить можешь ли?) напудрила тело пудрой «Мадам Помпадур», надушила за ушами «Фиалкой Парижа» и волосы расчесала щеткой — шестьдесят раз туда, шестьдесят раз сюда, и сказала бы своему отражению: хочешь быть милой, веди себя мило. Артур любил, когда она милая.

После службы, выходя из церкви Святого Антония, Элен увидела человека, похожего на Артура, лысевшего так же, как Артур. Это был не Артур, Артур умер, слава Богу. Когда ей было девятнадцать, в 1906 году, Элен пошла работать в фортепьянный магазин Артура — сперва продавала только ноты, а потом демонстрировала, как изысканно звучат инструменты Артура под умелой рукой.

Погляди, как она сидит за пианино Чикеринга, играя «Ты придешь ко мне домой» для элегантной четы, не просвещенной в музыке. Погляди, как играет на стейнвеевском рояле сюиту Баха для красивой женщины, которая в музыке смыслит. Погляди, как и те, и другая покупают инструменты благодаря волшебнице Элен.

Но однажды, когда ей 27 лет, и жизнь ее кончена, и она понимает, что никогда не выйдет замуж и в музыке, вероятно, не пойдет дальше музыкального магазина, Элен вспоминает Шуберта, который так и не поднялся выше учителя музыки — бедный и больной, получал всего пятнадцать-двадцать центов за свои песни и умер в 31 год; и в этот страшный день Элен садится за рояль Артура и играет «Кто такая Сильвия?», а потом играет все, что помнит из полета ворона в «Die Winterreise»[1].

Цветок Шуберт.

Рожденный, чтобы расцвести в безвестности.

Как Элен.

Артур тому виной?

Он держал ее узницей своей любви по вторникам и четвергам, когда закрывал магазин пораньше, и вечерами по пятницам, когда говорил жене, что репетирует с Мендельсоновским клубом. И вот Элен в комнате на Хай-стрит, с задернутыми занавесками, голая сидит на кровати, а Артур встает и надевает халат, рассуждая уже не о половом вопросе, а о Торжественной мессе Бетховена — или же в тот раз — о песне Шуберта... а может, о великолепной Девятой, про которую Берлиоз сказал, что она похожа на первые лучи восходящего солнца в мае.

На самом деле — обо всех трех и еще о многом, многом, и Элен с обожанием слушала дивного Артура, пока из нее вытекала его сперма, и жаждала овладеть в совершенстве всей музыкой, когда-либо сыгранной, спетой или пригрезившейся.

В наготе непрерывного вторника и четверга и неизменной пятницы Элен видит теперь испорченное семя женской бесплодной мечты — семя, что, проклюнувшись, вырастает в бесформенный, треплемый ветром сорный цвет, ни для чего не нужный, даже для своего вида, ибо сам не производит семени: мутант, который вырастает лишь для одного красивого дня, как все дикое, а после вянет, гибнет, падает и исчезает.

Цветок Элен.

Никто не знает, сколько сил таится в каждой человеческой груди.

Никто не ожидал, что Артур бросит Элен ради женщины помоложе, лишенной слуха секретарши, музыкальной невежды с большим задом.

Оставайся столько, сколько хочешь, любовь моя, сказал Артур; ибо не было еще такой продавщицы, как ты.

Увы тебе, бедная Элен, любимая не за тот талант ангельским Артуром, которому дано было бредить Элен; который обучил ее тело и душу, а потом отправил их в ад.

От церкви Святого Антония Элен дошла до Саут-Пёрл-стрит и повернула на

---

[1] «Зимний путь», вокальный цикл Шуберта.

север в поисках ресторана. Она представляла себе, как сядет за столик в чайной Примроза на Стейт-стрит, где подают маленькие сандвичи с водяным крессом и срезанными корками, чай в японских чашках с блюдцами и маленькие кубики сахара в серебряной вазочке с изящными серебряными щипчиками.

Но остановилась на кафетерии «Уолдорф», где кофе стоил пять центов, а тост с маслом — десять. Незаметно вынула из бюстгальтера долларовую бумажку и, зажав в левом кулаке, сунула в карман пальто. Выпустила ее только на то время, пока несла на стол кофе с тостом, а потом снова сжала в кулаке — доллар, но уже с пятнадцатицентовой дыркой. Одиннадцать восемьдесят пять — все, что останется. Она положила сахар в кофе, налила сливки и стала потихоньку пить. Съела одну половину тоста, откусила от второй и отложила. Кофе выпила весь, а еда не лезла в горло.

Она заплатила по счету и снова вышла на Норт-Пёрл, сжимая сдачу в кулаке и думая о Френсисе и о том, что ей делать дальше. Холод уже пощипывал, несмотря на теплое солнце, и подталкивал ее мысли к помещению. И она пошла в библиотеку Прейна, в убежище. Села за стол, дрожа, и обхватила себя руками; постепенно согревалась, но озноб сидел глубоко. Нарочно задремала, чтобы сбежать на солнечный берег, где летают белые птицы, но седая библиотекарша растолкала ее и сказала: «Мадам, правилами не разрешается здесь спать» — и положила перед ней старый номер журнала «Лайф», а потом с соседнего стола взяла утренний выпуск «Таймс-юнион» на палке и дала ей со словами: «Но можете оставаться здесь сколько угодно, моя дорогая, — если захотите читать». Женщина улыбнулась ей сквозь пенсне, и Элен улыбнулась в ответ. Есть на свете хорошие люди, и иногда ты их встречаешь. Иногда.

Элен раскрыла «Лайф» и нашла фотографию растянувшейся на два квартала очереди за пособиями: мужчины и женщины в темных пальто и шляпах стояли, засунув руки в карманы, в холодный день Святого Людовика. Увидела фото прачки-негритянки Милли Смоллс, которая зарабатывала 15 долларов в неделю и выиграла 150 000 в Ирландском тотализаторе.

Элен закрыла журнал и заглянула в газету. Ясная погода и потепление, обещал синоптик. Врет. Сегодня, возможно, + 10, а вчера-то был ноль. Холодина. Элен поежилась и подумала о том, чтобы снять комнату. По данным опроса, Кросли Дьюи опережает Лемана. Доктор Бенджамин Росс из обсерватории Дадли в Олбани говорит, что марсиане не могут напасть на Землю. «Трудно представить себе, чтобы ракета или космический корабль могли достигнуть Земли. Земля — очень маленькая мишень, и, по всей вероятности, космический корабль марсиан просто пролетит мимо». Мэр Олбани Тэчер отрицает, что на выборах в 1936 году было выдано лишних 5 000 бюллетеней. При попытке сесть на товарный поезд убит человек. Его мать отравилась.

Элен перевернула страницу и наткнулась на статью Мартина Догерти о Билли Фелане и похищении. Она прочла ее и заплакала, ничего не усвоив; поняла одно: семья отнимает у нее Френсиса. Если бы у нее с Френсисом был дом, он бы ее никогда не оставил. Никогда. Но дома у них не было с начала 30-го года. Френсис работал в ремонтной мастерской на южном краю города, ходил в бороде, чтобы его не узнали, и называл себя Биллом Бенсоном. Потом мастерская прогорела, и Френсис снова запил. Работы не было, не было и шансов на работу, и через несколько месяцев он оставил Элен. «Никакой от меня пользы, ни для тебя, ни для кого, — кричал он в истерике, перед тем как уйти. — Ничего из меня не вышло и никогда не выйдет».

Какая проницательность, Френсис. Совершенно пророческие слова — что ты так и останешься никем, даже в глазах Элен. Френсис где-то теперь один, и даже Элен его больше не любит. Не любит. Потому что все в этой любви умерло, истрачено усталостью. Элен не любит Френсиса романтически: эта любовь увяла

много лет назад — роза зацвела лишь раз и навсегда погибла. И не любит Френсиса как товарища, потому что он всегда кричит на нее и бросает одну, чтобы в ней ковырялись пальцами другие мужчины. И определенно не любит его как любовника, потому что так любить он уже не может. Он старался так сильно и так долго, что ты себе представить не можешь, Финни, — а ей только больно было на это смотреть. Больно было не физически — эта часть у Элен теперь такая большая и такая старая, что сделать ей там больно уже ничто не может.

Френсис не мог ее достать, даже когда был в силе, она была глубже. Ей нужно было что-то исключительно большое, больше Френсиса. Эта мысль впервые пришла ей, когда она стала гулять с другими мужчинами после Артура — а он был такой большой, — и ни разу не получила того, что нужно. Ну, может быть, раз. Кто это был? Элен не может вспомнить лицо того раза. Она ничего не может вспомнить — только что в ту ночь, в тот раз, что-то в ней было затронуто, какой-то глубинный центр, которого не касался никто, ни до, ни после. Тогда-то она и подумала: вот почему некоторые становятся профессионалками, потому что это так хорошо, и всегда будет кто-то еще, кто-то новый, чтобы тебе поспособствовать.

Но не такова Элен, чтобы пуститься на это, чтобы открыться для любого, кто явится с деньгами на оплату завтрашнего дня. Кто это мог подумать, что Элен такая?

Оду «К радости», пожалуйста.

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium!

В животе у Элен заурчало, и она вышла из библиотеки подышать поглубже целительным воздухом утра. Пока она шла по Клинтон авеню, а потом по Бродвею, подкатила тошнота, и она остановилась между двумя автомобилями, схватилась за телефонный столб, ожидая рвоты. Но тошнота прошла, и Элен двинулась дальше. Она миновала железнодорожную станцию и остановилась лишь при виде витрины с инструментами в «Магазине современной музыки». Глаза ее играли с банджо и гавайскими гитарами, с малым барабаном и тромбоном, с трубой и скрипкой. Над инструментами на полках стояли пластинки: Бенни Гудман, братья Дорси, Бинг Кросби, Джон Маккормак — песни Шуберта, бетховенская «Аппассионата».

Она вошла в магазин и стала разглядывать и трогать инструменты. Проверила полку с нотами новых песен: «Девочка на низких каблуках», «Мое сердце у него в руке», «Ты была, наверно, прелестной крошкой». Она подошла к прилавку и спросила у молодого человека с прилизанными каштановыми волосами:

— У вас есть Девятая симфония Бетховена? — И, помолчав: — А можете мне показать пластинку Шуберта, которая в витрине?

— У нас есть, и мы можем, — ответил продавец, и нашел их, и дал ей, и показал на будку, где она могла спокойно их послушать.

Сперва она поставила Шуберта, и Джон Маккормак спрашивал: Кто такая Сильвия? Какова она, если все наши парни хвалят ее?.. Так ли добра она, как красива? И хотя Элен была в полном восхищении от Маккормака и обожала Шуберта — обоих отставила ради заключительного хора Девятой симфонии.

Радость, пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам.

Слова валились на Элен по-немецки, а она перелагала их на собственный радостный язык.

Женщине любовь внушивший,
Ты приди на праздник к нам.

О, какой же это был восторг. У нее закружилась голова от звуков: гобои, фаготы, голоса, величественная поступь фугато. Скерцо. Мольто виваче.

Элен лишилась чувств.

Молодая покупательница увидела, что она падает, и поспешила на помощь. Когда Элен очнулась, голова ее лежала у молодой женщины на коленях, а молодой продавец обмахивал ее зеленым конвертом от пластинки. Бетховен, когда-то зеленый, зеленый как поляна. Игла скрипела в последней бороздке. Музыка смолкла — но не в мозгу Элен. Она звучала по-прежнему — первые лучи восходящего солнца в мае.

— Как вы себя чувствуете? — спросил продавец.

Элен улыбнулась, слушая флейты и альты.

— Кажется, ничего. Поможете мне встать?

— Отдохните минутку, — сказала девушка. — Сперва придите в себя. Вам нужен врач?

— Нет, нет, спасибо. Я знаю, что со мной. Через минуту-другую все будет в порядке.

Но теперь она знала, что надо найти комнату, и найти немедленно. Не хватало только свалиться, переходя улицу. Ей нужно собственное помещение, теплое и сухое, и чтобы ее пожитки были при ней. Продавец и девушка помогли ей подняться и стояли рядом, пока она снова усаживалась на скамью в будке. Убедившись, что Элен окончательно пришла в себя и больше не упадет, молодые люди вышли. Тут-то она и сунула пластинку с четвертой частью под пальто, под блузку, и уложила на склон опухоли, которую доктор назвал доброкачественной. Но может ли такая большая быть доброкачественной? Элен потуже запахнула пальто, стараясь не раздавить пластинку, сказала обоим своим благодетелям «спасибо» и медленно вышла из магазина.

Ее чемодан был в гостинице «Паломбо», и она отправилась туда: далеко, мимо Медисон авеню. Не свалиться бы по дороге. Не свалилась. Выбилась из сил, но нашла старого калеку Донована в его расшатанной качалке, с плевательницей у ног, на лестничной площадке между первым и вторым этажами — заменявшей вестибюль в этом заведении. Сказала, что хочет выкупить чемодан и снять комнату, ту самую, где они всегда останавливались с Френсисом, если она была свободна. А она была свободна.

Шесть долларов выкупить чемодан, сказал ей старик Донован, и полтора доллара за ночь или два пятьдесят за две ночи подряд. Мне на одну, сказала Элен, а потом подумала: что, если не умру сегодня? Тогда понадобится и на завтра. И сняла комнату со скидкой, после чего у нее осталось три доллара тридцать пять центов.

Старик Донован дал ей ключи от комнаты на втором этаже и спустился в подвал за ее чемоданом.

— Редко вас вижу, — сказал Донован, притащив чемодан к ней в комнату.

— Дела были, — сказала Элен. — Френсис нашел работу.

— Работу? Вот это да!

— Можно сказать, у нас все организовалось. Очень может быть, что снимем квартиру на Гамильтон-стрит.

— Значит, опять при деньгах? Вот и хорошо. Френсис придет сегодня?

— Может, да, а может, нет, — сказала Элен. — Зависит от его работы — сильно будет занят или нет.

— Понял, — сказал Донован.

Она открыла чемодан, вынула кимоно и надела. Потом пошла мыться, но не успела начать, как ее вырвало; она сидела на полу перед унитазом, и ее рвало, пока было чем; потом еще пять минут тужилась всухую, потом попила воды, чтобы вытошнило хоть этим. А Френсис думал, что она из вредности отказывалась от сандвича с сыром.

Наконец это прошло, она сполоснула рот и слезящиеся глаза и все-таки помылась, да, помылась. Прошлепала по вытертому ковру к себе в комнату, села в кресло возле кровати. Она смотрела на лебедя и вспоминала свои ночи с Френсисом в этой комнате.

Клара, дешевка, обчистила симпатичного молодого человека в коричневом костюме и пришла сюда прятаться. Хочешь спать с человеком — спи с ним, сказал Френсис. Будь женщиной, черт бы тебя взял. Хочешь обчистить — обчисть. А это что такое: сперва спала, потом обворовала? Какая чистая мораль была у Френсиса. А ты, Клара, скажи ради Христа, зачем ты пришла сюда со своими неприятностями? Разве у нас их без тебя не хватало? И всего-то украла Клара четырнадцать долларов. Хотя это — много.

Элен прислонила пластинку Бетховена к подушке посреди кровати и любовалась ее красотой. Потом рылась в чемодане, разглядывая и трогая каждую вещь: вторую пару трико, бабочку с искусственными бриллиантами, синюю юбку с прорехой, безопасную бритву Френсиса и его перочинный нож, старые бейсбольные вырезки из газеты, красную рубашку и коричневую левую туфлю, правая потеряна: но одна туфля лучше, чем ни одной, верно? — доказывал Френсис. Сандра потеряла туфлю, а Френсис ей нашел. Френсис очень заботливый. И вообще очень. Очень католик, хотя притворяется, что нет. Вот почему Френсис и Элен не могли пожениться.

Как изящно они отгородились своей религией от брака. Чем не остроумное решение?

Потому что на самом деле Элен хотела плыть свободно, так же как и Френсис. После Артура она поняла, что захочет всегда быть свободной, даже если придется за это страдать.

Артур, Артур, Элен больше ни в чем тебя не упрекает. Она понимает, что ты был человеком не стойкой преданности, не таким, как Френсис; и понимает еще, что позволила тебе ранить ее.

Элен помнит лицо Артура — какое облегчение появилось на нем, как он улыбнулся и пожелал ей удачи в тот день, когда она сказала, что уходит и будет работать тапершей на немых фильмах и в варьете. Шла по жизни своевольно — вот что делала тогда (и делает) Элен. А воля была — к благодати, если угодно; хоть и не очень-то давалась эта благодать.

И своеволие — не играла ли она в него, не обманывала ли себя Элен?

Не шла ли по жизни, подчиняясь побуждениям, жившим где-то в глубине?

Почему же, в самом деле, ничего у нее толком не получалось?

Почему жизнь ее всякий раз сворачивала на задворки, как бездомная кошка?

Кто Элен?

Кто такая Сильвия, скажите?

Сказать?

Элен встает и держится за медь. Ступни у Элен как ясная желтая медь. Только у кровати медь давно не чищена. А Элен воспитывалась в чистоте, и стоит она у края конечной кровати, в конечной комнате, конечной гостиницы, конечного города конца.

И когда такая женщина, как Элен, приходит к концу чего-то, она становится грустной и сентиментальной. Она всегда любила красивое в жизни: музыку, ласковое слово, любезность, цветы, солнце, добродетельных мужчин. Люди бы опечалились, узнай они, как могла бы сложиться жизнь у Элен, если бы пошла не по той колее, которая привела ее в эту комнату.

Люди, возможно, даже заплакали бы от надежды, что такие женщины, как Элен, могли бы жить, пока не найдут себя, не выправятся, не отыщут вечно раскрывающуюся радость — вместо одинокого конца. Люди бы, возможно, почувствовали, что где-то что-то пошло неправильно, а если бы шло правильно, такая

женщина, как Элен, не пала бы так низко.

Но это ошибка: нет таких женщин, как Элен.

Элен — не символ никакой потерянности, не из тех, кто «пошел по скользкой дорожке», не из тех, кто «кабы раньше знал».

Элен — не инстинкт, помрачивший разум, не мономания, рожденная в потемках души, жаждущей всего на свете, в том числе и собственной погибели.

Элен — не бездомная кошка на исходе живучей жизни.

Ибо с тех пор как Элен родилась, и утонченно воспитывалась отцом, и благородно развивалась, она сама принимала решения, основываясь на разуме, более или менее современных познаниях, интуитивном чувстве дозволенного и обычных советах подруг, любовников, врагов и прочих. В уме она никогда не была повреждена, и мозг ее вовсе не проспиртован, как полагали некоторые. Она постоянно читала газеты, правда в последние годы меньше, поскольку все новости, кажется, стали плохими. Всегда слушала радио и была в курсе музыкальной жизни. А зимой читала в библиотеке романы о женщинах и о любви: Элен знает все о Лили Барт и Дэзи Миллер. При этом Элен следила за своей внешностью и соблюдала гигиену. Регулярно стирала нижнее белье, носила серьги, одевалась скромно — и с четками не расставалась, пока их не украли. Не была лежебокой. Она шла по жизни с чувством: я считаю, что веду себя более или менее правильно. Я верю в Бога. Я салютую флагу. Я мою себя под мышками и между ногами, и что с того, если много пью? Кому какое дело? Кто знает, сколько я не выпила?

Об этом почему-то не задумываются, когда обзывают таких, как Элен, старыми пьяными шалашовками. Для чего людям (вроде противного Рыжика на заднем сиденье автомобиля Финни) нужно оскорблять Элен? Когда Элен слышит о себе такие отзывы, она напускает на себя глухоту. Игнорирует их. Элен помнит это слово — напрасно Френсис думает, что из нее выветрилось все образование. Не выветрилось. Она не пьяница и не блядь. У нее позиция такая: я летела сквозь годы, и я никогда не отдавалась мужчинам за деньги. Сколько раз я сама платила за себя в ресторане. Я позволяла угостить себя вином, но это потому, что угощать вином — обязанность мужчины.

И если ты такая женщина, как Элен, которая не превратилась в блядь, никого не ввела в грех...(Правда, мальчики встречались в ее жизни — в барах, одинокие, как зачастую она сама, но, кажется, с грехом они уже были знакомы. Однажды.)

Однажды.

Был ли однажды мальчик?

Да, с лицом священника.

Ох, Элен, какие же кощунственные мысли лезут тебе в голову. Слава Богу, ты никогда не любила священника. Чем ты это объяснишь?

Тем, что священники добродетельны.

И вот, пока Элен держится за медь и смотрит на часы, все еще показывающие без десяти одиннадцать, и думает о шлепанцах, о музыке, о большой бабочке и белом голыше с именем адресата, у нее возникает мимолетная мысль о священниках. Ибо если тебя воспитали, как Элен, ты полагаешь, что у священников хранятся ключи от двери к спасению. Сколько бы ни совершила ты грехов (сколько песку в пустыне, соли в море), ты в тот час, когда держишься за желтую медь и наблюдаешь за часами, неизбежно придешь к мысли об отпущении и вспомнишь, как душила «Фиалкой Парижа» лифчик, чтобы *он*, открыв на тебе платье и целуя тебя туда, не почуял запаха пота. Но священники, Элен, не имеют никакого отношения ни к лифчикам, ни к поцелуям, и тебе должно быть стыдно, что ты смешала их в одну мысль. Элен искренне раскаивается в такой мысли, но как-никак это было трудное время и для нее, и для ее веры. И хотя утром она молилась в церкви, и потом, с перерывами, целый день, и накануне ночью молилась в машине Финни, повторяя: «Се, отхожу ко сну», когда ни сна не было, ни возможности уснуть, —

по сути Элен не чувствует никакой нужды исповедаться в грехах и получить отпущение.

Элен даже задается вопросом: католичка ли она в самом деле и что такое в наши дни католик? По чести, думает она, может быть, и не католичка. Но если не католичка, то и ничто другое. Она определенно не методистка, господин Честер.

Привело ее к этой неопределенности скопление грехов, и если вам угодно назвать их грехами, то скопление это — изрядное. Сама же Элен предпочитает называть их решениями — потому-то она и не чувствует нужды исповедаться. С другой стороны, задается вопросом Элен, понимает ли хоть одна душа, насколько добродетельной была ее жизнь? Она ни разу никого не предала, а это, в конечном счете, для нее самое важное. Она признает, что оставила Френсиса, но предательством это никто не назовет. Можно, пожалуй, назвать это отречением, вроде того как отрекся ради любимой женщины король Англии. Элен отрекается ради мужчины, прежде любимого, чтобы он был настолько свободен, насколько ей нужно и насколько сама всегда была свободна, насколько оба были свободны, даже в те времена, когда их соединяла самая крепкая связь. Не Френсис ли попрошайничал на улицах, когда она заболела в 33-м году? А ведь до этого он никогда не попрошайничал. Если Френсис мог попрошайничать ради любви, неужели Элен не сможет отречься ради нее же?

Ее отношения с Артуром и с Френсисом кое-кто сочтет греховными. Она признаёт, что некоторые другие ее вольности с заповедями Бога и Церкви могут сильно сказаться, когда настанет время Суда (медь и часы, медь и часы). Пусть так, но никаких священников она вызывать не будет, и сама к ним тоже не пойдет. Никому и ни под каким видом не объявит она, что любовь ее к Френсису была греховной: весьма вероятно — да нет, безусловно, — она была самым важным событием в ее жизни, важнее, в конечном счете, чем любовь к Артуру, ибо Артур оказался недостоин.

Поэтому, когда калека Донован снова стучится в одиннадцать часов и спрашивает у Элен, не нужно ли ей чего, она отвечает: нет-нет, спасибо тебе, старый калека, мне больше ничего не нужно, и никого. И старик Донован говорит: сейчас заступает ночной дежурный, а я отправляюсь домой. Приду утром. А Элен говорит: спасибо, Донован, спасибо тебе большое за твою заботу и за то, что пожелал мне спокойной ночи. И когда он отходит от двери, она отпускает медь и думает о Бетховене, об оде «К радости».

И слышит приближение радостных толп.

Да да-да.

Да да-ди-да-да.

И чувствует, как ее ноги превращаются в перья, а голова медленно слетает вниз на встречу с ними, и тело сгибается под грузом такой большой радости.

Видит, как голова медленно, медленно слетает вниз.

А белая птица скользит над водой и наконец усаживается на японское кимоно.

Упавшее медленно.

И мягко.

На траву, где распускается лунный свет.

VI

Сперва был пожар на складе в южной части Бродвея, возле старого чугунолитейного завода Фицгиббона. Пламя рванулось вверх, стремясь принять совершенную форму сферы, насилуя небо. Потом, когда Френсис и Росскам стояли в хвосте легковых автомобилей и грузовиков и лошадь Росскама пятилась и всхрапывала от страха перед стихией, огонь прикоснулся к какому-то хранилищу гро-

ма, и одна сторона склада взлетела на воздух орудийным цветком черного дыма, и ветер понес его к ним. Автомобилисты стали закрывать окна, а беззащитные легкие Френсиса, Росскама и лошади саднило от ядовитых дымов.

Впереди полицейский заворачивал транспорт обратно. Росскам ругался на иностранном языке, неизвестном Френсису. Но что ругался, это было очевидно. Когда они свернули к Медисон авеню, лица у обоих были залиты едкими слезами.

Сейчас они ехали налегке, только что сбросив первый груз старья на дворе у Росскама. Френсис пообедал на дворе яблоком, которое ему дал старик, и переоделся в новую белую рубашку, кинув синий реликт на гору тряпья. Начали вторую ездку — к южной окраине, — но в три часа пожар вынудил их переменить маршрут.

Росскам завернул на Пёрл-стрит, и тележка въехала в Северный Олбани; внизу, позади них, все еще поднимался в небеса дым. Росскам завел свою траурную песню о старье и привел в смятение нескольких домохозяек. Со двора старого дома возле Эмметт-стрит Френсис выволок бесколесную тачку с насквозь проржавелым днищем. В носу у него до сих пор стоял запах гари. Когда он скинул добычу на телегу, перед ним предстал Скрипач Куэйн, сидевший на перевернутом ночном горшке, на котором поупражнялся в меткости какой-то снайпер-любитель.

Скрипач, в прошлом вагоновожатый, нынче одетый в бежевый твидовый костюм с коричневой в горошек бабочкой и в соломенное канотье, улыбнулся Френсису осмысленно — впервые с того дня в 1901 году, когда они подожгли намоченные в керосине простыни и остановили штрейкбрехерский трамвай.

Когда солдат прикладом проломил Скрипачу череп, сочувствующая толпа живо унесла его, спасая от ареста. После удара он еще лет двенадцать прожил глупым, на попечении сестры, старой девы Марты. Мученица его раны, Марта водила Скрипача, героического овоща, по улицам Северного Олбани, дабы соседи видели истинные последствия беспардонной забастовки.

На похоронах Скрипача в 1913 году Френсис вызвался нести гроб, но Марта ему отказала: она считала, что Френсис, пламенный борец, склонил в то утро Скрипача к насилию. От рук твоих довольно было вреда, сказала она Френсису. К гробу моего брата ты не прикоснешься.

Не слушай ты ее, сказал ему Скрипач со своего дырявого насеста. Я тебя ни в чем не виню. Не был ли я на десять лет тебя старше? Не мог разве думать своей головой?

И, посмотрев на него взглядом, рассеявшим смущение, торжественно добавил: это тебе придется прощать твои предательские руки.

Френсис стряхнул ржавчину с пальцев и пошел на задний двор за новым грузом мертвого металла. Когда он вернулся, рядом со Скрипачом, теперь державшим шляпу на коленях, сидел штрейкбрехер Гарольд Аллен в черной шинели и фуражке вагоновожатого. Френсис посмотрел на них, и Гарольд Аллен приподнял фуражку. Головы у обоих были разбиты и окровавлены, но не кровоточили: неизменные раны покойников, очевидно, зажили и стали такой же деталью воздушных созданий, как глаза, горевшие энтропийной страстью, свойственной всем убитым.

Френсис забросил утиль в тележку и отвернулся. Когда повернулся обратно, чтобы удостовериться, там ли они, в бесколесной тачке сидели еще двое. Он не знал их имен, но по изумлению, застывшему во впадинах их глаз, понял, что это покупатель и галантерейщик — зрители, убитые ответным, неприцельным огнем солдат после того, как Френсис раскроил голышом череп Гарольду Аллену.

— Я готов, — сказал Френсис Росскаму. — Ты готов?

— Что за спешка? — спросил Росскам.

— Таскать больше нечего. Может, поедем?

— А он еще и нетерпеливый, этот бродяга, — сказал Росскам и забрался на тележку.

Френсис, чувствуя на себе взгляды четырех теней, подставил им затылок. Тележка покатилась по Пёрл-стрит на север. По улице Энни Фелан. В ее сторону. Небо на западе зловеще нахмурилось, снова подул холодный ветер, и Френсис поднял воротник пиджака. Часы с рекламой лимонада «Нэхи» в витрине у бакалейщика Элмера Райвенберга показывали 3.30. Первого дня ранней зимы. Если ночью пойдет дождь, а мы останемся на улице, то замерзнем к чертовой матери насмерть.

Он потер руки. Они враги ему? Как могут руки предать человека? Все в шрамах, мозолях, с расщепленными ногтями, плохо сросшимися костями, сломанными об чужие челюсти, с синими венами, такими набухшими, что, кажется, вот-вот лопнут. Пальцы на руках были длинные — кроме того, которого не было, — а теперь с возрастом они росли в толщину, как нижние ветви дерева.

Предатели? Возможно ли?

— Ты любишь свои руки? — спросил он у Росскама.

— Люблю, ты сказал? Люблю я руки?

— Ну да. Любишь?

Росскам посмотрел на свои руки, посмотрел на Френсиса, посмотрел в сторону.

— Серьезно, — сказал Френсис. — У меня такая мысль, что мои руки делают, что сами хотят, понимаешь?

— Нет пока.

— Я им не нужен. Что им взбредет, то и делают.

— Ага, — сказал Росскам. Он еще раз взглянул на свои корявые руки, а потом снова на Френсиса. — Тронутый, — сказал он и хлопнул лошадь вожжами по крупу. — Но-о, — сказал он, чтобы переменить тему.

Френсис вспомнил левую руку Скиппи Магайера и то первое лето на выезде — в Дейтоне. Скиппи, питчер, жил с Френсисом в одной комнате: высокий, левша, он не ходил, а вышагивал, и на своей «горке» он преображался в какого-то царя горы. Он вообще, если хотел, мог выступать гоголем, даже стоя на месте. А потом его левая рука стала трескаться — сперва пальцы, потом ладонь. Он обихаживал ее: смазывал, держал на солнце, купал в английской соли и в пиве, но рука не заживала. А когда менеджер команды начал проявлять недовольство, Скиппи, плюнув на трещины, побросал десять минут на тренировке, после чего мяч стал красным, а ладонь и пальцы превратились в горсть кровавой каши. Менеджер сказал Скиппи, что он болван, и отчислил его вместе с негодной рукой из команды.

В ту ночь Скиппи проклял менеджера, напился сильнее обычного, растопил угольную печку, хотя был август, а когда пламя разгорелось, залез в нее рукой и выхватил горсть пылающих углей. Он показал иуде-руке, где раки зимуют. Чтобы спасти ее, врачу пришлось отрезать три пальца.

Ну, кое-кому, вроде Росскама, Френсис, может, и покажется тронутым, но так, как Скиппи, он никогда бы не поступил. Верно? Он смотрел на руки, соединял шрамы с воспоминаниями. Бузила Дик отнял один палец. Неровный шрам пониже мизинца... этот — от безумного приступа жажды, когда он ночью разбил кулаком витрину в Чайна-тауне, чтобы добыть бутылку вина. В драке с бродягой, который хотел поиметь Элен на Восьмой авеню, он сломал первую фалангу среднего пальца — срослась криво. Какой-то бешеный в Филадельфии хотел украсть у Френсиса шляпу и откусил ему кончик большого пальца на левой руке. Но Френсис с ними рассчитался. Каждый шрам был отмщен, и Френсис помнил этих гусей всех до единого — почти все, должно быть, уже погибли, и может, от собственной руки. Или от руки Френсиса?

Бузила Дик.

Гарольд Аллен.

Последнее имя вдруг подействовало как волшебный ключ к биографии Френ-

сиса. Впервые в жизни он почувствовал, что двигала им не сознательная воля, а нечто иное; приоткрылась закономерность в поступках, панорама всех совершенных им насилий: сколько же людей погибли от его руки, или были изувечены, или, как с этой парой изумленных и безымянных теней, в скольких смертях его буйный нрав был повинен косвенно? Он хромал теперь и всегда будет хромать с металлической пластиной в левой ноге — потому что человек украл у него бутылку апельсиновой воды. Он догнал этого шибздика и отобрал бутылку. А шибздик ударил его топорищем и раздробил кость. И что же сделал Френсис? Бить такого мелкого было неудобно; Френсис ткнул его лицом в грязь и вырвал зубами кусок у него из затылка.

Есть вещи, которым я вовсе не хотел учиться, — такая мысль родилась у Френсиса.

А делал такое, чему и учиться не было нужды.

И я про это даже знать не желал.

Сейчас, когда Френсис глядел на свои руки, они казались ему посланцами из какого-то преступного угла его души, механиками самовольной роковой стихии в его жизни.

***

Он был у них в семье убийцей; насколько он знал, никто в его роду не жил так буйно. А ведь и он не искал такой жизни.

Но ты нацелился убить меня, молча сказал сидевший на задке тележки Гарольд Аллен.

— Нет, — не обернувшись, ответил Френсис. — Никого я не хотел убить. Причинить вред, поквитаться — да. Ну, разбить окно в трамвае, устроить шухер — в таком роде.

Но ты же знал, еще когда был начинающим, какой у тебя точный бросок. Гордился этим. Вот почему ты пришел в тот день на линию, вот почему все утро подбирал камни весом с бейсбольный мяч. Ты метил в меня, чтобы прослыть героем.

— Но не затем, чтоб убить.

Только выбить глаз, да?

Френсис вспомнил фигуру Гарольда Аллена в полный рост в трамвае — несомненно, мишень. Вспомнил координацию зрения с движением руки — дистанции и кистевого досыла. Всю жизнь он помнил, как повалился Гарольд Аллен, когда камень попал ему в лоб, под волосы. Френсис не слышал, но вечно воображал, какой звук произвел камень (летевший со скоростью километров сто десять в час), ударившись в череп Гарольда Аллена. Череп отозвался звуком глухим, но резким, отрывистым, — решил он, — как арбуз от удара бейсбольной биты.

Френсис задумался о злом самочинстве своих рук и спросил себя: а как потом Скиппи Магайер справлялся с самоубийственными наклонностями своей левой? Почему Френсису на ум то и дело приходит самоубийство? Проснешься в бурьяне под Питсбургом, окоченелый, шевельнуться не можешь от холода, снегом посыпан и затвердел как чурка, и говоришь себе: Френсис, еще одну ночь терпеть тебе не хочется, и утра, такого, как нынешнее. В самый раз с моста вниз головой.

Но немного погодя встаешь, стираешь иней с уха, идешь куда-нибудь согреться, стреляешь пять центов на кофе и шагаешь еще куда-либо, только не туда, где мост.

Френсис не понимал, почему он заигрывает с самоубийством, почему уклоняется. Не понимал, почему не прыгнет, как отец Элен, когда он увидел, что ему крышка. Наверно, недосуг — все сообразить надо насчет следующего получаса. Не заглянуть Френсису за край жизни — такой уж он человек, что бежит, когда

дело швах: все некогда было дух перевести, остановиться в тихом месте, чтобы умереть.

Да и бежать-то ему не так уж хотелось. Кто же мог подумать, что за обедом в День Благодарения, сразу после их с Энни свадьбы, мать объявит, что и ему, и его простой бабенке надо забыть дорогу в этот дом? Через два года старая грымза смягчилась и дозволила ему навещать родных. Но зашел он только раз, и то не дальше порога, поскольку выяснилось, что дозволение не распространяется на не простую вовсе Энни, пришедшую вместе с ним.

Так что семейные связи на Колони-стрит были порваны с треском. Он выехал из квартиры, которую снимал в том же квартале, за девять домов от них, поселился на северной окраине, по соседству с родителями Энни, и не заглядывал в чертов дом, пока не умерла боевая мамаша (печальная, изломанная, упорствующая в глупостях несчастная женщина).

Отъезд.

Бегство своего рода, первое.

Снова бегство, когда убил штрейкбрехера.

Снова бегство — каждое лето, пока была возможность, — чтобы подтвердить единственный талант, который давал ему могучее ощущение свободы, позволял танцевать на Земле под грохот духовых оркестров, под радостные крики и сладострастные приветствия толпы. Бегством спасался от безумия Френсис все эти годы — и не спрашивай его почему. Он любил жить с Энни и детьми, любил сестру Мэри и почти любил братьев Питера и Чика и брата-идиота Томми, и все они приходили к нему в дом, когда он стал нежеланным гостем в их доме.

Он любил или почти любил многое в Олбани.

Но вот — снова февраль.

И скоро уже снова сойдет снег.

И трава опять зазеленела.

И танцевальная музыка снова звучит в голове у Френсиса.

И снова его подмывает бежать.

И он бежит.

***

Из небольшого дома за церковью Святого сердца вышел человек и поманил Росскама, а тот осадил лошадь и слез, сторговать у человека старье. Френсис, сидя на тележке, смотрел, как из 20-й школы выходят дети и пересекают улицу. Женщина, видимо их учительница, вышла на перекресток с поднятой рукой, чтобы увеличить тормозящую силу красного светофора, хотя транспорта поблизости не было, кроме телеги Росскама, а она уже и так стояла. Дети, закончив мирские занятия, муравьиной цепочкой перешли на противоположную сторону под опеку двух черных скользящих фигур — монахинь, которые вложат в молодые податливые умы святую Господню истину: блаженны кроткие. Френсис вспомнил Билли и Пегги детьми, которых так же передавали из старой школы в эту самую церковь для наставления о путях Господних — словно кто-то в них мог разобраться.

При мысли о Билли и Пег Френсис задрожал. Один лишь квартал отделял его от их дома. Адрес он теперь знал из газеты. Приду как-нибудь в воскресенье с индейкой, сказал он однажды Билли, когда Билли впервые его пригласил. А реплика Билли была такая: кому, на хер, нужна индейка? Кому, действительно? — ответил тогда Френсис. Но теперь его ответ был: выходит, мне.

Росскам влез на телегу, так и не сговорившись с жильцом, желавшим избавиться от мусора.

— Некоторые люди не понимают старье, — сказал Росскам тыльному концу своей лошади. — Старье — это не мусор. А мусор — не старье.

Лошадь тронулась, и каждый цок ее копыт стягивал обручи на груди у Френсиса все туже. Как это сделать? Что им сказать? Нечего сказать. Бог с ними. Нет, просто постучись. Вот я и дома. А может, просто: чашкой кофе не угостите? — а дальше будет видно. Ничего не проси, ничего не обещай. Не извиняйся. Не плачь. Зашел в гости, и всё. Узнал, что нового, засвидетельствовал почтение и ступай себе.

А индейка?

— Я, пожалуй, чуть погодя слезу, — сказал он Росскаму, и тот скосил на него глаз. — Все равно скоро день кончается — через час уж стемнеет, правильно? — Он взглянул на небо, серое, но еще яркое, с едва угадывавшимся на закате солнцем.

— Дотемна кончить? — сказал Росскам. — Дотемна не кончаешь.

— Надо повидать там людей. Давно не виделись.

— Так иди.

— Так ты заплати мне, сколько отработал.

— День не отработал. Приходи завтра, соображу сколько.

— Работал почти весь день. Часов семь, наверно, без обеда.

— Полдня ты работал. Три часа еще до вечера.

— Я больше полдня работал. Больше семи часов работал. Можешь скинуть доллар. Это будет по справедливости. Я возьму шесть вместо семи, да четвертак вычти за рубаху. Пять семьдесят пять.

— Полдня работал — половину заработал. Три пятьдесят.

— Нет, брат.

— Нет? Я начальник.

— Это верно. Ты начальник. И мужик ты здоровый. Но я тебе не дурак и, когда меня ободрать хотят, понимаю. И я тебя предупреждаю, мистер Росскам: когда меня рассердят, я злее черта. — Френсис поднес ему к глазам правую руку. — Думаешь, не стану драться за свое, — погляди. Эта рука много чего повидала. Плохого. Не одного на тот свет проводила. Ты понял меня?

Росскам остановил лошадь, застопорил тележку и намотал вожжи на крюк у подножки. Они стояли на Пёрл-стрит, посреди квартала, как раз напротив двери школы. Оттуда все еще выходили дети и неровной цепочкой тянулись к церкви. Блаженны многие кроткие. Росскам осмотрел руку Френсиса, до сих пор протянутую к его лицу, с недостающими фалангами, пылающими шрамами, звенящими жилами и пальцами, чуть согнутыми в обещании кулака.

— Угрожаешь? — сказал Росскам. — Ты мне угрожаешь. Я угроз не люблю. Пять двадцать пять заплачу, не больше.

— Пять семьдесят пять. Я сказал: пять семьдесят пять — по справедливости. В этой жизни надо быть справедливым.

Росскам извлек из-под рубашки кошелек на кожаном ремешке. Отслоил от рулончика пять долларовых бумажек, дважды пересчитал и положил в протянутую руку Френсиса, тут же повернувшуюся для приема ладонью к небу. Потом добавил семьдесят пять центов.

— Бродяга есть бродяга, — сказал Росскам. — Больше бродяг не беру.

— Благодарю тебя, — сказал Френсис, пряча деньги в карман.

— Не нравишься ты мне, — сказал Росскам.

— А ты мне даже понравился, — сказал Френсис. — Да и я не так уж плох, когда узнаешь поближе.

Он соскочил с тележки и помахал Росскаму, а тот, не сказав ни слова и не оглянувшись, уехал на своей тележке, наполовину загруженной старьем и разгрузившейся от теней.

***

Френсис шел к дому, хромая сильнее обычного. Нога не болела так уже несколько недель. Терпеть было можно, но подниматься нормально над тротуаром она не желала. Френсис шел очень медленно, и прохожему показалось бы, что он отрывает ногу от тротуара, политого клеем. До дома было полквартала, и сам он не был виден — только серая веранда — должно быть, его. Френсис остановился при виде немолодой женщины, вышедшей из другого дома. Когда они сошлись, он заговорил.

— Прошу прощения, леди, вы не скажете, где мне купить хорошенькую индейку?

Женщина посмотрела на него сперва с удивлением, потом с ужасом и быстро вернулась по своей дорожке в дом. Френсис смотрел ей вслед с суеверным чувством. Почему, когда он трезвый и в новой рубашке, женщина пугается простого вопроса? Дверь снова открылась, и появился лысый мужчина, босиком, в нижней рубашке и брюках.

— Что ты спросил у моей жены?

— Спросил, не знает ли, где мне купить индейку.

— Зачем?

— Да вот, — сказал Френсис и, умолкнув, повозил ногой по тротуару, — утка моя сдохла.

— Шагай, не задерживайся.

— Понял, — сказал Френсис и захромал дальше.

Он окликнул школьников, переходивших улицу:

— Эй, ребята, не знаете, где тут мясная лавка?

— Да у Джерри, — сказал один. — На углу Бродвея и Лоун.

Френсис поблагодарил мальчика, подняв руку; остальные смотрели на него. Когда он двинулся дальше, ребята повернулись и убежали вперед. Мимо дома он прошел, даже не взглянув в ту сторону. Походка стала чуть легче. Надо пройти два квартала до лавки и два обратно. Может, там праздничная скидка. Курицей обойдемся? Нет.

К Лоун авеню он разошелся, а перед Бродвеем шаг стал и вовсе для него нормальным. Струганый пол в мясном магазине Джерри был необыкновенно чист и посыпан опилками. Белые витрины с наклонным блестящим стеклом предлагали Френсису, единственному посетителю, великолепные печенки, почки, бекон, соблазнительные вырезки и отбивные, прекрасно смолотый колбасный и котлетный фарш.

— Что вам? — спросил мясник в белом фартуке. Волосы у него были такие черные, что лицо казалось беленым.

— Индюшку, — сказал Френсис. — Я хочу хорошую мертвую индюшку.

— Других не держим, — сказал мясник. — Только хороших и мертвых. Большую?

— А какие они — большие?

— Такие большие, что не поверите.

— А вдруг?

— Двенадцать-тринадцать кило.

— И почем такие звери?

— Смотря сколько весит.

— Правильно. Почем кило?

— Девяносто восемь центов.

— Девяносто восемь. Скажем, девяносто. — Он помолчал. — Килограммов на пять найдется?

Мясник скрылся в белой кладовой и вышел, держа в обеих руках по индейке. Взвесил одну, потом другую.

— Эта четыре с половиной, а эта пять шестьсот.

— Нам старшую птицу, — сказал Френсис и, пока мясник заворачивал ее в белый пергамент, выложил на прилавок пять долларов и мелочь. Мясник оставил ему на прилавке двадцать пять центов сдачи.

— Как вообще дела? — спросил Френсис.

— Так себе. Денег у людей нет.

— Деньги есть. Добыть только надо. Вот эта пятерка, что я тебе дал. За день сегодня заработал.

— Если пойду добывать деньги, кто в лавке останется сидеть?

— Да, — сказал Френсис. — Кое-кому приходится только сидеть и ждать. Но сидишь ты в чистоте.

— Грязные мясники на рынке не удерживаются.

— Да, мясо чистоту и аккуратность любит. А как же?

— Правильно. Это всем не мешает помнить. Ну, желаю закусить своей мертвой.

***

Он дошел по Бродвею до салуна Кинга Брейди и оттуда посмотрел вдоль Норт-стрит на сарай Жестянки Уэлта внизу и на место бывшего шлюза — наконец-то при свете дня. На улице появилось несколько новых домов, но изменилась она не сильно. Он видел ее мельком из автобуса и вчера ночью из сарая, но, несмотря на перемены, принесенные временем, глазам его она предстала такой, как прежде; и взирал он сверху на вспять повернувшее время: два человека поднимались к Бродвею, один — похожий на него двадцатиоднолетнего. Вверх, вверх, вверх шагал молодой человек, приближаясь к нему, и Френсис понимал характер уличного подъема.

Холод индейки проникал сквозь пиджак, студил бок и руку. Он взял сверток под другую руку и пошел по Северной третьей улице к дому. Подумают, хочу, чтобы при мне зажарили индейку. Надо сказать: вот индейка, зажарьте к воскресенью.

Навстречу ехали ребята на велосипедах. Уолтер-стрит была усыпана листьями. Нога заболела, подошва снова стала липнуть к тротуару. Чертовы ноги, тоже живут сами по себе. Он повернул за угол, увидел переднее крыльцо, прошел мимо. Свернул на дорожку и остановился у боковой двери перед гаражом. Поглядел на белую в горошек занавеску за четырьмя стеклышками двери, на ручку, на алюминиевый ящик для молока. Сколько же он украл бутылок из таких ящиков. Бродяга. Убийца. Вор. Тронул звонок, услышал шаги, увидел, как отодвинулась занавеска, увидел глаз, увидел, как приоткрылась на палец дверь.

— Здравствуй.

— Да?

Она.

— Принес тебе индейку.

— Индейку?

— Да. Пять кило шестьсот. — Поднял ее.

— Не понимаю.

— Сказал Биллу: приду как-нибудь в воскресенье, индейку принесу. Хоть и не воскресенье, а пришел.

— Это ты, Френ?

— А ты думала, из марсиан кто?

— Боже мой. Боже мой, Боже мой. — Она распахнула дверь.

— Как жизнь, Энни? Выглядишь хорошо.

— Заходи, заходи же.

Она поднялась на пять ступенек, прямо перед ним. Лестница налево вела в подвал — туда он и собирался зайти сперва, забрать хлам для Росскама, а потом уже объявить себя. А теперь шел прямо в дом, закрыв за собой боковую дверь. Пять ступенек вверх под взглядом Энни — и в кухню; она пятится, лицом к нему. Смотрит. Но улыбается. Это хорошо.

— Билли сказал нам, что видел тебя. — Она остановилась посреди кухни, Френсис тоже остановился. — Но он не думал, что ты придешь. Господи, какая неожиданность. Мы прочли про тебя в газете.

— Стыдно было?

— Нет, все смеялись. Весь город смеялся — двадцать раз зарегистрироваться на выборах!

— Двадцать один.

— Ох, Френ. Ох, какая неожиданность.

— Вот. Сделай что-нибудь с этой птицей. Она меня застудила.

— Зачем ты принес? Да еще индейку. Потратился, наверно.

— Железный Джо мне говорил: Френсис, с пустыми руками не приходи. Звонок нажимай локтем.

Зубы у нее покупные. Нету больше тех красавцев. Волосы почти седые, только догадаться можно, что была шатенкой, а рот из-за новых зубов немного запал. Но улыбка та же, улыбка без обмана. И пополнела: грудь больше, в бедрах шире; и задники туфель завалены. Вены сквозь чулки проступают, руки красные, фартук в пятнах. Вот что делает домашнее хозяйство с красивой девушкой.

Какой он увидел ее в «Тачке».

Среди речников и лесорубов, в салуне Железного Джо, в самом низу Мейн-стрит.

Самая красивая в Северном Олбани. Так обо всех хорошеньких говорили. Но про нее — правду.

Вышла посмотреть, где Железный Джо.

И Френсис не решался подойти к ней два месяца.

Заговорил наконец.

Сказал: здравствуйте.

Через два дня они сидели на двух штабелях досок на лесном складе Кибби, и Френсис говорил глупости, которых никому в жизни не собирался говорить.

А потом они поцеловались.

Не тут прямо, а через сколько-то часов, а может, и дней. Френсис сравнивал этот поцелуй с первым поцелуем Катрины и нашел, что отличаются они, как кошки от собак. Вспомнив теперь оба и глядя на рот Энни со вставными зубами, он понял, что в поцелуе образ жизни проявляется так же, как в улыбке или покрытой шрамами руке. Поцелуи идут сверху или снизу. Иногда они идут от головы, иногда от сердца, а иногда просто от промежности. Поцелуи затихающие идут от сердца, и после них на губах остается сладость. Поцелуи, идущие от ума, норовят проделать что-то в чужом рту и почти не рождают отзыва. А поцелуи от ума и от промежности вместе и, может, с толикой сердечного, как у Катрины, — это такие поцелуи, что, бывает, всю жизнь не опомнишься.

Но вот случается такой, как на досках у Кибби, идущий и от головы, и от сердца, и от промежности, и от рук на твоих волосах, и от грудей, еще не так разбухших, и от объятия этих рук, и от времени, которое само следит за тем, сколько его может пройти без того, чтобы тебе хоть чуть-чуть наскучило, как впоследствии наскучивало целоваться почти со всеми, кроме Элен, и от пальцев (у Катрины тоже были такие пальцы), пробегающих по твоему лицу и вниз по шее, и от плеч под твоими ладонями, а в особенности от косточек, что растут из спины наподобие ангельских крыльев, и от глаз, которые то закроются, то откроются — проверить, с тобой ли это происходит, не приснилось ли во сне, и когда понял, что ага, не во сне, можно закрыть их снова, и от языка, едрена мать, от языка — да где же она

этому научилась — никто так не умел, кроме Катрины, но она была замужняя, у ней ребенок, ей было где научиться — а ты, Энни, черт подери, ты-то где набралась, может, тут на досках каждый день упражнялась (нет, нет, знаю, не было этого, всегда знал, что не было), нет, у такой женщины, как Энни, это от природы, поцелуй идет от каждой части тела, и не только, и за этим ртом с этими новыми зубами, на которые сейчас смотрит Френсис, за прежними губами, которые он помнит и уже не хочет целовать иначе как в воспоминаниях (хотя и они подвержены переменам), — за этим ртом он прозревает заповедную суть этой женщины, суть, которая рождает в нем воспоминания не только о годах, но о десятилетиях, даже больше, о веках, эпохах, так что он уверен: неважно, где сидел он с этой женщиной — в древней ли пещере, в хижине ли на краю болота или на досках в Северном Олбани, — оба они будут знать, что есть в каждом из них что-то такое, что должно перестать быть одним и стать двоими и должно поклясться, что до конца дней другого не будет (и не было, такого же), а будет преданность, и суверенность, и верность, и прочая такая белиберда, которой люди забивают себе голову, когда сказанное ими не имеет никакого отношения к вечностям времени, а знаменует одновременное осознание парности навек — вот ведь как, — оба они, Френсис и Энни, в один и тот же миг понимают, что есть в них что-то такое, что должно перестать быть двоими и стать одним.

Вот что означал их поцелуй.

Френсис и Энни поженились через полтора месяца.

Катрина, я буду любить тебя вечно.

Однако случилось другое.

***

— Индейка, — сказала Энни. — Посиди, пока приготовлю.

— Нет, это долго. Съешьте ее, когда захотите. В воскресенье или когда.

— Ее не так уж долго жарить. Два-три часа. Так долго тебя не было — неужели сразу и убежишь?

— Я не убегаю.

— Хорошо. Сразу и поставлю ее в духовку. Придет Пег, начистим картошки и луку, а Данни сбегает за клюквой. Индейка, надо же. Рождество торопишь.

— Данни — это кто?

— Данни не знаешь? Конечно, откуда. Сын Пег. Она вышла за Джорджа Куинна. Джорджа ты ведь знаешь, и у них мальчик. Десять лет ему.

— Десять.

— В четвертом классе, умница.

— Джеральду было бы сейчас двадцать два.

— Да.

— Я видел его могилу.

— Видел? Когда?

— Вчера. Работал там днем, нашел его, поговорили немного.

— Поговорили?

— С Джеральдом поговорили. Рассказал ему, как это вышло. Всякого нарассказал.

— Думаю, он рад был тебя услышать.

— Может быть. А Билл где?

— Билл? А-а, ты о Билли. Для нас он так и остался Билли. Прилег. У него с политиками получилась неприятность, переживает. Похитили племянника Патси Маккола. Сына Бинди. Ты, наверно, читал об этом.

— Читал. И Мартин Догерти мне рассказывал, давно уж.

— Мартин сегодня в газете написал про Билли.

— Это я тоже видел. Хорошо написал. Мартин говорит, отец его еще жив.

— Эдвард. Жив, на Мейн-стрит живет. Память потерял, бедняга, а так крепкий. Видим его иногда — с Мартином прогуливается. Я разбужу Билли, скажу, что ты здесь.

— Нет, не надо пока. Поговорим.

— Поговорим. Правда. Пойдем в комнату.

— Куда, в такой одежде-то? Старье весь день таскал. Весь дом тебе запачкаю.

— Подумаешь. Неважно.

— И тут хорошо. Вон из окна двор видно. Красивый двор. И собака у тебя — колли.

— Веселая. Данни стрижет траву, а собака в нее свои кости закапывает. У соседей кошка, так она за ней вдоль забора гоняется.

— Сильно семья изменилась. Да я так и думал. Как твой брат и сестры?

— Хорошо. Джонни совсем не меняется. Сейчас он в комитете у демократов. Джози очень растолстела и потеряла много волос. Носит накладку. А Минни всего два года прожила с мужем — умер. Очень одинока, комнату снимает. Но мы все видимся.

— Билли молодцом.

— Игрок, и не очень хороший. Вечно без денег.

— Когда мы первый раз встретились, он хорошо ко мне отнесся. Тогда он был при деньгах. Залог за меня внес, спас от тюрьмы, и хотел мне новый костюм купить. Порядочно дал денег, а я, конечно, все спустил. Он малый твердый, Билли. Я его любил. Говорит, ты ни ему, ни Пег не рассказывала, что я уронил Джеральда.

— Да, только на днях рассказала.

— Ты, Энни, оригинальная женщина. Таких, как ты, поискать.

— Что пользы об этом рассказывать? Что было, то было. Твоей вины в том не больше, чем моей. Ничьей в том вины нет.

— Никак мне не отблагодарить тебя за это. Тут благодарности — все равно что пустой звук. Тут я не знаю прямо...

Она махнула рукой.

— Хватит об этом, — сказала она. — Всё уже. Пойди сядь, расскажи, как это ты вдруг к нам собрался.

Он сел на скамью в алькове и глянул в окно, где стояла герань с двумя цветками, увидел колли, яблоню, которая росла у них на дворе, но давала тень и плоды двум соседним, клумбы, подстриженную траву и белый забор из сетки, все это ограждавший. Как красиво. Ему нестерпимо хотелось рассказать обо всех своих прегрешениях, чтобы хоть ими уравняться с этой не доставшейся ему красотой, но язык его цепенел, примерно так же, как ноги, когда он шел по клейкому тротуару. Его ум и тело пребывали как будто в наркотическом сне, когда восприятия сохранены, а действовать не можешь. Не было никакой возможности объяснить, что привело его сюда. Для этого пришлось бы не только перечислить все грехи, но и беглые, напрасные мечты, все его случайные блуждания по стране, все его возвращения в этот город и отъезды — снова отъезд и снова к ним не зашел, а почему — не знает. Пришлось бы подвергнуть вскрытию его приступы буйства, страх перед правосудием, его жизнь с Элен и нынешнее от нее отступничество, спанье с разными женщинами, которые ему вовсе не были нужны, его пьяные дела, утренние похмелья, ночевки в бурьяне, попрошайничество — не из-за безработицы, а сперва ради Элен, а потом — из-за того, что это легко: легче, чем работать. Все было легче, чем возвращение домой, — даже опуститься до уровня социальной личинки, уличного слизня.

Но вот вернулся домой.

Он же дома сейчас, верно?

И если да, то спрашивается как раз: почему?

— Можно, конечно, сказать — из-за Билли, — ответил Френсис. — Но дело не в этом. Спроси перелетную птицу, почему она улетает на юг, а потом возвращается на север, на старое место.

— Что-то, видно, тебя проняло.

— Говорю, Билли выручил меня из тюрьмы, заплатил залог, а потом пригласил домой, хотя я думал, никогда не пригласят после того, что я натворил... А потом узнал, что ты сделала — верней, не сделала, — и Пег выросла без меня, хотелось на нее посмотреть. Я говорю Билли: хочу прийти домой, когда смогу что-нибудь сделать для родных, а он говорит: приходи просто так, повидаться, плюнь на индейку — вот это ты можешь для них сделать. Ну и пришел. И с индейкой.

— Но что-то в тебе изменилось, — сказала Энни. — Из-за женщины, да? Билли с ней познакомился?

— Из-за женщины.

— Билли сказал, что у тебя другая жена. Элен, он сказал.

— Не жена. И не была женой. Жена у меня одна была.

Энни, сложив на столе руки, почти улыбнулась ему, и Френсис принял это за насмешку. А она сказала:

— И у меня был только один муж. Только один мужчина.

У Френсиса перехватило глотку.

— Вот что делает религия, — сказал он, когда смог заговорить.

— Не религия.

— Мужчины на тебя как мухи на мед небось слетались. Такая была красивая.

— Пробовали. Но ни одного не подпускала. Не хотела. Даже в кино ни с кем не ходила, кроме своих и соседей.

— Не мог я жениться, — сказал Френсис. — Есть такое, чего ты не можешь. Но с Элен я жил. Это да, это правда. Девять лет, с перерывами. Она хорошая женщина, но беспомощная, как ребенок. Улицу сама не перейдет, если за руку не возьмешь. Вынянчила меня, когда я совсем доходил. Мы нормально жили. Хорошая баба, ничего не скажу. В хорошей семье выросла. А улицу ни черта перейти не может.

Энни смотрела на него печальными глазами, горько сжав рот.

— Где она сейчас?

— Черт ее знает где. В городе, наверно. За ней не уследишь. Шатается где попало — когда-нибудь так и умрет на улице.

— Ты ей нужен.

— Наверно.

— А тебе что нужно, Френ?

— Мне. Хм. Шнурок. Второй день бечевкой туфлю завязываю.

— И больше ничего?

— Держусь пока. День проработать могу. Особенно, конечно, не работаю. Памяти не потерял, все, что было, помню. Тебя, Энни, помню. Это украшает жизнь. Помню, как у Кибби на досках первый раз с тобой говорил. Ты-то помнишь?

— Как будто это было нынче утром.

— Дело давнее.

— Очень давнее.

— Господи, Энни, скучаю я по вас и по всему, но ни черта я в этой жизни не стою — и никогда не стоил. Погоди. Дай кончить. Не могу я кончить. Даже начать не могу. Но надо. Есть что сказать. Докопаться только надо, слова найти. Жалко мне до черта — только и это ничего не значит. Слова одни говенные, извини за выражение. Против того, что я сделал с тобой и с детьми, — ерунда. Я не могу это исправить. Через пять месяцев, через полгода после того, как ушел, я понял уже, что будет все хуже и хуже, и поправить ничего нельзя, домой дороги нет. Вот торчу

здесь, в гости пришел — и всё. Тебя повидать, пожелать вам благополучия. А у меня свои какие-то дела творятся, и выхода я никакого не знаю. В гости пришел, и всё. Мне ничего не надо, Энни, честное благородное слово, ничего не надо, только поглядеть на всех. Поглядеть — мне довольно. Как у вас тут, что на дворе. Красивый двор. И собачка славная, черт, славно. Много чего есть сказать, много чего надо сказать и объяснить, всякой такой хреновины, — извини меня еще раз, — только не готов я это сказать, не готов смотреть на тебя, когда ты это будешь слушать, — и ты, думаю, не согласилась бы слушать, если бы знала, что́ я тебе расскажу. Гадость, Энни, гадость. Дай просто посидеть и бутерброд дай, я голодный как волк. Но послушай, Энни, я никогда не переставал любить тебя и ребят, особенно тебя, и никакая это не заслуга, и ничего я не хочу, когда говорю это, но сколько жил, я всегда помнил то, чего нет ни в Джорджии, ни в Луизиане, ни в Мичигане, а я везде побывал, Энни, повсюду, и нет на свете ничего такого, как твои локти сейчас передо мной на столе и этот фартук, весь в пятнах. Черт возьми, Энни. Черт возьми. У Кибби были только нынче утром. Ты правильно сказала. Но это давнее дело, и я ничего не прошу, только бутерброд и чашку чая. Ты все «Ирландский к завтраку» пьешь?

***

За этими словами последовала пауза, а дальнейший разговор был несущественным, если не считать того, что он сблизил мужчину и женщину, еще дальше разведя их физически, что позволило ей сделать Френсису сандвич со швейцарским сыром и начать приготовление индейки: солить, перчить, начинять не вполне, правда, черствым хлебом, но в общем уже пригодным, смазывать сливочным маслом, поливать тимьяновым соусом, сдабривать луком и специальной приправой из жестяночки с красно-желтой индейкой на этикетке и, наконец, уложить ее в жаровню, для которой она как будто нарочно была выращена и убита — настолько совпадали их формы.

А кроме того, во время этой скачущей беседы, глядя на двор и наблюдая за собакой, Френсис вдруг заметил, что двор превращается в сцену для встречи с духами, хотя ничто, кроме ожидания, при взгляде на траву не сулило такой возможности.

Френсис смотрел и понимал, что снова он в судорогах бегства — только на этот раз не прочь, а вверх. Чувствовал, как на спине вырастают перья, и знал, что скоро взмоет в невообразимые выси, и знал, что за год разговоров не объяснить, почему пришел домой; тем не менее в голове у него складывался сценарий: пара трамваев с парой королей съезжаются к одному пути и, сойдясь на стрелке, не крушат друг друга, а сливаются в один вагон, и короли в нем встают друг против друга в королевском марьяже, ни тот ни другой не одерживают верх, а вместе ведут трамвай — кренящийся, анархический, безумный, опасный для всех остальных, и тут в него вскакивает Билли, хватается за ручку контроллера, и короли немедленно уступают кудеснику управление.

Он дал мне сигарету «Кэмел», когда меня разрывал кашель, подумал Френсис.

Он знает, что человеку нужно, — Билли знает.

***

Пока Энни накрывала стол в столовой белой полотняной скатертью, раскладывала серебро, которое подарил им на свадьбу Железный Джо, расставляла незнакомые Френсису тарелки, из школы пришел Даниел Куинн. Мальчик швырнул школьную сумку в угол и замер, увидев стоявшего в дверях кухни Френсиса.

— Здравствуй, — сказал ему Френсис.

— Данни, это твой дедушка, — сказала Энни. — Он пришел навестить нас и останется обедать.

Даниел, глядя Френсису в лицо, медленно протянул правую руку. Френсис пожал ее.

— Очень приятно познакомиться, — сказал Даниел.

— Взаимно, малыш. Ты большой для десятилетнего.

— В январе мне будет одиннадцать.

— Ты из школы?

— Нет, с религиозного урока.

— А, с религиозного. По-моему, я видел, как ты шел через улицу, и даже не знал, что это ты. И что-нибудь рассказали там?

— Про сегодняшний день. День всех святых.

— Что именно?

— Это святой день. Надо быть в церкви. В этот день мы вспоминаем мучеников, умерших за веру, и никто не знает их имен.

— А-а, ну да, — сказал Френсис. — Этих я помню.

— А что случилось с вашими зубами?

— Даниел!

— Зубами, — сказал Френсис. — Мы с ними расстались, почти со всеми. Осталось немного.

— Вы дедушка Фелан или дедушка Куинн?

— Фелан, — сказала Энни. — Его зовут Френсис Алоиз Фелан.

— Френсис Алоиз, в самом деле. — Френсис усмехнулся. — Давно я этого не слышал.

— Вы бейсболист, — сказал Даниел. — Играли в высших лигах. Играли за «Вашингтонских сенаторов».

— Было дело. Теперь не играю.

— Билли говорит, вы научили его закручивать.

— Так он еще помнит, а?

— А меня научите?

— Ты питчер?

— Иногда. Умею бросать от костяшек.

— Летит неровно. Трудно попасть. Найди мячик — покажу, как его закручивать.

Даниел убежал в кухню, оттуда в кладовку, вернулся с мячом и перчаткой и отдал их Френсису. Перчатка была мала, но он засунул в нее пальцы, взял мяч в правую руку и рассмотрел швы. Потом взял его в щепоть — двумя с половиной пальцами.

— Что случилось с вашим пальцем? — спросил Даниел.

— С ним мы тоже расстались. Такая вышла авария.

— А без него трудней закручивать?

— Конечно, труднее, но не мне. Я теперь не бросаю. Понимаешь, питчером я никогда не был, но говорил со многими. Уолтер Джонсон был моим приятелем. Знаешь его? Большого Поезда?

Мальчик помотал головой.

— Неважно. Он показывал мне, как это делается, и я запомнил. Указательным и средним берешь за швы, вот так, а потом кистью — резко наружу, вот так, и, если ты правша — ты правша? — мальчик кивнул, — мячик закрутит в воздухе такую маленькую жигу и будет заворачивать бьющему прямо в пуп — это если он тоже, конечно, правша. Я понятно говорю? — Мальчик опять кивнул. — Фокус в том, что бросаешь не как уходящий, — он крутанул кистью по часовой стрелке, — а наоборот. Делаешь вот так. — Он крутанул кистью в обратном направлении. Потом дал мальчику попробовать и так, и так и потрепал его по спине.

— Вот как это делается, — сказал он. — Научишься этому — бьющий подумает, что у тебя в мяче зверек и летит, как в аэроплане.

— Пойдем на двор, попробуем, — сказал Даниел. — Я найду другую перчатку.

— Перчатку? — сказал Френсис и повернулся к Энни. — У тебя часом не завалялась где-нибудь моя старая перчатка? Как думаешь?

— На чердаке целый сундук с твоими вещами. Может, она там.

— Там, — сказал Даниел. — Я знаю. Я видел. Я сбегаю.

— Не сбегаешь, — сказала Энни. — Это не твой сундук.

— Да я его уже смотрел. Там еще пара шиповок, и одежда, и газеты, и старые карточки.

— Ты все сохранила, — сказал Френсис.

— Нечего тебе делать в этом сундуке, — сказала Энни мальчику.

— Мы с Билли один раз смотрели карточки и вырезки из газет, — сказал Даниел. — Билли не меньше меня смотрел. А он там на многих. — Мальчик показал на Френсиса.

— Хочешь посмотреть, что там есть? — спросила Энни у Френсиса.

— Можно. Может, шнурок себе там найду.

Энни повела его по лестнице; Даниел убежал вперед. Они услышали его голос: «Билли, вставай, дедушка пришел», — и когда поднялись на второй этаж, Билли в халате и белых носках, взъерошенный и сонный, уже стоял в дверях своей комнаты.

— Здорово, Билли. Как дела? — сказал Френсис.

— Здорово. Пришел все-таки?

— Ага.

— Я пари готов был держать, что не придешь.

— Проиграл бы. И принес индейку, как обещал.

— Индейку, а?

— У нас обед с индейкой, — сказала Энни.

— Мне сегодня в город надо, — сказал Билли. — С Мартином договорились встретиться.

— Позвони ему, — сказала Энни. — Он поймет.

— Мне звонили рыжий Том Фицсиммонс и Мартин — оба говорят, что на Бродвее все спокойно, — сказал Билли Френсису. — Я говорил тебе: у меня были неприятности с Макколами.

— Помню.

— Я не захотел сделать все, как они хотели, и они решили меня прижать. Играть не мог, зайти выпить никуда не мог на Бродвее.

— Я читал статью Мартина, — сказал Френсис. — Он назвал тебя кудесником.

— Мартин тебе набрешет. Я ничего такого хитрого не сделал. Только сказал про Ньюарк — и там прихватили кое-кого из похитителей.

— Что-то ты все-таки сделал. Про Ньюарк сказал — уже кое-что. Кому ты про него сказал?

— Бинди. Но я не знал, что эти люди — в Ньюарке, а то бы ничего не сказал. Стучать я ни на кого не стану.

— Зачем же про Ньюарк сказал?

— Не знаю.

— Вот, значит, почему ты кудесник.

— Да это Мартина трепотня. Но кое-кого он переубедил; политики от меня нос уже не воротят, так он сказал по телефону. То есть я вроде уже не вонючка.

Френсис принюхался к себе и решил, что надо как можно скорее помыться. К бродяжьему смраду его костюма добавилась вонь тележки Росскама, и в этом доме

запах оказался нестерпимым. Грязные мясники на рынке не удерживаются.

— Разве можно уходить, Билли? — сказала Энни. — Отец пришел и будет обедать с нами. Сейчас идем на чердак смотреть его вещи.

— Индейку любишь? — спросил его Френсис.

— Какой же дурак не любит индейку — если тебе нужен подробный ответ. — Билли посмотрел на отца. — Слушай, захочешь побриться, возьми в ванной мою бритву.

— Не учи людей, что им делать, — сказала Энни. — Одевайся и иди вниз.

После этого Френсис с Энни взошли по лестнице на чердак.

***

Когда Френсис открыл сундук, запах утраченного времени распространился по чердаку — насыщенный аромат цветов-узников, растревоживший пыль и вскользнувший занавески на окнах. Френсиса сразу одурманил этот запах воскрешенного прошлого и ошеломило увиденное — ибо из сундука с фотографии смотрело на него его лицо в возрасте девятнадцати лет. Вокруг карточки лежали в беспорядке скатанные носки, американский флажок, бейсболка «Вашингтонских сенаторов», газетные вырезки и другие фотографии. Френсис смотрел на себя с трибуны Чедвик-парка днем 1899 года — лицо без морщин, все зубы целы, ворот расстегнут, волосы треплет ветер. Он поднял карточку, чтобы разглядеть получше, и увидел, что стоит в группе мужчин, перебрасывая мяч из правой руки в левую, на которую надета перчатка. Полет мяча на этом фото всегда был для Френсиса загадкой, потому что аппарат запечатлел мяч и сжатым в руке, и в полете — смазанной дугой, устремленной к перчатке. Фотография слила два мгновения в одно: время разрозненно и едино, мяч в двух местах сразу, явление такое же необъяснимое, как Троица. Френсис воспринял фотографию как троичный талисман (рука, перчатка, мяч) для достижения невозможного, ибо всегда считал невозможным для себя, разрушенного мужчины, несостоявшегося человека, вернуться в историю под этой крышей. И, однако, он здесь, в этой твердыне восстановимого времени, прикасается к неприкасаемым материальным остаткам жизни человека, который еще не знал, что погиб, так же как мяч в своем неодушевленном неведении не сознает еще, что летит в никуда, что он пойман.

Но мяч еще не пойман — пойман только фотоаппаратом, запечатлевшим его положение в пространстве.

И Френсис еще не погиб — есть только очевидность процесса.

Мяч еще летит.

Френсис еще живет, чтобы отыграть еще один день.

Разве нет?

Мальчик заметил зубы. Человек может вставить новые зубы, фабричные. Энни вставила.

***

Френсис вынул из сундука верхний лоток, и под ним оказались шиповки, перчатка, которую немедленно схватил Даниел, два костюма, пара черных полуботинок без шнурков и пара коричневых туфель на кнопках, дюжина рубашек и дюжины две белых воротничков, кипа нижних рубашек и трусов, связка ключей от давно забытых замков, брусок и ремень для правки бритв, чашка для бритья с обмылком, помазок с еще целой щетиной, семь опасных бритв в коробке — по дням недели, — носки, галстуки-бабочки, подтяжки и бейсбольный мяч, который Френсис вынул и показал Даниелу.

— Видишь это? Имя видишь?

Мальчик посмотрел и покачал головой.

— Не могу разобрать.

— Поднеси к свету, прочтешь. Это Тай Кобб. Он расписался на этом мяче в 1911 году — в тот год он бил 420. Мне подарил мяч один парень, и я его сохранил. Коварный игрок был Тай Кобб — сколько раз он шел на меня с шипами. Но что играть умел — этого у него не отнимешь. Он был лучше всех.

— Лучше Бейба Рута?

— Лучше — злее, коварней, быстрей. Бить хоумраны, как Бейб, не мог, но все остальное делал лучше. Хочешь этот мяч с его автографом?

— Конечно хочу! А кто не хочет?

— Тогда он твой. Но ты почитай про него — и про Уолтера Джонсона. Узнаешь, какие это были игроки. А Кобб, я слышал, еще жив-здоров. Тоже еще не умер.

— Этот костюм я помню, — сказала Энни, подняв рукав пиджака в елочку. — Он у тебя был выходной.

— Интересно, впору ли еще? — сказал Френсис и приложил брюки к талии. Оказалось, что за эти двадцать два года ноги у него не стали длиннее.

— Забери его вниз. Я протру его губкой и выглажу.

Френсис хмыкнул.

— Выгладишь? Оденусь-ка я во все новое. Выкинем эту рванину.

Он набрал себе полный туалет, вплоть до носового платка, и сложил на полу перед сундуком.

— Я хочу их посмотреть, — сказала Энни, вынув вырезки и фотографии.

— Забери их вниз, — сказал Френсис и закрыл сундук.

— Я понесу перчатку, — сказал Даниел.

— А я бы попользовался твоей ванной, — сказал Френсис. — Ловлю Билли на слове — побреюсь и шмотки примерю. Вчера вечером брился, но Билли говорит, снова надо.

— Не обращай внимания, — сказала Энни. — Ты прекрасно выглядишь.

Она спустилась с ним по лестнице и провела его по коридору, куда выходили, одна против другой, две комнаты. Показала на спальню, где скромно, со вкусом подобранные, стояли односпальная кровать, туалетный стол и детское бюро.

— Это комната Данни. Хорошая большая комната, и утром в ней солнце. — Энни вынула из стенного шкафа полотенце и дала Френсису. — Если хочешь, мойся.

Френсис заперся в ванной и примерил брюки; они были впору, только не застегивалась верхняя пуговица. Наденем с подтяжками. Пиджак вышел из моды двадцать лет назад, и остаточное чувство приличия в Френсисе было оскорблено. Но он решил все равно надеть этот пиджак; душок времени был несравненно приятнее, чем смрад бродяжничества, пропитавший то, что было на нем. Он разделся и пустил воду в ванне. Осмотрел рубашку из сундука и предпочел ей белую с выделкой из тележки старьевщика. Примерил полуботинки без шнурков, давно разношенные, и обнаружил, что даже с мозолями ноги у него за эти двадцать два года не выросли.

Он вошел в ванну и медленно погрузился в ее пары. Вздрогнул от жара, от удивления, что он действительно тут и горячая ванна ему в самый раз, как индейке жаровня. Он ощутил блаженство. Он смотрел на умывальник, окруженный сейчас ореолом святости, и краны его были священны, и душ божествен, и он подумал: а не на все ли нисходит благодать в тот или иной момент существования, — и решил: да. Пот тек по его лбу и с носа капал в ванну — слияние древней и современной влаг. И, как бывает, солнце вдруг прорвало меркнущие небеса, и сияние его было внезапно, как вспышка молнии; однако блеск этот не гас, словно некий ангел блаженной ясности парил за окном ванной. Столь стоек был свет, столь ярок даже после заключительного закатного салюта, что Френсис вылез из ванны и подошел к окну.

Внизу, на дворе, Альдо Кампьоне, Скрипач Куэйн, Гарольд Аллен и Бузила Дик Дулан возводили деревянное сооружение, в котором Френсис уже признал будущую трибуну.

Он вернулся в ванну, намылил щетку на длинной ручке, поднял из воды левую ступню, отскреб ее дочиста, поднял правую ступню и отскреб ее.

***

Франтом 1916 года спустился Френсис по лестнице: бабочка, белая с выделкой рубашка, черные полуботинки с лоском, серый в елочку пиджак с лацканами на двадцать лет уже принятого, черные шелковые носки и белые шелковые трусы, кожа повсеместно свободна от грязи, голова вымыта дважды, под ногтями чисто, оставшиеся зубы начищены, зубная щетка вымыта с мылом, вытерта и вставлена на место, щетины на щеках нет и в помине, волосы расчесаны и смазаны для покорности вазелином, походка пружинистая, на лице улыбка; Френсис франтом сходит по лестнице, да, и поражает семью восстановимостью своей красоты и потенциалом элегантности, и воспринимает их взгляды как рукоплескания.

И в голове у него играет танцевальная музыка.

— Черт возьми, — сказал Билли.

— Вот это да, — сказала Энни.

— Вы по-другому выглядите, — сказал Даниел.

— Надо было маленько принарядиться, — ответил Френсис. — Амуниция чудна́я, но сойдет.

Тему преображения развивать никто не стал — даже Даниел, — не желая касаться прежнего, такого жалкого и такого ужасного состояния Френсиса.

— Это барахло надо выбросить, — сказал Френсис, подняв увязанные в пиджак старые вещи.

— Данни заберет. Отнеси в подвал, — сказала Энни мальчику.

Френсис сел на скамью напротив Билли. Энни разложила на столе вырезки и фотографии, и Френсис с Билли стали их рассматривать. Среди вырезок Френсису попался пожелтелый конверт со штемпелем 2 июня 1910 года — Бейсбольный клуб Торонто, Палмер-хаус, Торонто, Онтарио, мистеру Френсису Фелану. Он открыл его, прочел письмо и спрятал в карман. Обед приближался; Даниел и Энни чистили картошку в раковине. Билли, тоже нарядный, с прилизанными волосами, в крахмальной белой рубашке с расстегнутым воротом, в брюках со стрелкой и остроносых черных туфлях, пил пиво «Доблер» из литровой бутылки и читал вырезку.

— Я их уже читал, — сказал он. — Я и не знал, что ты такой хороший игрок. То есть что-то, конечно, слышал, а потом как-то вечером в городе кто-то заговорил про тебя и стал кричать, что ты был асом — а я-то и не знал, что ты был таким большим игроком. А про эти вырезки помнил, видел их, когда сюда переезжали. Тогда пошел и почитал. Ты был тот еще бейсболист.

— Неплохой, — сказал Френсис. — Бывают хуже.

— Газетчики тебя любили.

— Я много чего вытворял. Артист для них подходящий. У меня была энергия. Энергию все любят.

Билли предложил Френсису стакан пива, но Френсис отказался и, вместо этого, взял из его пачки «Кемела» сигарету, после чего стал рассматривать вырезки, где говорилось о том, как он затмил всех в матче своей игрой в поле, или сделал четыре хоумрана за игру и последним ударом решил исход встречи, или как он проштрафился: например, в тот день, когда придержал за пояс бегуна на третьей базе — старый номер Джона Макгроу, — был верховой мяч, бегун рванулся было к дому, но не мог двинуться с места и повернулся к Френсису, закричал от возму-

щения — тогда Френсис отпустил его, и он побежал, но мяч перебросили раньше, и он вылетел.

Ловко.

Но Френсиса выгнали.

— Хочешь выйти посмотреть двор? — вдруг произнесла рядом с ним Энни.

— Конечно. Собаку посмотрим.

— Жаль, цветы отцвели. В этом году их столько было. Георгины, львиный зев, анютины глазки, астры. Астры держались дольше всех.

— А у тебя тут герань до сих пор.

Энни кивнула, надела свитер, и они вышли на заднее крыльцо. Темнело; на воздухе было холодно. Энни прикрыла дверь, погладила собаку, которая два раза гавкнула на Френсиса и примирилась с его присутствием. Энни спустилась по пяти ступенькам во двор, Френсис и собака за ней следом.

— Тебе есть где ночевать сегодня, Френ?

— А как же? Всегда есть.

— Хочешь вернуться домой совсем? — спросила она, глядя в сторону, и отошла на несколько шагов к забору. — Ты поэтому к нам пришел?

— Нет. Это вряд ли. Я тут буду лишний.

— Я думала, ты не прочь.

— Я думал об этом, чего скрывать. Но после стольких лет, вижу, ничего не получится.

— Я знаю, надо будет постараться.

— Старанием тут не обойдешься.

— Случаются и более странные вещи.

— Да? Назови одну.

— Ты ходил на кладбище и разговаривал с Джеральдом. Страннее этого я ничего в жизни не слышала.

— Ничего странного. Пошел, стал там и нарассказал ему всякой всячины. Там у него хорошо. Красиво.

— Это семейное место.

— Знаю.

— Там и для тебя есть могила, прямо у камня, и для меня, и для обоих детей — если понадобится. У Пег, я думаю, будет отдельное место, с Джорджем и Данни.

— Когда ты этим обзавелась? — спросил Френсис.

— Да уж много лет. Не помню.

— Ты купила мне место после того, как я сбежал.

— Я купила его для семьи. Ты член семьи.

— Давно уже я так не думал.

— Пег до сих пор очень сердится, что ты не с нами. Я тоже сердилась, много лет, но это прошло. Не знаю, почему больше не сержусь. В самом деле не сержусь. Я позвонила Пег, чтобы она принесла клюкву. Сказала ей, что ты здесь.

— Про меня и про клюкву. Сгладить маленько новость.

— Наверно, так.

— Тогда я пойду. Не хочу скандалов, родственников раздражать не хочу.

— Ерунда. Перестань. Просто поговори с ней. Ты должен с ней поговорить.

— Ничего путного я ей не скажу. Тебе-то ничего не мог сказать толком.

— Я знаю, что ты сказал и чего не сказал. Я знаю, тебе трудно то, что ты сейчас делаешь.

— Да ни черта я не делаю. Я вообще не знаю, зачем что делаю в этой жизни.

— Ты хорошо сделал, что пришел домой. Данни это навсегда запомнит. И Билли. Он рад был помочь тебе, хотя не говорит этого.

— Вытащил бродягу из тюрьмы.

— Ты не жалеешь себя, Френсис.

— Черт, да кого я когда пожалел?

Трибуна уже заполнялась, люди поднимались молча и рассаживались, прямо тут, на дворе у Энни, перед Богом, и собакой, и прочими: Билл Корбин, баллотировавшийся в шерифы в 90-х годах, проигравший и перешедший в республиканцы, Перри Марсолейз, который получил в наследство от матери состояние, пропил его, потом сгребал в городе листья, и сам Железный Джо с большими усами и большим животом и большой рубиновой булавкой в галстуке, и щеголь Дуайр в мягкой шляпе, и маленький Джордж Куинн, и маленький Мартин Догерти, мальчишки при битах, и дед Мартина Эмметт Догерти, яростный фений, чьи горячие речи о том, что денежные мешки наживаются на рабочих и с ирландцами обходятся как с паршивыми белыми неграми, зажгли революционный огонь в глазах у Френсиса, и Патси Маккол, который вырос в хозяина города и нес бейсбольную перчатку в левой руке, и еще какие-то люди, которых Френсис и тогда, в 99-м, не знал, просто завсегдатаи салуна, которые болели за «Катальщиков» Железного Джо и пришли на пивной праздник в тот день, когда Олбани выиграл вымпел лиги Олбани — Троя.

Они всё шли: 43 мужчины, 4 мальчика и 2 моськи, которых провел Скрипач с приятелями.

И тут между чудаком Рябым Макманусом, одетым в котелок, и Джеком Корбеттом в жилетке, но без воротничка уселся Шибздик — он?

Он, что ли?

Шибздик с выгрызенной шеей.

Ни одна компания без такого не обходится.

Френсис закрыл глаза, чтобы выблевать это видение, но, когда открыл их, трибуны стояли на прежнем месте и люди сидели как прежде. Только освещение изменилось — стало ярче, и с ним еще острее ненависть Френсиса ко всяческим фантазиям, всяким бесплотностям. Вы все мне осточертели, подумал он. Мне осточертело воображать, кем вы стали, кем я мог бы стать, если бы жил среди вас. Мне осточертели ваши грустные биографии, ваше сентиментальное благочестие, ваши проклятые неизменные лица. По мне лучше сдохнуть в бурьяне, чем стоять тут и глядеть, как вы томитесь— как Христос перед смертью томился, чтобы поскорее все кончилось, хотя знал каждую паршивую мелочь, которая приключится не только с Ним, но и со всеми вокруг, и с теми, кто даже еще не родился. Вы — фотография всего-навсего, призраки чертовы. Нету вас, и не подманивайте больше, не зовите — не пойду. Вы все умерли, а если нет, так давно пора.

Это я живой. Это я вас из ничего напек.

И знали вы про жизнь не больше моего.

И на дворе бы вами не пахло, если б я не открыл сундук.

Так что катитесь к чертовой матери!

— Эй, ма! — закричал из окна Билли. — Пег пришла.

— Мы сейчас, — отозвалась Энни. И когда Билли закрыл окно, повернулась к Френсису: — Ты ничего не хочешь сказать мне или спросить у меня, пока мы без них?

— Энни, я хочу спросить у тебя миллион вещей и два миллиона сказать. Я съем для тебя всю землю на этом дворе, траву съем и собачьи кости — если попросишь.

— Думаю, все это ты уже съел, — сказала она.

И они вместе поднялись на заднее крыльцо.

***

Увидев, как его дочь, в цветастом фартуке, нагнувшись к духовке, поливает соусом птицу, Френсис подумал: не для такого наряда работа. На одной руке у

нее были часы, на другой браслет, на безымянном пальце целых два кольца. Туфли на высоких каблуках, шелковые чулки с выпуклым швом и лиловое платье предназначались, конечно, не для кухни. Темные короткие волосы были завиты мягкой волной, губы накрашены, на щеках румяна; длинные ногти покрыты темно-красным лаком. Она была немножко, а может и не немножко, полнее, чем надо, но она была красавица, и Френсиса безмерно обрадовало, что это его дитя.

— Как живешь, Маргарет? — сказал Френсис, когда она выпрямилась и увидела его.

— Хорошо живу. Твоими молитвами.

— Ага. — Френсис отвернулся и сел за стол напротив Билли.

— Оставь его в покое, — сказал Билли. — Он только что пришел, черт возьми.

— Он-то нас оставил в покое. И меня. И тебя.

— Да кончай ты эту канитель, — сказал Билли.

— Я говорю как есть.

— Так ли? — спросила Энни. — Ты уверена, что все так и есть?

— Да уж как-нибудь. И не собираюсь лицемерить и встречать его с распростертыми объятиями после всего. А то заявляемся вдруг с индейкой — и все прощено.

— Я на прощение не рассчитываю, — сказал Френсис. — За эту черту я давно перешел.

— И куда же ты пришел?

— Никуда.

— Вот в этом я ни капли не сомневаюсь. А раз никуда, почему ты тут? Чего ради явился как призрак и суешь нам тощую индейку, когда мы тебя давно похоронили? Расплатиться ею хочешь за двадцать два года, что мы без тебя обходились?

— В этой индейке пять кило шестьсот, — сказала Энни.

— Я понять хочу: зачем ты ушел из своего ниоткуда и пришел сюда? К нам. В дом, который ты не строил.

— Я тебя построил. И Билли. Помог построить.

— Лучше бы не помогал.

— Заткнись, Пег! — крикнул Билли. — Что за язык поганый! Заткнись, черт бы тебя взял!

— Он пришел в гости, только и всего, — тихо сказала Энни. — Я уже спросила его, хочет ли он остаться, и он сказал: нет. А если бы захотел, конечно, остался бы.

— Да? — сказала Пег. — Так все уже решено?

— Нечего тут решать, — ответил Френсис. — Мать же сказала: я не останусь. Я уйду. — Он дотронулся до солонки и перечницы, отодвинул к стене сахарницу.

— Уйдешь, — сказала Пег.

— Обязательно.

— Слава Богу.

— Ну все, хватит! — заорал Билли, вскочив со скамьи. — В тебе чувства столько же, сколько в гремучей змее.

— Извините за то, что у меня вообще есть чувства, — сказала Пег и вышла из кухни, шваркнув дверью. Дверь открывалась в обе стороны и еще долго продолжала качаться туда и сюда.

— Суровая дама, — сказал Френсис.

— Да она шелковая, — отозвался Билли. — Но головку, когда надо, поднять умеет.

— Она отойдет, — сказала Энни.

— Я привык, что люди на меня кричат, — сказал Френсис. — У меня кожа как у бегемота.

— В этом доме она не помешает, — сказал Билли.

— А где мальчик? — спросил Френсис. — Он все это слушал?

— Он на дворе, играет с твоим мячом и перчаткой.

— Перчатка не моя, — сказал Френсис. — Я дал ему мяч с автографом Тая Кобба. А перчатка эта твоя. Хочешь отдать ему, я не против. Да и перчатка-то так себе против нынешних. Его перчатка вдвое лучше той, что у меня была. Но я про себя всегда думал: эту перчатку я отдам Билли, чтобы хоть немного духу старших лиг осталось в доме. Эта перчатка ловила больших людей. Драйвы от Триса Спикера, высаживала Кобба, выгоняла из коридора Эдди Коллинза. Много такого.

Билли кивнул и отвернулся от Френсиса.

— Ладно, — сказал он. И, вскочив, вышел из кухни, чтобы отец не увидел (все равно увидел), что у него перехватило горло.

— Хорошим парнем вырос Билли, — сказал Френсис. — Крепких ребят ты вырастила, Энни.

— Могли быть покрепче, — ответила она.

На фоне черного неба двор, залитый новым светом, снова завладел вниманием Френсиса. Мужчины, мальчики и даже собаки держали зажженные свечи — собаки боком, в зубах. У Рябого Макмануса — все не как у людей, — свеча стояла на котелке. Это был сад церковных служек, поджигавших сам воздух, и на глазах у Френсиса служки разразились песней — но песней без смысла: сколько ни прислушивался Френсис к их напеву, он не мог разобрать ни слова. Текст был бессложный, как тишайший свист вьюрка или пыхтение древесной квакши. Наблюдая это представление (а наблюдал он с суеверным страхом, ибо оно превосходило все, что он мог ожидать от сновидения, забытья или даже одного литра крепленого), Френсис ясно понял, что происходит оно на такой арене его существования, над которой он еще меньше властен, чем думал тогда, когда Альдо Кампьоне сел в автобус. Сигналы из этого шлюза времени были зловещи, призраки совершенно лишены юмора. А затем, когда он увидел, как Шибздик (который знал, что за ним наблюдают, и знал, что ему не место в этой компании) вставил свечку горящим концом в яму на затылке, и когда наконец узнал в напеве служек Dies irae[1], ему стало страшно. Он зажмурил глаза, он закрыл лицо ладонями и попытался вспомнить кличку своей первой собаки.

У него была колли.

***

Вернулся Билли с сухими глазами, сел напротив Френсиса и предложил ему еще сигарету; тот взял. Билли налил себе пива, выпил и после этого сказал: «Джордж».

— Ах, Боже мой, — сказала Энни, — совсем забыли про Джорджа. — Она ушла в комнату и оттуда крикнула наверх: — Пег, позвони Джорджу и скажи, что он может идти домой.

— Оставь ее, я сам позвоню, — крикнул ей Билли.

— Что с Джорджем? — спросил Френсис.

— Тут как-то вечером за ним пришла полиция, — сказал Билли. — Патси Маккол навалился из-за меня на семью. У Джорджа лотерейный пункт, и они, видно, хотели завести дело о содержании игорного заведения, хотя разрешение он получил. Спрятался в Трое, барбос, сколько дней в норе просидел. Но теперь я чист, значит, и он тоже.

— Однако прибрали Макколы к рукам кое-что в городе.

---

[1] «День гнева» — начальные слова католического песнопения, исполняемого во время отпевания.

— Не кое-что, а все. Тебе-то хоть заплатили за то, что столько раз регистрировался?

— Заплатили пятьдесят, я тебе говорил, еще пятьдесят пять должны. Не видать мне их.

— Получишь.

— Попало в газеты — теперь побоятся. С бродягами связались. Ты же слышал, что Мартин сказал. И будут опасаться, что я их заложу. Я никого не закладывал.

— Так ты без денег?

— Немного есть.

— Сколько?

— Мелочь. На сигареты.

— Ты на индейку все истратил.

— Да, часть ушла.

Билли протянул ему сложенную пополам десятку.

— Спрячь в карман. Нельзя ходить без денег.

Френсис взял бумажку и хмыкнул.

— Я двадцать два года хожу без денег. Но все равно спасибо, Билли. Я с тобой разочтусь.

— Ты уже расчелся. — И он пошел в комнату звонить Джорджу в Трою.

Вернулась на кухню Энни и, увидев, что Френсис рассматривает фото Чедвик-парка, заглянула через его плечо.

— Ты красивый на этой карточке.

— Да, — сказал Френсис. — Я был ничего из себя.

— Некоторые так считали, некоторые — нет. Я и забыла об этой фотографии.

— Надо ее в рамку, — сказал Френсис. — Тут много народу с Северного края. Джордж и Мартин, мальчишки — и Патси Маккол. И Железный Джо. Он хорошо получился.

— Очень, — сказала Энни. — Смотри, какой он тут здоровый и толстый.

Вернулся Билли; Энни положила фотографию на стол, чтобы было видно всем троим. Они сидели на одной скамье, Френсис посередине, и разглядывали карточку, показывая на тех, кого узнали, взрослых и детей. Энни узнала даже одну собаку.

— Замечательный снимок, — сказала она и встала. — Замечательный снимок.

— Ну, он твой, вставь его в рамку.

— Мой? Нет, твой. Тут бейсбол.

— Не, не, Джорджу тоже понравится.

— Ладно, я его окантую, — сказала Энни. — Отнесу в город, чтобы сделали как следует.

— Правильно, — сказал Френсис. — На тебе десять долларов на рамку.

— Эй, — сказал Билли.

— Нет, — сказал Френсис. — Разреши мне, Билли.

Билли усмехнулся.

— Денег не возьму, — сказала Энни. — Спрячь в карман.

Билли рассмеялся и хлопнул по столу ладонью.

— Теперь я понял, почему ты двадцать два года был без денег. Понял, почему мы все нищие. Это у нас в крови.

— Мы не нищие, — возразила Энни. — Мы себя содержим. Нечего говорить, что мы нищие. Ты нищий, потому что ставил не на тех лошадей. А мы не нищие. У нас бывали тяжелые времена, но за дом мы еще платим. И не голодали еще, слава Богу.

— Пег работает, — сказал Френсис.

— Она личный секретарь, — сказала Энни. — У хозяина инструментальной компании. Ее там любят.

— Она красавица, — сказал Френсис. — Сварлива малость, когда на нее найдет, но красавица.

— Ей бы надо моделью быть, — сказал Билли.

— Ей не надо, — сказала Энни.

— Нет, надо, черт возьми, надо, — сказал Билли. — Ее звали моделью для пасты «Пепсодент», но мама встала поперек. Кто-то ей в церкви объяснил, что модели, ну, знаешь, — легкого поведения. Тебя сняли, и ты по рукам пошла.

— При чем тут это? — сказала Энни.

— Зубы у нее, — сказал Билли. — Самые роскошные зубы в Северной Америке. Красивее, чем у Джоан Кроуфорд. А улыбка! Ты еще не видел ее улыбки, потрясающая улыбка. Как «Таймс-сквер», вот какая. Она могла бы быть на афишах от берега до берега. Мы бы в зубной пасте купались — и в деньгах тоже. Но нет, — он показал большим пальцем на мать.

— У нее была работа, — сказала Энни. — И это ей было не нужно. Не понравился мне который ее нанимал.

— Да ничего особенного. Я разузнал про него, — сказал Билли. — Не самозванец.

— Откуда ты мог узнать?

— Откуда я вообще узнаю́? Я гений, едрена мать.

— Не выражайся, гений. Ей в Нью-Йорк надо было ехать сниматься.

— И она бы не вернулась, да?

— Может, вернулась бы, а может, и нет.

— Теперь ты понял? — обратился Билли к отцу. — Мама хочет, чтобы цыплятки были при ней.

— Не упрекну ее за это, — сказал Френсис.

— Да, — сказал Билли.

— Этот человек мне не понравился, — сказала Энни. — Вот что главное. Я ему не доверяла.

Никто не ответил.

— Каждую неделю она приносила жалованье, — сказала Энни. — Даже когда компания временно закрылась, хозяин устроил ее кассиршей на своей бирже. Биржа, и с крытым полем для гольфа. Громадное помещение. Однажды они чуть не пригласили туда Руди Валé. Она узнала много нового.

Никто не ответил.

— Сигарету? — спросил Билли.

— Давай, — сказал Френсис.

Энни встала и отправилась к холодильнику в кладовке. Принесла оттуда масленку и поставила на обеденный стол.

Пришла Пег, как раз когда все замолчали. Она потыкала вилкой картошку, проверила индейку, уже коричневую, и, не полив ее, закрыла духовку. Порылась в ящике, нашла консервный нож, открыла банку с горошком и поставила греть в кастрюле.

— Индейка хорошо пахнет, — сказал ей Френсис.

— Ага. Я сливовый пудинг купила, — сказала она, обращаясь ко всем, и показала жестянку. Потом повернулась к отцу. — Мама говорит, ты ел его на десерт по праздникам.

— Точно, ел. С белым сладким соусом. Сладким-сладким.

— Рецепт соуса на этикетке, — сказала Энни. — Дай-ка сюда, я сделаю.

— Я сама, — сказала Пег.

— Приятно, что ты вспомнила, — сказал Френсис.

— Невелики хлопоты, — сказала Пег. — Пудинг готовый, только разогреть, прямо в банке.

Френсис присмотрелся к ней и нашел, что в глазах у нее больше нет яду. Эта леди скачет, как термометр. Увидев, что он ее разглядывает, Пег слегка улыбнулась — улыбка не для плаката, не для того, чтобы ты побежал за зубной пастой, но — улыбка. Какого черта, имеет право. Из холода в жару, из жары в холод. У ней это натуральное свойство.

— У меня есть письмо, хочешь послушать, пока там готовится? — сказал Френсис и вынул из внутреннего кармана пожелтелый конверт с погашенной двухцентовой маркой. На обороте было написано его рукой: «Первое письмо Маргарет».

— Получил его не сочту сколько годиков назад. — И он вынул три сложенных втрое листка пожелтелой бумаги в линейку. — Пришло ко мне в Канаде, в 1910 году, когда я был в Торонто. — Он развернул листки и на вытянутой руке, поближе к свету, подальше от глаз, стал читать:

«Милый папочка, ты, наверно, не думал, что у тебя есть дочь, которая ждет твоего письма с тех пор, как ты уехал. Я так рассердилась, что ты не думаешь обо мне, что хотела убежать с цирком, который приезжал сюда в прошлую пятницу. Я делаю уроки, и у меня тут пример по арифметике, который я не могу решить. Может быть, у тебя получится? Как твоя нога, лучше? Надеюсь, что вы выигрываете. Не бегай слишком много с твоими ногами, а то тебя отвезут домой. У мамы и Билли все хорошо. У мамы 14 новых цыплят и еще 2 несушки высиживают. Восьмого числа приедет цирк Дикого Запада. Ты не поспеешь к нему домой? Я хочу пойти. Билли сейчас ложится спать, а мама сидит на кровати и смотрит на меня. Не забудь ответить на это письмо. Надеюсь, что ты там совсем не скучаешь. Смотри, если поймаю тебя с другой девушкой, я ей повыдираю волосы. Любящая тебя Пегги».

— Подумай, — сказала Пег, так и не опустив вилку, — я и не помню это письмо.

— Ты, наверно, много чего не помнишь про то время. Тебе одиннадцати еще не было.

— Где ты его нашел?

— Наверху, в сундуке. Вон сколько лет хранилось. Я только одно письмо сохранил.

— Это правда?

— Это можно проверить. Все бумаги, какие у меня есть, — в этом сундуке; ну и еще в одном месте несколько вырезок.

— Хорошее письмецо, я считаю.

— Я тоже, — сказала Энни. И она, и Билли — оба смотрели на Пег.

— Я помню Торонто в 10-м году, — сказал Френсис. — Кругом игры было сплошное жульничество. Раз совсем уже стемнело, а жулик судья, Бейтс его звали, все не прекращает игру. В него бросают помидорами, комками грязи, а он все не останавливает: мы выигрывали, а он был за другую команду. Ловил в тот вечер Толстяк Хауард — подходит к питчеру Карману Вилсону, и мы втроем на горке перекидываемся парой слов. Толстяк возвращается, присел у себя, Карман бросает, судья показывает: «Бол», хотя никто ничего не видел — такая темень. Толстяк поворачивается к нему и говорит: «И ты засчитал это за бол?» Судья ему: «Да». — «Я его съем, если это бол», — говорит Толстяк. «Тогда можешь начинать», — судья говорит. А Толстяк берет мяч и откусывает от него кусище, потому что никакой это не мяч, а желтое яблоко я дал Карману. Игру мы, конечно, выиграли, а судья так и вошел в историю как Слепой Бейтс — не мог отличить от мяча яблоко. Бейтс потом стал букмекером. И там тоже жульничал.

— Ай да история, — сказал Билли. — Чудные дела творились в старое время.

— Чудны́е дела все время творятся, — сказал Френсис.

Пег вдруг прослезилась. Положила вилку в раковину и подошла к отцу, ко-

торый сидел, сложив на столе руки. Она села рядом и накрыла их своей рукой.

Немного погодя приехал из Трои Джордж Куинн, Энни вынесла индейку, и вся семья Феланов приступила к обеду.

VII

— У меня вид как у бродяги, да? — спросил Руди.

— Ты и есть бродяга, — сказал Френсис. — Но ты хороший бродяга, — если ты не против.

— Знаешь, почему люди зовут человека бродягой?

— Не могу понять.

— Потому что им так приятней.

— От правды никто не помирал, — сказал Френсис. — Раз ты бродяга, значит, бродяга.

— Нет, бродяг много умерло. Старых мало осталось.

— Ничего, новые подрастают.

— Много хороших людей умерло. Хороших механиков, машинистов, лесорубов.

— Некоторые не умерли, — сказал Френсис. — Мы с тобой не умерли.

— Говорят, Бога нет, — сказал Руди. — Но Бог должен быть. Он охраняет бродяг. Они встают из снега, идут и выпивают. Взять тебя, ты ведь в новеньком костюме. А взять меня. Как есть бродяга. Законченный бродяга.

— Ну, не законченный, — сказал Френсис. — Ты бродяга, но не законченный.

Они шли по Саут-Пёрл-стрит к гостинице «Паломбо». Половина одиннадцатого; ночь была ясная, звездная, но очень холодная: предвестие зимы. Френсис простился с семьей около десяти и на автобусе приехал в центр. Сразу пошел в миссию — пока не заперли, — нашел на кухне Махоню, в одиночестве допивавшего остатки кофе. Элен весь день не показывалась, и Махоня ничего о ней не слышал.

— Но тут тебя Руди спрашивал, — сказал Махоня Френсису. — Он или на станции греется, или забрался в какой-то брошенный дом на Бродвее. Говорит, ты знаешь в какой. Но учти, Френсис, я слышал, полицейские обыскивают старые дома чуть не каждую ночь. Тут из наших столовавшихся многих нет — думаю, все в тюрьме. Небось ремонт там затеяли, маляры понадобились.

— Не пойму, какого лешего им надо, — сказал Френсис. — От бродяг никакого вреда.

— Разлюбили бродяг полицейские — вот в чем, наверно, дело.

Сперва Френсис заглянул в пустой дом — это ближе всего к миссии. Он вошел через проем без двери и очутился перед сырой, непроглядно темной лестничной клеткой. Подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и стал осторожно подниматься по ступенькам, перешагивая через скомканные газеты, осыпавшуюся штукатурку и через негра, калачиком свернувшегося на первой площадке. Пробирался среди разбитых стекол, пустых бутылок из-под вина и содовой, картонных коробок и человеческого кала. Уличный фонарь освещал сталагмиты голубиного помета на подоконнике. Френсис увидел еще одного спящего возле дыры, в которую, по слухам, на прошлой неделе провалился какой-то Мак Мичиганец. Френсис обошел дыру и спящего и нашел Руди. Один в комнате, он лежал на широкой доске, поодаль от разбитого окна, накрыв плечи вместо одеяла газетой.

— Эй, бродяга, — сказал Френсис, — ты искал меня?

Руди заморгал и уставился на него снизу.

— Ты с кем разговариваешь? — сказал он. — Ты кто такой, фэбээровец, что ли?

— Хватит валяться, фриц полоумный.

— А, это ты, Френсис?

— Нет, это Буффало Билл. Ищу тут индейцев.

Руди сел и сбросил с себя газету.

— Махоня говорит, ты спрашивал меня.

— Ночевать негде, денег нет, бутылки нет, и людей никого нет. Бутылка была, но кончилась. — Огорченный своим положением, Руди повалился на доску и сразу заплакал. — Я покончу с собой. У меня склонность, — сказал он. — Я последний.

— Э, вставай, — сказал Френсис. — У тебя ума не хватит с собой покончить. Надо бороться, надо быть стойким. Элен не могу найти. Ты Элен не видел? Надо же, такой холод, а эта женщина без крова. Прямо жалко ее, черт.

— Где зимы и снега нету, — сказал Руди.

— Да, снега нету. Пошли.

— Куда пошли?

— Отсюда. Останешься здесь— угодишь в тюрьму. Махоня говорит, они обыскивают норы.

— В тюрьме хоть тепло. Дадут шесть месяцев, выйду — как раз все цветет.

— Френсису тюрьма ни к чему. Френсис свободен и свободным останется.

Они спустились по лестнице и вернулись на Медисон авеню. Френсис решил, что Элен, наверно, раздобыла где-то деньги, иначе она стала бы искать его. Может, позвонила брату, и он ей подкинул. А может, заначила больше, чем сказала. Непростая дамочка. А с деньгами рано или поздно завалится в «Паломбо», за чемоданом.

— Куда идем?

— Какая тебе разница? Пройдешься, кровь разгонишь.

— Где ты взял одежку?

— Нашел.

— Нашел? Где нашел?

— На дереве.

— На дереве?

— Ага. На дереве. Там все растет. Костюмы, туфли, галстуки.

— Никогда ты мне правды не говоришь.

— Вот это правда, — сказал Френсис. — Любая хреновина, какая тебе в голову придет, — правда.

***

В «Паломбо» они встретили старика Донована, который как раз собирался сдать дежурство ночному портье. Было около одиннадцати, и он приводил в порядок стол. Да, сказал он Френсису, Элен здесь. Въехала в начале дня. Да, у нее все в порядке. Была веселая. По лестнице поднималась — вид как всегда. Взяла комнату, где вы всегда останавливаетесь.

— Ладно, — сказал Френсис и вынул десятидолларовую бумажку, полученную от Билли. — Можешь разменять?

Донован разменял, и Френсис вручил ему два доллара.

— Отдай ей утром, — сказал он, — и посмотри, чтобы еду купила. Узна́ю, что не отдал, — приду и вырву у тебя все зубы.

— Отдам, — сказал Донован. — Элен я люблю.

— Поди проверь, как она. Не говори, что я тут. Только посмотри, как она, не нужно ли чего. Не говори, что я послал, ни-ни. Проверь просто.

И Донован постучался в одиннадцать часов к Элен, выяснил, что ей больше ничего не нужно, вернулся и доложил об этом Френсису.

— Утром скажи ей, что я днем зайду, — велел Френсис. — А если я ей понадоблюсь, а меня нет, пусть скажет, где ее найти. Махоне пусть скажет в миссии. Знаешь Махоню?

— Знаю, где миссия, — ответил Донован.

— Чемодан выкупила?

— Выкупила и заплатила за два дня за комнату.

— Значит, все-таки получила деньги из дома, — сказал Френсис. — Но два доллара все равно ей отдай.

После этого Френсис и Руди пошли на север по Пёрл-стрит; Френсис вел приятеля быстро. Три манекена в вечерних костюмах поманили его из витрины. Он помахал им рукой.

— А теперь куда идем? — спросил Руди.

— К ночному бутлегеру, — сказал Френсис. — Возьмем пару бутылок — и в ночлежку, поспать.

— Ага, — обрадовался Руди. — Наконец-то ты сказал что-то приятное. Где ты достал столько денег?

— На дереве.

— На том, где галстуки растут?

— Да, — сказал Френсис. — На том самом.

На Бивер-стрит, на втором этаже, Френсис купил у бутлегера две литровые бутылки мускателя и две поллитровки виски «Зеленая река».

— Сучок, — сказал он, когда бутлегер подал ему виски. — Но то, что должен делать, делает.

Френсис заплатил бутлегеру и положил в карман сдачу: осталось два доллара и тридцать центов. Бутылку вина и бутылку виски он отдал Руди, и, выйдя от бутлегера, оба разом приложились к вину.

Так Френсис выпил впервые за неделю.

***

Ночлежкой заведовала старуха с тяжелым низом и рояльными ногами, вдова какого-то Феннесси, умершего так давно, что никто уже и не помнил его имени.

— Здорово, мать, — сказал Руди, когда она открыла им дверь.

— Меня зовут миссис Феннесси, — сказала она. — У меня имя есть.

— Я знаю, — сказал Руди.

— А знаешь — так и зови. Только негры говорят мне «мать».

— Ладно, родная, — сказал Френсис. — Родной тебя никто не зовет? Нам две койки.

Она впустила их, взяла деньги, доллар за две койки, а потом отвела наверх, в большую комнату, сделанную из двух или трех путем сноса перегородок и превращенную в спальню с дюжиной грязных коек, из которых лишь одна была занята спящим телом. Комнату освещала одна лампочка, на взгляд Френсиса трехваттная.

— Э, — сказал он, — тут больно светло. Еще ослепнем.

— Если приятелю тут не нравится, — обратилась к Руди хозяйка, — пусть идет в другое место.

— Кому же тут не понравится? — сказал Френсис и сразу плюхнулся на койку рядом со спящим.

— Эй, бродяга, — сказал он и потряс его за плечо. — Выпить хочешь?

Человек с громадными, недельной давности струпьями на носу и лбу повернулся к Френсису.

— А-а, — сказал Френсис. — Это Лось.

— Да, это я, — сказал Лось.

— Лось, а дальше как? — спросил Руди.

— Лось, а дальше никак, — ответил Френсис.

— Лось Беккер, — сказал Лось.

— А это Руди, — сказал Френсис. — Он дурнее косого клопа, а так ничего.

— Ты прибарахлился с прошлого раза, — сказал ему Лось. — Даже при галстуке. В зажиточные подался?

— Нашел дерево, где десятки растут, — объяснил Руди.

Френсис обошел койку и сунул Лосю свое вино. Лось глотнул и поблагодарил кивком.

— Ты зачем меня разбудил? — спросил Лось.

— Разбудил, чтобы дать тебе выпить.

— Темно было, когда я засыпал. Темно и холодно.

— Черт возьми, я-то знаю. Руки холодные, ноги холодные. И сейчас тут холодно. На-ка, выпей еще, согрейся. Виски хочешь? Виски тоже есть.

— Не, нормально. Хорош. Самому-то хватит?

— Выпей, мать твою. Не бойся жить.

И Лось глотнул «Зеленой реки».

— Я думал, ты со мной портками хочешь поменяться, — сказал он.

— Хотел. Мои были совсем новые, только малы.

— Где они? Ты сказал, пятидесятый, четвертый — мне в самый раз.

— Эти хочешь?

— Спрашиваешь, — сказал Лось.

— Если тебе отдам, останусь без штанов, — сказал Френсис.

— Я тебе мои отдам, — сказал Лось.

— Зачем ты новые штаны меняешь? — спросил Руди.

— Правильно, — сказал Френсис, встав и оглядывая свои ноги. — Зачем? Нет, хер ты их получишь. Мне самому эти штаны нужны. Нечего мне говорить, что мне нужно. Свои штаны надевай.

— Я куплю, — сказал Лось. — Сколько ты хочешь? У меня еще на неделю работы — песочить полы.

— Ну и натирай себе, — сказал Френсис. — Штаны не продаются.

— Не натираю — песочу. Я их песочу. Я их не натираю.

— Не ори на меня, — сказал Френсис. — Я тебе башку расколю к чертям и на мозги наступлю. Ты боевой мужик, а?

— Нет, — сказал Лось. — Я не боевой.

— А я боевой, — сказал Френсис. — Позалупайся мне — умрешь моложе, чем я думал.

— Я и так умру. Я гнилой, как этот потолок. У меня туберкулез.

— Ах ты боже мой, — сказал Френсис и сел. — Извини.

— Он в колене.

— Я не знал, что у тебя туберкулез. Извини. Я всех жалею туберкулезных.

— Он в колене.

— Так отрежь ногу.

— Они и хотели.

— Так отрежь.

— Нет. Я им не дал.

— У меня рак желудка, — сказал Руди.

— Да, — сказал Лось. — У всех что-нибудь есть.

— Придет ко мне кто-нибудь на похороны? — спросил Руди.

— Может, нет у тебя ничего такого, от чего работа не вылечит, — сказал Лось.

— Вот это правильно, — сказал Френсис, повернувшись к Руди. — Чего ты на работу не устроишься? — Он показал на улицу за окном. — Посмотри на них. Все работают.

— Да ты ненормальней его, — сказал Лось. — Нету нигде работы. Ты откуда приехал?

— Такси есть. Вон такси едет.

— Ну, есть такси, — сказал Лось. — Ну и что?

— Водить умеешь? — спросил у Руди Френсис.

— Бывшую жену с ума свел, — ответил Руди.

— Молодец. Так и надо. Их и надо сводить с ума.

В углу комнаты Френсис увидел трех женщин в длинных юбках; их стало четверо, потом трое и снова четверо. Лица были знакомые, но по имени он их не помнил. Их возраст менялся с их числом: то двадцать, то шестьдесят, то тридцать, то пятьдесят — но не девочки и не старухи. Энни сейчас, наверное, пытается уснуть — и так же не готова к этому, как Френсис, так же не в силах проститься с этим днем. А Элен, наверное, спит мертвым сном, от усталости и волнений. Хлебом не корми, дай поволноваться. Энни не такая. Энни, она не волнуется. Энни жить умеет. Пег тоже, поди, не спит. С чего ей спать, если всем остальным не спится? Всё еще гуляют, точно. Френсис им такое представление устроил, что не враз забудешь.

Показал им, что может человек сделать.

Что человек не боится вернуться.

Чертовы привидения, ходят за тобой повсюду, но это ладно. Не уступай им, и всё. И делай то, что надо делать.

К троим женщинам, к четверым в углу присоединилась Сандра. Френсис дал мне суп, сказала она им. Он утащил меня с ветра и надел мне туфлю. Их стало пятеро женщин.

«Я хочу на гору эту, — запел Руди, — где зимы и снега нету».

Френсис увидел среди пятерых лицо Катрины; пятеро сделались четверыми, четверо троими.

***

В ночлежку пришли Финни и Рыжик, и с ними третий, которого Френсис не сразу узнал. Потом увидел, что это Старый Туфель.

— Э, к нам гости, Лось, — сказал Френсис.

— Это Финни? — спросил Лось. — Похоже, он.

— Он самый, — сказал Френсис.

Финни стоял в ногах его кровати, очень пьяный, качался и пытался понять, кто о нем разговаривает.

— Ты, сука, — сказал Лось, приподнявшись на локте.

— С какой это ты сукой разговариваешь? — спросил Френсис.

— С Финни. Он работал в «Испанском» Джорджа. Любил огреть дубинкой пьяных, когда шумели.

— Это правда, Финни? Любил им врезать?

— Убрррх, — сказал Финни, и его потащило по проходу от Френсиса.

— Злой был гад, — сказал Лось. — Меня раз ударил.

— Ушиб?

— Еще как. Три недели голова болела.

— Кто-то сжег машину Финни, — объявил Рыжик. — Он пошел за жратвой, вернулся, а она горит. Он думает, легавые подожгли.

— Зачем легавые жгут машины?

— Легавые сбесились, — сказал Рыжик. — Всех метут. А за всем этим, я слышал, Американский легион.

— Паразиты толстожопые, — сказал Френсис. — Всю жизнь за мной гоняются.

— Легионеры и легавые, — сказал Рыжик. — Потому мы и пришли сюда.

— А тут, думаешь, безопасно? — спросил Френсис.

— Безопасней, чем на улице.

— Захотят тебя забрать, сюда не сунутся, да? — спросил Френсис.

— Они не знают, что я здесь, — сказал Рыжик.

— Ты что думаешь, это «Уолдорф-Астория»? Думаешь, эта старая стерва внизу не скажет им, кто здесь есть, а кого нет, когда спросят?

— Может, не легавые сожгли машину, — сказал Лось. — У Финни полно врагов. Знал бы, что у него машина, сам бы сжег. Он, сука, всех нас бил, а теперь сам на улице. Встретим его в темном переулке.

— Слыхал, Финни? — сказал Френсис. — Они тебе глаз натянут. Они тебя всей кодлой в переулке встретят.

— Нггрух, — сказал Финни.

— Финни хороший. Отстаньте от него, — сказал Рыжик.

— Ты приказы тут отдаешь, директор? — спросил Френсис.

— А ты кто такой? — спросил Рыжик.

— Я такой, что башку тебе растопчу и выдавлю как апельсин, если будешь учить меня, что делать.

— Прямо, — сказал Рыжик и отодвинулся к койке рядом с Финни.

— Я как вошел, сразу догадался, что это ты, — сказал Старый Туфель, подойдя к Френсису. — Я тебя, труба иерихонская, где хочешь узнаю.

— Старый Туфель, — сказал Френсис, — Старый Туфель Гилиган.

— Ага. Память у тебя ничего. Не пропил еще.

— Старый Туфель Гилиган. Чугунное брюхо, медная верзуха.

— Уже не чугунное, — сказал Туфель. — Язва у меня. Два года как пить бросил.

— Так какого черта ты тут?

— Зашел повидать ребят, поглядеть, что и как.

— Гуляешь с Финни и этим рыжим хмырем?

— Ты кого назвал хмырем? — сказал Рыжик.

— Я тебя назвал хмырем, хмырь, — сказал Френсис.

— Язык у тебя длинный, — сказал Рыжик.

— А нога еще длинней, и я тебе ее в нос засуну, если будешь тут вонять, когда с тобой по-хорошему.

— Не кипятись, Френсис, — сказал Старый Туфель. — Что у тебя нового? Хорошо выглядишь.

— Богатею, — сказал Френсис. — Шмотки новые, пара бутылок и деньги в кармане.

— Значит, в гору пошел? — сказал Старый Туфель.

— Я-то да, а ты какого черта тут делаешь, если не пьешь, — вот чего не пойму.

— Я же говорю: шел мимо, любопытно стало, как там в старых местах.

— Работаешь?

— Постоянное место в Джерси. Даже квартира есть. И машина. Машина, Френсис. Веришь или нет? У меня — машина! Не новая машина, но хорошая. «Гудзон» двухдверный. Хочешь, прокачу?

— Прокатишь? Меня?

— Ну да, а кого же?

— Сейчас?

— А мне все равно. Я поглядеть зашел. Я тут не ночую. Да и не стал бы тут спать. Клопы за мной в Джерси прибегут.

— Вот этого вот бродягу, — обратился Френсис к Руди, — я от смерти спас на улице. По три, по четыре раза за ночь падал пьяный — голова перевешивала.

— Это правда, — сказал Старый Туфель. — Раз пять или шесть лицо разбивал, как этот. — Он показал на Лося. — Но больше так не делаю. В трех сумасшедших домах побывал. И бросил. Три года как не бродяжничаю, два не пью. Хочешь прокатиться, Френсис? Только условие: без бутылки. Жена унюхает — съест меня.

— И жена есть? — сказал Френсис.

— И машина, и жена, и дом, и работа? — спросил Руди. Он сел на койке, чтобы получше разглядеть этого захватчика.

— Это Руди, — сказал Френсис. — Руди-дуди. Собирается покончить с собой.

— Знакомое чувство, — сказал Старый Туфель. — Как-то утром нам с Френсисом страшно захотелось выпить. Обошли весь город, ничего не добыли, в туфли снег набивается, на улице минус двадцать градусов. В конце концов продали кровь, а деньги пропили. Я потерял сознание. Очнулся — выпить хочется до ужаса, денег нет и взять негде, кровь больше не сдашь — и тут мне захотелось умереть, по-настоящему. Умереть.

«Где все время лето, — запел Руди, — где растут котлеты на кустах и можно спать на воле».

— Хочешь прокатиться? — спросил его Старый Туфель.

«В сигаретных деревьях пчелы жужжат, и в фонтанах бьет лимонад», — продолжал Руди. Потом он улыбнулся Туфлю, глотнул вина и снова повалился на койку.

— Человек хочет прокатить, а пассажиров нету, — сказал Френсис. — Выходит, отбой, Туфель, ложись, ногам дай отдых.

— Не-е, я, пожалуй, дальше двину.

«Стемнело под вечер, и вспыхнули в таборе костры, и бродяга у всех на виду шагал по путям, чтоб на поезд вскочить, сказал он: назад не приду».

— Кончай песни петь, — сказал Рыжик. — Спать не даешь.

— Я ему рыло расквашу, — сказал Френсис и встал.

— Без драк, — сказал Лось. — Она нас вышибет к черту или полицию позовет.

— Значит, это будет день, когда меня вышибли из ночлежки, — сказал Френсис. — Это свинюшник. Я жил в свинюшниках получше, чем этот поганый свинюшник.

— Где я вырос... — начал Старый Туфель.

— Мне начхать, где ты вырос, — сказал Френсис.

— Заткнись. Я из Техаса.

— Тогда скажи город.

— Галвестон.

— Не задирайся, — сказал Френсис, — а то получишь в нюх. Я боевой мужик. Не то что Финни. Двенадцать человек побиваю.

— Ты пьяный, — сказал Старый Туфель.

— Да, — сказал Френсис. — Башка отказывает.

— Давно отказала. Какая муха тебя укусила?

— Ни хера не муха. Муха это ерунда.

— Змея?

— Во, змея. Гремучая. Это я понимаю. Нашел о чем поговорить. Кто хочет говорить о змеях? Лучше о бродягах поговорим. Из-за Элен стал бродягой. Пакость, не хочет домой, не хочет стать человеком.

«Элен плясала хулу в Гоно-лу-лу», — запел Руди.

— Заткни пасть дурацкую, — сказал ему Френсис.

— Люди меня не любят, — сказал Руди.

— Поёшь, руками махаешь, про Элен говоришь.

— Я собой не владею.

— Про то и говорю, — сказал Френсис.

— Я старался.

— Знаю, но ты не можешь — значит, живи какой есть.

— Мне нравится быть осужденным, — сказал Руди.

— Нет, не будь осужденным, — сказал ему Френсис.

— Мне нравится быть осужденным.

— Никогда не будь осужденным.

— Мне нравится быть осужденным, потому что я делал плохое в жизни.

— Ты никогда не делал плохого, — сказал Френсис.

— Вы, полоумные, заткнитесь там, — заорал Рыжик, сев на койке.

Френсис немедленно встал, побежал по проходу и с разбега смазал Рыжика кулаком по губам.

— Я тебя уделаю, — сказал Френсис.

Рыжик откачнулся от удара и упал с койки. Френсис обежал койку и пнул его в живот. Рыжик застонал, откатился, и Френсис пнул его в бок. Рыжик откатился под койку Финни, прячась от ноги. Френсис не оставлял преследования и уже приготовился заехать черным полуботинком без шнурков ему в лицо, но вдруг остановился. Руди, Лось и Старый Туфель стояли и наблюдали.

— Когда я знал Френсиса, он был силен как бык, — сказал Старый Туфель.

— Дом развалил в одиночку, — сказал Френсис. — И шар-баба не понадобилась.

Он взял бутылку с вином и приветственно поднял. Лось улегся на койку, Руди на свою. Старый Туфель сидел на койке возле Френсиса. Рыжик, облизывая разбитую губу, тихо лежал под койкой, на которой храпел Финни. Лица всех знакомых Френсису женщин калейдоскопически сменялись — одно за другим, одно за другим — на трех фигурах в дальнем углу. Троица сидела на стульях с прямыми спинками, озирая всю ткань Френсисовой жизни. Мать вышивала по рисунку «Дом, милый дом», Катрина отмеривала от рулона новую материю, а Элен обрезала махры. Потом все они превратились в Энни.

— Когда мне плюют в лицо — я никому не спущу, а уважать заставлю, это для меня первая забота, — сказал Френсис. — Я буду в аду гореть, если у них есть такое место, но мускулов у меня хватает и крови тоже, и я переживу. Ни один бродяга еще не сказал против Френсиса. Пусть только попробует, черт меня возьми. Все несчастные, гады, все мучаются, не дождутся, когда в рай попадут, бродят под снегом, в пустых домах спят, штаны на них не держатся. Я когда отъеду на тот свет, я хочу тут всех благословить. Френсис никогда никого не обидел.

— Пересмешники будут петь, когда ты умрешь, — сказал Старый Туфель.

— Пускай. Пускай поют. Мне говорят: кончай бродяжить. И я мог. Я хотел, только теперь это все растрепалось, как буксирный канат на канале, туда и сюда, туда и сюда. Когда ты столько раз бит, ты доходишь до мертвой точки. Даже гвоздь. Загнал его — он остановился. Будешь бить дальше — головка отломится.

— Это точно, — сказал Лось.

«На горе на леденцовой, — запел Руди, — у легавых прыти нет». — Он встал и взмахнул бутылкой, подражая Френсису; потом, раскачиваясь, продолжал петь, громко и не фальшивя: «У собак клыки из ваты, курочки несут омлет. И товарняки пустые, и всегда сияет солнце. Я хочу на гору эту, где зимы и снега нету, и не сыплется из туч, и с утра до ночи лето на горе на леденцовой».

Старый Туфель встал и собрался уходить.

— Никто не хочет прокатиться? — спросил он.

— Ладно, черт с тобой, — сказал Френсис. — Руди, ты как? Пошли из этого свинюшника. На воздух. Дышать от вони нечем. В бурьяне лучше, чем в этом свинюшнике.

— Пока, друг, — сказал Лось. — Спасибо за вино.

— Это да. И благослови Бог твое колено. Френсиса не согнешь. Не гвоздь.

— Я согласен, — сказал Лось.

— Куда мы едем? — спросил Руди.

— Едем в табор, к моему приятелю в гости. До табора довезешь? — спросил

Френсис у Старого Туфля. — На северном краю. Знаешь, где он?

— Нет, ты знаешь.

— Холодно будет, — сказал Руди.

— У них костер, — сказал Френсис. — Лучше холод, чем клоповник.

«У берега яблочных вод, где синяя птица поет», — запел Руди.

— Во, то самое место, — сказал Френсис.

***

Машина Старого Туфля ехала на север по бульвару Эри, где прежде тек канал Эри, и Френсис в машине вспоминал Эмметта Догерти: красное с резкими чертами лицо, волнистые седые волосы, крепкий острый нос, придававший ему сходство с Небесным Воином, таким и будет всегда его помнить Френсис — ирландца, который никогда не пил больше чем надо, серьезного, остроумного и владевшего собой человека с высокими целями и неистребимой верой в Бога и в рабочий народ. Френсис сиживал с ним на аспидной ступеньке перед «Тачкой» Железного Джо и слушал его бесконечные рассказы о тех временах, когда он и страна были молоды, когда речные пароходы везли вверх по Гудзону иммигрантов, прибывших морем из Ирландии. Разразилась холера, их снимали с пароходов в Олбани и отправляли по каналу на запад: отцы города потребовали от правительства, чтобы бациллоносных иностранцев содержали вне города.

Эмметта, приплывшего в Нью-Йорк на голодном корабле из Корка, отправили вверх по Гудзону, и в бассейне Олбани он увидел своего брата Оуэна, который махал ему с берега. Оуэн бежал за пароходом до северного шлюза, выкрикивая советы, сообщая семейные новости, и велел ему сойти на берег, как только разрешат, а потом написать, где он, чтобы Оуэн послал ему деньги на дилижанс до Олбани. Но Эмметту лишь через несколько дней удалось сойти с пакетбота — причем название места он так и не узнал, а местные власти насильно отправили прибывших еще дальше на запад.

В конце концов очутившись в Буффало, Эмметт решил не возвращаться в негостеприимный Олбани и пустился дальше, в Огайо, где стал мостить улицы, а потом строить железные дороги, вместе с ними двигаясь на запад, сделался рабочим вожаком, а потом и руководителем «Клан-на-Гейл» и дожил до тех времен, когда ирландцы забрали власть над Олбани. И вдохновленный его рассказами Френсис Фелан бросил камень, который изменил ход жизни людей, даже еще не родившихся.

Это видение пакетбота, плывущего по каналу, и Оуэна, который бежит параллельно по берегу, рассказывая о своих детях, было так же реально для Френсиса, — хотя само событие произошло за сорок лет до его рождения, — как и автомобиль Старого Туфля, ехавший по ухабам на север, к тому самому месту, где они расстались. Он чуть не плакал из-за того, как разлучило братьев Догерти проклятое правительство, — ибо так же и он был разлучен сейчас с Билли и остальными. И чем? Чем и кем снова разлучен с людьми, едва успев их обрести? Имя этой силы — если есть у нее имя — не имело значения, но действие ее было сокрушительно. Эмметт Догерти не винил никого в частности — ни холерных инспекторов, ни даже отцов города. Он знал, что бóльшая сила переместила его на Запад и вылепила из него то, чем ему суждено было стать, — и это перемещение, эту лепку понимал сейчас Френсис, ибо постиг бродяжью тягу, которая стала такой важной составляющей его духа. Поэтому Френсис нашел вполне резонным то, что он и Эмметт слиты в одну персону — в героя пьесы, написанной сыном Эмметта, драматургом Эдвардом Догерти: Эдвард (муж Катрины, отец Мартина) изобразил в «Депо», как Эмметт, рассказывая свою историю разлуки и возмужания, сделал Френсиса радикалом, научил опознавать врага и метить камнем. И подобно

тому, как реальный Эмметт вернулся с Запада домой героем рабочего движения, беззаконным героем возвращался домой Френсис в пьесе. После того, что сделал его камень. Одно время Френсис верил всему, что было сказано о нем в пьесе Эдварда: что он освободил забастовщиков от богатых нищих, трамвайных хозяев — так же, как Эмметт помог распрямиться Падди-землекопу и вылезти из своей канавы в новый век. Драматург увидел в них обоих небесных воинов, вдохновленных социалистическими богами, которые понимали историческую потребность ирландцев в помощи свыше, ибо без нее (так говорит Эмметт, рабочий-вожак — златоуст из пьесы) «как нам избавиться от свиней-тори, подлинных и неукротимых дьяволов всей человеческой истории?»

Камень (разве не он?) вызвал ответный огонь солдат и стал причиной гибели двух зрителей. А без этого, без смерти Гарольда Аллена, забастовка могла продолжаться, потому что из Бруклина всё везли и везли штрейкбрехеров — ирландцев-иммигрантов, вроде тех, что были на пакетботе с Эмметтом, и кое-кто из них сразу дезертировал, сообразив, в чем дело, другие же оставались, растерянные, обескураженные, обманутые нанимателями, которые обещали им работу на железной дороге в Филадельфии, а вместо этого подсунули штрейкбрехерство, ужас и даже смерть. Были среди штрейкбрехеров даже забастовщики из других городов, бездушные люди, которые сели здесь в трамваи, схватились за чужую работу, в то время как другие штрейкбрехеры работали вместо них. И все это могло продолжаться, если бы Френсис не бросил первый камень. Он оказался главным героем стачки, родившей героев десятками. И, став героем, всю жизнь винил себя в смерти троих людей, не различая за событиями того дня действие сил иных, чем его правая рука. Не мог признать, хотя и знал, что в тот день летели, и тоже не без последствий, другие камни, что солдаты палили по зрителям не столько в отместку за смерть Гарольда Аллена, сколько в предположении своей собственной, ибо открыли огонь не после того, как Френсис метнул камень, а после того, как вся толпа обрушила каменный град на трамвай. И, не в силах увидеть ничего, кроме своего деяния и его непосредственных, как ему казалось, результатов, Френсис бежал в героизм и через писаное слово Эдварда Догерти еще больше взвалил на себя великой героической вины.

Но теперь, когда эти события давно отошли и были глубоко похоронены и подлинная его вина имела к ним так мало отношения, он видел в забастовке просто безумие ирландцев — бедные против бедных, народ, класс, разделившиеся сами в себе. Видел, как Гарольд Аллен пытался уцелеть в тот день и ту ночь, когда на него ополчилась исступленная толпа, — так же, как он сам, убегая в чужие города, старался уцелеть наперекор их враждебности, как всю жизнь старался уцелеть наперекор своим худшим инстинктам. Ибо Френсис понимал теперь, что воюет с самим собой, что сражаются друг с дружкой его разные части, и если ему суждено уцелеть, то не с помощью какого-то социалистического бога, а за счет ясности в мыслях и твердого взгляда в лицо правде; ибо вина, которую он ощущал, не стоила смерти. И ничему она не служила, кроме как ненасытной кровожадности природы. Фокус в том, чтобы выжить, обставить гадов, уцелеть перед толпой, в роковом хаосе, и показать им всем, как может человек наладить жизнь, если возьмется за это.

Бедный Гарольд Аллен.

— Я прощаю сукина сына, — сказал Френсис.

— Это какого? — спросил Старый Туфель.

Вдребезину пьяный Руди лежал на заднем сиденье, держа бутылку с вином и бутылку с виски стоймя на груди открытыми — вопреки приказу Старого Туфля не откупоривать их в машине — и не проливая при этом ни капли.

— Которого я убил. Его звали Алленом.

— Ты убил человека?

— И не одного.

— Случайно, да?

— Нет. В этого я метил — в Аллена. Он хотел отнять у меня работу.

— Значит, поделом.

— Может, да, а может, нет. Может, он не мог иначе.

— Ерунда, — отозвался Старый Туфель. — Все так считают. Хорошие, плохие и сволочи. Грабители, убийцы.

И Френсис умолк, углубившись в еще одну истину, требовавшую усвоения.

***

Табору было, возможно, семь лет, или три года, или месяц, или несколько дней. Это был шлаковый отвал, погост, беглый город. Он стоял между кустами сумаха и приречными деревьями, уже голыми от раннего мороза. Случайная на земле сыпь из толевых хибарок, сараюшек и разных импровизированных строений, для которых не придумано слов в человеческом языке. Город бытийного транзита и сослагательной оседлости, стойбище тех, для кого передвижение — либо проклятие, либо бессмысленность, либо невозможность. Здесь обитали калеки, потерявшие дом уроженцы города и люди, закончившие путь и осевшие в ожидании следующей катастрофы. Табор, зримое проявление болезни века, площадью примерно в два городских квартала, расположился между рекой и железнодорожными путями, сразу за бывшим трамвайным депо и покинутым зданием — бывшим салуном Железного Джо.

Приятелем Френсиса в таборе был человек шестидесяти с лишним лет по имени Энди; когда-то в товарном вагоне, по дороге в Олбани, он признался Френсису, что прежде звали его Энди Сено-Солома, поскольку лет до двадцати не умел отличить правую руку от левой — задача, которую ему и теперь приходилось порой решать в напряженные моменты. Френсис сразу почувствовал симпатию к Энди и поделился с ним сигаретами и едой — и сразу вспомнил о нем, когда Энни дала ему два сандвича с индюшкой, а Пег сунула солидный кусок сливового пудинга, каковые три предмета, нетронутые и завернутые в пергамент, лежали сейчас в карманах его костюма, сшитого в 1916 году.

Но о том, чтобы поделиться с Энди едой, он всерьез не думал, пока Руди не запел песню о таборе. Вдобавок, при виде собственной быстро кипящей злобы и саморазрушительной заносчивости, отразившихся на Рыжике, он ощутил нечто вроде удушья, и стечение таких обстоятельств побудило его покинуть ночлежку и искать чего-то, что было бы дорого его душе, поскольку сейчас Френсису прежде всего нужна была вера в простые решения. А Энди Сено-Солома — человек, запутавшийся в названии своих рук и тем не менее уцелевший для того, чтобы поселиться в городе бесполезных епитимий и быть за это благодарным, — представлялся Френсису существом, заслуживавшим внимательного изучения. Френсис нашел его без труда, когда машина Старого Туфля остановилась на грунтовой дороге перед табором. Энди дремал возле угасавшего костра. Френсис разбудил его и вручил ему бутылку виски.

— Выпей, друг. Для смазки души.

— Здорово, Френсис. Как поживаешь?

— Переставляю ноги по очереди — авось куда-нибудь придут, — ответил Френсис. — Отель открыт? Привел к тебе парочку бродяг. Вот Старый Туфель говорит, что он больше не бродяга, но это он только говорит. А это Руди-пудель, хороший мужик.

— Здорово, — сказал Энди. — Рассаживайтесь. Как чувствовал, что ты придешь. Костер еще горит, и на небе звезды. Холодновато только в доме. Сейчас включим отопление.

Сели вокруг костра, Энди подбросил прутиков и щепок, и вскоре пламя по-

тянулось к тем высям, где вечно царствует огонь. Пламя вдохнуло жизнь в студеную ночь, и люди грели возле него руки.

За спиной у Энди замаячила фигура; ощутив ее присутствие, он обернулся и пригласил Мака Мичиганца к первобытному очагу.

— Рад познакомиться, — сказал Маку Френсис. — Говорят, ты на днях провалился в дыру.

— Шею мог сломать, — сказал Мак.

— Сломал? — спросил Френсис.

— Если бы сломал, умер бы.

— А, так ты жив, значит? Не умер?

— Это кто еще? — спросил Мак у Энди.

— Правильный мужик. В поезде познакомились.

— Мы все правильные, — сказал Френсис. — Не встречал еще бродягу, чтоб мне не нравился.

— Это сказал Уилл Роджерс[1], — сообщил Руди.

— Черта лысого, — ответил Френсис. — Это я сказал.

— Не знаю. Он так сказал. Все, что знаю, я прочел в газетах[2], — ответил Руди.

— Так ты читать умеешь? — сказал Френсис.

— Джеймс Уатт изобрел паровую машину, — сказал Руди. — А ему было только двадцать девять лет.

— Он был кудесник, — сказал Френсис.

— Правильно. Чарлз Дарвин был очень выдающимся человеком, понимал ботанику. Умер в 1936 году.

— О чем он говорит? — спросил Мак.

— Он ни о чем не говорит, — ответил Френсис. — Просто говорит.

— Сэр Исаак Ньютон. Вы знаете, что он сделал с яблоком?

— Этого я знаю, — сказал Старый Туфель. — Он открыл тяготение.

— Правильно. Знаешь, когда это было? В 1936 году. Он родился от двух повитух.

— А ты порядком разузнал про этих кудесников, — сказал Френсис.

— Бог вора любит, — сказал Руди. — Я вор.

— Мы все воры, — сказал Френсис. — Что ты украл?

— Я украл любовь моей жены, — сказал Руди.

— И что с ней сделал?

— Отдал обратно. Держать не стоило. Ты знаешь, где Млечный Путь?

— Где-то там, — сказал Френсис, глядя в небо, такое звездное, каким он его еще не видел.

— Жрать охота, — сказал Мак Мичиганец.

— На, откуси, — сказал Энди. И вытащил из пальто большую луковицу.

— Это лук, — сказал Мак.

— Тоже кудесник, — сказал Френсис.

Мак взял луковицу, осмотрел и вернул Энди, а тот откусил от нее и снова положил ее в карман.

— В магазине дали, — сказал Энди. — Говорю ему: хозяин, голодаю, мне надо что-то съесть. И он дал две луковицы.

— У тебя были деньги, — вмешался Мак. — Сказал тебе — купи буханку хлеба, а ты купил бутылку вина.

— Не получается — и вино и хлеб, — сказал Энди. — Ты что, француз?

— Хочешь покупать еду и выпивку — устройся на работу, — сказал Френсис.

— На прошлой неделе я мячи на гольфе подносил, — сказал Мак, — хренови-

---

[1] Американский актер и юморист (1879—1935).
[2] Этой фразой Роджерс начинал выступления.

на, невыгодно. На буграх оскальзываешься. У самих-то шипы на ботинках. Говорят: иди работать, бродяга. Я бы пошел, но не могу. Пять-шесть долларов добуду — и на поезд. Я не бродяга. Я босяк.

— Слишком много двигаешься, — сказал Френсис. — Потому и в дыру провалился.

— Да, — сказал Мак, — но в этот дом я больше ни ногой. Слышал, полицейские там каждую ночь людей забирают. Кто осел — считай, сгорел. На ходу — с собой в ладу.

— Сегодня вечером тут полицейские были, фонарями светили, — сказал Энди. — Но никого не замели.

Руди поднял голову и обвел взглядом лица, освещенные костром. Потом поглядел на небо и обратился к звездам.

— На окраине, — сказал он. — Я непоседа, странник.

***

Вино ходило по кругу, и Энди подбрасывал дрова, хранившиеся в его халупе. Френсис вспоминал о том, как Билли, надев костюм, пальто и шляпу, показывался ему перед уходом. Нравится шляпа? — спросил он. Нравится, сказал Френсис, стильная. Свою потерял, сказал Билли. Эту в первый раз надеваю. Ничего выглядит? Стильно выглядит, сказал Френсис. Ладно, пора в город, сказал Билли. Давай, сказал Френсис. Еще увидимся, сказал Билли. Не сомневайся, сказал Френсис. Останешься в Олбани или подашься куда? — спросил Билли. Еще не знаю, ответил Френсис. Есть тут над чем подумать. Это всегда есть, сказал Билли, после чего они пожали руки и больше уже не разговаривали.

Сам он ушел через час с небольшим, пожав руку и Джорджу Куинну, ушлому и франтоватому мужчинке, рассказывавшему плохие анекдоты («Ты откуда?» — спрашивают потрепанную корову. — «От верблюда»), которым все смеялись, а Пег крепко обняла отца и поцеловала в щеку, вот это поцелуй, всем поцелуям поцелуй, а потом Энни взяла его руку в обе руки и сказала: приходи обязательно. Конечно, сказал Френсис. Нет, сказала Энни, ты должен прийти, мы должны поговорить о многом, я хочу рассказать тебе о детях, о семье. Если захочешь остаться на ночь, мы поставим тебе койку у Данни. А потом совсем легонько поцеловала его в губы.

— Эй, Мак, — сказал Френсис, — ты правда голодный или так губами шлепаешь, от нечего сказать?

— Я голодный, — сказал Мак. — С утра не жрал. Тринадцать, четырнадцать часов небось.

— На, — сказал Френсис, развернув один сандвич с индейкой и половину отдав Маку. — Откуси пару раз, но все не ешь.

— У-у, ладно, — сказал Мак.

— Я сказал тебе, он хороший мужик, — сказал Энди.

— Хочешь кусок? — спросил у него Френсис.

— Мне луку хватило, — сказал Энди. — А вон малый в ящике от рояля, он тут спрашивал поесть. У него там младенец.

— Младенец?

— Младенец и жена.

Френсис отнял у Мака Мичиганца остаток сандвича и в темноте, разбавленной светом костра, побрел к ящику от рояля. Перед ящиком тоже горел костерок, и возле него, сидя по-турецки, грелся человек.

— Я слышал, у тебя ребенок, — сказал Френсис подозрительно смотревшему на него человеку, а тот кивнул и показал на ящик. В темноте Френсис разглядел очертания женщины, свернувшейся вокруг чего-то, похожего на спеленутого младенца.

— У меня тут харч лишний, — сказал Френсис и отдал мужчине нетронутый сандвич вместе с остатками другого. — И сладкое. — Он отдал пудинг.

Мужчина принял дары, подняв к нему лицо, на котором было написано изумление человека, пораженного молнией посреди безводной пустыни; а благодетель его исчез прежде, чем он смог осознать подарок. Френсис занял свое место в безмолвном кругу у костра Энди. Все, кроме Руди, свесившего голову на грудь, смотрели на него.

— Дал ему поесть? — спросил Энди.

— Ага. Хороший малый. Я-то сегодня поел от пуза. Сколько ребенку?

— Три месяца, он сказал.

Френсис кивнул.

— У меня тоже был. Звали Джеральдом. Упал, сломал шею и умер — а было ему тринадцать дней.

— Беда, — сказал Энди.

— Ты никогда про это не говорил, — сказал Старый Туфель.

— Да, потому что это я его уронил. Взял в пеленке, а он выскользнул.

— Вот черт, — сказал Старый Туфель.

— Не мог я с этим справиться. Потому и от семьи сбежал. А на прошлой неделе на другого сына наткнулся — и он мне говорит, что жена никому про это не рассказывала. Человек уронил ребенка, ребенок умер, а мать ни одной живой душе ни слова. Не могу это понять. Женщина хранит такой секрет двадцать два года, оберегает такого, как я.

— Женщин не поймешь, — сказал Мак Мичиганец. — Моя целый день, бывало, передком шурует, а потом приходит домой и говорит мне, что до нее в жизни никто не дотронулся, кроме меня. У меня только тогда глаза открылись, когда домой пришел, а она с двоими сразу кувыркается.

— Я не про то говорю, — сказал Френсис. — Я говорю про женщину, которая женщина. Я не про блядь подзаборную говорю.

— Она красивая была, однако, — сказал Мак. — И характер необыкновенный.

— Ага, — сказал Френсис. — И весь у ней между ног.

Руди поднял голову и посмотрел на бутылку. Поднес ее к свету.

— Отчего человек становится пьяницей? — спросил он.

— От вина, — сказал Старый Туфель. — От того, что в руке у тебя.

— Вы когда-нибудь слышали про медведей и про сок тутовой ягоды? — спросил Руди. — Сок тутовой ягоды бродит у них в животе.

— Да ну? — сказал Старый Туфель. — Я думал, он бродит до того, как внутрь попал.

— Не. Не у медведей, — сказал Руди.

— И что сделалось с медведями и соком? — спросил Мак.

— Они оцепенели, и у них сделался бодун, — сказал Руди и долго-долго смеялся. Потом опрокинул бутылку и слизнул с горлышка последние капли. Он бросил бутылку к еще двум пустым — своей из-под виски и Френсисовой винной, которая ходила по кругу.

— Черт, — сказал Руди. — У нас нечего выпить. Пропадаем.

Вдалеке послышался шум моторов и хлопанье автомобильных дверей.

***

Напрасно Френсис исповедовался. Заговорить о Джеральде с чужими было ошибкой — никто не принял этого всерьез. И совести он не облегчил, и прозвучало это ненужно, как бессмысленная болтовня Руди про кудесников и медведей. Френсис пришел к выводу, что принял еще одно неверное решение — в длинной цепи других. Он пришел к выводу, что вообще не способен на правильные реше-

ния, что такого непутевого человека свет не видывал. Теперь он был убежден, что никогда не достигнет равновесия, позволяющего многим людям жить мирной жизнью, без насилия и дезертирства, жизнью, вырабатывающей к старости хотя бы малую толику счастья.

Он не понимал, чем отличается в этом смысле от других людей. Он знал, что в чем-то он сильнее их, более склонен к насилию, что тяга к бегству у него в крови, но все это не имеет никакого отношения к умыслу. Ну ладно, он хотел попасть камнем в Гарольда, но это было давно. Зная Френсиса так, как он себя знал, мог ли кто-нибудь подумать, что это он ответствен за смерть Бузилы Дика, обкусанную шею Шибздика, за синяки на Рыжике, за шрамы на других людях, давно забытых или давно похороненных?

Сейчас Френсису было ясно лишь одно: относительно себя он никогда не мог прийти к каким-либо заключениям, основанным на разуме. При этом он не считал, что не способен мыслить. Он видел себя существом неведомых и непознаваемых качеств, человеком, лишенным хладнокровия, как в импульсивных поступках, так и в обдуманных. И, однако, признаваясь себе, что он — душа исковерканная и погибшая, Френсис всякий раз убеждался в разумности и целесообразности своих действий: он бежал от родных, потому что такому нечестивому человеку не место среди них; все эти годы он уничижал себя нарочно — в противовес пугливой гордыне, ибо всегда гордился своей способностью сочинить торжество, из которого проистечет благодать. Кем он был — он был воином, да, защищавшим веру, которую никому не дано выразить в словах, тем более ему самому; но как-то это было связано с охраной святых от грешников, живых от мертвецов. А воин — он был убежден в этом — не жертва. Ни в коем случае не жертва.

В глубочайших глубинах души, где рождается неизреченный вывод, он говорил себе: моя вина — единственное, что у меня осталось. Если расстанусь с ней — я ничего не значил, я ничего не сделал, я был ничем.

И, подняв голову, он увидел людей в легионерских фуражках, строем двигавшихся на костер с бейсбольными битами в руках.

***

Люди в фуражках вошли в лагерь с лютой целеустремленностью, безмолвно сшибая все, что возвышалось над землей. Они проламывали хибарки и валили сарайчики, и так уже почти разрушенные временем и непогодой. Кто-то, увидевший их, выскочил из своей конуры и побежал, выкрикивая одно слово: «Облава»; кое-кого из бродяг он разбудил, и они, похватав пожитки, бросились следом за ним. Гости Энди только тогда заметили приближение налетчиков, когда первые разгромленные лачуги уже горели.

— Что за черт? — удивился Руди. — Почему все повскакали? Френсис, ты куда?

— Вставай, глупый, — сказал Френсис, и Руди встал.

— Во что это, к черту, я влопался? — сказал Старый Туфель и попятился от костра, не сводя глаз с атакующих. Они были еще в полусотне метров, а Мак Мичиганец уже предпринял стремительный отход: согнувшись серпом, он бежал к реке.

Налетчики продвигались вперед, круша табор; один из них снес лачугу двумя ударами. Шедший за ним облил развалину бензином и кинул спичку. Они уже были в двадцати метрах от сарайчика Энди, а Руди, Энди и Френсис, оцепенев, смотрели на происходящее изумленными глазами.

— Надо уходить, — сказал Энди.

— У тебя в хибаре есть что-нибудь стоящее? — спросил Френсис.

— Сто́ящего у меня только шкура, а она при мне.

Троица стала медленно пятиться от налетчиков, которые явно намеревались

сровнять весь поселок с землей. Френсис заглянул на ходу в рояльный ящик и увидел, что он пуст.

— Кто они? — спросил у Френсиса Руди. — Зачем ломают?

Никто ему не ответил.

С полдюжины лачуг и конур уже пылали, от одной загорелось высокое голое дерево, и пламя его вздымалось высоко в небо, намного выше, чем огонь горящих лачуг. При пляшущем свете пожара Френсис увидел, как один из налетчиков ударил по хижине, а из нее на четвереньках выполз человек. Несильно размахнувшись битой, налетчик огрел его по заду, и человек вскочил на ноги. Налетчик ткнул его еще раз, и тот, хромая, убежал. Горящая хижина беглеца осветила улыбку налетчика.

Тут Френсис, Руди и Энди тоже собрались бежать, уверовав наконец, что ночь наводнена демонами. Но когда повернулись, увидели еще двоих с битами, заходивших слева.

— Грязные бродяги, — сказал один и размахнулся битой, целя в Энди. Тот ловко увернулся, побежал, и его поглотила ночь. Налетчик махнул битой в обратную сторону, и удар пришелся пьяненькому Руди по затылку, прямо над шеей. Руди ойкнул и упал. Френсис прыгнул на налетчика, вырвал у него биту, отскочил, повернулся лицом к обоим: они шли на него, и на лицах у них была ненависть, смертельная и безадресная, как оскаленные зубы бешеной собаки. Второй налетчик поднял биту и нанес вертикальный удар, от которого Френсис легко уклонился шагом влево — как делал когда-то, ловя сильный низовой мяч. И, сразу шагнув вперед, как если бы отбивал бросок, направленный в сторону, со всего размаха ударил битой того, который свалил Руди. Френсис вложил столько силы в удар, что, будь на месте человека мяч, он улетел бы по центру за ограду поля, где угодно, на любом стадионе, и Френсис ясно услышал, ощутил руками, как лопнул у нападавшего позвоночник. И со сладострастным удовольствием увидел, как тот, нелепо скорчившись, без звука упал на траву.

Второй налетел на Френсиса и сбил его с ног, но не битой, а тяжестью прущего тела. Они покатились по земле; в конце концов Френсис все же освободился, ударив противника сбоку по горлу. Но тот был крепок и очень проворен — он уже стоял на ногах, когда Френсис только поднялся на колени, — и уже отводил биту для удара. Бита Френсиса, описав полкруга, ударила его по колену. Сустав ушел назад, нога сложилась в обратную сторону, и человек рухнул с протяжным воплем.

Френсис поднял Руди, издававшего нечленораздельные звуки, взвалил на плечо и побежал изо всех сил к реке. Там повернул вдоль берега, к городу. Он остановился в высоком бурьяне, уже буром и мертвом, и полежал рядом с Руди, чтобы отдышаться. Их никто не преследовал. За голыми деревьями был виден табор; пожар там распространялся. Луна и звезды светили на реку — покойное море стекла рядом со злым, расползавшимся огнем.

Рука у Френсиса оказалась в крови; он подошел к реке, намочил платок, смыл кровь. Потом жадно пил из реки удивительную, ледяную, свежую воду. Промокнув щеку, понял, что она еще кровоточит, и прижал к ней мокрый носовой платок.

— Кто они? — спросил Руди, когда он вернулся.

— Ребята из другой команды, — сказал Френсис. — Не любят нас, грязных бродяг.

— Ты не грязный, — прохрипел Руди, — у тебя новый костюм.

— Черт с ним, с костюмом, — голова как?

— Не знаю. Такого никогда не чувствовал.

Френсис потрогал его затылок. Крови не было, только громадная шишка.

— Идти можешь?

— Не знаю. А где Старый Туфель с машиной?

— Уехал, наверное. Думаю, машина в розыске. Угнал, наверно. Раньше про-

мышлял этим. И своим очком.

Френсис помог Руди встать, но Руди не мог стоять сам и не мог переставлять ноги. Френсис снова взял его на плечо и пошел на юг. Целью его была Мемориальная больница, бывшая Гомеопатическая, на Норт-Пёрл-стрит, в центре. Далеко до нее, но другого места ночью не было в этом проклятом городе. И всю дорогу придется пешком. Ждать автобуса или трамвая в этот час — Руди умрет в канаве.

Френсис нес его сперва на одном плече, потом на другом, а когда обнаружилось, что Руди немного владеет руками и может держаться, взял на закорки. Он нес его по прибрежной дороге, чтобы не попасться патрульной полицейской машине, потом вдоль путей до Бродвея, а оттуда — на Пёрл. Он внес его по лестнице в больницу, в приемный покой, маленький, чистый, ярко освещенный и пустой. Увидев их, сестра откатила от стены носилки и помогла Руди сползти на них со спины Френсиса.

— Ему разбили голову, — сказал Френсис. — Идти не может.

— Как это случилось? — спросила сестра, изучая глаза Руди.

— Какой-то ненормальный на Медисон авеню ударил его кирпичом.

— Я вызову врача. Он пьяный.

— Сейчас не в этом дело. У него еще рак желудка, но сейчас у него беда с головой. Ему досталось страшно, вы уж поверьте, и его вины тут нет.

Сестра подошла к телефону, набрала номер и тихо поговорила.

Руди улыбнулся, посмотрел на Френсиса мутным взглядом и ничего не сказал. Френсис похлопал его по плечу и сел рядом отдохнуть. Он увидел себя в зеркальной дверце шкафчика. Бабочка на нем сидела косо, а рубашку и пиджак он закапал кровью, когда еще не знал, что ранен. Лицо чумазое, костюм в грязи. Он поправил галстук и стряхнул кое-где грязь.

После второго звонка и разговора, который Френсис уже хотел прервать, чтобы она занялась, черт возьми, раненым, сестра вернулась. Она пощупала Руди пульс, сходила за стетоскопом, послушала сердце. И сказала Френсису, что Руди умер. Френсис встал и посмотрел на лицо приятеля; на нем еще была улыбка.

— Как его звали? — спросила сестра. Она взяла карандаш и больничную карточку.

Френсис только смотрел на остекленело улыбавшегося Руди. Исаак Ньютон Яблочный, родился от двух повитух.

— Скажите, пожалуйста, как его звали? — повторила сестра.

— Звали Руди.

— Руди — а фамилия?

— Руди Ньютон, — сказал Френсис. — Он знал, где Млечный Путь.

***

Когда Френсис отправится к гостинице «Паломбо», чтобы согреться, вытянуться рядом с Элен и подумать о том, что случилось и как с этим быть, часы на Первой церкви будут показывать 3.15. Он пройдет мимо ночного портье на лестничной площадке, махнет ему рукой и поднимется в комнату, где они всегда останавливались с Элен. Глядя на грязь в коридоре и на вытертый ковер, он напомнит себе, что для него и Элен — это роскошь. Он увидит свет под дверью, но все равно постучит, чтобы убедиться, Элен ли в этой комнате. Никто не отзовется, он откроет дверь и увидит Элен — на полу, в кимоно.

Он войдет в комнату, закроет дверь и будет долго стоять, глядеть на нее. Волосы у нее будут распущенные, рассыпавшиеся по полу, красивые.

Немного погодя он подумает, что надо бы поднять ее на кровать, но решит, что в этом нет смысла: ей и так лежать хорошо и удобно. Вид такой, будто она спит.

Он сядет в кресло и будет смотреть какое-то время — какое, он не сможет потом подсчитать, — и решит, что принял правильное решение, не переложив ее на кровать.

Потому что она не скрючилась.

Он заглянет в открытый чемодан, найдет свои старые вырезки и положит их в грудной карман пиджака. Найдет свою бритву и перочинный нож, ее бабочку с искусственными бриллиантами и все это тоже рассует по карманам пиджака. В стенном шкафу, в ее пальто он найдет 3 доллара и 35 центов и сунет их в брючный карман, не понимая, где она их взяла. Вспомнит, что оставил для нее два доллара, и теперь их не получить ни ей, ни ему — пусть считаются чаевыми старику Доновану. Элен говорит «спасибо».

Потом он сядет на кровать и будет смотреть на Элен оттуда. Увидит, что глаза у нее закрыты, и вспомнит, какими ярко-зелеными они были при жизни, эти чертовские изумруды. Просидит долго, стараясь заглянуть в смеженные глаза Элен, а потом услышит за спиной женский разговор.

Поздно теперь, скажут женщины. Поздно теперь заглядывать ей в душу. А он все будет смотреть, помня о патефонной пластинке, что прислонена к подушке; он знает, какую песню она купила или украла. Свою любимую «Бай-бай, черный дрозд», и он услышит, как ее вполголоса поют женщины, а сам будет созерцать свирепо блестящие шрамы на душе Элен, свежие и мертвенно-белые среди старых шрамов, между тем как душа Элен уже очищается от всех мирских ран, пламенея зеленым пламенем надежды, но и сохраняя эти шрамы в целостности, как рубцы прозрения глубочайших тайн Сатаны.

Френсис, это раздвоенное создание — то пожилой человек, согбенный смертный, то снова птенец, только-только вставший на крыло, тихо подпоет женщинам: «С тихой песней я иду», — и песня откроет ему, что смотрит он вовсе не в душу Элен, а в свою назойливую и нетвердую память. Ему ясно, что и Руди, и Элен понимают его сейчас гораздо глубже, чем понимал когда-либо или будет понимать их он.

Мертвые — все глаза у них.

Он станет отматывать нить своей жизни от смерти Элен и увидит ее в том же японском кимоно, лежащую рядом с ним после нежной любви, и она говорит ему: я больше ничего на свете не хочу — только чтобы мое имя вернулось в семью.

И Френсис встанет и поклянется, что когда-нибудь разыщет могилу Элен, где бы ее ни зарыли, и поставит камень с глубоко высеченной надписью. «Элен Мари Арчер, чистая душа» — будет высечено на камне.

Френсис вспомнит, что, когда гаснут чистые души, мир наводняют силы тьмы, несущие с собой грозу, раздоры и огонь. И он поймет, что должен молиться о спасении ее души, ибо никак иначе ей теперь не поможет. Но поскольку в его представлении мир иной был не Дворцом Небесным, где легионы блаженных душ поклоняются Святому Червю, а скверным туманом над скважиной, через которую земля опорожняется от смрада гниющих жизней, перед глазами Френсиса горел вопрос: как этому человеку молиться?

Он будет размышлять над ним опять несчитанное время и решит в конце концов, что молиться у него нет никакой возможности — ни об Элен, ни даже о себе.

Тогда он опустит руку, и дотронется до макушки Элен, и погладит ее по голове, осторожно, как гладит отец по мягкому родничку новорожденного ребенка, — осторожно, чтобы не потревожить текучую россыпь ее волос.

Таких красивых.

Потом он выйдет из комнаты Элен, оставив там свет. Он пройдет по коридору до лестничной площадки, махнет задремавшему в кресле ночному дежурному и снова окунется в студеную и живую ночную тьму.

***

А к рассвету он уже будет на товарняке, и Делавэр-Гудзонская железная дорога повезет его к берегу яблочных вод. Он будет сидеть на корточках посреди

пустого вагона с приоткрытой дверью, чуть в стороне, чтоб не дуло. Будет наблюдать, как звезды, чей огонь лишь несколько часов назад казался негасимым, тают в пробуждающемся небе, в раннем его переливе из сиреневого в розовое.

Он не в силах закрыть глаза и поэтому задумается о том, что он теперь может делать. Потом решит, что не способен выбрать между всеми открытыми для него возможностями. Теперь он уверен только в том, что живет в мире, где события сами решают за себя, и единственное, что может человек, — это находиться в одном прыжке от их непостижимости.

Он увидел Джеральда, запеленутого в серебристую паутину могилы; потом видение растаяло, как звезды, и он не мог припомнить даже цвет его волос. Он увидел всех женщин, которых стало трое, а потом их невозможное объединение тоже растаяло, и остался только прекрасный рот Катрины, произносившей не столько слова, сколько их немые очертания; и тогда он понял, что оставляет позади больше, чем город и набравшуюся за его век галерею трупов. Он оставлял позади даже яркое воспоминание о шрамах на душе Элен.

Когда поезд замедлил ход, чтобы набрать воды, в вагон вскарабкался Клубничный Билл. Для бродяги, умершего с кашлем, он выглядел довольно нарядно: полотняный костюм в синюю полоску, соломенная шляпа и туфли цвета нового бейсбольного мяча.

— При жизни ты так хорошо не выглядел, — сказал ему Френсис. — Смотрю, тебе там неплохо.

По прибытии каждому придают портного-итальянца, объяснил Билл. Но скажи мне, друг, от чего ты бежишь на этот раз?

— Всё от той же своры, — сказал Френсис. — От полицейских.

Никаких полицейских нет, сказал Билл.

— Может, до рая еще ни один не добрался, но здесь они меня заманали.

Не гонятся за тобой полицейские.

— Ты точно знаешь?

Буду я морочить такого человека, как ты?

Френсис улыбнулся и стал напевать песню Руди о крае, где синяя птица поет. Он выпил последний глоток виски «Зеленая река», показавшегося теперь прохладным и освежающим. И подумал о чердаке Энни.

Отличное место, сказал ему Билл. У них там койка в углу, рядом с твоим сундуком.

— Я видел его, — сказал Френсис.

Френсис подошел к двери вагона и бросил пустой бутылкой в луну; бросок был с подкруткой, и она ушла в сторону восходящего солнца. Плывя в небе, бутылка с луной заиграли душевную музыку, как банджо, и божественная их игра побуждала Френсиса спрыгнуть с поезда и искать убежища под святой фелановской кровлей.

— Слышишь эту музыку? — сказал Френсис.

Музыку? Я бы не сказал.

— Банджо. Очень приятное банджо. Это бутылка от виски играет. Бутылка и луна.

Тебе виднее, сказал Билл.

Френсис опять прислушался к луне и бутылке и услышал их еще явственнее. Если ты услышал такую музыку, незачем больше лежать. Можно встать с этой койки, подойти к заднему окну мансарды и посмотреть, как гоняет голубей Джейк Бекер. Голуби носились над всем кварталом, сукины дети, кругом, кругом, кругом, а Джейк, бывало, свистнет — и возвращаются в клетки. Черт-те что.

— Что тебе сделать на второй завтрак? — спросила Энни.

— Я не привереда. Сандвич с индейкой — в самый раз.

— Чаю еще хочешь?

— Этого чаю я всегда хочу, — сказал Френсис.

Чтобы его не увидели, он держался от окна подальше, когда смотрел на голу-

бей или с другого конца чердака наблюдал за игрой в футбол на школьной спортивной площадке.

— Если тебя не увидят, все обойдется, — сказала ему Энни.

Она меняла ему постельное белье два раза в неделю, повесила бежевые занавески и купила пару черных штор, чтобы по вечерам он мог читать газету.

Но нужды в чтении он больше не испытывал. В голове не осталось мыслей. Если мысль появлялась, то оседала на мозге, как утренняя роса на каменной равнине. Солнце уничтожало росу, и только ее следы оставались на камне. А камню эти следы не нужны.

Вопрос состоял в том, дознаются ли они, что спину человеку сломал Френсис. Ищут ли его? Или делают вид, что не ищут? В сундуке он нашел старый тренировочный свитер и носил его с поднятым воротом, чтобы скрыть лицо. Еще он нашел пилотку Джорджа Куинна — она придавала ему военный вид. В армии он дослужился бы до нашивок, медалей. Дисциплина всегда была ему по душе. Никому не придет в голову разыскивать его в пилотке Джорджа.

— Френ, ты любишь желе? — спросила Энни. — По-моему, я никогда не делала тебе желе. Да и не помню, продавали тогда «Джелл-О»?

Если его разыскивают, тогда кончен бал. Погасли свечи. Он отправится туда, где тепло, где не надо больше бежать от людей и прятаться от погоды.

Эмпирей — область вовсе не пространственная, он не движется, и у него нет полюсов. Он обнимает светом и любовью primum mobile[1], отдаленнейшее и быстрейшее из материальных небес. В primum mobile являют себя ангелы.

Но если его не разыскивают, он как-нибудь скажет Энни (у нее уже была такая мысль, это он понял) насчет того, чтобы поставить койку в комнате у Данни, если все точно утрясется и образуется.

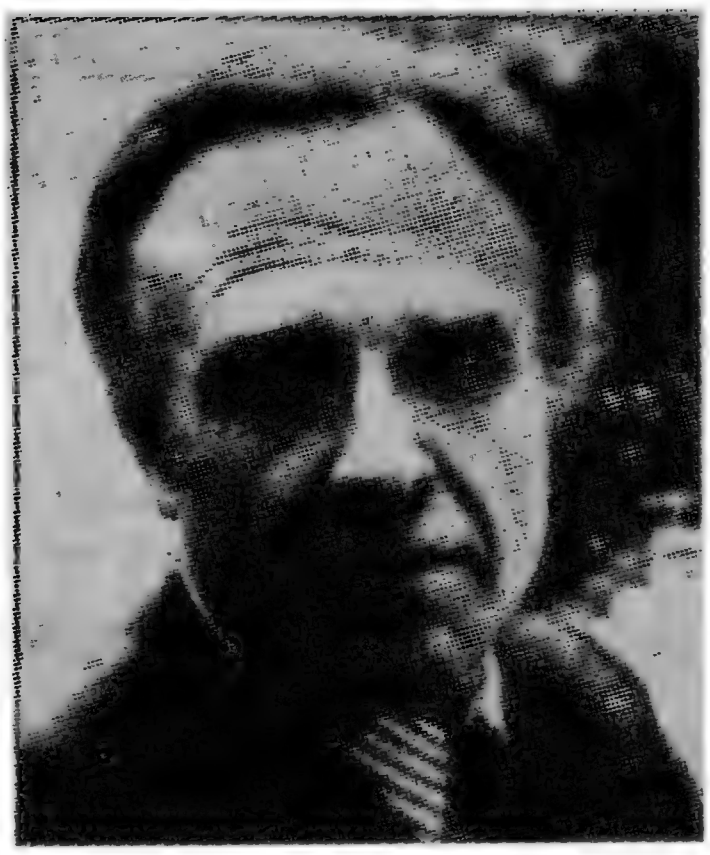
В этой комнате у Данни места было много.

И утром там солнечно.

Славная у него комната.

■

[1] Перводвигатель (*лат.*).



АДОЛЬФО БЬОЙ КАСАРЕС

Дневник войны со свиньями

РОМАН

Перевод с испанского Е. ЛЫСЕНКО

Эта книжка прочитывается залпом и оказывается, в сущности, небольшой и компактной, подобно последним повестям А.Чехова. Но принадлежит она, несомненно, той новой латиноамериканской литературе, которая так широко завоевала мир, еще начиная с Гарсиа Маркеса. Этот роман — аргентинский. Место действия — Буэнос-Айрес, и, кстати, читатель бродит по улицам, бульварам, районам города, совсем ему неведомого, так же свободно, привыкая к нему и постепенно узнавая улицу за улицей, как и герои книги.

А герои книги — старики. Компания друзей-стариков, «мальчиков», как они сами себя называют, спаянных многими-многими годами дружбы. Ах, несчастные старики! Как они просыпаются, что им снится, как они одиноки, беспомощны, беззащитны, — ах, их жалкое самообслуживание, кипячение чая, еда, их встречи за игрой в карты, более ради общения и желания повидаться и поболтать, нежели развлечься. О, их вставные челюсти, прокрадывание в уборную, чтоб не увидели соседи (особенно — соседки), их старомодность, ветхие костюмы, и мысль — мысль — бесконечная, одна и та же постоянная, тревожная мысль о своей старости, о прошедшем, о страхе смерти. Но! Какая жадная, пронизывающая все и вся жажда жить, быть, не умирать, любить, оставаться на свете, в этих своих домах, в городе, среди людей.

И вот на них-то, на этих стариков, надвинулась война. Их называют свиньями — молодежь, разумеется — и начинают отлавливать и уничтожать. Физически. Геноцид против старости.

Герой книги Исидор Видаль, его друзья — Рей, Нестор, Аревало, Джими, Данте. Однажды вечером — с этого понедельника, 25 июня и начинается роман, — выходя из кафе, где они играли в свой труко, старики видят, как на какой-то помойке группа парней избивает палками стоящего на коленях старика — газетчика дона Мануэля. Так приходит тревога, опасность, нарушается пусть несладкая, нескладная, но привычная и дорогая жизнь.

Исидор Видаль постепенно теряет одного товарища, второго, третьего. Война со свиньями разгорается, она уже приобретает идеологию, сторонников, уже дети стариков втягиваются в таинственные отряды охотников за стариками. Я сказал, что эта книжка компактна, — да, несомненно, но пишет ее писатель-романист, мастер подробностей, не пропускающий ничего важного, ничего главного.

Это — роман о старости? Об истреблении стариков?..

Нет, наверное, это было бы слишком просто и прямолинейно.

Ничего подобного. Это роман, оказывается, о любви! О том, как старый (еще не самый старый) Исидор Видаль во время разгоревшейся войны со свиньями все ближе и ближе становится девушке-соседке по имени Нелида. Она давно тайно нравится ему; она же, в свою очередь, давно тянется к Исидору, так или иначе помогая ему, подбодряя, приближаясь к нему тоже.

Что-то в этой истории есть похожее, с одной стороны, на «Кола Брюньона», с другой — на «1984» Оруэлла. Что-то есть.

Потому что есть великое божественное начало и свойство человека: сопротивление, непокорность. Когда страх становится невыносим, смыкается вокруг, словно вода над тонущим, когда бессилие против давиловки опускает руки и опустошает душу, тогда ненависть включает противосилу, чувство самосохранения и самозащиту — рабство уже не выдавливается из человека по капле: зверь в загоне, человек взрывается, встает с четвереньек, в рост. Кто видел глаза и поведение ведомого на заклание животного, тот поймет; кто помнит себя в положении невыносимом, обреченном, тот вспомнит; жизнь, сама биология взрывается под лапой настигающей смерти, спазм непокорства, несдачи сотрясает человеческое животное. Откуда что берется, но включаются все механизмы защиты: камуфляж, хитрость, забившиеся давно в пятки достоинство и честь, и человек распрямляется, встает и идет на штыки, на направленное дуло, на нож — во спасение. Дети не любят стариков, молодость брезгует старостью — свиньи-старики, смерть им, они больше не нужны! Но нет, старики — люди, им жадно хочется жить, еще жаднее, чем прежде, потому

что мало остается. И вот именно молодость, женская рука доброты, юное чувство парадоксально приходят на помощь старому дону Видалю: милая Нелида забирает его к себе, прикрывает и защищает собой. Тонко и нежно, без всяких сцен похоти или любовных схваток (как оно могло бы быть), замедленно и деликатно рассказывает автор об этом неожиданном романе-подвиге, романе-спасении, рожденном человечностью и состраданием, с тенью неизбежной печали, с затаенным вопросом: а что дальше? — и вторым: а как же другие? как все прочие «свиньи» — так ли придет к ним спасение или по-другому? Или только Исидору Видалю так чертовски, так божественно повезло? Все хорошо? Хеппи-энд?.. Отнюдь. Склонный к философствованию Видаль говорит: «Какое-то время человек волен делать то, что ему нравится, но когда ты подходишь к границам, поставленным тебе жизнью, напрасно думать, что будешь счастлив, потому что тебе повезло, тебя любят... Вспомнил последние дни своего отца. Хотя он, Видаль, не отходил от его постели, он чувствовал, что отец одинок, что к нему не пробьешься. И ничем не мог помочь ему, только время от времени обманывал... Теперь подошла его очередь уйти, а если он вернется на улицу Гватемала, ему придется обманывать Нелиду и говорить ей, что все будет хорошо, что они счастливы, что ничего плохого не может с ними произойти, потому что они любят друг друга. И снова он прикусил губу, потому что у него вырвалось: «Докторша Исидорито была права: надо видеть жизнь как она есть».

Грустно? Грустно. Что же поделаешь, это не самая веселая книжка из тех, что приходилось читать за последнее время.

Но «жизнь как она есть» — несомненное ее достоинство.

МИХ. РОЩИН

1

Понедельник, 23 — среда, 25 июня

Исидоро Видаль, которого соседи называли дон Исидро, с прошлого понедельника почти не выходил из своей квартиры и избегал показываться на глаза. Ну конечно, кое-кто из жильцов, а тем паче девушки из швейной мастерской в большом зале напротив, иногда видели его мельком. В их густонаселенном доме приходилось преодолевать немалые расстояния — чтобы добраться до санузла, надо было пройти через два внутренних дворика. Но как бы там ни было, дон Исидро в своей квартирке, состоявшей из его комнаты и смежной комнатки его сына Исидорито, был в эти дни отрезан от внешнего мира. Сын, работавший классным надзирателем в вечерней школе на улице Лас-Эрас, вставал поздно и обычно уносил газету, которую отец ждал с нетерпением, и вдобавок Исидорито упорно забывал о своем намерении отнести в починку радиоприемник. Лишенный своего ветхого аппарата, Видаль не мог слушать ежедневные «домашние беседы» некоего Фаррелла, которого люди считали тайным вождем «Молодых турок», движения, вспыхнувшего, подобно новой звезде, среди нашей нескончаемой политической ночи. Перед своими друзьями, ненавидевшими Фаррелла, Видаль его защищал, даже горячо защищал; он, правда, отвергал аргументы юного каудильо, продиктованные скорее озлоблением, чем разумом, и осуждал его клеветнические и лживые выпады, но не скрывал восхищения его ораторскими способностями, страстным, истинно аргентинским тембром голоса и, претендуя на объективность, считал заслугой то, что они внушают миллионам париев чувство собственного достоинства.

Причиной нынешнего затворничества Видаля — слишком долгого и уже становившегося опасным — было то, что недавно у него появилась ноющая зубная боль, из-за которой он все время прикрывал рот рукой. Но вот однажды, возвращаясь днем из санузла, он услышал неожиданный вопрос:

— Что с вами?

Видаль отнял руку ото рта и смущенно взглянул на своего соседа Больоло. Да, это сосед поздоровался с ним.

— Ничего особенного, — с готовностью ответил Видаль.

— Как это — ничего? — возмутился Больоло, у которого, коль приглядеться, было какое-то странноватое выражение лица. — А почему это вы рот рукой прикрываете?

— Да зуб у меня. Болит. Пустяки, — улыбаясь, ответил Видаль.

Был он невысокого роста, худощавый, волосы на голове начали редеть, взгляд

грустный, а когда улыбался, даже нежный. Настырный Больоло достал из кармана записную книжку, написал фамилию и адрес, вырвал листок и сунул его Видалю.

— Это дантист. Сходите непременно сегодня. Уж он приведет вас в порядок.

В тот же день Видаль отправился по указанному адресу. Потирая руки, дантист ему объяснил, что в известном возрасте десны размягчаются, словно они глиняные, но, к счастью, наука теперь располагает отличным методом: производится удаление всех зубов и замена их искусственными. Назвав общую сумму, этот тип приступил к методичной пытке и наконец, надев на распухшие десны вставные челюсти, скомандовал:

— Можете закрыть рот!

Куда там! Боль, чужеродные предметы во рту, да еще ощущение неловкости при взгляде в зеркало противились этому. На другой день Видаль проснулся с чувством недомогания и жаром. Сын посоветовал опять сходить к дантисту, но дон Исидро и слышать не хотел об этом типе. Больной, удрученный, лежал в постели и первые двадцать часов даже не решился выпить мате[1]. От слабости недомогание лишь усугублялось, а температура была удобным предлогом, чтобы не выходить из дому.

В среду, 25 июня Видаль решил покончить с этим безобразием. Да, он пойдет в кафе и сыграет, как обычно, партию труко[2]. Он сказал себе, что встретиться с друзьями лучше всего вечером.

Когда он вошел в кафе, Джими (Джеймс Ньюмен, ирландец, ни слова не знавший по-английски, рослый, светловолосый, румяный мужчина шестидесяти трех лет) приветствовал его:

— Завидую тебе, вот жевать-то будешь!

Видаль чуточку поболтал по-братски с беднягой Нестором Лабарте, который, как теперь выяснилось, прошел через такое же испытание. Снимая и надевая сероватую челюсть, Нестор произнес загадочную фразу:

— Предупреждаю, лучше не разговаривай, не то худо будет.

Как обычно, мальчики засели за партию труко в кафе «Каннинг», напротив площади Лас-Эрас. Словечко «мальчики», ими употреблявшееся, отнюдь не указывало на смутное, подсознательное желание слыть молодыми, как уверял Исидорито, сын Видаля, — это просто следствие того, что когда-то все они были молоды и вполне оправданно называли себя так. Исидорито, который слова не скажет, не посоветовавшись с некоей докторшей, качает головой и предпочитает не спорить, как бы предоставляя отцу самому разбираться в собственных ложных аргументах. Его нежелание спорить Видаль оправдывает. Разговаривая, друг друга не поймешь. Мы понимаем друг друга и приходим к согласию «за» или «против» чего-либо, как стая собак, которая нападает или отгоняет случайного врага. Например, все они — Видаль, если не забывался, избегал говорить «мальчики» — за игрой в труко убивали время и развлекались не потому, что специально сговорились или настроились, но в силу привычки и благодаря ей. Они привыкли к этому часу, месту, к фернету[3], к этим картам, к этим лицам, к материалу и цвету костюмов, так что для их компании исключалась всякая неожиданность. Доказательство? Ну, например, если Нестор — друзья в шутку произносили «Нестор» на французский лад, грассируя, — начинал говорить, что он что-то забыл, Джими, которого за живость и находчивость называли Конферансье, заканчивал за него фразу словами:

— Ну да, забыл начистоту.

А Данте Ревора еще раз припечатывал:

— Стало быть, ты забыл начистоту.

Напрасно Нестор, с его по-юношески румяным лицом, круглыми, как у петуха, глазами и манерой всегда говорить очень серьезно, уверял, что эта-де оговорка у него со времен его невообразимо далекого детства, да так и осталась... Его не слушали. И тем более не слушали, когда он приводил в пример Данте, упорно произносившего «мермелад» вместо «мармелад», причем никто не отказывал ему в уважении как человеку образованному.

---

[1] Мате, или парагвайский чай, — напиток, изготовляемый из листьев кустарника с тем же названием, а также небольшой сосуд, из которого его тянут через трубочку. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Карточная игра.

[3] Название недорогого ликера.

Поскольку вечер 25 июня приобретает в дальнейших воспоминаниях черты некоего сна, даже кошмара, здесь необходимо отметить все конкретные подробности. Первое, что мне приходит на ум, это то, что Видаль проиграл все партии. Ничего удивительного в этом не было, так как в другой команде играли Джими, человек без совести и хитрец первостатейный (Видаль иногда его спрашивал, не продал ли он свою душу, как Фауст), и Лусио Аревало, победитель многих чемпионатов по труко в кафе «Ла Палома» на улице Санта-Фе, да еще Леандро Рей, по кличке Толстяк. Рей, булочник, выделялся среди мальчиков тем, что еще не был пенсионером и был испанцем. Хотя три его дочки, снедаемые властолюбием, допекали его, чтобы он отошел от дел и лучше посиживал с друзьями на солнышке на площади Лас-Эрас, старик упорно не оставлял своего места у кассы. Черствый эгоист, трясущийся над своими деньгами, опасный в делах и в картах, Рей вызывал раздражение у друзей лишь одним небольшим недостатком: когда он ел, будь то сыр или арахис, поданные с фернетом, он не скрывал своей обжорливости. Видаль говорил: «Меня мутит от отвращения, я желаю ему смерти». Аревало, бывший журналист, когда-то поставлявший театральную хронику в агентство, связанное с провинциальными газетами, был среди них самым образованным. Хотя он не отличался красноречием или блестящим остроумием, ему случалось скромно и к месту ввернуть словечко с истинно креольской иронией, которая заставляла забыть о его безобразии. Безобразие это усугубляла возраставшая с годами неопрятность. Плохо выбритое лицо, нечистые стекла очков, прилипший к нижней губе окурок, окрашенная никотином слюна в уголках рта, перхоть на пончо довершали облик этого болезненного, астматического субъекта. На стороне Видаля играли Нестор, чьи уловки были по-детски неуклюжи, и Данте, никогда не отличавшийся живостью ума, а теперь из-за глухоты и близорукости и вовсе замкнувшийся в своей скорлупе.

Чтобы отчетливо восстановить в памяти этот вечер, напомню еще одну его особенность: холод. Было так холодно, что все сидевшие в кафе, будто сговорясь, дружно согревали дыханием себе руки. Видалю все казалось, что где-то что-то неплотно закрыто, и он то и дело озирался вокруг. Данте, который, проигрывая, всегда сердился (удивительно, что его преданность футбольной команде «Экскурсион» не научила его философски относиться к неудачам), стал его упрекать, что он невнимательно играет. Тыча в сторону Видаля пальцем, Джими воскликнул:

— Старик работает на нас!

Видаль смотрел на остренькое лицо, на усы, которые, возможно, из-за леденящего холода казались ему припорошенными снегом, и не мог надивиться нахальству своего друга.

— А мне холод на пользу, — заявил Нестор. — Так что готовьтесь, сеньоры, к разгрому.

Он победоносно выложил карту на стол. Аревало произнес стишок:

Я не грущу, вы это бросьте,
Коль деньги все профукал,
Сегодня проиграю в труко,
А завтра выиграю в кости.

— Прошу, — сказал Нестор.

— Кто просит, тому дают, — сказал Аревало и покрыл старшей картой.

Вошел в зал продавец газет дон Мануэль и, выпив у стойки стакан красного вина, вышел, оставив, как всегда, дверь полуоткрытой. Опасаясь сквозняков, Видаль проворно вскочил и закрыл дверь. Возвращаясь на свое место, он на середине зала едва не столкнулся со старой, худющей, неопрятной женщиной, живым примером слов Джими: «Какого только безобразия не навыдумывает старость!»

— Проклятая старуха! — отвернувшись, пробурчал Видаль.

В первый момент, чтобы оправдать это свое ex abrupto [1], Видаль, обдумывая фактическую сторону, обвинил старуху в сквозняке, который, чего доброго, может повредить его бронхам, и мысленно отметил, что женщины никогда не соизволят закрыть за собою дверь, потому как все они воображают себя королевами. Но тут

[1] Здесь: внезапная реплика (*лат.*).

же спохватился, что неправ — в незакрытой двери был виноват бедняга газетчик. Старуху можно было попрекнуть разве что старостью. Оставалась, однако, другая альтернатива — бросить ей с едва скрываемым гневом вопрос: чего понадобилось ей в этот час в кафе? Ответ он получил бы весьма скоро — старуха исчезла за дверью с табличкой «Для дам», а как она оттуда вышла, никто не видел.

Друзья играли еще минут двадцать. Чтобы задобрить судьбу, Видаль прибегал к самым верным способам: смиренно выжидал, покорно все принимал. Тут не годилось проявлять упрямство. Разумный игрок знает, что судьба предпочитает тех, кто следует за ней, и неблагосклонна к тем, кто ей противится. Коли карта не идет, да еще с такими партнерами, разве выиграешь? После пятого проигрыша Видаль заявил:

— Сеньоры, пришло время сниматься с лагеря.

Они подвели итог и разделили деньги, Данте уплатил свою долю проигрыша и счёта, но друзья вернули ему деньги, несмотря на его протест. И как только Данте сунул чаевые в карман, поднялся обычный веселый галдеж.

— Я всем скажу, что с ним незнаком, — объявил Аревало.

Его тут же шутя упрекнули в скупости.

Оживленно переговариваясь, они вышли из кафе. От внезапно охватившего их холода все на миг притихли. Влажный туман, превращаясь в изморось, окутывал фонари белым ореолом.

— Ух и сырость, до костей пронимает! — вымолвил кто-то.

— Я сразу почувствовал — в горле першит, — веско высказался Рей.

И впрямь, кто-то из них закашлялся. Пошли по улице Кабельо, по направлению к улицам Паунеро и Бульнес.

— Ну и вечер, — заметил Нестор.

— Чего доброго, еще и дождь пойдет, — слегка ироничным своим тоном предположил Аревало.

Всех рассмешил Данте.

— Вы у меня попляшете, как потом еще больше похолодает! — сказал он.

— Брррр! — подытожил Конферансье.

Общение с ближними — лучший посох, помогающий двигаться по пути старости и болезней. Подтвержу это фразой, которую сами они высказали: «Несмотря на ненастную погоду, друзья были в приподнятом настроении». С шутками и прибаутками они вели веселый диалог глухих. Выигравшие вспоминали перипетии игры, проигравшие отделывались беглыми замечаниями о погоде. Аревало, обладавший способностью видеть со стороны любую ситуацию, даже ту, в которой сам участвует, заметил как бы про себя:

— Дурачимся как мальчишки. Да мы никогда не перестанем ими быть. Почему же нынешняя молодежь этого не понимает?

Они были так поглощены своими разговорами, что не сразу услыхали шум, доносившийся из пассажа «Эль Ласо». И вдруг крики заставили их вздрогнуть, теперь они заметили, что кучка людей смотрит с ожиданием в сторону пассажа.

— Собаку убивают, — предположил Данте.

— Осторожней, — посоветовал Видаль. — А вдруг она бешеная.

— Наверно, там крысы, — высказался Рей.

В этом месте всегда бродили полчища собак, крыс и кошек, так как торговцы небольшого рынка на углу оставляли кучи отбросов. Любопытство сильней страха, и друзья подошли ближе на несколько метров. Сперва они услышали смутный шум, потом различили брань, удары, стоны, лязг железа и жести, тяжелое дыхание. Белесый свет фонарей выхватывал из полутьмы силуэты подпрыгивающих и орущих парней, вооруженных палками и железными прутьями, ожесточенно избивающих какую-то фигуру, темневшую среди мусорных контейнеров и куч отбросов. Видаль увидел искаженные яростью лица — все молодые и будто опьяненные хмелем своего превосходства.

— Этот человек — газетчик дон Мануэль, — тихо сказал Аревало.

Видаль разглядел, что несчастный старик стоит на коленях, низко наклонясь всем туловищем и прикрывая окровавленными руками израненную голову, которую он пытался спрятать в урне.

— Надо что-то делать! — беззвучно воскликнул Видаль. — Они же его убьют!

— Замолчи! — приказал Джими. — Не привлекай их внимания.

Расхрабрившись, и оттого что друзья его удерживали, Видаль стоял на своем:

— Надо вмешаться. Они его убьют.

— Он уже мертв, — флегматично заметил Аревало.

— За что? — недоуменно спросил Видаль.

— Тихо! — прошептал ему на ухо Джими.

Потом Джими, видимо, куда-то отошел. Пытаясь его найти, Видаль наткнулся на парочку, которая смотрела на избиение осуждающе. Парень в очках с книгами под мышкой, девушка на вид вполне порядочная. Надеясь на моральную поддержку, которую часто встречал у незнакомых людей на улице, Видаль заметил:

— Какая жестокость!

Девушка открыла сумочку, достала очки с круглыми стеклами и неторопливо надела их. Оба повернули к Видалю свои лица, защищенные очками, и невозмутимо на него уставились.

— Я противница всякого насилия, — заявила девушка, чересчур четко выговаривая слова.

Пропустив мимо ушей эти дышащие холодом слова, Видаль попытался найти сочувствие в сердцах молодых людей.

— Мы тут ничего не можем сделать, но полиция, зачем она-то существует?

— Знаете, дедушка, теперь не время ходить проветриваться, — посоветовал ему юноша почти участливым тоном. — Почему бы вам не пойти домой, пока вас не тронули?

Такое ничем не заслуженное обращение — у Исидорито не было детей, а сам Видаль полагал, что, несмотря на намечавшуюся плешь, выглядит моложе своих сверстников, — огорошило его, он понял эти слова как желание от него отделаться и принялся искать своих друзей, но никого не обнаружил. В некотором смятении он наконец покинул это место — и с мальчиками не поговоришь, не поделишься тяжким впечатлением.

Дом Видаля находился на улице Паунеро напротив мастерской по обивке автомобильных сидений. Собственная комната показалась Видалю неуютной. В последнее время он чувствовал неодолимую тоску, которая словно бы изменяла облик самых привычных предметов. Ночью вещи, стоявшие в комнате, казались ему холодно враждебными соглядатаями. Он старался не шуметь — в смежной комнате спал сын, который ложился поздно, так как работал в вечерней школе. Накрывшись одеялом, Видаль с тревогой сказал себе, что, пожалуй, всю ночь не уснет. Как ни устраивайся, неудобно. Думаешь и ворочаешься. Вот и говори после этого, что мысль не влияет на материю. Картина увиденного стояла перед глазами с нестерпимой яркостью, он ворочался в надежде, что видения и воспоминания рассеются. И вдруг он решил, быть может желая сменить течение мыслей, что неплохо бы сходить в уборную — облегчишься и уснешь спокойно. Конечно, прогулка через два двора зимней ночью отпугивала, но он не мог себе позволить, усомнившись в пользе такого похода, обречь себя на бессонницу.

Когда он среди ночи оказывался в неприветливом помещении санузла — холодном, темном, дурно пахнущем, — это всегда действовало на него угнетающе. Причин для мрачных мыслей всегда хватает, но почему они осаждают его именно в эту пору и в этом месте? Чтобы забыть о газетчике и его убийцах, Видаль стал вспоминать время, теперь неправдоподобное, когда тут даже приятные приключения бывали... Кульминация одного из них произошла как-то под вечер, когда он, сам не зная как, очутился в объятиях дочки кухарки, сеньоры Кармен, которая обслуживала одну семью в Северном районе [1]. Нелида с матерью жили в большой комнате напротив его квартиры, там, где теперь была швейная мастерская. Чисто случайное воспоминание о конце этой интрижки совпало с другим воспоминанием, для Видаля мучительным и (почему, он сам не понимал) мерзким, о разгоряченном, пьяном старике, гонявшемся с ножом за сеньорой Кармен. От Нелиды у него остались в сундучке, где он хранил на память старые вещи родителей, фотография их обоих, сделанная в Роседале [2], и шелковая выцветшая лента. Да, теперь все по-

---

[1] Район богатых в Буэнос-Айресе.

[2] Роседаль — парк в одном из районов Буэнос-Айреса — Палермо, где живет Видаль.

другому. Если раньше он случайно встречался в санузле с женщиной, оба смеялись; теперь же он, извинившись, старался побыстрее удалиться — как бы не сочли его ловеласом или еще кем погнуснее. Возможно, причина его тоски в этом ухудшении его положения в обществе. Факт, что уже многие месяцы, а может, и годы, он предается пороку воспоминаний; как другие пороки, этот сперва был развлечением, а со временем стал причинять боль и вредить здоровью. Он сказал себе, что завтра будет чувствовать усталость, и поспешил обратно. Уже лежа в постели, Видаль сформулировал с относительной четкостью (зловещий симптом для страдающих бессонницей) мысль: «Я пришел к той поре жизни, когда усталость не помогает уснуть, а сон не помогает отдохнуть». Ворочаясь с боку на бок, он опять вспоминал сцену убийства и, возможно, чтобы отделаться от неприятного чувства при воспоминании о трупе, который Видаль недавно видел воочию, а теперь в воображении, он спросил себя, действительно ли убитый был тот самый газетчик. И его вдруг объяла пылкая надежда, словно участь бедняги газетчика была для него важнее всего на свете: он стал представлять себе, как тот бежит по улицам и зовет на помощь, но быстро спохватился и отогнал от себя фантазии, боясь разочароваться. Вспоминались слова девушки в очках: «Я противница всякого насилия». Сколько раз слышал он эту фразу, не придавая ей никакого значения! Теперь же, в тот самый миг, когда он сказал себе: «Ну и самодовольная особа!», он впервые понял ее смысл. И тут ему в голову пришла какая-то теория насилия, довольно разумная, но, к сожалению, он сразу ее забыл. Он подумал, что в ночи, подобные этой, когда, кажется, все отдал бы за то, чтобы уснуть, у него появляются блестящие мысли — хоть в газетную заметку. Когда запели птицы и в окнах забрезжил утренний свет, Видаль всерьез огорчился — ночь прошла зазря. И в этот момент он уснул.

2

Четверг, 26 июня

Проснулся он от тревожной мысли, что надо идти на бдение у тела покойного. В последнее время его легко одолевало беспокойство.

На керосинке Видаль приготовил мате, который выпил впопыхах, закусив несколькими кусочками вчерашнего хлеба. Завтрак был точно рассчитан — Видаль не позволял себе злоупотреблять мате или хлебом, не то у него начинался странный жар, что его немного пугало. Он помыл ноги, руки, лицо, шею. Причесался, попрыскав волосы фиалковой туалетной водой и смазав брильянтином. Затем поспешил в швейную мастерскую и попросил у девушек разрешения воспользоваться их телефоном. Вставные челюсти стали для него какой-то манией. Он готов был поклясться, что девушки его разглядывают и сплетничают о нем, будто он урод или единственный человек с искусственными зубами. Его удивило одно обстоятельство: приготовясь ко всему, он не заметил ни одной улыбки, ничего такого, что походило бы на насмешку. Он увидел серьезные, озабоченные, нахмуренные лица, похоже, чем-то испуганные, может, сердитые. Это показалось ему странным.

Он позвонил Джими, но там никто не ответил. У Рея подошла дочка и сказала, что отец вышел и что она просит их не беспокоить. Между тем одна из швей, блондинка с белой кожей по имени Нелида, напоминавшая ему, хотя бы именем, его когдатошнюю Нелиду, упорно смотрела на него, как бы желая что-то ему сказать. Ну если она действительно хочет с ним поговорить, она может найти удобный случай (она жила в этом же доме вместе со своей подругой Антонией и матерью Антонии доньей Далмасией). Видаль всегда чувствовал себя неловко, когда во время разговора по телефону на него смотрели. Он терялся, как если бы его стали перебивать во время трудного экзамена; еще более неприятно было, если смотрели, когда его роль в разговоре была невыигрышной. Ребячество? Порой Видаль спрашивал себя, чему мы научаемся с годами — не тому ли, чтобы мириться со своими недостатками? Уголком глаза он глянул на устремленную на него пару глаз, на нежную белую кожу, на округлости грудей под трикотажной кофточкой и сказал себе, что для поклонника красоты ничего нет прекраснее, чем молодость. Сердце у него вдруг заныло, и он еще подумал, что девушки в этом возрасте способны на всякие безум-

ства, но что он-то, стоящий здесь с растерянным видом, уж наверно кажется им дурак дураком. Он оставил на полочке деньги за разговор и ушел, не желая долго занимать телефон.

Лучше он зайдет в ресторан и там спокойно поговорит по автомату. К тому же купит газету, узнает, действительно ли платят, как утверждали Фабер и другие, пенсию за май. Прежде чем выйти из дому, он огляделся, не бродит ли тут управляющий, обжившийся в Аргентине галисиец, анархист, ревниво соблюдавший интересы домовладельца. К счастью, не было в холле и сеньора Больоло, который из смутной ненависти к роду человеческому бесплатно служил галисийцу соглядатаем. Каждый месяц, с приближением 20-го числа, когда Видаль обычно получал пенсию и платил за квартиру, он старался избегать встречи с этими двумя субъектами.

Было приятно идти по улице в солнечный день, «разминать коленки», как говаривал Джими. Утро было безоблачное, и в подтверждение пророчеств мальчиков холод не ослабел. Выйдя на улицу, Видаль увидел, что мастерская обойщика заперта.

— Полдень еще далеко, а они уже закрылись, — сказал он себе беззлобно. — Народ нынче работать не любит. Ну и жизнь пошла!

И про себя отметил, что у него всегда находится повод поговорить с самим собой и выдать какую-нибудь сентенцию.

На телефоне в ресторанчике, как обычно, красовалась записка «Не работает». Направляясь по улице Лас-Эрас к площади, он спросил себя вслух, чем объяснить, что это городское утро кажется особенно красивым и радостным. Правда, некоторые встречные смотрели на него как-то слишком пристально, и это было неприятно. Очень странно, подумал он, что вставные челюсти так привлекают внимание, и тут же успокоил себя: «В конце-то концов, рот ведь у меня закрыт». Неужто вставные зубы и обращенные на него взгляды были причиной ноющего чувства в груди? Нет, ее, наверно, надо искать в привлекательном облике девушки, попавшейся ему навстречу, и в том, как быстро, словно убегая, она удалилась. Непонятно почему, но с годами его робость возросла: словно от неуверенности в себе он на всякий случай всегда предпочитал стушеваться. Или подлинная причина стеснения в груди крылась в том, что ему не выплатили пенсию, в денежных затруднениях, теперь столь ощутимых?

Сердечно поздоровавшись с продавцом газет на углу улиц Сальгеро и Лас-Эрас, вложив в приветствие максимум любезности и скромности, он спросил:

— Где будет бдение над доном Мануэлем?

— Его еще не забрали из морга, — ответил газетчик тоном, который Видаль решил про себя определить как безразличный.

— Что поделаешь, конец недели, — объяснил Видаль, подмигнув одним глазом. — Держу пари, что судебный врач не прочь отдохнуть и на кой ему сдались какие-то там трупы.

Вдруг он почувствовал, что его говорливость или что-то другое в его особе неприятна собеседнику. Но само такое предположение его возмутило. Разве убитый не был газетчиком, коллегой этого отталкивающе хмурого парня? Разве утонченная вежливость, с которой он, Видаль, к нему обращается, вежливость тем более ценная, что проявляет ее человек не из их цеха, разве она заслуживает презрения? Да, подумал он, вороны плодятся, даже когда их не кормят. Вера в природное дружелюбие людей побудила его дать парню еще один шанс.

— Бдение будет в Гальо?[1]

— Вы угадали.

— Вы пойдете? — не унимался Видаль.

— Чего ради?

— А я... я думаю пойти.

Тут подошла девочка и попросила журнал — возможно, поэтому парень повернулся к Видалю спиной. Видаль решил уйти — чтобы больше не унижаться, он не станет покупать газету. Подавленный, он уже отошел от стенда, как вдруг услышал озадачившую его фразу:

---

[1] На улице Гальо находится большая больница.

— Кто провоцирует, сам виноват.

У него мелькнула мысль попросить объяснения, но тут же он представил себе широкую спину парня, его мышцы, обтянутые серой курткой, и вспомнил, что по утрам часто просыпается с болью в пояснице, как если бы весь его скелет одеревенел. Осознание пределов своих возможностей — грустная мудрость.

Он пересек площадь по диагонали, не преминув остановиться у памятника и прочитать надпись[1]. Он знал ее наизусть, но, проходя мимо, всегда читал снова. С волнением он сказал себе, что эта страна в эпоху своих войн, видно, не была злопамятна.

Из автомата в кафе он попытался позвонить друзьям, но безуспешно. У Аревало не отвечали. Соседка Нестора, которая обычно не отказывалась позвать его, если осведомишься о ее здоровье и о ее семье, пробормотав что-то невразумительное, положила трубку. Видаль, всегда интересовавшийся метеорологией, подумал, что, хотя температура воздуха повышается, настроение у людей по-прежнему пониженное. Еще одна попытка связаться с Джими, на нее он потратил последнюю монетку. Он был рад, что подошла не служанка, тупая девка, которая двух слов не могла связать и плохо слышала, а Эулалия, племянница Джими.

— Он зайдет к вам вечером, — сказала Эулалия. — Я пыталась его отговорить, но он сказал, что пойдет.

Видаль еще не кончил благодарить ее за любезность, как Эулалия прервала разговор. Он направился в булочную. Когда подошел к пассажу «Эль Ласо», воспоминание о вчерашнем кошмаре омрачило его душу. С некоторым раздражением он отметил, что пассаж приобрел свой обычный вид, что не осталось ни следов, ни признаков вчерашнего происшествия. Даже постового не было. Если бы не та самая мусорная урна, он мог бы подумать, что гибель газетчика была просто галлюцинацией. Да, Видаль знал, что жизнь продолжается, что мы за ней не поспеваем, однако спросил себя — к чему такая спешка? На том самом месте, где несколько часов тому назад был убит простой рабочий человек, кучка мальчишек играла в футбол. Неужели он один чувствует, что это кощунство? Его также оскорбило, что эти сопляки, глядя на него с притворно невинным и в то же время презрительным выражением лица, дружно запели песенку:

Приходит светлая весна,
И старость расцветает.

Видаль подумал, что в последнее время сделал успехи в обретении того мужества — разумеется, пассивного или даже негативного, — которое позволяет нам не слышать оскорблений.

Проходя мимо разрушенного дома, он увидел комнату без потолка, но с сохранившимися кусками стен и предположил: «Наверно, это была гостиная». В булочной его ждал сюрприз. Леандро Рея не было на его месте у кассы.

— С доном Леандро что-то случилось? — спросил Видаль у одной из дочерей.

Любезный вопрос оказался некстати. Довольно громко — возможно, чтобы показать себя — и неприветливо, сильно двигая темными, толстыми и влажными губами, будто делает бант на подарке, девушка сказала, обращаясь к Видалю:

— Вы что, не видите, что люди стоят в очереди? Если не собираетесь что-то покупать, будьте добры, уходите!

Онемев от незаслуженной грубости, Видаль не нашелся, что ответить. Чтобы не уронить своего достоинства, надо было повернуться и уйти. С невероятным хладнокровием и словно окаменевшим лицом он выждал, пока не обретет снова дар речи, и тогда, под взглядами стоявших в очереди, перечислил:

— Шесть сдоб, четыре рогалика и булочку грубого помола.

Эта булочка грубого помола вызвала сдержанные улыбки, как если б то была фраза с намеком. Ничего подобного. Сами дочки дона Леандро впоследствии скажут, что Видаль всего лишь попросил то, что всегда. Почему же он не удалился с достоинством? Да потому что ему нравился хлеб в булочной Леандро. Потому что вблизи не было других булочных. Потому что он не знал, как объяснить своему другу, если тот спросит, почему Видаль больше не покупает хлеб в его лавке. Пото-

[1] На площади Лас-Эрас находится памятник генералу Хуану Грегорио Лас Эрасу (1780—1866), прославившемуся в войнах с Чили и Перу.

му, наконец, что он ценил верность — был верен друзьям, любимым местам, каждому из окрестных лавочников и их лавкам, своему распорядку дня, установившимся привычкам.

Говорят, многие объяснения убеждают меньше, чем одно-единственное, но дело в том, что почти для всего существует несколько причин. И, чтобы умолчать об истинной причине, всегда найдется другая.

3

Видаль вернулся домой, чтобы оставить покупку. В холле, задумчиво опершись на метлу, управляющий беседовал с Антонией, швеей из мастерской. Не успев ретироваться до того, как его заметили, Видаль, проходя мимо, услышал слова «некоторые», «пережиток», «позор» и целую фразу:

— За квартиру не платят, а в булочных и в ресторанах себя ублажают.

Замкнув за собой дверь, Видаль почувствовал себя в безопасности. Этот тип допекает его, однако он хоть не бесится. Самый злобный из нынешних управляющих — добрейшее существо сравнительно с почти легендарными временами его молодости, которые он называл «счастливыми годами»: тогда из-за пустяка вас могли выбросить на улицу. Кроме того, галисиец был прав: Видаль и его сын жили на то, что зарабатывал сын в школе и как посредник в аптеках, а о плате за жилье вспоминали тогда, когда правительство вспоминало о выплате пенсий. Да, подумал Видаль, соблюдать честность в бедности труднее, чем обычно думают, и уточнил: «Сегодня труднее, чем вчера, и куда как неприглядней».

Однако чувство облегчения очень быстро сменилось тревогой. После стольких дней вынужденного поста он ослабел, надо было поесть. Сколько еще будет продолжаться разговор в холле? Он пытался внушить себе, что у бедности все же есть некоторые преимущества. Она, например, позволяла ему вести себя не вполне благопристойно, откалывать номера, свойственные мальчишкам, и мешала ему обрести степенность, столь похожую на старость («Как у Рея, Данте или Нестора», — сказал он себе).

И тут послышались удары, гул голосов, дикие вопли управляющего и других людей. Вспомнив вчерашнее происшествие, Видаль содрогнулся. Видно, управляющий в дурном настроении, надо любыми способами избегать встречи с ним. Когда снова установилась тишина, возвратилось чувство голода, оно оказалось сильнее осторожности и заставило Видаля выйти из квартиры. Невероятное дело — управляющего в холле не было. Никого не было. Видаль вышел на улицу, свернул направо, по направлению к ресторану на углу. Прекрасно там позавтракал, взял все мягкое, чтобы не сместились челюсти, и вслух выразил свое удовольствие:

— Не зря сюда ходят таксисты, народ, который всюду ездит и знает, что к чему.

Выходя из ресторана, Видаль наткнулся на сеньора Больоло, по прозвищу Буян. Видаль поздоровался с ним. Невежа отвернулся, будто его не видит. Видаль еще размышлял о поводе для такого оскорбления, как вдруг его внимание привлекло зрелище мрачное и великолепное: перед мастерской обойщика стояла вереница черных автомобилей из похоронной фирмы. Видаль подошел к одному из окон мастерской. Внутри толпился народ.

— Что тут происходит? — спросил он у стоявшего возле дверей человека в трауре.

— Сеньор Губерман скончался, — был ответ.

— Какой ужас! — воскликнул Видаль.

Хотя глаза у него слипались, он решил с отдыхом повременить и вошел в дом, где происходило бдение над покойным. С семьей Губермана его связывали кое-какие воспоминания — а ему нравилось хранить верность воспоминаниям, они тогда как бы обретали значительность преданий. Мысль, что он разделяет с близкими минуты скорби, была ему приятна.

Бедный обойщик с веснушчатой лысой головой и оттопыренными ушами! Грубоватая ирония его речей восхищала Видаля, который часто говорил себе: «Мало того что он кроит обивочную ткань и получает деньги, он еще шутит. Невероятно!» Рыжей и веснушчатой была также Маделон, дочка Губермана, с угловатым,

но приятным лицом. Когда-то Видаль за ней приударял, и не без успеха, но потом отдалился, потому что она оказалась из тех девушек, которым нравится всегда быть в большой компании. Когда он надумал с ней расстаться, он уже был знаком с кучей ее друзей и родственников, и все эти чужие люди относились к нему как к члену семьи. «Чем ты рискуешь?» — повторял он себе, однако призрак женитьбы заставил его насторожиться. Ох эта женская настырность! Когда Видаль мысленно разговаривал с женщинами — и пусть уверяют, будто передача мыслей на расстоянии это научный факт, — он им советовал не слишком нажимать. Правда, даже если они и не нажимали, он все равно уходил. Но тут он ушел слишком быстро, и у него остался ностальгический осадок. Как сказано выше, Маделон когда-то была рыжая, веснушчатая, со смеющимися глазами, чрезвычайно юная и, хотя это кажется невероятным, прехорошенькая. В последние годы Видаль иногда встречал ее — она превратилась в хмурую рослую женщину вульгарного вида с длинным лошадиным лицом, усеянным безобразными родинками и бородавками. И словно память его не могла удержать сразу два различных облика одного человека, нынешний облик Маделон он постоянно забывал и, когда встречал ее, удивлялся. Все хотелось думать, что Маделон такая же, как прежде; стоило чуть замечтаться, и он воображал себе, что та Маделон где-то прячется и если он постарается, то сумеет ее отыскать.

Первой, кого он разглядел, войдя в дом, была Маделон в ее нынешнем облике, рослая, вульгарного вида женщина. Злопамятной она не была и, как только его заметила, рыдая, прильнула к его плечу.

— Я побуду с тобой, — сказал Видаль. — Как это случилось?

Тоном человека, повторяющего все то же объяснение, Маделон ответила:

— Бедный папочка ехал домой на своей машине по Лас-Эрас, и, когда подъехал к улице Пуэйрредон...

— Как ты сказала?

Ему показалось, либо Маделон из-за траурной обстановки говорит слишком тихо, либо он стал плохо слышать.

— Подъезжая к улице Пуэйрредон, он увидел красный свет. Он дождался зеленого и хотел было ехать дальше, как тут это случилось.

— Как это было? — опять спросил Видаль.

Женщина снова принялась объяснять, но добрую половину ее слов ему не удавалось расслышать. Он подумал, что нынче люди стали говорить невнятно, почти не раскрывая рта, отвернувшись в сторону. Немного смущенный, он шепнул соседу слева:

— Девушка еле говорит...

— Какая девушка?

Маделон на миг спохватилась и четко выговорила:

— Угито только что ушел.

— Угито? — переспросил озадаченный Видаль.

— Да, Угито, — повторила она. — Угито Больоло.

— Буян? Мы встретились, и он со мной не поздоровался.

— Очень странно. Наверно, не заметил тебя.

— Заметил. А прежде был сама любезность.

— Почему бы он не стал с тобой здороваться?

— Он был любезен, чтобы надо мной подшутить. Подшутили сперва над ним, и он в отместку решил подшутить надо мной.

— Как это над ним подшутили?

— Как надо мной. Из-за вставных челюстей. Ты не заметила?

Он широко улыбнулся. Перед женщинами он обычно форсил, но бывали исключения.

Когда глаза у него уже слипались, вошел в помещение тот самый тип в трауре, который стоял у входа, и в комнате началось движение. Видаль с тревогой понял, что, если Маделон попросит проводить ее на кладбище, пропал его дневной отдых. Мигом он отошел в сторону, как человек, который кого-то ищет, чтобы о чем-то переговорить. Подойдя к порогу, подавил в себе искушение обернуться и, выскользнув на улицу, поспешил домой.

День был такой холодный, что под одеялом и пончо и то лежать было неуютно. Видаль накинул поверх них пальто. Ему подумалось, что, похоже, пришла для

него пора внезапных приступов неврастении — вид постели, накрытой коричневым пальто с пятнами и потертыми местами, повергал его в уныние.

В последние годы часок отдыха заметно его освежал. Видаль вспоминал времена, когда он, бывало, вставал в дурном настроении, со смутным недовольством. А теперь после сьесты он чувствовал себя помолодевшим, как после бритья. Зато ночи ждал со страхом: поспишь несколько часов и просыпаешься — дурная привычка, а там уж и бессонница с печальными мыслями.

Проспал он с полчаса. А ставя согреть воду для мате, подумал, что жизнь человека, как она ни коротка, вмещает жизнь двух, а то и трех разных людей; в том, что касается мате, он когда-то был человеком, любившим только горький мате, потом стал человеком, вовсе от него отказавшимся, потому что мате ему вредил, а теперь он стал ярым приверженцем сладкого мате. Только принялся он за первый мате, как пришел Джими. Что и говорить, от холода лицо Джими с острым носом и усиками еще больше смахивало на лисью мордочку. О Джими, у которого ум сочетался с почти звериной интуицией; шла слава, что он обычно приходит в гости, когда его друзья садятся за стол. Джими решительно схватил правой рукой булочку грубого помола, а левой прикрыл рогалики. Видалю стало досадно, но лишь на миг — он тут же утешил себя мыслью, что такие покупки, сделанные в некоем порыве ребяческого желания отсрочить момент капитуляции, приводили обычно ко всяким неприятностям для его пищеварения.

Отсосав пенку мате — что всегда было знаком вежливости, а теперь стало предосторожностью, — Видаль, наливая другу напиток, спросил:

— Где совершают бдение?

— Над кем? — спросил Джими, как бы не понимая.

Вид у него был не столько недоумевающий, сколько озабоченный, какой бывает у играющих в труко. Видаль, не теряя терпения, пояснил:

— Над газетчиком.

— Веселенькая тема!

— Но ты подумай, как его убили! Существует же долг солидарности.

— Лучше не привлекать к себе внимания.

— А долг солидарности?

— Это дело второстепенное.

— А что же первостепенное? — спросил Видаль с легким раздражением.

— Что первостепенное? Да у тебя какая-то мания присутствовать на всех бдениях и похоронах! В известном возрасте люди готовы учредить клуб на кладбище.

— Хочешь, я тебе кое-что скажу? Я сбежал от Губерманов, чтобы не быть на похоронах.

— Это ничего не доказывает. Тебе, наверно, захотелось вздремнуть.

Видаль промолчал. Притворяться перед Джими было бессмысленно, и он, хлопнув друга по плечу, сказал:

— Признаться тебе? Нынче утром я проснулся оттого, что мне не терпелось узнать, где совершается бдение.

— Нетерпение — это особь статья, — неумолимо отметил Джими.

— Особь статья?

— Нетерпение и раздражительность — они всегда при нас. Не веришь, подумай об этой войне.

— Какой войне?

Но Джими, будто он еще и оглох, опять начал:

— В известном возрасте...

— От этих слов меня уже тошнит, — предупредил его Видаль.

— Меня тоже. Однако я не отрицаю, что в известном возрасте у нас слабеет самоконтроль.

— Какой еще самоконтроль?

Джими, не слушая его, продолжал:

— Как и все остальное, он тоже изнашивается, слабеет, перестаешь сдерживать себя. Доказательство? Что бы и где бы ни случилось, первыми туда являются старики.

— Нет, это немыслимо! — с удивлением воскликнул Видаль. — Я ведь еще не старик, а и меня туда же.

— В итоге — прескверное сочетание: нетерпение и замедленные реакции. Неудивительно, что нас не любят.

— Кто нас не любит?

— Какие у тебя отношения с сыном? — вместо ответа спросил Джими.

— Прекрасные, — ответил Видаль. — Почему ты спрашиваешь?

— Лучше всех устроился Нестор. Они с сыном — как братья.

Услышав эту фразу, Видаль стал развивать свою любимую теорию. Сформулировав первое правило: «Надо соблюдать дистанцию, она создает атмосферу честной игры» (слова эти в данном случае не получили привычного для него одобрения Джими), он был рад поводу блеснуть способностью рассуждать и излагать мысли, испытанной в различных ситуациях, но вдруг спохватился — и тут же себя успокоил, — что, возможно, он уже высказывал Джими те же соображения теми же словами.

— По закону природы, — заключил он с чувством, — мы, родители, уходим раньше...

— В котором часу возвращается твой сын? — бесцеремонно перебил его Джими.

— Наверно, сейчас придет, — ответил Видаль, не подавая вида, что задет.

— Вот и я уйду раньше, чтобы он меня не увидел, — сказал Джими.

Эта фраза удивила Видаля и огорчила. Ему захотелось возразить, но он сдержался. Он был уверен, что любовь его не ослепляет: его сын — действительно мальчик добрый и благородный.

4

Пройдя через два дворика, Видаль направился в санузел.

Там, в прачечном отделении, Нелида, стирая в одной из раковин, разговаривала с Антонией и с племянником Больоло. Антония была девушка невысокого роста, шатенка с грубоватой кожей и короткими руками; голос ее, низкий и хриплый, напоминал голос только что проснувшегося человека. В их доме она пользовалась большим успехом. Племянник Больоло — высокий, тощий, безбородый парень с круглыми глазами, в сорочке, сквозь которую просвечивала майка, — обнимая ее за талию, воскликнул:

— Ух ты, Кобылка!

«Да, молодежь! — подумал Видаль. — Между ними двумя небось дело на мази».

— О чем вы тут болтаете? — спросил он.

— Уходите, уходите! — смеясь, сказала Антония.

— Вы меня гоните? — спросил Видаль.

— Что вы! Конечно нет, — заверила его Нелида.

— Дону Исидро нечего слушать, о чем мы тут говорим, — настаивала Антония.

Видаль про себя отметил, что у Нелиды зеленоватые глаза.

— Почему же? — запротестовал племянник Больоло. — Сеньор Видаль духом молод.

— И сердцем чист, — прибавила Нелида.

— Надеюсь, что так, — отозвался Видаль и подумал, что ему пришлось пережить переходную эпоху. В годы его молодости женщины не разговаривали так вольно, как теперь.

— Не только духом молод, — сказала Нелида с некоторым пафосом. — Сеньор Видаль в расцвете сил.

— Как жаль, что меня величают «сеньор», — заметил Видаль.

— В каком году вы родились? — спросила Антония.

Видалю вспомнилось посещение их дома двумя девушками, проводившими опрос жильцов для какого-то института психологии или социологии. Он подумал: «Недостает лишь, чтобы и эта вытащила тетрадку и карандаш». И еще: «Как мне приятно в обществе молодых».

— Об этом не принято спрашивать, — ответил он шутливо.

— Я считаю, вы правы, — согласился племянник Больоло. — Не обращайте

внимания на Кобылку. Могу вам сообщить: Фабер ей не ответил.

— Ты же не станешь приравнивать сеньора к тому старику! — с неожиданной горячностью возмутилась Нелида. — Спорим, что Фаберу уже пятьдесят стукнуло.

«На мой взгляд, ему что-то между шестьюдесятью и семьюдесятью, — подумал Видаль. — Для этих молодых людей человек пятидесяти лет уже старик».

— Если хочешь знать, — продолжала Нелида вызывающим тоном, — сеньор моложе твоего дяди, так что поосторожней.

Это заявление явно не понравилось племяннику сеньора Больоло: он помрачнел, и на какой-то миг пошловатое выражение его лица сменилось другим, откровенно порочным. Видаль подумал, что такая довольно ребяческая привязанность к такому довольно противному родственнику, как Больоло, достойна уважения. И еще спросил себя, хватит ли у него смелости зайти в уборную на глазах у этих молодых людей. Глупая стыдливость, ведь в конце-то концов... Он тут же ее определил: это стыдливость мальчишки. Мужчина — втайне мальчик, перерядившийся во взрослого. А другие мужчины тоже такие? Вот Леандро Рей — он тоже мальчишка? Без сомнения, Леандро обманывает его, Видаля, как он сам обманывает других.

5

Жизнь робкого человека полна неудобств. Направившись обратно к себе, Видаль осознал, что фигура человека, входящего в уборную, куда менее нелепа, чем фигура человека, ретирующегося из-за того, что у него не хватило смелости туда зайти. Что может быть более стыдного, чем дать заметить, что тебе стыдно? В довершение всего этот эпизод отнюдь не был завершен. Сомнения нет, долго он не вытерпит, придется возвращаться. Единственная надежда на то, что девушки и племянник Больоло вскоре оттуда уйдут. Рука Видаля уже лежала на дверной ручке, как сам Больоло собственной персоной ошарашил его вопросом:

— Как поживаете, дон Исидро?

С этим типом никогда не знаешь, как себя повести. Видаль был настолько растерян, что в ответ ляпнул:

— А вы как поживаете, сеньор Буян?

Была надежда, что этот громила не расслышал прозвища, произнесенного довольно невнятно и неуверенно.

С высоты своего роста Больоло пристально на него посмотрел и с величайшей серьезностью сказал:

— Возьму на себя смелость дать вам совет. Говорю с вами, ей-ей, по-дружески. Галисиец злобствует все больше. Уплатите, Бога ради, за квартиру, прежде чем этот тип учинит какую-нибудь пакость. От людей добра не жди, говорят, что вы роскошествуете в ресторанах, а за кров и за приют не платите. — Он повернулся, чтобы уйти, но еще прибавил: — Не спрашивайте, откуда я знаю, но им известно даже то, сколько вы истратили на зубы.

Войдя в квартиру, дон Исидро увидел, что сын перебирает вещи в платяном шкафу.

— Порядок наводишь? — спросил Видаль.

Все еще стоя спиной, парень издал какое-то междометие, которое Видаль понял как «да». Он рассеянно смотрел, как Исидорито прячет в шкаф старую шляпу, шарф, перочинный нож, ремень для правки бритвы, коробочку из светлого дерева с надписью «На память о Некочеа» [1], куда он клал на ночь карманные часы.

— Че[2], это же всё мои вещи! — вдруг спохватился Видаль. — Мне надо их иметь под рукой.

— А они под рукой и есть, — ответил Исидорито, закрывая шкаф.

— Ты с ума спятил? — спросил отец. — Про шляпу и шарф я не говорю. Но

---

[1] Город в провинции Буэнос-Айрес, славящийся прекрасным пляжем на берегу Атлантического океана.

[2] Фамильярное, дружеское обращение у аргентинцев.

узнать рано утром, который час, если часы будут там, в шкафу, это, по-твоему, удобно?

— Сегодня вечером у нас здесь соберутся наши ребята из Молодежного объединения.

В тоне, которым были произнесены эти слова, Видалю почудился оттенок досады или нетерпения.

— Вот и прекрасно! — воскликнул он с искренней радостью. — Я очень доволен, что ты позвал к себе друзей. Мне, знаешь, кажется, что для тебя куда лучше встречаться с молодыми людьми твоего возраста...

Он вовремя остановился, не желая обидеть сына. Бывало, что, забыв про осторожность, он напоминал сыну про эту докторшу, сделавшую Исидорито таким педантичным и агрессивным. Исидорито сухо ответил:

— По мне, пусть бы не приходили.

— Ты бы посмотрел на моего отца, как он был внимателен к моим друзьям. Потому что средства у нас были более чем скромные — не знаю, поймешь ли ты меня. Он даже заставлял маму, когда испечет для гостей пироги, надевать самое лучшее платье.

— Вот уж у тебя мания вспоминать свое старичье.

— Не забывай, что это твои дедушка и бабушка.

— Знаю, знаю, мы из простого рода. Ты мне об этом постоянно напоминаешь.

Видаль посмотрел на него с ласковым любопытством. Да, у самых родных, самых близких людей бывают мысли, о которых мы не подозреваем... Это обстоятельство, определяемое им как «мы не прозрачные», казалось ему когда-то защитой, гарантией для каждого человека его внутренней свободы, — теперь же оно огорчало его как признак одиночества. Чтобы пробиться к сыну и вытащить его из этого одиночества, Видаль сказал:

— Что до меня, я очень рад, что они придут. Как раз недавно я думал, что мне всегда приятно общество молодых.

— Не понимаю, почему тебе оно так приятно.

— А тебе с ними разве неприятно?

— Почему мне может быть неприятно? Я же — не ты.

— Ага, дело в разнице поколений. Мы друг друга не понимаем? Это докторша тебе объяснила?

— Может, и она, только знаешь, лучше, чтобы ребята тебя здесь не застали. К сожалению, придет один такой, ну просто бешеный. Народ его ужасно любит, он развозит овощи. Колоритный тип, народный герой. Про него даже сочинили стишок:

Выезжай из-за угла,
Удалой водитель...

— И что, мне придется бродить по улицам, пока ты будешь принимать друзей?

— Что ты выдумал! По улицам! Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось.

— Нет, я все же не могу поверить тому, что слышу. Ты хочешь, чтобы я спрятался под кроватью?

— Еще что выдумаешь! У меня замечательная идея, — сын взял его за руку и вывел из квартиры. — Не будем терять времен и. Они могут явиться в любую минуту.

— Не толкай меня. Куда мы идем?

Исидорито подмигнул отцу и, приложив палец к губам, прошептал:

— На чердак.

Видаль мог истолковать эти слова как объяснение или же как приказ. В первом дворике они встретили Фабера, направлявшегося в санузел. Появилась и Нелида с узлом белья. Подталкиваемый сыном, Видаль торопливо поднялся по узкой лестнице, надеясь, что девушка его не увидела. На чердаке пришлось продвигаться на четвереньках, так как крыша была очень низкая.

— Тут тебе будет замечательно, — уверил его Исидорито. — Ляжешь на какой-нибудь ящик и сможешь поспать. Свет погаси и не спускайся, пока я не дам сигнал.

Прежде чем Видаль успел слово вымолвить, Исидорито кубарем скатился по лестнице. Местечко незавидное, подумал Видаль. Дон Сольдано, оптовый торговец птицей и яйцами, пользовался чердаком как складом и загромоздил его гряз-

ными, вонючими ящиками. Когда погас свет, темнота стала нестерпимо гнетущей. Исидорито так спешил, что Видаль даже не догадался захватить пончо или пальто, чему отчасти был рад — вещи уж точно пришлось бы потом нести в химчистку; он дрожал от холода, не говоря о том, что доски, на которые он лег, были достаточно тверды. Да еще забежал бы хотя бы в уборную, прежде чем сюда подняться... Он всегда теряет голову, когда сын начинает нервничать.

Вот так же сбивала его с толку двадцать лет тому назад Виолета, мать Исидорито, женщина пылкая, одержимая самыми необузданными идеями без всяких оснований. Видя ее убежденность, Видаль всегда чувствовал, что любое сомнение будет оскорбительно, и подчинялся ее господству. Какие образы возникали прежде всего в его памяти, когда он думал о времени, прожитом с Виолетой? Прежде всего монументальные розовые округлости, и цвет волос — красновато-рыжий, и запах, отдававший какой-то звериной едкостью. Потом несколько моментов периода, который ему теперь казался совсем коротким: день, когда она в «Пале Бланк» объявила ему, что ждет ребенка и что они должны пожениться. День, когда родился ребенок. День, когда он наконец узнал, что она ему изменяет. Давали фильм с Луизой Брукс, он зашел в тот же самый «Пале Бланк» и внезапно почувствовал до боли знакомый аромат духов, и в темноте зала, из переднего ряда, до него донесся несомненно ее голос. «Не беспокойся, — говорила Виолета. — Он без меня в кино никогда не ходит». День, когда он обнаружил на подушке записку Виолеты: она доверяла ему сына — «Ты хороший отец» и т.д., — а сама отправилась куда-то на север с неким парагвайцем. Вот и досталась ему участь — он еще спрашивал себя, может, причина в каком-то его изъяне, — воспетая во многих танго, но, как он убеждался, глядя вокруг, не совсем обычная. Когда Виолета его оставила, друзья только и рассуждали, что о ярме супружества и о том, как им хочется его сбросить, словно они жен своих несли на закорках. Неверность Виолеты его огорчила, но особой боли и отчаяния, которых ожидали окружающие, он не испытывал, а тот факт, что он сам растил сына, снискал ему у соседок необычайное уважение, хотя иные среди них давали ему понять, что они не могут уважать мужчину, занимающегося не своим делом. В ту пору он задумал переехать в отдельную квартиру — ему как раз досталась в наследство от одного родственника некая сумма (ох и огорчилась бы бедняжка Виолета, кабы об этом узнала!); но так как здешние соседки, пока он бывал на работе, присматривали за Исидорито, он от этого намерения отказался. Деньги постепенно разошлись на повседневные нужды, и Видаль перестал думать о смене жилья. Потом он вспомнил вечер, когда, придя домой, услышал в соседней комнате, среди женского гомона, восхищенный возглас одной из них: «Смотрите, какая у него штучка!» От этого воспоминания у него возобновилось желание сходить в уборную. Он прямо пришел в отчаяние, но спуститься не смел — ведь сын наказал этого не делать. Нет, такая слепая покорность сыну достойна жалкого старика; потом, подумав, он решил, что так мог бы рассуждать только дурно воспитанный человек; уж наверно, не зря ему запретили спускаться. Но одно было бесспорно — больше он не вытерпит. Кое-как пробрался он по вонючему чердаку за последний ряд ящиков и, став на колени, в весьма неловкой позе, обильно, неудержимо помочился. К концу он заметил свет в щелях между досками пола — о ужас, там, внизу, вероятно, находилась комната сеньора Больоло. От одной мысли о потасовке в этом месте, загаженном куриным пометом, его кинуло в дрожь. С величайшей осторожностью он спрятался за ящиками в противоположном конце чердака. Вскоре ему стала сниться история одного господина, который почти все годы тирании Росаса[1] провел, укрываясь на чердаке, пока его не выдал старший из его детей, которыми он по ночам успевал наградить жену, и тогда масорка[2] отрубила ему голову. Потом, в другом эпизоде этого же сна, он, красуясь перед женщинами, скакал верхом на лошади через высокие препятствия и, сочетая личную скромность с патриотической гордостью, объяснял: «На коне я, как всякий аргентинец, держусь неплохо». Но так как раньше он никогда верхом не ездил, его охватило сомнение в своих способностях, и в конце концов он упал и больно ушибся. Над его лицом, благоухая лавандой, склонилась Нелида и спросила: «Что они тебе сделали?» Нет, в дей-

---

[1] Хуан Мануэль Росас (1793—1877) — диктатор Аргентины в 1835—1852 гг.
[2] Клика, поддерживавшая тирана Росаса.

ствительности Нелида повторяла другое:

— Они уже ушли.

— Который час? — спросил он. — Я тут немного вздремнул.

— Два часа. Они уже ушли. Исидорито не пришел за вами, потому что должен был их проводить. Он скоро вернется. Теперь вы можете сойти вниз, дон Исидро.

Когда он попробовал встать, все тело у него заломило, да еще в пояснице стрельнуло. С тревогой он спросил себя: «Неужто опять люмбаго?» Ему было неловко, что девушка видит, с каким трудом он поднимается, подобные вещи он мысленно называл «старческие немощи».

— Я, наверно, похож на старика инвалида, — смущенно сказал он.

— Просто вы лежали в неудобном положении, — объяснила Нелида.

— Да, скорее всего, — неуверенно согласился он.

— Позвольте вам помочь.

— Еще чего! Я сам могу...

— Позвольте.

Да, без ее помощи он отсюда бы не выбрался. Нелида поддерживала его как сестра милосердия и довела до квартиры. Видаль покорно дал себя вести.

— А теперь позвольте помочь вам лечь, — попросила Нелида.

— Нет, нет. До этого я еще не дошел, — улыбаясь, возразил он. — Я и сам могу лечь.

— Ладно. Я подожду. Не уйду, пока вы не ляжете.

Она повернулась к нему спиной, и он, глядя, как она стоит на середине комнаты, подумал, что в ней ярко выражены сила и красота молодости. С некоторым усилием он разделся и лег.

— Готово, — сказал он.

— Чай у вас есть? Сейчас приготовлю вам чашечку чаю.

Хотя люмбаго давало себя знать, Видаль ощутил прежде неведомое блаженное чувство, ведь уже много-много лет — не упомнишь сколько — никто его не баловал. Он подумал, что вот и он приобщается к удовольствиям старости и болезней. Подавая ему чай, Нелида сказала, что немного у него побудет. Она села в изножье кровати, заговорила — вероятно, просто чтобы поддержать разговор — о своей жизни и с некоторой гордостью сообщила:

— У меня есть жених. Хороший парень, я хотела бы, чтобы вы с ним познакомились.

— Да, конечно, — сказал он без особой радости.

И подумал, что ему нравятся руки Нелиды.

— Он работает в мастерской по ремонту автомашин, но у него есть музыкальные способности, и он участвует в народном трио «Лос Портеньитос» — по вечерам они играют в ресторанах в центре, главным образом в «Пласа Италия».

— Собираетесь пожениться? — спросил он.

— Да, только вот накопим денег на квартиру и на обстановку. Любит он меня до невозможности. Прямо не надышится.

И Нелида продолжала хвалиться. Послушать ее красочные описания, так ее жизнь представляла собой череду побед на вечеринках с танцами и на всяческих празднествах, где она была бесспорной героиней. Видаль слушал ее с чувством недоверия и нежности.

Отворилась дверь. Исидорито удивленно посмотрел на них.

— Извините, я вам помешал.

— Вашему отцу нездоровилось, — объяснила девушка. — Вот я и побыла с ним, пока вы не вернетесь.

Видалю показалось, что Нелида слегка покраснела.

6

Пятница, 27 июня

На следующее утро он почувствовал себя лучше, но все же не вполне здоровым. Будь у него деньги, подумал Видаль, он пошел бы в аптеку, попросил бы, чтобы ему сделали укол, и все бы прошло (пусть не в тот же день, а после того, как

проведут полный курс). Но пока не получил пенсию, все расходы, кроме остро необходимых, исключались. Если бы в аптеке его принял сеньор Гаравента, затруднений не было бы, но если примет сеньора Ракель, неприятностей не оберешься. Все осложнялось тем обстоятельством, что как раз у доньи Ракели была рука легкая, а уколы самого аптекаря отличались болезненностью.

По дороге в санузел Видаль встретил Фабера и Больоло, который, сильно жестикулируя и горячась, что-то многословно рассказывал.

— А вы-то где прятались ночью? — спросил Фабер, слегка отстраняя своего собеседника.

— Да я, ээээ... — в сильном смущении пролепетал Видаль. Но объяснения не понадобилось.

— Что до меня, — перебил его Больоло, — то меня не так легко застать врасплох...

Видаль глянул на него с некоторым любопытством: Больоло говорил как-то странно, даже выражение лица было необычным.

Но тут вмешался Фабер, стараясь говорить погромче, чтобы заставить себя слушать:

— Мне удалось спрятаться в уборной, — объяснил он, — но поверьте, ночку я провел не дай Бог! Вдруг стали стучать в дверь. Я уже подумал, мне конец, но они ушли.

— Что до меня, — продолжал гнуть свое Больоло, — то меня не так легко застать врасплох. Как только я увидел, что эти ребята меня обступили — а я, знаете, голову не теряю, — я сразу понял, им лучше не перечить.

— На рассвете, когда уже можно было выйти, — продолжал Фабер, — я с места не мог подняться. От долгого сидения обострилось люмбаго, болью свело поясницу.

— Точно как у меня, — в порыве братского чувства сказал Видаль.

— Нет, нет, — запротестовал Фабер. — Я, когда вышел из уборной, еще долго не мог разогнуться.

Больоло, хотя и не очень-то блистал красноречием, сумел завладеть вниманием собеседников.

— Ребята засели за карты, так мы и развлекались — беседовали, планировали вылазки, до поздней ночи. Не думайте, что мое положение было таким уж легким. Они собирались идти в центр, и я, хотя виду не подавал, сильно нервничал. Когда стали расходиться, я попытался остаться, но они потребовали, чтобы я шел с ними. Я хотел присоединиться к группе вашего сына, он-то хотя бы знакомый, но двое из них подхватили меня под руки, и так, знаете, дружески беседуя, мы пошли Бог знает как далеко по направлению к станции Пасифико. Возле винного склада один из них, звали его Нене, все таким же любезным тоном сказал, что я должен забыть все, что слышал в этот вечер. Второй похвалил мою вставную челюсть и под предлогом, будто хочет ее рассмотреть поближе, выдернул ее у меня изо рта. Вы не поверите — когда я попросил ее отдать, самый щуплый из них сказал, что если, мол, я хочу возвратиться домой целым и невредимым, то лучше мне не терять времени.

— В любом случае мы отделались намного дешевле, чем Губерман, — заметил Фабер.

— Ваш сын, дон Исидро, — обратился к нему Больоло с нарочитой любезностью, к которой он прибегал в щекотливых обстоятельствах, — произвел на меня впечатление серьезного молодого человека. Не попробуете ли вы его расспросить?

— Расспросить? — удивился Видаль.

— Может, он согласится разведать, есть ли у меня надежда получить мою челюсть обратно. Вы же знаете, как дорого она стоит.

— Еще бы не знать.

— Можно на вас рассчитывать?

— Конечно, можно. А что случилось с Губерманом?

Больоло недоверчиво поднял брови, но все же начал объяснять:

— Бедняга ехал в своем автомобильчике по Лас-Эрас...

Фабер, слегка его отстраняя, перебил:

— Можно мне сказать? Я вырезал в «Ультима ора» [1] показания убийцы. — Он

---

[1] Газета, выходящая в Буэнос-Айресе. Название переводится как «В последний час».

достал из кармана вырезку и осторожно ее развернул. — Тут все напечатано, слово в слово. Слушайте:

«Когда я увидел впереди в машине эту лысину, я понял, что попал не в свой ряд. Признаюсь, я, вероятно, был уже на взводе, был сильно раздражен. Но поверьте мне, сеньоры, все произошло так, как я предвидел: когда другие машины тронулись, эта, что была передо мной, ни с места — водитель, этот старичок с плешью, видимо, медленно соображал, долго раскачивался, прежде чем снова тронуться. Старик стал жертвой накопившегося во мне раздражения из-за прежних подобных ситуаций, которые возникали по вине таких же стариков. Я не мог сдержать себя, искушение пальнуть в эту лысину между парой торчащих ушей оказалось неодолимым».

— Что же сделали с этим сумасшедшим? — спросил Видаль.

— Бросьте, че, не говорите таких слов, — возразил Больоло.

— Он тут же был отпущен на свободу, — сообщил Фабер.

Больоло открутил кран над одной из раковин и, набрав воду в пригоршню, попил.

— Не забудьте, пожалуйста, — напомнил он Видалю, — если будет удобно, расспросите вашего сына.

И он пошел прочь из санузла. Остальные двое медленно последовали за ним.

— Мне его жаль, — сказал Фабер.

— А мне — нисколько, — ответил Видаль. — Вид у него наглый, а на самом-то деле он жалкий подхалим при нашем управляющем. Сам не знает, к какой стороне пристать.

Им встретились Нелида и Антония. Видаль заметил, что с Фабером девушки не поздоровались. Впрочем, тот сразу ушел к себе домой.

— Поздравляю вас, дон Исидро, с такими друзьями, — иронически заметила Антония.

— Вы имеете в виду Буяна?

— Буян еще куда ни шло. Но этого старого бесстыдника я не переваривaю.

— Антония права, — подтвердила Нелида.

Видаль взглянул на Нелиду, полюбовался изящным изгибом ее шеи, подумав, что его можно сравнить с лебединым и что он, Видаль, каждый раз открывает в этой девушке что-то новое.

— А что он сделал? — торопливо спросил Видаль.

— Чего только он не сделал! — вспылила Антония. — Гнусный старикашка! Вот я говорю с вами, а злость прямо меня душит. Да он вечерами пристает к девушкам с самыми подлыми намерениями — околачивается тут, возле уборных! Спросите у Нелиды, если мне не верите.

— Верно, — подтвердила Нелида. — С десяти вечера он уже здесь, в засаде.

— Не может быть! — воскликнул Видаль.

— Уверяю вас. Мы-то знаем.

— Что вы говорите! Неужто он не понимает, как это мерзко? Наверно, он отчаялся, потому и стыд потерял.

Видаль прибавил, что в такое поведение Фабера трудно поверить, и искренне его осудил.

— Такого старикашку, — заявила Антония, — я бы выдала без всяких угрызений совести.

Видаль, внутренне соглашаясь с нею, попытался все же заступиться:

— Он несчастный человек.

Он это повторил несколько раз и пробовал найти еще какие-то оправдания, но встретил беспощадный отпор.

— Таких стариков надо бы всех изничтожить, — вынесла свой приговор Антония.

— Ну ладно. Я признаю, что вы обе правы. Старики, которые пристают к молодым женщинам, — это жалкое зрелище. Отвратительное. Вы обе правы. Совершенно правы. Но если их сравнить с каким-нибудь доносчиком, предателем, убийцей...

— Вас-то Фабер не оскорбил. Вы станьте на мое место.

— Ну конечно, вы оскорблены, — согласился Видаль. — Фаберу нет прощения. Но, может быть, этот несчастный не понимает, насколько смехотворно его

поведение, потому что понять это — означало бы признать, что ты стар и смерть уже совсем близко.

— А мне какое до этого дело? — спросила Антония.

Видаль счел ее реплику вполне законной, но все же, полагая, что должен сделать последнюю попытку в пользу приятеля, подытожил свои аргументы следующими словами:

— Ладно, я согласен, что вы обе правы. Он старый, некрасивый, но мы за это не можем его винить. Никто не бывает старым и некрасивым по своей воле.

Антония посмотрела не него, покачав головой, словно услышала нечто из ряда вон выходящее и прощает его лишь потому, что принимает его таким, каков он есть.

— Нет, дона Исидро не переспоришь. Пойду лучше постираю.

Нелида, отправляясь вслед за ней, успела шепнуть:

— Вы при Антонии так не говорите.

7

Ему явно стало лучше. Долгий день, праздно проведенный дома, пошел на пользу. А не выходил он по совету Нелиды. В полдень, когда собрался пойти в ресторан, он столкнулся с ней в прихожей.

— Не выходите, — сказала девушка. — По-моему, вам сейчас выходить на улицу не следует. Сегодня отдыхайте и завтра совсем поправитесь.

— Ну, знаете, одним воздухом не прокормишься. А у меня нет сил даже вермишель сварить.

— Моя тетя Паула принесла мне коробочку пирожных. Могу я вас угостить?

— Если придете есть их вместе со мной.

— Нет, нет, только не это. Пожалуйста, не обижайтесь. Вы же знаете, люди-то какие.

Вот он и съел — сперва одно, потом второе и так все полдюжины, вкус дивный, и запил несколькими мате. Однако еда, видимо, оказалась тяжелой для желудка, он долго спал днем, спал, как бывало раньше, когда после сьесты просыпаешься и не знаешь, день сейчас или середина ночи. Вставши, снова выпил мате, тщетно ожидая, что Исидорито принесет приемник, который наконец был отдан в починку. Потом, собравшись с силами, сварил вермишель и поел ее с тертым сыром и вчерашним хлебом, запивая красным вином. Когда остались одни крошки, явился Джими.

— Я опоздал? — спросил Джими.

— Трудно поверить, но это так. Уже ничего не осталось.

— Ну не будешь же ты меня уверять, что у тебя не припрятано кое-что в буфете на десерт? Какая-нибудь запеканка? А может, плитка шоколада?

— Да уж ладно, есть шоколад Исидорито. Тебе это, правда, будет вредно.

— Не волнуйся, желудок у меня еще работает, — заявил Джими, быстро откусывая от плитки. — Надеюсь, вы из-за этого не поссоритесь? Кстати, сегодня вечером мы идем играть к Нестору, у него с сыном прекрасные отношения. Так будет безопаснее. Ты пойдешь?

Видаль подумал, что можно бы и пойти — ведь Нелида не узнает, к тому же неплохо будет пообщаться с мальчиками, немного проветриться, рассеяться, а то после целого дня безделья да еще тяжести в желудке стали возникать мрачные мысли.

— На улице все так же холодно? — спросил он.

— Оденься потеплей, а то похоронные венки нынче дороги.

Видаль накинул на плечи старенькое пончо, и они вышли в темноту.

— Что с тобой? — спросил Джими. — Идешь весь согнутый.

— Да ничего. Боль в пояснице.

— Годы, старина, годы. Кто поумней, заранее смекает, как бороться со старостью. Коли думать о ней, тоска берет, духом падаешь, люди это замечают, говорят тебе, что сдаешься прежде времени. Коли забываешь о ней, тебе напоминают, что каждому овощу свое время, и называют тебя смешным старикашкой. Нет, против старости нет лекарства. Смотри, там на углу толпится народ, небось какая-ни-

будь уличная компания, или, как их называют, карательный пикет... Давай-ка лучше повернем в обход, чтоб с ними не встречаться.

— Да, со всем можно смириться. Как ты думаешь, два старых, почтенных аргентинца времен нашей молодости стали бы унижаться до таких предосторожностей?

— Ну, знаешь, в то время все были задиристые, а впрочем, когда их никто не видел, может, и они смирялись.

8

Нестор жил с женой и сыном, которого тоже звали Нестор, на улице Хуана Франсиско Сеги, в домике, где в сторону улицы выходила столовая и еще одна комната, а третья комната и подсобные помещения были обращены не то к саду, не то к пустырю. Когда два друга вошли в дом, остальные уже были в сборе в столовой. На стене там висели часы, остановившиеся на двенадцати. Хозяйка дома, сеньора Рехина, как обычно, перед друзьями мужа не появлялась; вместо ответа на вопрос о ней он неопределенно указал рукой на задние комнаты.

Сын Нестора, извиняясь, сказал:

— Меня ждут в кафе на другой стороне авениды.

— Авениды Альвеара, — уточнил Данте.

Все рассмеялись. Джими на полном серьезе объяснил:

— У нашего старикана доисторические представления.

— Сеньор Данте хотел сказать «авенида Освободителя», — вежливо поправил сын Нестора.

— Данте прав, — заметил Аревало. — Надо сопротивляться смене названий. Каждые двадцать лет меняются номера домов, меняются названия улиц...

— Меняются люди, — заключил Джими и стал напевать «Где он, мой Буэнос-Айрес?».

— Да, все изменилось, это уже совсем не тот город, что прежде, — констатировал Аревало.

Нестор-младший стал прощаться с гостями.

— Вот нагрянули к вам, — оправдывался Видаль.

— Теперь вам приходится уйти, — прибавил Аревало.

— Главное, чтобы вам было удобно, — уверил их паренек. — Обо мне не беспокойтесь.

— Но это же безобразие, что вам из-за нас приходится уходить, — сказал Аревало.

— Какое это имеет значение? — возразил парень. — Я к папиным друзьям отношусь хорошо. — И вполголоса прибавил: — Что бы ни случилось.

Он ласково похлопал отца по плечу, улыбнулся и, приветственно приподняв руку, вышел.

— Славный мальчик, — сказал Видаль.

— Болтунишка, — проворчал Джими.

Нестор поставил на стол бутылку фернета, жареный арахис, маслины. Рей жадно протянул руку. Кинули карты, кому с кем играть. Видалю выпало играть с Джими и Аревало, так что в этот вечер он мог заранее считать выигранными все партии.

— Что вы скажете про обойщика? — с полным ртом спросил Рей.

— Вы его знали? — спросил Видаль у Нестора.

— Да я его тысячу раз видел напротив твоего дома.

Хотя Нестор произносил «р» на французский манер, никто не улыбнулся, кроме Джими, — тот шутливо подмигнул одним глазом.

— О ком это вы? — поинтересовался Данте.

— Я с тревогой замечаю большие перемены, — вставил Аревало.

— О дедушке Рея, — давясь от смеха, сказал Джими.

— Я тебе не верю, — отрезал Данте.

— Да, я с тревогой замечаю большие перемены, — повторил Аревало. — Прежде о таких происшествиях читали в полицейской хронике, случались они с каки-

ми-то неизвестными; теперь же — с людьми нашего квартала.

— Которых мы знаем в лицо, — со зверской гримасой прибавил Рей.

— Еще немного — и горе нам! — простонал Джими, подмигивая одним глазом.

— Ты бездушный человек, — с укором сказал Рей. — Почему правительство терпит, чтобы этот болтун по государственному радио распространял такую заразу?

— Я считаю, — задумчиво сказал Видаль, — что Фаррелл пробудил сознание молодежи. Если ты против «бесед у очага», тебя тут же зачислят в мафусаилы.

— Правильное рассуждение, — с улыбкой заметил Аревало.

— Вот она, отрава, слышите? — указал на Видаля Рей. — Наш друг Исидро заговорил словами демагога.

— Согласен, — подтвердил Аревало. — Но ты, Леандро, уж очень разошелся. Ты настоящий консерватор.

— А почему бы мне им не быть?

— Почему старые люди становятся ненавистны? — рассуждал Аревало. — Они слишком самодовольны и не уступают другим своего места.

— Да разве нашего Толстяка кто уберет от кассы? — спросил Джими.

— Что? Я должен уступать каким-то мошенникам, потому что они молодые? Отказаться от плодов моего собственного труда? Бросить руль?

Подмигивая одним глазом, Джими запел:

— «Ах, как ворчлива старость!»

— Очень смешно, — хмыкнул Нестор и, как всегда картавя, продолжал: — Но если правительство не сдержит эту волну, кто сможет жить спокойно?

— Помните богачку с улицы Угартече? — спросил Рей.

— Старуху кошатницу? — спросил Аревало.

— Да, старуху кошатницу, — подтвердил Рей. — В чем могли ее обвинить? Так, чудачество, кошек кормит. И вот вчера у самого ее дома банда мальчишек забила ее насмерть на глазах у равнодушных прохожих.

— И кошек, — прибавил Джими, который не выносил, когда долго предаются унынию.

— Они обнюхивали труп, — уточнил Рей.

— Когда сидишь напротив этого испанца, — обратился Джими к Видалю вполголоса, — прямо хоть зонт раскрывай. Видел, как у него изо рта вылетел кусочек ореха? Мы, старики, когда разговариваем, плюемся. До сих пор я был избавлен от этой неприятности, а теперь и сам начал брызгать слюной. Недавно заспорил не помню с кем и в пылу объяснений посадил ему на рукав белое пятнышко. Как ни в чем не бывало продолжаю разговор, а сам только и думаю: хоть бы он не заметил!

— Случай с дедушкой куда хуже, — сказал Аревало.

— С дедушкой Рея? — спросил Данте.

— Разве вы не читаете газеты? — удивился Аревало. — Этот дедушка был для семьи обузой, и два внучка, один шести лет, другой восьми, прикончили его.

— Вы что, сговорились меня дразнить? — спросил Джими. — Поговорим о вещах серьезных. Выиграет «Ривер»[1] в воскресенье?

— В честном поединке «Ривер» делает невозможное! — заявил Рей.

— Верно. Ты, как всегда, рассуждаешь правильно, — отметил Аревало.

— А при чем тут его дедушка? — с раздражением спросил Данте.

Стали вспоминать всякие происшествия на футбольном поле и на трибунах.

— В нынешнее время человек благоразумный смотрит футбол по телевизору.

— Что до меня, — сказал Данте, который наконец что-то расслышал, — я на футбол не хожу, хотя бы даже играли экскурсионисты.

Нестор, заявив, что он сторонник «настоящей, честной борьбы», объявил:

— В воскресенье увидите, как я буду на стадионе болеть за «Ривер».

— Не впадай в азарт, — попросил Джими.

— Самоубийца, — флегматично определил Рей.

— Нестор идет со своим сыном, — сообщил Данте.

— А, это другое дело, — согласился на этот раз Рей.

---

[1] Футбольная команда.

Сияя от отцовской гордости, Нестор подтвердил:

— Поняли? Я человек не азартный и не самоубийца. Со мной пойдет сынок.

— А пока он разговоры разговаривает, — заметил Джими, — игра не движется, он просто оттягивает проигрыш. Неужто старикашка нас всех надует? Вот хитрец!

Проиграв четыре партии подряд, неудачники сказали, что с них довольно. Данте объявил, что хочет пораньше лечь, Нестор предложил еще по стаканчику фернета и орешки. Рей заметил, что уже полночь. Они расплатились.

— Уж в любви нам дьявольски повезет! — сказал Нестор.

— Почему вам должно повезти? — спросил Джими. — Что вы проиграли, в том не карты виноваты.

— Оставьте нам хотя бы надежду, — с дружеской укоризной сказал Рей и, улыбаясь, покачал головой.

— Поглядите на него, — призвал всех Аревало. — Куда девалось его знаменитое нахальство? Нет, недаром Новион[1] утверждал, что одна только мысль о любви смягчает человека.

Вышли все вместе, но очень скоро разошлись в разные стороны все, остался лишь Рей.

— Хочется размять ноги, — сказал он Видалю. — Я провожу тебя, Исидро, до дома. — И доверительно прибавил: — Прошу тебя, не думай, будто для меня единственное удовольствие в жизни — это развалиться в кресле и смотреть футбол по телевизору. Говорю это с полным уважением ко всем новинкам техники.

Видаль почувствовал, что эта последняя фраза вызвала в нем необъяснимое раздражение. Они шли рядом, Рей взял его под руку.

— Пройдемся еще немного, — сказал Рей. — Теперь проводи ты меня.

Пока шли, Видаль думал, что хотелось бы поскорей быть дома, в своей постели, и спать, спать.

— Эта ночь не такая холодная, — сказал он, чтобы о чем-то поговорить.

— Да, наступает, хоть и с опозданием, бабье лето после дня Святого Иоанна[2].

Странно, думал Видаль, что ночью — верно, эта пора для него благотворна — его не угнетает то, что в течение дня отравляло жизнь; люмбаго, например, почти его не мучает.

Когда подошли к булочной, он поспешно воскликнул:

— До завтра!

— Я провожу тебя до дома.

Впервые Видалю пришло на ум, что друг, возможно, хочет сообщить ему что-то важное. И еще он подумал, что, если Рей никак не решится высказаться, так и будут они ходить до утра. И он снова прервал молчание:

— Почему тебя вчера не было в лавке?

— Когда? Утром? Да это девочки выдумывают...

Несомненно, Рей поглощен мыслями о том, что необходимо что-то сказать, но боится. Видаль не был любопытен. С эгоизмом усталого человека он решил прекратить это хождение туда-сюда.

— До завтра, — сказал он и вошел в дом. Перед ним смутно мелькнуло мясистое лицо Рея, приоткрывшего рот.

9

Суббота, 28 июня

Утром недомогание возобновилось. Видаль с трудом встал, вскипятил воду, оделся, выпил несколько порций мате. Пробуя те или иные движения, он внимательно прислушивался к боли. Подшучивая над собой, он сравнил свои действия с повадкой искусного игрока в труко, например Аревало (или Джими, когда он подражал Аревало), который изучает карты, с нарочитой медленностью знакомясь с общим раскладом. Вскоре он пришел к выводу, что боль вполне терпима и покамест не требует уколов или других расбходов на аптеку. И тут он вспомнил, что те-

---

[1] Альберто Аурелио Новион (1881—1937) — аргентинский комедиограф.

[2] Надо иметь в виду, что в Аргентине июнь — осенний месяц.

перь ему предстоит как мужчине преодолеть истинное испытание, притом тягчайшее: постирать свое белье. «И немедленно», — сказал он себе и, представив, как придется полоскать и выкручивать, согнувшись в три погибели, оробел, обозвал «мастодонтами» старые раковины в их доме, слишком широкие и глубокие. «Такие модели уже не выпускают, — возмутился он. — Недаром говорят, что в прошлые времена люди были крупнее». Он собрал в узелок пару носков, трусы, сорочку, майку. Покачав головой, подбодрил себя: «Ничего не поделаешь. Пока не выплатят пенсию — да еще вопрос, выплатят ли ее вообще, — я не могу отдавать белье в стирку. Антония на меня обозлится, как всегда, когда я не отдаю белье ее матери. Нет, пока мне не выплатят пенсию, эта роскошь и чужие услуги исключены. Да что же это я все сам с собой разговариваю!»

Донья Далмасия, мать Антонии, была самым известным человеком в их доме. Смолоду овдовев, за стиркой и глажкой (не переставая при этом шутить и петь) эта бравая женщина вырастила и выучила, сравнительно прилично одевая, восьмерых детей. Теперь, когда все они (кроме Антонии) уже обзавелись семьями и жили отдельно, донья Далмасия взяла к себе трех бледных девчушек, дочек своего сына, переживавшего трудные времена: в большом сердце сеньоры Далмасии места было вдоволь, а ее способность трудиться не знала границ. Однако с возрастом характер у нее изменился, проявились черты таившейся под спудом грубости, что дало повод людям, недавно поселившимся в их квартале, наделить ее прозвищем насмешливым, хотя и дружеским: Солдафон; в минуты гнева она не знала удержу — кто ее разозлит, подвергался известной опасности, но все также знали, что она быстро отходит и забывает обиды.

Направляясь в санузел, Видаль пробормотал: «Хоть бы никого не встретить! Здесь ведь считают даже, сколько раз в уборную сходишь». Ну конечно, он там застал Нелиду за стиркой и Фабера.

— Я тут объяснял сеньорите, — сказал Фабер, — что виноваты не только те, кто стар и немощен. Виноваты также те, кто науськивает.

— Вы поверите, дон Исидро? Антония на меня осерчала.

— Не может быть, — удивился Видаль.

— Не может быть? Вы ее не знаете. Сеньор Фабер не сделал мне ничего плохого, а она желает, чтобы я обращалась с ним как с собакой.

Фабер кивком подтвердил ее слова.

— Невероятно! — воскликнул Видаль.

— Хотите, больше скажу? Она теперь со всеми сплетничает обо мне, потому что я тогда ночью была в вашей комнате.

На эту новость Видаль не успел отреагировать, как она ожидала, должным возмущением — появились Данте (вид у него был какой-то необычный) и Аревало. Нелида поспешно собралась уйти.

— Ладно, — бросила она, уходя, — только уж вы не мозольте людям глаза, не выводите их из себя.

Фабер засеменил к себе домой, и тут вошел управляющий.

— Нельзя допускать, — сказал он, — чтобы всяческие свары, хотя бы и пустячные, разделяли нас. Пример? Да вот сеньор Больоло донельзя разъярен из-за того, что на него, мол, с чердака лили воду. Стоит ли так сердиться? Схожу сейчас наверх, посмотрю, что там такое. — Он отошел на несколько метров, потом вернулся и патетически возгласил: — Или мы будем держаться единым фронтом, или нас осадят со всех сторон.

— В вашем доме что-то очень беспокойно, — сказал Аревало, когда управляющий ушел. — А нам-то, пожалуй, важнее всего покой. Мы хотели с тобой посоветоваться.

— К вашим услугам, — ответил Видаль.

— Не делай такую торжественную мину. Нам надо узнать твое мнение. Данте, вот он здесь, вчера вечером решил... Сказать?

— Но мы же ради этого и добирались сюда, — с досадой сказал Данте. — Чем скорее, тем лучше.

Аревало быстро заговорил:

— Вчера вечером он решил покрасить себе волосы и хочет знать, как ты его находишь.

— По-моему, замечательно, — пролепетал Видаль.

— Ты не стесняйся, — подбодрил его Аревало.

— Объяснить тебе, что меня смущает? — спросил Данте. — Некоторым людям седые волосы противны, вызывают у них ярость, других, напротив, бесят старики с крашеными волосами.

— Сейчас все тебе объясню, — сказал Аревало. — Я рассказывал Данте, что однажды, когда заходил с девушкой в отель, мы столкнулись на пороге с другой парой. Моя девушка засмеялась: «Посмотри на старичка!» Я посмотрел, это был мой бывший соученик, моложе меня, да только он был похож на белошерстную овцу.

— А ты что, красишься?

— Ты с ума сошел? Слава Богу, мне это не нужно.

— Есть одно «но», — с озабоченным видом сказал Данте. — Крашеные волосы, они заметны.

— Кто это заметит? — возразил Аревало. — Никто ни на кого не смотрит. У нас бывает просто общее представление, что такой-то седой или лысый.

— Женщины, те наверняка смотрят, — сказал Видаль.

— Не слышу, — сказал Данте.

— Они смотрят на других женщин, чтобы их осуждать, — сказал Аревало.

— Теперь люди смотрят, — настаивал Данте. — И вы не отрицайте: крашеный старик вызывает раздражение.

— А лысые? — спросил Видаль.

— Окраска волос, — продолжал Данте, — это пока еще процесс несовершенный. Получается заметно.

— Половина девушек, которых встречаешь на улице, крашеные. Ты это замечаешь?

— Я — нет, — сказал Данте.

Словно желая сменить тему, Аревало высказал предположение:

— Бывает заметно, когда цвет уж очень отличается. Ну вот, если брюнетки перекрашиваются в блондинок.

— Брюнетки меня не интересуют. Скажите правду, я выгляжу моложе? Я же этим не хочу никого обманывать! — с отчаянием воскликнул Данте.

— Тогда зачем красился? — спросил Аревало.

— Сам не знаю, че. Я же тебя спрашивал.

— Бывает, что нет выхода и надо прыгать в пропасть.

— Легко так говорить, когда речь идет о других. А тут еще вы не хотите сказать — лучше так или нет. Может, стало хуже, чем раньше?

«Ну точно капризный и глупый мальчишка», — подумал Видаль.

— А что тогда делать лысому? — спросил он.

Возвратилась Нелида.

— Сеньор, — с тревогой шепнула она Видалю, — вас зовет к телефону Леандро.

— Вы меня подождете минутку?

— Нет, мы пойдем.

— Что вы собираетесь делать с этим бельем? — спросила Нелида.

— Буду стирать.

— Дайте его мне.

— Антония подумает о вас Бог знает что...

— Ну и пусть.

Надо было зайти в мастерскую, где работали полдюжины девушек. Для этого Видалю пришлось подавить инстинктивный страх, а между тем еще недавно ему бывало приято находиться среди молодых женщин.

— Я собираюсь, — сказал ему Рей по телефону, — вложить кое-какие деньжата в покупку отеля...

— Да что ты!

— Мне хотелось бы показать его тебе. Ты согласен прийти сегодня под вечер? Это недалеко от твоего дома. Пять часов будет не слишком рано?

Он назвал улицу — Лафинур — и номер дома.

Видаль ни за что не догадался бы, что именно этот секрет волновал накануне его друга. И он подумал, что, видно, он никудышный психолог. Совсем не разбирается в людях.

10

Выйдя на улицу Лафинур, Видаль сказал себе: «Не может быть!» Но через несколько шагов пришлось констатировать: «Другого здесь, однако, нету». Ну конечно, колебания Рея накануне вечером становились понятны: бедняга Рей не решался сообщить ему о своем намерении купить дом свиданий. Теперь уже сам Видаль заколебался. «Признаюсь, — сказал он себе, — что входить сюда без подруги как-то неловко». В дверях отеля появился Рей — широко улыбаясь, он жестом пригласил его. «Сколько лет надо прожить человеку, чтобы избавиться от пустячной стеснительности, достигнуть полной зрелости?» Видаль оглянулся кругом, вероятно надеясь войти так, чтобы никто его не видел; особенно смущало его то, что этот дубина Рей своим поведением привлекал внимание. Рей кинулся его обнимать, страшно довольный, даже взволнованный. По правде говоря, ничто не давало повода случайному очевидцу заподозрить какие-то глупости. Пара почтенных сеньоров могла оказаться здесь по тысяче причин. Например, из желания осмотреть отель с намерением его купить. Как часто бывает, истина казалась невероятной.

Рей повел его по коридору, выходившему в патио, костяшками пальцев постучался в одну из дверей, открыл ее, не дожидаясь ответа, и посторонился, пропуская Видаля вперед. После короткого замешательства Видаль повиновался. Уверенность покинула его, он не мог воспротивиться, как бывает во сне, и даже обрадовался, увидев бледного толстяка, скорее всего хозяина отеля, сидевшего за столом, на котором стоял поднос с чашечками кофе.

— Мой друг Видаль, — представил дона Исидро Рей. — Мой земляк Хесус Виласеко.

— Еще чашечку, Пако! — закричал патрон. — Да покрепче и погорячей! — И, понизив голос, со стоном спросил: — Бывают ли слуги хуже, чем в таких домах? Если удается вытащить Пако из постели, на что он годен? Чтобы подать кофе холодным, а прохладительное — теплым.

Появился упомянутый слуга с чашечкой — явный бездельник, бледный, как его хозяин, но помоложе и невероятно неряшливый.

— Дон Хесус, — доложил он, — в восемнадцатом нам опять стену отделали так, что смотреть тошно.

— Это тот, который с Анхеликой?

— Да нет. Но если я того типа застукаю...

— Еще чашечку, Пако, и на сей раз очень горячего.

— Кто это, который с Анхеликой? — спросил Рей.

— Один псих, он постоянно пишет на стене: «Анхелика, я тебя по-прежнему ищу».

Видаль подумал: «Покинутый. Он призывает ее с любовью, но без иллюзий».

— Бедняга... — пожалел он психа.

— Бедняга? — повторил хозяин. — Из-за таких вот ангелочков, вроде него, в один прекрасный день прикрывают твой отель.

— Ну уж, не прибедняйся!— сказал Рей.

— Рано или поздно наткнешься на шлюху, которая тянет за собой хвост, и тебя вышвырнут отсюда как кролика. Вы там воображаете себе, будто здесь не жизнь, а истинное Перу.

Рей лукаво его перебил:

— Не жалуйся. Если не считать похоронного бюро, какое дело приносит такую прибыль чистоганом, как твое?

— Как ты можешь сравнивать? Им-то разве кто-нибудь досаждает? Тут, знаешь, требуется такая выдержка...

Видаль подумал, что в этом диалоге роли переменились. Покупатель расхваливал товар, продавец хаял. Или оба они забыли, что каждому положено говорить?

— Что ты знаешь о моих трудностях, — спрашивал Рей у своего земляка, — когда в конце месяца надо свести концы с концами? Уж не говоря о проданном в долг и о мелких кражах.

— А ты, что ты знаешь о внезапных налетах? Инспектора, которого ты можешь ублажить сдобной булкой, я не могу умилостивить всей субботней выручкой, уж не говоря о Комиссии Совета старейшин или о плюгавцах из полиции. Знаешь, кому

я завидую? Дону Эладио, который сменил таксопарк на гаражи и на транспортировку мяса. Эй, Пако, скоро ли будет кофе?

Они долго и подробно говорили о доне Эладио. Да, эти деловые люди, сказал себе Видаль, не спешат, словно у них нет никаких дел; напротив, ему, неработающему пенсионеру, как-то неловко так попусту терять время. Но, несомненно, ему легче будет сидеть здесь, если он обнаружит что-то любопытное в спектакле, который, видимо, неизбежен; эти двое, двигаясь из исходных позиций, должны же как-то прийти к своим целям: одному надо больше получить, другому — меньше заплатить. По правде сказать, он сидел как на угольях. Вошел Пако и, ставя кофейник на поднос, сказал:

— Если кофе не горяч, виноваты клиенты. Каждую секунду звонок.

— А ты еще жалуешься! — упрекнул Рей.

— Как мне не жаловаться, Леандро? Я всего лишь прошу горяченького кофе.

Дверь приоткрылась, женский голос спросил:

— Можно войти?

Пако подошел к двери посмотреть, кто там.

— Это Туна, — сказал он. — Как поживаешь?

— Как дела? — спросил хозяин.

— Наконец-то явилась, — сказал Рей, украдкой глянув на часы.

У девушки кожа была с медным оттенком, волосы черные, жесткие, лоб низкий, маленькие колючие глаза, выдающиеся скулы, платье на ней было новое, но скромное. Видно было, что она простужена.

— Чашечку кофе, Туна? — спросил хозяин. — Пако постарается и принесет горячий.

— Спасибо, у меня нет времени.

— Нет времени? — с тревогой спросил Рей.

— Ты-то не беспокойся. Я просто говорю, что лишнего времени нет.

Видаль приподнялся со стула; так как их не познакомили, он поздоровался с ней, слегка поклонившись.

— Ладно, если угодно, пойдемте, — предложил хозяин.

Туна достала из сумочки бумажный носовой платок, аккуратно его развернула и звучно высморкалась. Видаль заметил, что она мокрую бумажку зажала в руке и что ногти у нее покрыты темно-красным лаком. Кто она? Посредница? Непохоже.

— Мы идем за тобой, — сказал Рей.

Видаль замыкал шествие. Коридор с номерами — бесконечный ряд дверей болотно-зеленого цвета — выходил к навесу, справа от которого тянулась отгороженная стоянка для автомашин. Хозяин взялся за ручку первой двери.

— Нет, нет, дон Хесус, там занято! — предупредил Пако.

— Номера все одинаковые, — заявил хозяин и отворил вторую дверь.

Туна и Рей вошли, хозяин пригласил зайти Видаля, а сам удалился, закрыв дверь. В комнате была широкая кровать с двумя ночными столиками, два стула, большие зеркала. «Я попал в западню», — сказал себе Видаль, но сразу сообразил, что эта мысль нелепа. До каких же пор он, человек уже пожилой, будет в душе ребенком? Хуже того — робким ребенком? Скорее всего, так будет во всех непредвиденных ситуациях и до конца его дней... Тут он заметил, что Рей нежно целует девушке руки.

— Или ты будешь вести себя хорошо, или я уйду, — пригрозила Туна. — Я же тебе сказала, что не могу терять времени.

— Буду паинькой, — покорно сказал Рей.

Он указал Видалю на стул, а сам сел на край кровати. Сидя в позе воспитанного мальчика, он казался очень крупным, очень толстым.

Видаль рассеянно читал надписи на стене: «Адриана и Мартин», «Рубен и Селия», «На память о сердце энтрерианца» [1], «Пилар и Рубен».

У Туны был отчаянный насморк. Она то и дело опорожняла нос, доставая из сумочки бумажные платочки, и складывала использованные кучкой на свободном стуле.

---

[1] Энтрерианец — житель провинции Энтре-Риос.

— Если ты боишься простудиться... — заботливо сказал Рей.

— Если бы мне было вредно раздеваться, — заверила его Туна, — я бы уже давно схватила туберкулез.

Раздеваясь, она аккуратно складывала одежду и вешала ее на спинку стула. Потом, голая, прошлась по комнате, с неожиданной робостью сделала несколько танцевальных движений, экстатически вскинула руки, покружилась. Видаль отметил, что кожа у нее между грудями и у лобка была сероватая, и возле пупка темнело черное родимое пятно. Девушка подошла к Рею, чтобы он ее поцеловал. Потом заговорила. Видаль с удивлением понял, что она обращается к нему.

— Ты тоже ничего не будешь делать? — спросила Туна.

— Нет, нет, спасибо, — поторопился он с ответом.

В этот миг он почувствовал, что им овладевает досада, даже злость. Рей, похохатывая, подбадривал:

— Меня можешь не стесняться... Для Туны это пара пустяков.

Наверно, он хотел показать свою власть здесь. Видаль уже готов был сухо возразить, как вдруг девушка грустным тоном сказала ему:

— Если ты ничего не будешь делать, прошу тебя взять на память.

Она достала из сумки еще один бумажный платочек, прижала его к губам и под отпечатавшимися пятнами неуклюже написала губной помадой: «От Негритянки».

— Спасибо, — сказал Видаль.

— Тебя называют Негритянкой? — спросил Рей с тревогой. — А мне ты не говорила, что тебя называют Негритянкой.

Женщина оделась, попросила ей заплатить и пустилась с Реем в ожесточенный спор о цене. Видаль вспомнил, что Рей называл момент вручения денег «моментом истины». Прощаясь, Туна и Рей уже были настроены вполне дружелюбно. Они поцеловали друг друга в щеку — ну прямо племянница с дядюшкой!

Когда мужчины остались одни, Рей поделился впечатлениями:

— А девчушка-то недурна. У меня есть и другие, вроде нее, целая куча, все время по телефону общаемся... Сказать, как я ее обнаружил? В разделе «Домашняя обслуга» в одном из объявлений так расхваливали ее приятную наружность, что это привлекло мое внимание. Девушки неплохие, да все они связаны с бандой головорезов, тут надо поосторожней.

Они простились с хозяином и вышли на улицу. Видаль невесть почему почувствовал жалость к своему другу. Хотелось с ним поговорить, чтобы не подумал, будто Видаль сердится, но на ум ничего не приходило, и они молча прошли изрядное расстояние. Когда оказались возле дома, который сносили, Видаль заметил:

— Как быстро его разрушают!

— У нас только разрушать и умеют быстро, — отозвался Рей.

Видаль смотрел на развалины. Теперь оставалась всего одна стена с истрепанными непогодой обоями — видимо, стена спальни, на ней виднелся темный квадрат, там, вероятно, висела картина, и еще сохранились интимные детали уборной. У булочной он вспомнил, как вчера вечером избавился от Рея, и, словно достаточно прецедента, чтобы установилась привычка, Видаль без долгих слов сказал:

— Меня ждут. До свиданья.

И поспешно пошел домой. Обернувшись, он увидел ту же картину, что накануне, — мясистое лицо Рея с приоткрытым ртом.

11

Как животное, стремящееся в свое логово, он желал поскорей оказаться дома, но с удивлением обнаружил, что встревожен, и решил немного успокоить нервы, прежде чем закрыться у себя в комнате на ночь. Он говорил себе, что в его годы человек уже столько испытал, что эпизод вроде того, что был в отеле, не должен слишком волновать. И все же Видаль сравнил его со снами, в которых видишь себя в положении вроде бы неугрожающем и неопасном, однако чувствуешь себя угнетенным необъяснимой аурой, исходящей от грезящихся образов. В этот момент, Бог знает по какой ассоциации, возникло воспоминание о собаке в родительском доме,

когда он был ребенком, о бедном Стороже, который после долгой службы, полной самоотвержения, постоянства и достоинства, стал уже в старости неприлично и бесполезно бегать за окрестными суками. И мальчик, вероятно, впервые в жизни испытал разочарование. Дружба с собакой перестала быть тем, чем была раньше, но, когда Сторожа не стало, мальчик изведал два новых для него состояния души: угрызения совести и безутешное горе.

Он подумал, что сейчас неплохо бы потолковать с Джими. Джими, с его незаурядным здравым смыслом, поможет ему обратить все в шутку, понять суть этой нелепой западни, которую ему расставили. Конечно, было бы трудно изложить эту историю, не называя Рея, вернее, не подшучивая над Реем, но несомненно и то, что Рей в каких-то своих тайных целях его обманул. Как бы там ни было, Видалю претила возможность сознательно предать друга. Тут он вспомнил фразу, которая могла пригодиться, чтобы защитить беднягу Рея: «Мы говорим «грех», но не «грешник». Впрочем, долго ли он сумеет парировать доводы Джими? Не строя никаких иллюзий, он вышел на улицу Малабия, где Джими жил с тех пор, как ему заплатили за то, чтобы он оставил свою квартиру на углу улиц Хункаль и Бульнес. Джими перебрался в отель, намереваясь прожить там какое-то время. На его счастье, случилось так, что владелец отеля тоже решил строить новое здание и, чтобы побыстрее выселить жильцов, выплачивал им возмещение. Недавно поселившийся там Джими потребовал больше, чем кто-либо, затягивал отъезд до бесконечности и до сих пор проживал в большущем доме, где справа от входа еще красовалась блестящая черная табличка с золотыми буквами «Отель Нуэво Лусенсе». Вместе с Джими жила его племянница Эулалия, нескладная, светловолосая, рыхлая девушка, о функциях которой ходили всяческие сплетни, так как домашним хозяйством в основном занималась Летисия, приходящая прислуга, существо с плоской физиономией и отталкивающей морщинистой кожей, напоминавшей кожу мумии.

«Нуэво Лусенсе» сперва был особняком, принадлежавшим одной семье, какие строили в начале века, — кухня и прочие подсобные помещения находились в подвале. Свет в кухню проникал через полукруглое окно на уровне тротуара. Внимание Видаля привлекло что-то двигавшееся на фоне белых стен.

Он остановился, нагнулся, пригляделся. Ему показалось, что в подвале танцует пара и что в их танце тесные объятия чередуются со стремительным кружением, скольжение — с покачиваниями из стороны в сторону. Вскоре он убедился, что женщина, которая трепыхалась в объятиях мужчины, это Летисия. За нею гонялся Джими, неузнаваемый в порыве настойчивого, нетерпеливого желания. Вид у обоих был весьма встрепанный, одежда, волосы в беспорядке. Завороженный этим зрелищем, Видаль, согнувшись, так и застыл у окна. Из оцепенения его вывел незнакомый голос за его спиной:

— В точности кобель с сучкой. Такого беспутного старика надо проучить.

Видаль распрямился. С высоты своего роста к нему обращался тощий парень, вида фанатичного и пугающего. Видаль инстинктивно заступился за друга:

— Не надо преувеличивать, — сказал он.

— Вы так думаете? — спросил парень строго, как в суде.

— Я бы этого не делал, но, коль ему нравится, на то его воля, — догадался ответить Видаль.

Идя домой, он то и дело оборачивался, чтобы удостовериться, что за ним никто не идет. Странная череда впечатлений — отель, карикатурная любовь — завершилась этой полупристойной сценой, повергшей его в уныние. Должен ли он в чем-то себя упрекать? Из глупого любопытства он невольно выставил друга на посмешище, а потом не сумел достаточно решительно его защитить. Сокрушаясь, что у него не хватило мужества, и надеясь впредь вести себя по-другому, он все оглядывался назад.

12

Воскресенье, 29 июня

— Чудесное утро! — заявил Нестор, входя в комнату Видаля. — Неохота сегодня дома сидеть. Не пойдешь ли с нами на футбол?

— Пожалуй что нет, че. Холодно еще.

— Это ты, сидя дома, так решил. Не выходил сегодня?

— Был в магазине и в булочной. Шел, все о своем думал и только на обратном пути заметил, что город выглядит как-то странно, как в дни революции. Это не обычная воскресная тишина.

— С той разницей, что на каждом шагу полицейские. Объявили, что, мол, не допустят никаких инцидентов. Ну же, соберись с духом, пошли на матч.

— А я тут размышлял.

— О чем размышлял?

— Так, о всяких глупостях. Что мы уже стары. Что для стариков нет места, потому что для них ничего не предусмотрено. Для нас, то есть. Очень ново, да?

— Ты пока еще не старик. И место есть для всех. В жизни много привлекательного...

— Не знаю, че. Как выйдешь на Лас-Эрас и посмотришь на молодых женщин... На это и нужда не влияет, люди плодятся без удержу, каждый год новый выводок.

— Такое зрелище вдохновляет.

— Ты с ума сошел. Тебе приходится признаться, что они не для тебя. Когда слишком на них заглядишься, становишься гнусным старикашкой.

Нестор посмотрел на него своими невыразительными, круглыми, как у петуха, глазами и заявил:

— Женщины — это еще не все.

— Неужто не все, че?

— Я бы сказал, что жизнь — это ряд развлечений, аттракционов.

— Как в японском парке, — уточнил Видаль.

— Для каждого возраста есть свое удовольствие.

Из соседней комнаты послышалось рычанье. Видаль поспешно возразил:

— В старости все некрасиво и смешно, даже страх смерти.

— Советую тебе пойти на футбол, станешь думать по-другому.

— Бесполезно. Как выйду на Лас-Эрас и посмотрю на встречных женщин... — Опять совсем близко послышалось рычанье.

— Признаться тебе? Вот уже некоторое время я женщинами не интересуюсь.

— Да что ты? — удивился Видаль.

— Вот так. Честно говоря, они меня не привлекают. А бывало, вспоминаю, чего я только не делал, чтобы добиться успеха.

— И теперь они оставляют тебя равнодушным?

— Совершенно.

— Так уж совершенно? — насмешливо переспросил Видаль.

— Более или менее, че, — с улыбкой отозвался друг. — Зато я обнаружил привлекательность денег.

Видаль посмотрел на него с любопытством, даже с удивлением. Зная Нестора много лет, он не считал его большим мыслителем, но вполне возможно, что Нестор в своей теории не так уж неправ — в жизни бывают всякие сюрпризы.

— Я вскипячу воду для мате, — сказал он.

— Для меня не надо. Я опаздываю.

— Не уходи, пока не расскажешь, как ты обнаружил привлекательность денег.

— Совершенно случайно... Хотя, наверно, все приходит в свое время, а случайность — это химера. Ты же знаешь Эладио, у которого гаражи? На него хотели наложить штраф за антисанитарное состояние уборных. А инспектор мой друг, и я Эладио выручил. Он сказал, что хочет мне отплатить за услугу, поможет заработать кучу денег. Я сперва упирался — ведь мы с Рехиной живем спокойно, ни в чем не нуждаемся, — но он втянул меня в покупку квартиры в рассрочку.

— Приобретение недвижимости, то, чем занимается Рей?

— Не знаю, чем занимается Рей. Что до меня, так мне, чтобы справиться со взносами, пришлось отказаться от всех дополнительных расходов. В эту рубрику входили забавы с приятельницами Рехины.

— С приятельницами твоей супруги?

Опять послышалось рычанье.

— У тебя что, в соседней комнате лев сидит?

— Это бедняжка Исидорито, он спит.

— Приятельницы супруги оказались первыми из всех доступных женщин. Но вот тайна человеческой природы: я почему-то потерял интерес к женщинам. В чем причина? Отсутствие практики или, если угодно, отсутствие новизны. Зато приобрел вкус к капиталу, мне захотелось увеличить количество моей собственности.

— Одной квартиры тебе мало?

— Я задумался над тем, что получит Нестор, мой сынок, после уплаты налога на наследство.

— Поистине похоронная мысль, — сказал Видаль, подражая Джими.

— Да нет, вполне естественная. Ты скажешь, что после стольких лишений другой на моем месте предпочел бы спокойную жизнь. Но я, едва заплатив взносы за одну квартиру, ввязался в покупку еще одной. Вот этим и занимаюсь, да еще с каким азартом. Но поговорим серьезно — почему ты не хочешь пойти с нами на «Ривер»?

— Бедняга твой сын. Стал нянькой при стариках.

— Когда ты поймешь, что ты не старик? К тому же знаешь, мой сын сказал, что он тебя приглашает.

— В котором часу идете?

— В двенадцать.

— Хорошо. Но если я к двенадцати не приду, не ждите меня.

— Постарайся прийти. Тебе надо сменить обстановку.

13

Исидорито все еще спал. Видаль, не то чтобы проголодавшись, а просто чтобы дать мальчику выспаться, сам приготовил себе легкий второй завтрак: крутое яйцо («Потом почувствую боль в боку. Последняя новость», — сказал он себе), гренки, немного сыра «Чубук», айвовый джем, стаканчик вина. Быстро поел, накинул на плечи пончо, глянул на часы. Если не терять ни минуты, он их еще застанет.

Увидев Нелиду в прихожей, он подумал, что девушке не нужно стараться наряжаться, как Антонии и другим. Слегка приодевшись для выхода, она уже была чудо как хороша. Видаль пытался найти подходящие слова, чтобы выразить свое впечатление, но из боязни, что это будет воспринято как заигрыванье, заговорил о погоде — мол, все так же холодно.

— А мне кажется, чуть-чуть потеплело, — возразила Нелида.

— Да ведь бабье лето.

Прихрамывая, подошел к ним управляющий, любезно поздоровался и, пусть мимоходом, принял участие в беседе.

— Верно сказано. В этом году холода на Святого Иоанна подзадержались.

— Чего уж тут говорить, — подтвердил Видаль. — Я до костей промерз.

Управляющий, словно разговаривая сам с собой, пробормотал:

— Такое бабье лето — чистое свинство: сырость, насморк, грипп.

Когда управляющий ушел, Видаль спросил:

— Что это с ним стряслось?

— А что именно?

— Совсем другой человек. По-прежнему хмурый, хромает, но какой-то притихший.

— Что вы хотите, его же поколотили палками.

— Наконец-то ему досталось по заслугам. И здорово его отдубасили?

— Еще как! В этой же прихожей! Вы не слышали шума?

— Ах да. Сейчас вспоминаю. Как-то утром.

— В полдень.

— Да, да, в полдень, в четверг. — Тут он подумал, что Нелида слишком хороша, чтобы с нею говорить об управляющем, и спросил: — Что вы тут делаете, такая нарядная, у входа в дом?

Он хотел сказать любезность, но получилось как-то неловко, вопрос прозвучал бесцеремонно.

— Жду моего жениха, — ответила Нелида.

Эта фраза установила между ними дистанцию. Видаль улыбнулся, посмотрел на нее грустными глазами и, покачав головой, пошел прочь. Он подумал, что дово-

льно нелепо ему, зрелому мужчине, волноваться из-за желания поухаживать за девчонкой, но волноваться из-за того, что сказал ей пару невинных фраз, — это и вовсе непростительно. Пытаясь овладеть собой, он оглянулся вокруг, будто что-то искал, и тихо проговорил: «Нестор не преувеличивал. Утро великолепное». Он шел, огибая контейнеры для мусора, выставленные вдоль улицы двумя длинными параллельными рядами. Если они такие давние друзья с Нестором, почему же он до сегодняшнего дня его как следует не знал? Может, он невнимателен к окружающим? «Конечно, любопытным меня не назовешь, а говорят ведь, что без любопытства не бывает открытий, однако все любопытные, охочие задавать вопросы, каких я знал, — это глупые люди». Оказалось, что Нестор — человек, способный распознать истину и в простых словах ее изложить. После его рассказа о привлекательности денег, с подшучиваньем над самим собой, можно ли его не оценить? Вот толкуют много об одиночестве, но ведь, имея друзей, ты не одинок.

На углу, рядом с тротуаром, он увидел тележку сборщика бутылок, нагруженную бутылками и старыми газетами. На стоящем в ней ящике он прочитал надпись «Сбор утильсырья». Пока он неторопливо размышлял о том, что благодаря городским властям известно место каждого человека и его занятие, он вдруг услышал у стены слева от себя, где-то на высоте не более двух метров, звук, который он сразу же определил как взрыв. Еще не успев оправиться от минутного замешательства, он увидел, как человек у тележки, без какой-либо провокации с его стороны и с явно уточненным прицелом, бросает в него вторую бутылку. Ощутив на лице движение воздуха от брошенного предмета, он окинул взглядом трех-четырех случайно стоявших поблизости людей — один собирался перейти улицу и остановился, другие беседовали в подъезде жилого дома — и в этот кратчайший миг уловил на лице у всех у них жестокое выражение охотника, готовящегося к нападению на добычу. Инстинктивно он повернулся и кинулся наутек. И тут с удивлением обнаружил, что быстро устает — хотя в юности в «Спортиво Палермо» отличался в беге на короткие дистанции — и что, к его ужасу, бежит все медленней и медленней. Все вместе взятое — беспричинное нападение, усталость как признак неожиданного физического одряхления, тяжесть в ногах, испугавшая его почти так же, как нападение, — сильно его встревожило. Нелида, все еще стоявшая в дверях, протянула руки, чтобы его поддержать.

— Что случилось, Исидро? — спросила она.

Он вдруг заколебался. Связано ли его удрученное состояние с этим происшествием? И если он начнет объяснять, как избежать того, что Нелида может подумать, а возможно, и сказать: «Есть из-за чего тревожиться!» Не окажется ли он в положении мальчишки, испытавшего страх, а потом преувеличившего опасность, чтобы скрыть свою робость? Да, теперь он уже не тот, что прежде. Драчуном он никогда не был, но также не был трусом. Второй раз за эту неделю он возвращается домой с помощью этой девушки. Раньше с ним такого не бывало. Нет, он промолчит. Что еще ему остается? Но если Нелида будет настойчиво спрашивать, до каких пор он сумеет молчать? Чем дольше медлить с ответом, тем менее убедительным покажется признание и возрастет ее недоверие.

Вопреки его предположениям Нелида вопросов не задавала. Видаль смотрел на нее с благодарностью. Все же он сообразил, что отсутствие у нее любопытства скорее всего объясняется ее уверенностью в том, что ему не о чем особенно рассказывать. И, пожалуй, из самолюбия он сообщил:

— В меня бросали бутылки.

Сидя рядом на краю кровати, Нелида обнимала его и ласкала. Видаль подумал: «Она нежна со мной, как с ребенком, потому что считает меня стариком».

14

Он глядел на нее вблизи. Всматривался в ее губы, в мельчайшие оттенки кожи, в ее шею, ее руки, казавшиеся ему выразительными и загадочными. И вдруг подумал, что не поцеловать ее будет непереносимым лишением. Но тут же сказал себе: «Я с ума сошел». Ведь если он ее поцелует, то замутит атмосферу нежности, столь искренне ею расточаемой. Он совершит ошибку, которая ее разочарует, предста-

вит его как человека бесчувственного, неспособного правильно истолковать порыв великодушия; как лицемера, притворяющегося добродетельным, хотя в нем бушуют плотские вожделения; как глупца, посмевшего их выразить. «Такого со мною раньше не бывало, — подумал он (и сказал себе, что самокомментарии стали для него привычкой). — В подобной ситуации я вел себя, как положено мужчине с женщиной...» Но если он теперь ошибается? Если, по неистребимой своей робости, упускает блестящую возможность? Почему бы не смотреть на вещи просто, не считать, что Нелида и он?..

— Нелида! Нелида! — раздался громкий зов в прихожей.

Девушка покраснела. Видаль едва не предложил ей выйти от него через смежную комнату, но, к счастью, ничего не сказал, вовремя сообразив, что это предложение было бы трусливым и неразумным, вдобавок оскорбительным для гордой девушки. Нелида поправила прическу, одернула платье. Видаль понимал, что если бы кто-нибудь увидел их обоих, то вряд ли поверил бы его объяснениям, а скорее всего назвал бы его лжецом или, в лучшем случае, дураком.

Не глядя на него, высоко вскинув голову, Нелида отворила дверь и вышла. Видаль прислушался. Сперва было тихо, потом мужской голос громко спросил:

— Ты куда это подевалась?

— Не кричи на меня, — ответила девушка.

Видаль поднялся, готовый выйти и защитить ее. Немного постоял, напрягая слух, но услышал всего лишь удалявшиеся шаги. Поняв, что теперь от него уже ничего не зависит, он рухнул на кровать. Как человек, привыкший к разочарованиям, он, чтобы уснуть, постарался отогнать неприятные мысли. Спал недолго и проснулся вполне бодрый и воспрянул духом. Отгоняя тревогу за Нелиду, как бы с нею не случилось чего, он сказал себе: «Милые быстро ссорятся и быстро мирятся». Затем направился в санузел — на сей раз обошлось удачно, никого не встретил. Попил из крана холодной воды, которая залила ему лицо, — уж этому удовольствию можно предаваться без опасений. После эпизода со сборщиком бутылок самое разумное, наверно, было бы запереться в своей комнате. Разве не читал он в каком-то журнале, что люди попадают во всякие передряги из-за того, что не сидят дома? Но также верно и то, что жизнь не ждет отстающих, и он принял решение выйти из дому, отправиться, как обычно, на площадь Лас-Эрас и посидеть с друзьями, погреться на солнце.

15

Еще издали он с радостью увидел Джими. Этого ни с кем не спутаешь — в старом сером пальто с рыжеватыми следами утюжки Джими сидел на одной из скамеек вблизи памятника. Розовое заостренное лицо, покрытое седой щетиной, было подставлено лучам солнца. Лицо лиса, который не каждый день бреется. И, подобно лису, он, хотя казался отрешенным, не дал застать себя врасплох.

— Нынче человек чувствует себя безопасней на улице, чем дома, — сказал Джими. — И ты тоже это обнаружил?

В тоне его слышалось одобрение, слегка пренебрежительное. Видаль посмотрел на него с нежностью, зная, что эти более или менее обидные шуточки обусловлены жизненной позицией Джими, своеобразием его личности и вовсе не обязательно отражают его мнение о собеседнике. Старая дружба — она вроде просторного, удобного дома, где каждому живется вольготно.

Возможно, потому, что неприятные моменты остались в прошлом — нападение, жертвой которого он стал, враждебность очевидцев, бегство со всех ног, долгая сцена наедине с девушкой, в целом приятная, но испорченная его нерешительностью, говорившей о недостатке смелости, и неудачным завершением, — возможно, потому, что все это осталось позади, но еще и потому, что он немного отдохнул и был готов забыть о неудачах, встретить храбро то, что ему уготовано, Видаль почувствовал неудержимую эйфорию, выразившуюся в желании поговорить. Как человек, перед боем запевающий гимн, он мысленно повторил пару запомнившихся с детства стихотворных строк, которые часто декламировал его отец:

Не устрашат меня обиды,
Что наносит мне судьба, —

и беспечным тоном спросил:

— А знаешь, что со мной было вчера?

После чего рассказал историю с домом свиданий. Джими слушал как завороженный, едва сдерживая тихое, судорожное хихиканье, от которого слезы текли по его розовому, гримасничающему лицу.

— Видишь, какой гнусный народ старики, — сказал Джими. — Бедняге Рею мало того, что он делает мерзости. Ему еще хочется, чтобы другие на это смотрели.

— Да он никаких мерзостей не делал.

— Вот в этом-то самый смак! — весело воскликнул Джими. — Ему хочется унижать себя публично.

— Как можно этого хотеть?

— Ты не знаешь, сколько мерзости таится в немощи стариков.

Видалю представился Фабер, поджидающий девушек в засаде, прячущийся возле уборных, Рей, слюняво целующий руки Туны, Джими, облапивший, как кобель, служанку.

— Да, они нелепы, но смеха не вызывают, — сказал Видаль. — Скорее возмущают.

— Меня не возмущают. Люди теперь стали слишком щепетильны. Я полагаю, что всякий старик становится карикатурой. Можно помереть от смеха.

— Или от грусти.

— От грусти? Почему? Не говорит ли в тебе боязнь включиться в эту гонку?

— Пожалуй, ты прав.

— В грандиозную процессию масок.

— Каждый загодя готовит себе маскарадный костюм, — сказал Видаль.

— Который не всегда ему к лицу, — подхватил Джими, воодушевленный шутливым сотворчеством друга. — Бывает похож на одежду, взятую напрокат. Слишком широк, болтается. Зрелище комическое.

— Ужасное, че. Сплошное унижение. Человек сознательно идет на позор, как отъявленный бесстыдник.

— На то, чтобы внушать отвращение. Вроде слизняка — весь дрожит и пускает слюни. Вот уж не думал, что Рей до этого дойдет. За кассой он такой величавый, а оказывается, таил от нас в душе черную бездну...

— Ну, не так уж все страшно.

— Хочешь, скажу тебе что-то еще более нелепое? Он, наверно, обцеловывал ее с такой же жадностью, с какой щупает сыр и арахис!

Видаль, не подумав, брякнул:

— Или с какой ты лапаешь Летисию.

И тут же сам ужаснулся. Он хотел заступиться за Рея, а не оскорбить Джими.

Не оскорбил. Джими ответил на его реплику веселым хохотом.

— Ага, ты видел меня с тротуара? Мне показалось, что это ты, но некогда было присматриваться. Не мог же я допустить, чтобы эта дуреха опять от меня ускользнула. Я держусь того мнения, что нельзя упускать случай. А ты?

— Разные бывают случаи.

— А то потом изведут сожаления.

— С твоей подружкой этого нечего бояться, че.

— А что в ней особенного, в моей подружке, как ты выражаешься? По сути все женщины одинаковы, а такие, как она, не доставляют, как говорится, ни малейших хлопот.

— Согласен, че, но извини, она не блещет красотой.

— А я думаю о другой. Главное, чтобы хоть какая-нибудь тебе нравилась. Если же, сколько ни ломай голову, не вспомнишь ни одной, чтоб тебе нравилась, тогда бей тревогу всерьез, значит, ты стал стар.

Вот так всегда. Думаешь, что его побил, и сам не замечаешь, как уже слушаешь его назидания. Нет, Джими непобедим.

— Тебя голыми руками не возьмешь, — заметил Видаль.

Он произнес эту фразу с дружеским восхищением. Ему казалось, что среди стольких павших духом Джими — некий неколебимый столп мира. По крайней мере, мира Видаля и его друзей.

Солнце перестало греть, и они отправились домой. Внезапно Джими уставил-

ся на такси, медленно ехавшее по улице Каннинг.

— Ты что, хочешь его остановить?

Такси затормозило на середине квартала.

— С чего это ты подумал? Я только наблюдаю, ничего больше. Наши времена не для сонных тетерь. Держу пари, ты не заметил, что рядом с водителем сидит полицейский.

Они пересекли улицу и подошли к машине. Там, внутри, сидела и плакала старуха.

— Что тут могло случиться? — удивился Видаль.

— Лучше не вмешиваться.

— Вот несчастная женщина.

— И безобразная. Нет, нет, я на нее не смотрю, не беспокойся. Такую встретить — не к добру.

— Ну, я пошел, — сказал Видаль.

— Сегодня вечером играем у Рея, — предупредил Джими.

«Джими прав, — подумал Видаль. — Не надо было смотреть на эту старуху. Я и так знаю, что жизнь завершается отчаянием».

16

Еще не дойдя до улицы Сальгеро, он встретил сына.

— Как удачно, — сказал Видаль.

— Не знаю, очень ли удачно. По-моему, ты не слишком разбираешься в том, что происходит.

Видаль подумал, что барьер между поколениями непреодолим. Потом сам себя опроверг: «Да нет никакого барьера». Во всем виновата докторша-психолог, девица, которая была для его мальчика духовником и оракулом; а если не она, так Фаррелл и его «Молодые турки». По правде сказать, он уже примирился с тем, что не понимает всю эту галиматью, которую слышит ежечасно.

— Как прошла игра? — спросил он, чтобы переменить тему.

— И не спрашивай. Настрой у команды хуже некуда. Не зря Кроста мне говорил: дисциплина — это миф. Парни теперь ударились в экономику — им бы только деньги, да побольше. Всю неделю пьянка и бабы, накануне игры прибегают впопыхах на стадион, тренируются до упаду, а когда наступает состязание, играют как сомнамбулы. А потом люди удивляются, почему это наш большой национальный футбол превратился в тень того, что был прежде.

— Не потому ли, что старые игроки уже пришли в негодность?

— В полную негодность. Что знали в ваши времена о работе в команде и о планировании? Не будешь же ты сравнивать футбол эгоистический, где главенствует индивидуализм и дешевые трюки, с научным планированием игры до последней детали, как теперь требуется.

— Инциденты были?

— Несколько хулиганских выходок на трибунах, так, пустяки, а в целом все проходило культурно, полный порядок, люди даже скучали.

— Послушай, я все забываю тебе сказать. Наш Буян попросил меня, чтобы я у тебя разузнал.

— У меня разузнал? Что?

— Про вставную челюсть. Он хотел бы узнать, есть ли надежда, что ее вернут ему.

— Ты что, хочешь, чтобы я за него заступился? Нет, народ совсем голову потерял. У меня такое сложное положение, и родной отец толкает меня в яму.

— Но почему у тебя сложное положение?

— Хорош вопросик! Ничего интересней я не слыхал. Чтобы тебя не беспокоить, я хотел ничего тебе не говорить, но знаешь, что мне рассказали?

— Нет.

— Развозчик овощей и его группа откуда-то узнали, что ты прятался на чердаке. И кажется, они в ярости.

Видаль не стал углублять эту тему, чтобы не раздражать сына, а главное, что-

бы не спровоцировать его на догматические разглагольствования, которые так вредили их отношениям. Они дошли до улицы Паунеро. Тут Видалю вспомнились слова одной соседки, сказанные, когда Исидорито еще лежал в колыбельке: «Вот бы посмотреть на вас когда-нибудь, как будете вы идти оба рядышком, сияя от гордости!»

— Не хочу тебя огорчать, но ты же знаешь, каким назойливым может быть Буян и в какой он силе.

— Только умом не может похвалиться.

— Он не один. У него еще есть племянник, и тот за него горой.

Лицо Исидорито приобрело цвет чая, в который плеснули слишком много молока. Выпяченные губы искривились книзу, придавая лицу отталкивающее выражение страха.

— Слушай, че, — сказал он, — надо тебе понять, и чем раньше, тем лучше. Знаешь, кто станет в конечном счете самой вероятной жертвой всех этих групп подавления? Вместо того чтобы создавать мне новые трудности, ты бы, ради твоего же блага, лучше бы постарался дипломатично ладить с людьми и оставил меня в покое. Положение человека вроде меня в это время совсем незавидное.

— Ну ладно, но если оба Больоло, и дядя и племянник, накинутся на меня...

— Знаешь, сейчас у многих руки связаны. У них тоже. Антония Кобылка была такой заядлой активисткой, а теперь будет рада-радешенька, если на нее не обратят внимания. Племянник Больоло, он, хотя бы ради Кобылки, поостережется.

— А что случилось с Антонией?

— Слушай, че, где ты живешь? Ты даже не знаешь, что у доньи Далмасии обнаружился прогрессирующий атеросклероз?

— Бедная женщина!

— Лучше бы сказал, бедные ее внучки. Болезнь у нее движется снаружи вовнутрь, поразила какой-то там контролирующий центр, разыгрались гормоны, и эта женщина превратилась в мужчину по всем статьям. Если у нее не заберут внучек, она их перепортит. Настоящий скандал.

— Нехорошо так говорить о женщине, которая могла бы быть твоей бабушкой.

— Для начала, кто тебе сказал, что мне нужна бабушка? А потом, эта женщина превратилась в гадюку, которую необходимо уничтожить. А ты — ну чего тебе еще надо? Пока они там заняты своими разногласиями, тебя, вероятней всего, не тронут.

Свернув на улицу Паунеро, Видаль внезапно почувствовал, что рядом уже никого нет. Он обернулся туда, где должен был находиться Исидорито, — пусто. Глянул на угол — Исидорито удалялся по направлению к улице Бульнес.

— Ты что, не идешь домой? — крикнул Видаль.

— Приду, приду, старик. Сделаю одно дело и приду, — ворчливым тоном ответил сын.

Видаль подумал, что настал момент в жизни, когда, что бы ты ни делал, все вызывает раздражение. Тогда остается лишь один способ вернуть себе достоинство: умереть. И сделал двусмысленный вывод: «Ждать и так недолго, не стоит труда».

Вот он и дома. Из опасения, что Больоло, прислонившийся к двери в подъезде, мог услышать его монолог, он с преувеличенной любезностью поздоровался.

— Что слышно, сеньор Больоло? Как поживаете?

Больоло ответил не сразу.

— Не удивляйтесь, что я с вами не здороваюсь, — сказал он наконец. — Для меня человек, который не исполнил моей просьбы, все равно что мертвый. Скажу больше: я на него смотрю как на никчемный мусор.

Видаль взглянул на него снизу вверх, пожал плечами и пошел к себе. Замкнув изнутри дверь, он пообещал себе, что если когда-нибудь станет великаном, то отдубасит Больоло. В комнате было холодно. «Как странно, — подумал Видаль. — Только что говорили о нем с Исидорито, и на тебе, через несколько минут я его встречаю». Да, такие предвестья или, возможно, простые совпадения напоминают нам, что жизнь, столь ограниченная и конкретная для человека, который чуток к нездешним предзнаменованиям, всегда может втянуть нас в жутковато сверхъес-

тественный кошмар. Он принялся греть воду. Хорошо бы потолковать с Аревало на тему предзнаменований. В молодости, во время бесконечных ночных прогулок, они вели замечательные философские дискуссии, но потом, видимо, жизнь утомила их обоих. Взяв чайничек и мате, Видаль уселся в кресло-качалку и, потягивая мате, время от времени покачивался с закрытыми глазами. На улице загудела сирена, какие бывали в автомобилях в старину. Услышав затем вдали трамвай, который, сделав поворот, разгонялся и с металлическим скрежетом, набирая скорость, подходил все ближе, Видаль понял, что это ему снится. Все случившееся с ним позже исчезло из памяти, теперь он надеялся увидеть себя ранним утром, в своем доме на улице Парагвай, где в соседней комнате спали родители. Послышался лай. Он сказал себе, что это Сторож, их пес, привязанный в патио к глициниям. Он вообразил — или это ему приснилось — разговор, в котором он рассказывает свой сон Исидорито, и тот согласен, что сон интересный, потому что в нем есть старинные трамваи и автомашины, сирены которых издавали такие забавные звуки. И вот уже стало трудно отличить то, что он думал, от того, что ему приснилось. Кажется, он впервые понял, почему говорится, что жизнь есть сон; когда долго живешь, события твоей жизни, как образы сна, невозможно никому пересказать, потому что они никому не интересны. Да и сами люди после смерти становятся для того, кто их пережил, персонажами сновидений; их образы в твоей душе блекнут, забываются, как сны, которые были так убедительно жизненны, но которые никто не хочет слушать. Бывает, что родители находят в своих детях восприимчивых слушателей, и в доверчивом воображении ребенка мертвые обретают последнее эхо своей жизни, которое очень быстро исчезает, словно они никогда не существовали. Видаль сказал себе, что ему повезло, у него еще есть друзья — Нестор, Джими, Аревало, Рей, Данте. Он, видимо, на самом деле грезил — когда в дверь постучали, он чуть не подпрыгнул. В комнате было темно. Видаль провел рукой по волосам, поправил галстук, открыл дверь. На пороге он с трудом разглядел двоих мужчин.

17

После минутного замешательства он узнал Эладио, владельца гаражей. Второй, державшийся чуть позади, был ему незнаком. Повинуясь давней привычке гостеприимства, Видаль спросил:

— Чем могу служить, сеньоры? Проходите, пожалуйста. Проходите.

Эладио был пожилой человек невысокого роста, с бритым лицом, кривоватым носом и брюзгливой складкой рта. Он сильно шепелявил, отчего казалось, будто у него между зубами застряли сгустки слюны.

— Спасибо, мы ненадолго, — ответил Эладио. — Нам надо возвратиться к друзьям.

— Да не стойте же в дверях! Войдите, пожалуйста! — настаивал Видаль.

Гости все же не вошли, а он не догадался включить свет. В поведении Эладио ему почудилась какая-то скованность, которая его раздражала. Видаль спросил себя, что тут делает второй, незнакомый ему человек, кто он и почему его не представили. Этот второй стоял в полумраке прихожей. «Я его знаю или недавно где-то видел», — сказал себе Видаль. Несомненно, Эладио нервничал. Видаль подумал, что если они пришли с неприятным делом, то должны бы, по крайней мере, сразу объяснить причину; они прервали его сон или воспоминания, а теперь еще и ведут себя как-то непонятно. Он хотел снова пригласить их пройти в комнату, как вдруг увидел, что Эладио робко улыбается. Эта улыбка была для Видаля так неожиданна, что он, опешив, молчал. И такими же неожиданными после этой улыбки прозвучали слова Эладио:

— Случилась большая неприятность. Не знаю, как вам сказать. — Эладио снова смущенно улыбнулся и повторил: — Право, не знаю, как сказать. Поэтому и пришел с этим парнем, помощником, как говорится, потому что я в этих делах слабак, и одному идти не хотелось. Я в таком смущении, что даже его не представил. Это Пако. Вы его знаете? Пако, слуга в отеле. И думать не хочу, как там бедняга Виласеко управляется сейчас один, без слуги, со своими клиентами. Прямо вижу, как он бегает от одной кровати к другой...

— Послушайте, объясните, что случилось, пусть это и неприятно.

— Нестора убили.

— Что вы сказали?

— То, что вы слышали. На трибуне. Прямо не верится.

— Где совершают бдение? — спросил Видаль и вспомнил шутку Джими, когда он недавно задал тот же вопрос.

— Где бдение будет, я не знаю, но друзья собрались у него дома, у его супруги.

— А сын?

— Ах, об этом не спрашивайте. Верно, бегает, улаживает всякие формальности, это же была насильственная смерть. Я хочу вам сказать, дон Исидро, что я очень огорчен. Я знал, что вы были большими друзьями. Я очень любил Нестора. А теперь мы пойдем.

— Я пойду с вами. Подождете меня? Только накину пончо и пойдем. Кажется, опять похолодало.

Закрывая дверь на ключ, он услышал смех в прихожей. Там стояли Нелида, Антония и Больоло — они внезапно умолкли. Проходя мимо них, он едва кивнул и подумал, что девушки и даже Больоло, безусловно, понимают и уважают его горе. Это предполагаемое их уважение пробудило в нем чувство, похожее на гордость. Но вскоре, уже на улице, у него возник тревожный вопрос: что может быть общего у Нелиды с Больоло? И еще он подумал, что друг его мертв, а он уже начинает его забывать. На самом-то деле он упрекнул себя несправедливо — в этот момент смерть Нестора, подобно лихорадке, вызывала в нем некое раздвоение личности, меняла в его глазах облик предметов — желтые стены соседних домов давили на него, как тюремная ограда. Вдали он увидел три-четыре костра в ряд, их красное зарево с мелькающими возле них тенями углубляло перспективу улицы. Это зрелище тоже подействовало на него угнетающе.

— Нынче-то день Петра и Павла. Дети и взрослые пляшут у костров.

— Вот уж веселье! — отозвался Видаль. — Они похожи на бесов.

18

Друзья, собравшиеся в столовой в доме Нестора вокруг керосиновой печурки, оживленно разговаривали и курили. На печке стояла кастрюля с водой и листьями эвкалипта. Настенные часы были остановлены на двенадцати. Джими вслух читал газету. При появлении новоприбывших все умолкли. Кто-то кивнул, и Рей печально спросил:

— Ну, что тут скажешь?

Видаль заметил, что Аревало в новом костюме. «И перхоти не видно, — подумал он. — Поговорю об этом с Джими. Прямо загадка». Вспомнив о Несторе, спросил:

— Как это было?

— Пока мы еще не знаем подробностей расследования, — торжественно ответил Рей.

— Этот болтун, его сын, не должен был туда идти, — заявил Джими.

— О чем вы говорите? — спросил Данте.

— Вы свидетели, что я сделал все, что мог, чтобы его отговорить, — заявил Рей. — Я назвал его самоубийцей.

— Бедняга думал, что раз он идет с сыном, то ему ничего не грозит, — заметил Аревало.

— Я назвал его самоубийцей, — повторил Рей.

— Бедный парень, — сказал Видаль. — Какой груз на его совести.

— О ком они говорят? — спросил Данте.

— Я назвал его самоубийцей, — ответил невпопад Рей.

В комнату вошел лысый, флегматичный, тучный господин с огромными руками и тихим, мягким голосом. Видалю объяснили, что это родственник Нестора или доньи Рехины. Когда упомянули имя хозяйки, Видаль спросил:

— Где она?

— В своих покоях, — торжественно ответил Рей.

— Могу я пройти к ней поздороваться?

— Не докучай ей, — раздраженно посоветовал Джими. — Ты же ее, в общем-то, никогда не видел.

— Что ты читал? — спросил Видаль.

Появились двое молодых людей. Один был высокий, тощий, с прыщеватым лицом. Второй — приземистый, с очень круглой голювой и выпученными глазами, которые, казалось, смотрели снизу вверх с плохо скрытым любопытством. Парни поздоровались издали, судорожно кивнув, и уселись на другом конце комнаты. «На самом холодном месте, — подумал Видаль. — Нам, старикам, повезло, мы-то рядом с печуркой. Запах эвкалипта в сочетании с керосином полезен при простуде». И опять вспомнил о Несторе.

— Видишь их? — указал Джими на парней. — Эти два типа мне не нравятся.

— Что ты читал?

— В «Ультима ора» статью о «Войне со свиньями».

— Войне со свиньями? — переспросил Видаль.

— Вот и я спрашиваю, — сказал Аревало. — Почему «со свиньями»?

— И я не понимаю почему, — подхватил Рей.

— Да нет, — возразил Аревало. — Я спрашиваю, почему они пишут «со свиньями». У этих щелкоперов нет никакой логики, даже в употреблении слов.

— Достаточно какому-то газетчику что-то ляпнуть, и вся страна будет твердить о войне со свиньями, — рассудил Рей.

— Вовсе нет, — возразил Данте. — Другие называют ее «Охотой на сов».

— Сова, по-моему, лучше, — заявил Аревало. — Сова — символ мудрости.

— Но признайтесь, — сказал Джими, обращаясь к Аревало и Рею, — вы двое предпочли бы, чтобы вас называли свиньями.

Все засмеялись. В столовую вошла соседка, неся на подносе чашечки кофе. Она укорила их:

— Ведите себя прилично, сеньоры. Вы забываете, что в доме покойник.

— Его уже привезли? — спросил Видаль.

— Пока еще нет, но это все равно, — ответила женщина. — Кофе хорош?

— Какой ужас, — сказал Данте. — Покойника привезли, а мы как ни в чем не бывало.

Помешивая сахар, Видаль обратился к Джими:

— Послушай, что это за разговор о каких-то совах и свиньях?

— Почем я знаю.

— Спрашиваете, откуда такое название? Говорят, что старые люди, — пояснил Аревало, — эгоисты, жадины, обжоры, неряхи. Настоящие свиньи.

— Пожалуй, это справедливо, — согласился Джими.

— Посмотрим, что ты скажешь, — уколол его Данте, — когда за тебя возьмутся.

— Я не из этой компании, — возразил Джими. — Я не старик. Все меня уверяют, что я в самом расцвете лет.

— То же самое говорят мне, — поспешил вставить Рей.

— Мне уже надоело это слушать, — сказал Данте.

— Ты нам не чета, — с раздражением возразил Джими.

— Недаром эскимосы или лапландцы отвозят стариков в тундру, чтобы они там замерзли насмерть, — сказал Аревало. — Защитить стариков можно только сентиментальными доводами: мол, сколько они для нас сделали, у них тоже есть сердце, они тоже страдают и так далее.

Джими, снова развеселясь, заметил:

— Очень жаль, что молодые этого не знают, а знаем только мы, несчастные. Я думаю, даже активисты комитетов молодежи не знают...

— Беда в том, — сказал большерукий господин, — что они не нуждаются в разумных доводах. Им хватает тех, которые у них есть.

Вошел невысокий, худощавый человечек с острым лицом, напоминающим набалдашник трости.

— Вы знаете, как это случилось? — спросил он.

— Могу сказать вам мое мнение, — не унимался Аревало. — В основе этой войны со стариками в пользу молодежи одни лишь сентиментальные доводы.

— Вам известно, как это случилось? — повторил новоприбывший. — Его, кажется, повалили наземь и затоптали те, кто поднимался и спускался с трибуны.

— Бедный Нестор, эти скоты затоптали его насмерть, — сказал Видаль.

С другого конца столовой высокий парень провозгласил:

— Уже едут!

— Ну, тогда я пойду заниматься своими делами, — заявил Эладио. — Будем мы здесь присутствовать или не будем, бедняге Нестору уже все равно.

— Вы мне должны, — предупредил друзей Рей. — Я заказал венок от имени всех.

— Венок твой либо из чистого золота, либо тебя надули, — проворчал Данте, расплачиваясь.

— Не говорил ли я тебе, Исидро, — подмигивая одним глазом, пошутил Джими, — что венки нынче дороги?

19

После стольких лет дружбы он впервые вошел в комнату Нестора. Рассеянно глядя на портреты незнакомых людей, подумал: «Хотя мы о нашей личной жизни не говорили, это не мешало нам быть друзьями». Эта мысль побудила его сформулировать сентенцию: «Нынче все тебе приятели, а друзей нет».

— Боже, как его изуродовали, бедняжку! — ахнула одна из женщин.

Весть о гибели Нестора меньше взволновала Видаля, чем это уменьшительное «бедняжка». «Я плачу, как ребенок, — подумал он. — Или как лицемер. Какой позор».

Он закрыл глаза. Он не хотел, чтобы последним воспоминанием о друге было лицо мертвеца. Собрался было поздороваться с доньей Рехиной, но она оказалась такой отупевшей от горя и дряхлой, что протянутая его рука опустилась. Он вернулся в столовую.

— Могу тебе сообщить, — сказал Аревало, — что этот тощий был на трибуне.

Видаль подошел к прыщавому парню.

— Вы видели, как его убили?

— Видеть, собственно, не видел. Но у меня есть своя версия, подтвержденная очевидцем.

— И это правда, что его затоптали? — спросил Видаль, посмотрев на него с отвращением.

— С чего бы это стали его топтать? Он же сидел на самом верху трибуны... Знаете, как было дело? Игра долго не начиналась, народ заскучал, а тут кто-то предложил: «Скинем какого-нибудь старика на поле». Вторым стариком, которого скинули, и был сеньор Нестор.

— А сын защищал его?

— Если я правильно понял, — сказал большерукий, — кое-кто утверждает, что не защищал. Верно я говорю?

— Точно, — подтвердил юнец и холодно прибавил: — У кого в семье нет стариков? Это никак не компрометирует. Но ведь есть такие, что своих стариков защищают.

Видаль почувствовал, что Джими тронул его локоть. Остролицый спросил:

— Вы уверены, что его не затоптали?

— Зачем было его топтать, — сказал парень, — если он шлепнулся, как дохлая жаба?

— Пойдем, Джими, — предложил Видаль. — Пойдем поговорим с Реем. Ну, что ты скажешь об этой молодежи?

— Мне от нее тошно.

Видаль приблизил ладони к печурке.

— Зачем приходит на бдение человек с таким настроением? — спросил он.

— Ты говоришь об этом юнце? — спросил Рей. — Он и его товарищ, похожий на лупоглазого морского окуня, ошиваются здесь, потому что они пятая колонна.

Данте, словно только что проснувшись, услышал их разговор и напророчил:

— Боюсь, что мою теорию вскоре подкрепят факты. Поймите, мы в мышеловке. По первому сигналу этих типов их сообщники, притаившиеся снаружи, ворвутся в дом.

— Еще чашечку? — предложила соседка.

— Где же он сейчас, этот сынок Нестора? — спросил Видаль.

Женщина ответила:

— Предатели всегда прячутся.

Джими заметил с ехидцей:

— Тебе не удастся с ним поздороваться.

— Говорят, что теперь, — заявил Рей, — человеку безопасней находиться вне дома.

— Ну ясно, ведь дома ты все равно как в мышеловке, — повторил свою теорию Данте.

Рей пояснил:

— Чтобы соблюсти приличия, правительство больше не разрешает никаких бесчинств в общественных местах.

— Вряд ли бедняга Нестор согласен с твоими словами, — пробурчал Джими.

— Это отдельный случай, — не сдавался Рей.

Данте еще раз сравнил дом с мышеловкой. К ним подошли господин с огромными руками, остролицый и Аревало. Видаль заметил, что двое парней опять остались одни.

— Наконец-то правительство вмешалось в это дело. Чувствуется, что позиция властей стала тверже. Я доволен заявлениями министра. В них, знаете, есть какая-то возвышенность, достоинство.

— Да, достоинства много, — согласился Аревало, — однако они помирают от страха.

— По правде говоря, я правительству не завидую, — сказал большерукий. — Сами понимаете, ситуация весьма затруднительная. Если не привлекать молодых офицеров и призывников, мы скатимся к анархии. Отдельные случаи, происходящие время от времени, — это цена, которую приходится платить.

— Что с ними, с этими господами? — спросил Аревало. — Все толкуют об отдельных случаях.

Джими объяснил:

— Вчера вечером они слушали сообщение министерства. В нем говорилось, что ситуация полностью контролируется, если не считать отдельных случаев.

— Чего вам еще? Я замечаю теперь, что тон у них более достойный, и это ободряет, — настаивал большерукий.

Из цветочного магазина принесли венок.

— Что написано на ленте? — спросил Данте.

— «От мальчиков», — ответил Рей. — По-моему, этими двумя словами все сказано.

— А не подумают ли, что это венок от молодых людей? — спросил Джими.

— Было бы недурно, — отозвался Рей. — А что, по-твоему, мы не мальчики?

— Некоторые старики, — стал объяснять остролицый, — ни капельки не остерегаются. Прямо-таки провоцируют.

— Те, кто провоцирует, — это агенты-провокаторы, нанятые за плату «Молодыми турками», — уверенно сказал Данте.

— Вы так полагаете? — спросил остролицый. — Неужто заплатили старику, который приставал к школьницам в Кабальито [1] ?

Большерукий его поддержал:

— Надо признать, что в последнее время ширится волна старческой преступности. Мы ежедневно читаем об этом.

— Лживая выдумка, чтобы будоражить народ, — возмутился Данте.

— Надо быть в разговоре поосторожней, — прошептал Видалю Джими. — Ты знаешь этого большерукого? Я не знаю ни его, ни того, другого. Скорее всего это два продавшихся старика, и они в сговоре с юнцами. Лучше держаться подальше.

— Как подумаю, что я мог пойти с Нестором на стадион... — вздохнул Видаль.

— Ты спасся от гибели, — сказал Джими.

— Возможно, вдвоем мы бы отбились и в этот час Нестор был бы жив.

— А возможно, нам пришлось бы совершать бдение у двух покойников.

---

[1] Район в Буэнос-Айресе.

— Я и не знал, что тебя так интересует футбол, — сказал Аревало.

— Не то чтобы интересует, — объяснил Видаль, ощущая свою значительность, — но так как сын Нестора поручил ему меня пригласить...

— Поручил тебя пригласить? — переспросил Аревало.

— Ого! — воскликнул Джими.

— А в чем дело? — спросил Видаль.

— Да ни в чем, — заверил Джими.

— Не думаете же вы, что на меня донесли как на старика?

— Какой вздор! — возмутился Аревало.

— Я тоже думаю, что нет, — сказал Видаль, — но с нынешней молодежью ни в чем нельзя быть уверенным. Если человека шестидесяти лет называют старцем...

— Еще хуже те девчонки, — подхватил Джими, эта тема его развеселила, — которые толкуют тебе о своем дружке и говорят: он уже старый, ему целых тридцать лет.

— Нет, я не шучу. Ответьте мне: по-вашему, я у них на примете?

— Что это тебе пришло в голову? — удивился Аревало.

— Знаешь, будь я на твоем месте, я бы ох как остерегался, — посоветовал Джими.

— Само собой, — согласился Аревало. — Из осторожности.

Видаль недоверчиво посмотрел на него.

— Все же лучше, чтобы тебя не схватили неожиданно, — пояснил свою мысль Джими.

— Фу ты, Господи! — пробормотал Видаль. — Голова болит. Есть у кого-нибудь аспирин?

— Наверно, в комнате Нестора найдется, — сказал Рей, поднимаясь.

— Нет, нет, — остановил его Джими. — Его таблетки могут принести несчастье. Вы обратили внимание на юнцов? Они то и дело выглядывают наружу.

— Как будто нервничают, — сказал Данте.

— Да нет, просто им скучно, — возразил Аревало.

«Это я нервничаю», — подумал Видаль. У него болела голова, от запаха керосина с эвкалиптом становилось нехорошо. «Ноги просто ледяные», — сказал он себе. Чтобы уберечь его от несчастья, Джими лишает его аспирина, принадлежавшего покойному. Ну понятно, у Джими голова не болит. Видалю ужасно захотелось уйти отсюда, побыть одному, подышать ночным воздухом, пройти пешком несколько кварталов. «Только чтобы меня не спрашивали, куда я иду. Только чтобы никто меня не сопровождал». Большерукий господин и другой, остролицый (Видалю сказали, что у обоих фамилия Куэнка), опять подошли к их группе. Видаль встал... Друзья посмотрели ему вслед, но ничего не спросили — наверняка сочли достаточным поводом присутствие незнакомых людей.

На улице стало темно. «Темнее, чем было совсем недавно, — сказал себе Видаль. — Кто-то ради забавы разбил фонари. Или готовят засаду». Глядя с опаской на ряды деревьев, он рассудил, что за ближайшими стволами как будто никто не прячется, а уж за третьим и четвертым мрак совершенно непроницаемый. Если он пойдет дальше, то рискует подвергнуться нападению, которое, хотя и предвиденное, произойдет неожиданно. Он уже хотел вернуться, но отчаяние нахлынуло на него и какое-то безволие. Вспомнив Нестора, он простонал: «Пока человек живет, он беспечен, он ни о чем не думает». Но если на все реагировать, если пробудиться от этой беспечности, он станет думать о Несторе, о смерти, об исчезнувших людях и вещах, о себе самом, о старости. «Да, свобода — источник великой печали», — подумал он. Тем временем он шагал по середине мостовой — во всяком случае, так его не застанут врасплох. Вдруг ему показалось, что впереди, совсем близко, чернеет что-то, выделяющееся в ночном мраке как еще более темное пятно. «Танк, — подумал он. — Нет, скорее грузовик». Внезапно очень близко вспыхнули фары. Видаль не отвернулся, даже, кажется, не закрыл глаза — бесстрашно вскинув лицо, он смотрел на свет. Ослепленный этим снопом ярко-белого света, он ощутил странное ликование, словно бы возможность столь светозарной гибели воодушевила его, как победа. Так постоял он несколько секунд, завороженный снопом белого света, не в силах ни думать о чем-то другом, ни вспоминать. Но вот огни отодвинулись куда-то, и в очерченных ими кругах обозначились стволы деревьев и фасады до-

мов. Он видел, как удаляется грузовик, заполненный молчаливыми людьми, сгрудившимися у красных бортов с белыми узорами. Видаль не без гордости отметил: «Наверно, если бы я пустился наутек как заяц, они бы на меня напали. Наверно, они не ожидали, что я буду смело стоять». Ночной прохладный воздух да еще внутреннее удовлетворение так приободрили его, что он даже забыл о головной боли. В мозгу мелькнула как бы военная сводка: «Когда противник был отброшен, я завладел полем боя». Слегка устыдившись, он попытался сформулировать эту мысль более скромно: «Я не струсил. Они убрались. Я остался один». Если он теперь и вернется в дом Нестора, его появление не покажется (никому, даже ему самому) бегством в поисках защиты. И, как бы вдохновленный собственным бесстрашием, он зашагал вперед по темной улице, решив не возвращаться, пока не пройдет три квартала. Но также подумал, что эта демонстрация бессмысленна — ведь в тот момент, когда он вернется, он неизбежно почувствует, что прячется от опасности.

20

Заметив, что Джими нет в столовой, Видаль предположил, что он удалился в задние комнаты, и сказал себе, что, как только Джими вернется, последует его примеру. Что и говорить, малость понервничал, да и озяб на улице. Народ в столовой был по-прежнему разделен на две группы: пожилые сгрудились слева у печурки, а молодые держались справа. Видаль подошел к молодежи. Небольшая прогулка бесспорно подняла его дух, и он сразу же заговорил решительно, как бы требуя объяснений:

— Что меня возмущает в этой войне со свиньями, — и сам же рассердился на себя, что так назвал преследования стариков, — так это обожествление молодости. Они будто рехнулись от счастья, что молоды. Вот глупцы.

Приземистый паренек с выпученными глазами согласился:

— Такое положение долго не просуществует.

Возможно, от неожиданности, что с ним так быстро согласились, у Видаля вырвалась неосторожная фраза:

— Конечно, против стариков, — сказал он, — есть веские аргументы.

Опасаясь, что его спросят о них — а Видаль не был уверен, что вспомнит эти аргументы, и не хотел давать оружие в руки врагу, — он попытался вести речь дальше. Но приземистый парень его перебил:

— Знаю, знаю, — сказал он.

— Вы-то знаете, но эти буйные юнцы, настоящие преступники, что они знают? Сам Артуро Фаррелл...

— Демагог, согласен с вами, болтун.

— Печально то, что в основе этого движения нет ничего. Абсолютно ничего. Отчаяние.

— О нет, извините. В этом пункте вы ошибаетесь, — сказал парень.

— Вы так думаете? — спросил Видаль и, возможно ища поддержки, посмотрел в сторону Аревало.

— Я точно знаю. Там есть ученые. Среди основателей этого движения много врачей, социологов, плановиков. И по строжайшему секрету скажу вам: там есть также люди из церкви.

«У тебя лицо рыбы», — подумал Видаль, а вслух сказал:

— И все эти светила не нашли лучших аргументов?

— Это вы зря. Аргументация слабовата, но прекрасно рассчитана на то, чтобы воспламенять массы. Им нужно действие быстрое и сокрушительное. Но поверьте: истины, движущие центральным комитетом, другие. Уверяю вас, совершенно другие.

— Не может быть! — усомнился Видаль и снова бросил взгляд в сторону Аревало.

Тут прыщавый парень прибавил:

— Ну как же! Потому-то и ликвидировали, как вы помните, губернатора, который не отдал приказ стереть с герба провинции слова «Править — значит заселять». Есть еще какая-то другая похожая фразочка, не менее безответственная, которую я сейчас что-то не припомню.

— На мой взгляд, — сказал пучеглазый, — прямая вина лежит на врачах. Это они расплодили столько стариков, а продолжительность жизни не увеличивается ни на один день.

— Я тебя не понимаю, — проговорил прыщавый.

— Много ты знаешь людей в возрасте ста двадцати лет? Я — ни единого.

— Это правда. Они ограничились тем, что наводнили мир стариками, практически ни на что не годными.

Видалю вспомнилась мать Антонии.

— Старик — это первая жертва роста населения, — заявил приземистый. — Вторая жертва, и, на мой взгляд, более значительная, — это индивидуальность. Сами посудите. Индивидуальность, пожалуй, становится запретной роскошью и для богатых и для бедных.

— Да, но, возможно, все это несколько преждевременно? — предположил Видаль. — Нас как бы хотят лечить при полном здравии.

— Это вы верно сказали, — обрадовался прыщавый. — Профилактическая медицина.

— Мы тут с вами обсуждаем теории, — сказал Видаль, — а тем временем совершаются убийства. Чтобы далеко не ходить, бедняга Нестор...

— Это ужасно, но такое было всегда. Кабы послушали в этом деле меня, я бы наделенных сознанием стариков оставил в покое и организовал бы второе избиение младенцев.

— Ох и наслушались бы мы тогда нареканий! Ты представляешь, какой вой подняли бы матери?

— А я о них не беспокоюсь. Они бы тогда знали, что не должны привлекать внимания.

Второй раз за этот вечер Видаль подумал, что человек живет, ничего не замечая. Пока он был занят Бог знает какими личными мелочами (прежде всего пунктуальным соблюдением своих привычек: мате в должные часы, сьеста, непременное сидение на площади Лас-Эрас, чтобы не упустить послеполуденное солнце, партия труко в кафе), в стране произошли огромные перемены. Молодые люди — прыщеватый и приземистый, с виду более интеллигентный, — говорят об этих переменах как о чем-то общеизвестном и привычном. А он, возможно, потому что не следил за процессом, теперь их не понимает. «Я остался где-то на обочине, — сказал он себе. — Я уже стар или близок к тому».

21

Приземистый парень не лишенным учтивости тоном спросил:

— О чем вы думаете, сеньор?

— О том, что я стар, — ответил Видаль.

И мгновенно спросил себя, не слишком ли он неосторожен. Кончится тем, что он навлечет на себя неприятности.

— Простите, — возразил приземистый, — но, по-моему, то, что вы говорите, нелепость. Вы старик? Нет. Я вас поместил бы в зону, которую этот болтун Фаррелл называет ничейной землей. Молодым вас нельзя назвать, но и старым — решительно нельзя.

— Штука в том, — заметил Видаль, — чтобы кто-нибудь из этих одержимых, которых так распустили, не ошибся.

— Я бы сказал, что ошибки маловероятны, хотя — я этого не отрицаю — возможны, — согласился приземистый и тут же пояснил: — По причине разгула страстей.

Видаль снова пал духом и затосковал о прежнем своем неведении того, что творится. Его беседа с парнями показалась ему жалкой попыткой снискать их милость.

— Извините, — пробормотал он и, чтобы вздохнуть свободней, перешел к своим друзьям.

— Вот мы посмотрим на правительство в момент истины, — с пафосом ораторствовал Рей. — Когда оно заплатит свои долги.

— Учти, что этого момента придется подождать, — предупредил Аревало. — Даже если восстановят порядок, нам не заплатят.

— Где Джими? — спросил Видаль.

— Не перебивай, — сказал Данте, конечно ничего не расслышав. — Мы обсуждаем денежные дела. Вопрос о пенсиях.

— Правительство еще подумает, платить ли их, — настаивал Аревало.

— Признаем, сеньоры, — вставил большерукий господин, — чтобы дать распоряжение о выплате пенсий, требуется большое мужество. Мера непопулярная, и логично, что ей будут сопротивляться.

— А исполнение обязательств разве пустяк? — спросил Рей.

— На днях, — вмешался остролицый, — я слышал разговор о плане компенсации: пожилым людям предложат землю на Юге.

— Скажите лучше попросту и честно, что всех стариков сошлют, — сказал Данте.

— Как пушечное мясо, — уточнил Рей.

— Чтобы воспрепятствовать возможной инфильтрации наших братьев чилийцев, — прибавил Аревало.

— Где Джими? — спросил Видаль.

— Как это — где? — спросил Аревало. — Он же вышел из дому, чтобы тебя позвать. Разве вы не встретились?

— Может, он пошел в уборную? — спросил Видаль.

— Я видел, как он вышел из дому, — подтвердил Рей. — Через эту дверь. Он сказал, что идет за тобой.

— Джими — настоящий лис, — пояснил Данте. — Ему невтерпеж долго сидеть на таких сборищах, и при первой возможности он убегает домой, в свое логово.

— Он сказал, что идет за тобой, — повторил Рей.

— Я его не видел, — сказал Видаль.

— Настоящий лис, — повторил Данте. — Убежал домой, в свое логово. Мы же его знаем не со вчерашнего дня.

— Беднягу Нестора мы тоже знали всю жизнь, — возразил Аревало. — Пойду проверю, дома ли Джими.

— Я с тобой, — сказал Рей.

— Соболезнования как будто уже принесены, — улыбаясь, проговорил остролицый. — Я бы не стал беспокоиться, он скоро вернется.

— Нет, пойду я. Он вышел позвать меня, так что пойду я, — сказал Видаль.

— Ладно, — сказал Аревало. — Пойдем вдвоем.

Аревало надел плащ, а Видаль накинул свое пончо. На пороге они на минуту остановились, вглядываясь в темноту, потом вышли.

— Не то что я боюсь, — объяснил Видаль, — но неприятно, когда на тебя нападут врасплох.

— Еще хуже — ждать нападения. Кроме того, я не хочу предоставлять этим кретинам инициативу в вопросе моей смерти. Признаюсь, что смерть от болезни меня тоже мало прельщает. Пустить себе пулю в лоб или выброситься из окна — пренеприятная, должно быть, штука. Или, к примеру, уснешь с таблетками и вдруг захочешь проснуться — что на это скажешь?

— Не продолжай, не то еще выберешь кретинов — правда, эти двое мне сказали, что нас не зачислили в старики.

— Значит, не такие уж они кретины. Они поняли, что никакой старик не считает себя стариком. И ты им поверил? Они хотят внушить нам доверие, чтобы мы им не доставили хлопот.

— Как по-твоему, я поступлю очень плохо, если рискну?

— Ты это о чем? — спросил Аревало.

— Деревья в темноте так заметны. Уж наверно, у меня будет жалкий вид, если сейчас на меня нападут.

Видаль помочился у дерева. Аревало, последовав его примеру, заметил:

— Это от холода. Холод и годы. Одно из самых частых занятий в нашей жизни.

Дальше пошли в более бодром настроении.

— Один из парней мне объяснял... — начал Видаль.

— Прыщеватый?

— Нет, тот, что пониже, с лицом как у окуня.

— Ну, это все равно.

— ...объяснял мне, что в основе этой войны со свиньями лежат разумные причины.

— И ты ему поверил? — спросил Аревало. — По разумным причинам не убивают людей.

— Они говорили о росте населения и о том, что количество никчемных стариков все увеличивается.

— Люди убивают от глупости или от страха.

— И все же проблема никчемных стариков не фантазия. Вспомни мать Антонии, женщину, которую прозвали Солдафоном.

Аревало, не слушая его, твердил свое:

— В этой войне мальчишки убивают из ненависти к старикам, какими они сами станут. Ненависть от страха...

Холод заставил их ускорить шаг. Чтобы не проходить возле костров, они — будто в молчаливом сговоре — сделали крюк в несколько сот метров и подошли к участку, где фонари не были разбиты.

— При свете, — заявил Видаль, — эта война со свиньями кажется немыслимой.

Они подошли к дому Джими.

— Здесь все спят, — сказал Аревало.

Напрасно искали они в окнах хоть одну светящуюся щель.

— Позвоним? — спросил Видаль.

— Позвоним, — ответил Аревало.

Видаль нажал на кнопку звонка. В ночной тьме послышался где-то в глубине дома звон колокольчика. Они подождали. Через несколько секунд Видаль спросил:

— Что будем делать?

— Звони еще раз.

Видаль опять нажал на кнопку, и опять они услышали дребезжащий звук колокольчика.

— А что, если Данте прав и он попросту спит? — спросил Видаль.

— Дурацкое положение. Получается, мы с тобой два паникера.

— Ну ясно, если с ним что-то случилось...

— Ничего с ним не случилось. Он спит. Старый лис.

— Ты так думаешь?

— Да. Уйдем, чтобы не выглядеть паникерами.

Вдалеке горел костер. Видалю вспомнилась картина, которую он видел в детстве, — Орфей или какой-то дьявол, объятый адским пламенем, играет на скрипке.

— Какая глупость, — сказал он.

— Что?

— Ничего. Костры. Все.

22

Возвратясь в дом Нестора, они заметили, что у друзей озабоченный вид.

— Здесь что-то случилось, — шепнул Аревало.

— Вот этот появился, — объяснил Видаль, указывая на племянника Больоло.

«Всякий новоприбывший, — подумал он, — обновляет печаль. Я проверил. Те, кто уже собрались на бдение, подчинились ходу вещей: жизнь продолжается, ничего другого не остается, как чем-то отвлечься; однако новоприбывшие опять привлекают внимание к покойнику». И как бы сквозь сон услышал слова Данте:

— Говорят, что Джими схватили.

— Кто говорит? — спросил Аревало.

— Такой слух, — подтвердил племянник Больоло, — идет в молодежных кружках.

Рей издал что-то вроде глухого рычанья, заметно побагровел, запыхтел. «В гневе он, наверно, превращается в зверя, в настоящего свирепого быка», — поду-

мал Видаль и сразу же горько пожалел, что он и Аревало проявили такую нерешительность. Они не должны были возвращаться, не выяснив, дома ли Джими.

— Мы были недостаточно настойчивы, че. Всего лишь два раза позвонили.

— А если бы и проявили настойчивость, — рассудил Данте, — и выяснили, что Джими нет дома, тоже не много бы успели: только переполошили бы женщин.

— Уж взялись, надо было довести до конца, — возразил Видаль.

— Бедняга сказал, что идет позвать тебя, — объяснил Рей. — Вышел вот в эту дверь. Больше мы его не видели.

Видаль отвел племянника Больоло на другой конец столовой и сказал ему твердо:

— Говорю с вами конфиденциально. Если правда, что Джими схватили, постарайтесь встретиться с похитителями и, пожалуйста, скажите, чтобы они его отпустили. Если будут возражать, скажите, чтобы поговорили со мной.

— Но подумайте, как я могу с ними связываться? — спросил племянник жалобным тоном.

«Неужели я поддался импульсивному порыву? — подумал Видаль. — Но я должен был что-то сделать для Джими. Я тогда стоял как дурак и смотрел в это дурацкое окно и подверг его опасности. А теперь вышел показать свою храбрость, а его похитили».

Он вернулся к друзьям. Рей, величественный в своем гневе, что-то проворчал о сыне Нестора и о племяннике Больоло.

— Что ты говоришь? — спросил Данте с улыбкой. — Что? Не слышу.

— По правде сказать, это подозрительно, — сказал Аревало. — Молодежные активисты сообщили ему об этом чересчур быстро.

Видалю вспомнилось, как Нестор гордился своим сыном. Потом он подумал об Исидорито и спросил себя, знает ли сын про последние убийства и хватит ли у него мужества их не одобрить.

— В нашей пассивности, — заявил Рей, — есть что-то недостойное. Если мне суждено умереть, пусть у меня хотя бы будет утешение, что я вспорол брюхо трем или четырем из них. Скажите этому парню, что его, мол, вызывают по делу.

— Вы его встретите на улице, и что тогда? — спросил большерукий.

— Да ничего. Уложу одним ударом по башке, — ответил Рей.

— Но разве это не будет зверством? — спросил остролицый.

— Вроде бы существует молчаливый сговор, — заметил Аревало. — Одна половина общества имеет право бесчинствовать, другая нет. Всегда было так.

— Я с вами не согласен. У меня, слава Богу, еще хватит и духу и сил, и я с удовольствием проучу одного из этих нахальных юнцов... Только, ох, — Рей издал хриплый стон, — птичка-то упорхнула!

Все взглянули на дверь — да, племянник Больоло, откланявшись, уходил. Видаль спросил себя, стоит ли радоваться. Снова появилась соседка с чашечками кофе на подносе.

— Сеньора, — обратился к ней Данте, — не могли бы вы объяснить, на каком основании вы утверждали, что выдал Нестора собственный сын?

— Не выдумывайте, — запротестовала женщина. — Я никого не обвиняю, и я не позволю, чтобы обвиняли меня.

Аревало протер стекла очков и астматическим своим голосом проговорил:

— Страх — не глупость. Верно, кто-то из этих молодчиков сказал ей, что, если она будет болтать, из нее душу выбьют.

— Грозятся, убивают, — проворчал Рей, — а мы сидим сложа руки.

Видаль услышал шум мотора, визг тормозов.

— Возможен и другой вариант, — рассудил Аревало. — Хитрая старуха чует в воздухе перемену к худшему.

— А может, от вашего прямого вопроса у сеньоры, так сказать, помрачение в мозгу? — спросил большерукий. — На экзаменах такое бывает.

— Тс, тс, — прошептал остролицый. — Не оглядывайтесь. Разговаривайте, будто ничего не случилось.

Видаль оглянулся — оказывается, в столовую ворвалось четверо парней. Он не только посмотрел на них, но (видимо, потому, что не сразу понял, что произошло) задержал взгляд на том, который казался у них старшим. После нескольких се-

кунд грозного молчания этот тип направился к приземистому и прыщеватому; остальные двинулись за ним, громко стуча подошвами; до сих пор все, кто был в доме, ходили на цыпочках и разговаривали шепотом. Внезапно пошли стенные часы.

— Они невольно выдают, кто они есть, — беззвучно, словно страдая афонией, произнес большерукий.

— А кто они? — с тревогой спросил Данте.

— Грубияны, которые не уважают дом в трауре, — пояснил большерукий.

— Грубияны и невежи, — еле слышно подтвердил остролицый.

Новоприбывшие, приземистый и прыщеватый о чем-то оживленно спорили. Время от времени они поглядывали на группу пожилых или, не глядя, указывали на них пальцем. Тиканье часов усугубляло напряженность.

— Я считаю, отсюда до двери шагов четыре-пять, — сказал остролицый.

— Если успеем выскочить, мы спасемся, — подтвердил большерукий.

Рей пригрозил:

— Молчите, или я вас пристукну.

Видаль следил за ходом событий с равнодушием стороннего наблюдателя: «Еще немного, и мной овладеет страх», — подумал он и тут же спросил себя, что появится раньше — страх или агрессивность.

Агрессивность не появилась. Четверо парней удалились так же внезапно, как вторглись в дом. Не желая подать виду, что были испуганы, старые друзья не сдвинулись с места. На улице зафырчал и покатил прочь автомобиль. Аревало первый подошел к молодым.

— Они хотели нас прирезать? — спросил он.

— Ну, не так страшно, — ответил приземистый. — Но что-то близко к этому.

— Никто им не возражает. Только он да я возражаем, — объяснил прыщеватый.

— Ради сеньора Нестора, который был нам как отец, — признался приземистый.

— Мы им напомнили, что наша группа уже выполнила свою квоту в лице сеньора Нестора, — сказал другой парень.

— Который был вам как отец, — уточнил Аревало.

— По сути, — запальчиво заговорил Видаль, — в этой стране никто не желает кровопролития. Несчастья случаются только из-за трагического стечения обстоятельств — ведь все мы пользуемся первым удобным предлогом, чтобы сбежать.

— Я бы не стал за это осуждать, — сказал Аревало.

— Не думайте так, сеньор Видаль, — сказал приземистый. — Они доказывали, что этот сеньор, — он указал на Данте, — и вот этот сеньор, — он указал на Рея, — как раз подходят под категорию стариков.

— Ах, мать твою! — сказал Данте.

— Они хотели вас увести, — подтвердил приземистый.

— На небольшую прогулку. А мы им говорили, что у этого сеньора нет ни одного седого волоса, а вот этот еще в полной силе, — сказал прыщеватый.

— Разве я вам не говорил, что мы в мышеловке? — спросил Данте. — Они хотели меня увести? Для чего? Чтобы изрешетить меня пулями? Люди взбесились. Увидеть вдруг столько ненависти у своих сограждан, клянусь вам, ужасно грустно.

— И это молодежь, которой следовало бы жить собственным умом, — прибавил Аревало. — Они думают и действуют, как стая зверей.

— Неправильно говоришь, — возразил Рей. — Как стадо. Стадо свиней.

— Но послушайте, — вставил большерукий, — ведь свиньи — это мы.

— Для личности уже нет места, — флегматично проговорил Аревало. — Везде лишь толпы животных, которые рождаются, размножаются и умирают. Для некоторых из них характерно наличие сознания, как для других крылья или рога.

Страх и, возможно, гнев возбуждали старых друзей.

— Это ужасно, — сказал Данте. — Народу становится все больше, хотя места уже нет. Все дерутся, одни уничтожают других. Не находимся ли мы накануне грандиозной гекатомбы?

— Не кажется ли вам, что душа и иллюзия бессмертия представляются ныне деревенской отсталостью? От деревни мы перешли к пчелиному рою, — размышлял Аревало.

— Куда ни глянь, — продолжал Данте, — повсюду преступность и нарушение порядка. Чтоб далеко не ходить, что вы скажете о том, как теперь одеваются женщины? Разве это не скандал? Разве не приближаемся мы к концу света?

Видаль с интересом слушал эту беседу. И вдруг что-то его кольнуло, и он пошел посмотреть на Нестора. «Это мой долг, — подумал он и сказал себе: — С закрытыми глазами он уже не похож на петуха. Совсем недурно выглядит, бедняжка». И едва он мысленно произнес слово «бедняжка», как ощутил на своем лице слезы.

23

Понедельник, 30 июня

Окоченев от долгого сидения, Видаль протер глаза и осмотрелся. В столовую проникал холодный белесоватый свет, отчего тени казались темнее, усиливая ощущение неподвижности предметов. Наступало утро. К бесстрастному тиканью маятника примешивался шепот двоих парней и храпенье Рея, спавшего с презрительно открытым ртом. Аревало сосредоточенно курил, у дремавшего Данте было счастливое выражение лица. Вокруг был заметен небольшой беспорядок — везде раздавленные окурки сигарет, кучки пепла. Отрывочные воспоминания о Несторе — примета скорого забвения — прибавляли к усталости угрызения совести. От этих воспоминаний Видаль перешел к другим: о последних днях своего отца. Он вспоминал отца, такого близкого и уже такого недосягаемого, объятого предсмертным страхом и страданием. Каждый человек замкнут в себе и ничем не может помочь ближнему. Гнетущая уверенность в бессмысленности всего на свете пронзила его. Что толку было в стремлении говорить не умолкая, завладевшем им в эту ночь? Одна суета. Все заранее знали, что скажет тот или другой. Он подумал, что подобные разговоры во время бдения у тела друга — отвратительный грех и что он, Видаль, и теперь продолжает говорить, пусть сам с собой. Вчера еще они вели беспечное существование, и вот внезапно жизнь стала невыносима. У него возникло желание сбежать. Второй или третий раз за последние часы ему захотелось выйти на улицу. Да, в эту ночь все повторяется по нескольку раз.

Размышления, видимо, незаметно перешли в сон, потому что Видаль вдруг увидел старуху, плакавшую в такси возле площади Лас-Эрас; он подумал, что из-за того, что он посмотрел на ее искаженное горем лицо, погиб Нестор, и вдруг с испугом заметил присутствие кого-то слишком белого, будто мукой осыпанного, приветливо глядевшего на него и протягивавшего ему какой-то сверток. Это был рассыльный из лавки Рея, который принес свежие рогалики и печенье к завтраку и, вероятно, не решался разбудить своего хозяина. Тот проснулся в приподнятом настроении, сыпал шутками, пригласил друзей пройти на кухню — будем, мол, готовить кофе с молоком.

— Чем так хорош этот день? — спросил Данте. — А ведь все мы в хорошем расположении. Разве не так?

— Можно узнать почему? — спросил Видаль.

— Все очень просто, хотя вы, пожалуй, этого не поймете, — заявил Данте. — Мне приснилось, будто экскурсионисты победили в жутко трудной игре.

— Пройдите на кухню, — настаивал Рей. — Надо готовить завтрак.

— В общем, — заметил Данте с хитрой улыбочкой, — мы наконец-то завладели правами хозяина дома.

Видаль подумал, что притупившиеся пять чувств — некая защитная скорлупа стариков.

— Пора поесть, говорят вам, — весело торопил Рей.

Видаль, как бы желая последовать за ними чуть погодя, остался в столовой. Когда друзья удалились, он направился к двери и вышел на улицу. Было уже светло. Пройдя один квартал, он почувствовал, что пончо на плечах ему мешает. Ага, стало быть, пришло наконец бабье лето после Святого Иоанна. Невдалеке от дымившихся остатков костров разносчик газет раскладывал их у подъездов. Видаль хотел купить у него газету и сунул руку в карман, но тот его предупредил:

— Нет, нет, дедушка. Для вас газеты не будет.

Видаль гадал, то ли все газеты предназначены подписчикам, то ли ему отказали, потому что он стар.

В доме Джими жалюзи по-прежнему были опущены. Видаль позвонил, хотя и сказал себе, что это бессмысленно, что он и правда зря беспокоит людей. Да еще пришлось отгонять от себя мысль, будто все на улице — сперва молочник, потом постовой, а теперь женщина, мывшая пол в сенях дома напротив, — смотрят на него с плохо скрываемой смесью удивления и враждебности. Наконец дверь отворилась, и высунулась маленькая головка Летисии, прислуги Джими.

— Джими дома?

— Не знаю. Который час? Хозяин в это время еще спит.

Девушка смотрела на него круглыми, очень близко посаженными глазками. Чтобы показать, что он друг дома, Видаль заметил:

— А я думал, что вы приходящая.

— Со вчерашнего дня я тут живу, — возразила Летисия с явным удовлетворением.

— Вы слышали о вчерашних беспорядках? Для всех друзей было бы намного спокойней, если бы Джими не выходил из дому. Не будите его, пожалуйста. Запомните мои слова.

Девушка, видимо, хотела не впускать его в дом, но потом, как бы передумав, посторонилась. По узкой лестничке слева они спустились в подвал, где днем раньше Видаль случайно увидел любовную игру, привлекшую его внимание.

— Подождете меня? — сказала девушка. — Я мигом.

Видаль подумал: «Хоть бы он оказался дома. Еще одной смерти я не выдержу». В житейских делах, где беспорядочный случай обычно распределял удары более или менее равномерно, Видаль, так показалось ему, впервые обнаружил некий умысел, и, без сомнения, умысел враждебный. Вскоре Летисия появилась. Не дожидаясь ее ответа, Видаль вопросительно посмотрел ей в глаза. Девушка усмехнулась.

— Там только племянница. Я ее не будила.

— Значит, Джими нет дома?

— Если хотите, я постучусь к племяннице и спрошу.

— Нет, ни в коем случае.

Девушка опять усмехнулась, словно о чем-то догадавшись, и пристально поглядела на Видаля.

— Не желаете ли мате?

— Нет, нет, спасибо, — поспешно ответил он.

Хотя поднимался он по лестнице небыстро, ему казалось, будто он бежит. Открывая дверь на улицу, он услышал внизу, в подвале, прерывистое дыхание и какой-то звук, который сперва показался ему всхлипом, а затем — смехом.

(Окончание следует)

■

МОРИС ВАКСМАХЕР

Из французской поэзии конца века

Морис Ваксмахер. *Танжер. Ноябрь 1979г.*

«Силовое поле стиха»

Поэты, представленные в этой подборке, схожи между собой, пожалуй, только тем, что не принадлежат ни к каким литературным группам или течениям. Эжен Гильвик (род. в 1907 г.), Ален Боске (род. в 1919 г.), Лионель Рей (род. в 1935 г.) и Жан-Пьер Лемер (род. в 1948 г.) относятся к разным поколениям, каждый из них во французской поэзии стоит особняком, каждый прокладывает свой путь в одиночку. На этих страницах их свел вместе и объединил поэтический выбор Мориса Ваксмахера, замечательного переводчика, слишком рано ушедшего из жизни. Морис Ваксмахер был поэтом, раздарившим свой поэтический талант другим. В книге его переводов «Страницы европейской поэзии. XX век» (М., 1992) его голосом говорит едва ли не вся поэтическая Европа нашего столетия: Аполлинер, Рицос, Мачадо, Элюар, Брехт, Арагон, Рене Шар и молодые поэты, чья слава еще впереди. В сборнике больше пятидесяти авторов, и все они бесспорные должники поэта, написавшего их стихи по-русски, — Мориса Ваксмахера.

Как и почему переводчик выбирает для перевода те или иные стихи (разумеется, если речь не идет о заказной работе), сказать так же трудно, как, например, почему поэт сегодня пишет стихотворение о природе, а завтра — о смерти. В переводе пути вдохновения так же темны, как и в оригинальной поэзии. М.Ваксмахер выбирал поэтов самых разных, главным образом — французских. О многих из них он писал в статьях и предисловиях. Разумеется, не обо всех. Но нигде, наверно, он так прямо не высказывался о причинах своего выбора, как в неопубликованном предисловии к сборнику Алена Боске, который он подготовил к печати, но который так и не вышел из-за новой, коммерческой политики издательств.

«За его (Алена Боске) головокружительной словесной игрой, за прихотливым зигзагом абсурдистского вымысла, за дерзкой сшибкой метафор, взятых из самых несопоставимых пластов бытия, всегда ощущаешь стремление поэта осмыслить, понять, оценить нечто очень существенное, управляющее всей этой вселенской круговертью.

Удивляя нас зорким видением «частностей» жизни, Боске размышляет, конечно, не о частностях, а о главном. О жизни и смерти. О душе. О законах, повинуясь которым мы любим, страдаем, грешим, наслаждаемся, творим.

В стихах Боске мне импонирует рационалистическая взвешенность и холодноватость, странным образом идущая об руку с буйством фантазии. Импонирует, что, размышляя о времени, вечности, человеке и Боге, поэт отвергает иллюзии, что ему чужда патетичность,

противна сентиментальность, ненавистна словесная мишура и что о трагичности бытия он склонен говорить деловито и сухо — и при этом часто в форме иносказания, притчи. Импонирует, что в самой фактуре его стиха слышна застенчивая ностальгия по ушедшему детству, по чистым краскам природы, по гармонии нормальных человеческих чувств.

И импонирует тяга поэта к иронии, особый талант многое высветить с помощью маскарада и шутки, умение вдруг повернуть самую серьезную мысль забавной ее стороной.

В кратком предуведомлении к своей поэтической книге «Тревоги Господа Бога» А.Боске говорит: «Я свои пределы знаю, но моим стихам они неведомы». Поэт передает своим стихам (чуть было не использовал модное словечко «делегирует») право на дерзкий полет фантазии. Но в калейдоскопе гипотез, проб и чудес Алена Боске незыблемым остается мотив прославления творческой свободы — и для творящего Вселенную Бога, и для творимого Им человека, порою вступающего со своим Создателем в веселое состязание, и для поэта, наблюдающего такие турниры. (Глубокой жалости достойны ханжи, готовые усмотреть в подобных мотивах кощунство...)»

Ален Боске должен был войти в подборку французской лирики конца века, которую незадолго до смерти М.Ваксмахер готовил для «ИЛ». Он предполагал включить туда Гильвика, Рея, Лемера и еще нескольких поэтов, чьи последние стихи показались ему интересными, но перевести их он так и не успел. Эжен Гильвик (обычно подписывающий свои стихи просто «Гильвик») был одним из наиболее близких ему поэтов. Ваксмахер переводил его много, как и Алена Боске, состоял с ним в переписке, дружил. Предваряя свои переводы Гильвика в журнале «Арион» (1994, № 2) небольшой врезкой, Ваксмахер объясняет свое непростое прочтение его внешне простых стихов, сравнивая их с классической японской поэзией:

«У верлибров Гильвика — свой тон. Им свойственна графическая тонкость рисунка, легкость ритмического мазка, разговорная свобода интонации при бесспорной завершенности и выстроенности, присуще ненавязчивое, будто вскользь, мимоходом, подрифмовывание некоторых строк. В отличие от большинства французских поэтов, Гильвик не чурается в своих стихах и традиционной расстановки знаков препинания. Кстати, о традиционности: Гильвик для меня — поэт преимущественно традиционный. И вместе с тем поэт сугубо современный, на которого наложил свою печать целый ряд особенностей европейской цивилизации последней трети двадцатого столетия. Это двуединство проявляет себя в раскованной непринужденности художнической манеры Гильвика, в естественности поэтической речи, в глубинной философской сущности его раздумий, в его постоянной обращенности к проблемам морали и духовности, к подсознательной стороне художественного творчества, наконец, в тугой напряженности силового поля стиха, которую ощущаешь вкупе со свободой и естественностью звучания. Эта напряженность всякий раз вновь и вновь разряжается бесшумным электрическим разрядом, после которого, как после грозы, в воздухе явственно слышится запах озона».

В этой последней прижизненной публикации Ваксмахер, не оставивший, к сожалению, в отличие от многих других мастеров перевода записок о секретах своего искусства, все же приоткрывает отчасти тайны своей лаборатории, давая будущим переводчикам ключ к нерифмованной французской поэзии, своего рода карту этого неосвоенного пространства, где он был одним из пионеров. Когда в нашей поэзии еще не было этому никаких аналогов, он искал и находил способы передачи своеобразной, непривычной для русского слуха гармонии:

«Как известно, современный свободный стих имеет во Франции множество вариантов и модификаций. Внутренняя структура любого верлибра определяется чередованием, повторяемостью и сочетанием тех или иных образных, синтаксических, лексических, фонетических, дыхательных единиц. Торжественная поступь версетов Сен-Жон Перса; бесконечное нанизывание синтаксических сходных каламбуров и парадоксов на столь же бесконечный дыхательный стержень в ёрнической скороговорке Жака Превера; эллиптическая сжатость, предельная зашифрованность, сложнейшая, нередко так и остающаяся загадочной ассоциативность стиховых конструкций в верлибрах Рене Шара; почти неотличимые от прозаических структур и по-своему изящные в своей предельной громоздкости построения Франсиса Понжа...»

Только необычайной скромностью можно объяснить открывающие цитату слова «как известно». Свои открытия и находки Морис Николаевич всегда преподносил как нечто само собой разумеющееся. Занимаясь у него в семинаре, мы даже не понимали, что он открывает нам не прописные профессиональные истины, а совершенно новые приемы перевода новой поэзии. М.Ваксмахер обучал начинающих переводчиков в издательстве «Художественная литература», работая редактором знаменитой многотомной серии БВЛ («Библиотека всемирной литературы»), а потом, не жалея времени, продолжал вести семинар поэтического перевода при Союзе писателей, где у него учились Н.Стрижевская, Н.Шаховская, Е. Кассирова, уехавшие В.Орел и Р. Дубровкин, успевшие, однако, немало сделать в переводе, пока жили в России.

Тогда, пятнадцать лет назад, вместе со своим семинаром Ваксмахер выпустил книгу «Новые голоса» (М., 1981), где впервые зазвучали на русском языке стихи двадцати молодых поэтов. В их числе был и Лионель Рей (в переводе Н.Стрижевской и Э. Шапиро), который с тех пор успел издать несколько книг и превратиться из поэта молодого и многообе-

щающего в поэта, эти обещания сдержавшего. Судя по карандашным пометкам Ваксмахера в надписанном ему автором сборнике Л.Рея «Облака, ночь», он собирался включить в свою подборку для «ИЛ» не три, а около десяти стихотворений Рея.

Что касается Жана-Пьера Лемера, то он сейчас один из самых заметных поэтов своего поколения. О нем много говорят и пишут. В 1994 году «ИЛ» (№ 10) опубликовала его стихи в переводе Е.Туницкой — тоже при поддержке Ваксмахера, рецензировавшего подборку.

С «ИЛ» Морис Ваксмахер сотрудничал с 1955 года, с самого первого номера, и печатался на ее страницах больше ста раз как переводчик, автор, рецензент. Он столько сделал для проникновения в Россию французской литературы — в том числе и в очень трудные времена, — что, наверно, его в этом смысле и не с кем сравнить. Помимо поэзии он переводил прозу таких писателей, как Антуан де Сент-Экзюпери, Луи Арагон, Маргерит Юрсенар, Робер Мерль, был составителем и инициатором издания многих книг, блестящим и чутким редактором. Недавно «ИЛ» и французское посольство в России учредили премию его имени, которая будет вручаться ежегодно за лучший перевод с французского.

2 апреля этого года Морису Ваксмахеру исполнилось бы 70 лет. Мы публикуем то, что осталось у него в столе.

И.КУЗНЕЦОВА

ЖАН-ПЬЕР ЛЕМЕР

***

Тонкие струйки дождя
как вода поливальных машин на платформах метро
прибивают пыль к тротуарам
Когда идет дождь
людей поглощают фасады
Вскоре люди обратно выходят
такими же точно как прежде
будто просто найти не сумели
для себя работы внутри

Зима

Птицы держат над окнами небо
за четыре угла
будто не очень свежую скатерть непонятного цвета
чтобы на верхнем балконе
стряхнуть с нее клювами крошки дождя
вместе с незримыми черными крошками
своих собственных нот

ЛИОНЕЛЬ РЕЙ

***

Память —
это большие
часы,

воткнутые
в костер, —
ведь мы обитаем

© Gallimard, 1982
© Gallimard, 1981
© Gallimard, 1983

в середине дышащих легких
океанского острова.
Все обретает свой смысл

изнутри.
Но я возвожу
небывалое

время,
где лампы глядят
сквозь цветы.

Глазам нелегко уследить
мерцание линий,
непоседливых, точно белки.

Синева
разглаживает свои складки
на западе вечера.

Кажется,
будто холодом тянет
от гомона птиц.

***

Пока я ступень за ступенью спускаюсь
по своей лестнице из чернил по конструкции из металла
из живой воды из размятых теней
тем временем ты вступаешь в пузырь
дней в тепловатость трав существующих
лишь для тебя — вечера наладили снова свои отношения
со звоном тугим мошкары с бескрайним полотнищем
полета диких гусей и на распахнутых крыльях
огромной парящей птицы ты покидаешь
землю

***

Как влетевший в пламя листок
и уже ничего не поделаешь

Как толпа
падают на колени волны
свет стал еще больше бледнеть

У самого края мола
ночь дальше некуда ей отступать

Мне казалось что угадал я имя
в золе угадал простые черты лица
съежившуюся фигурку

Мы одиноки
в этом оркестре теней
почти одиноки
кровь безмятежна

ГИЛЬВИК

***

Сороки
Дробили на такты
Лесную сумятицу,

Удивляясь,
Что приходится им развлекать
Всю эту листву,

Всегда поглощенную
Выбором
Нужного колера,

Заботами срочными
Дня.

***

Наткнуться случайно
На маленький сад,
Заросший травой,

Чтобы вокруг ни окна,
Ни шума, ни куклы,
Ни даже серсо.

Ничего, кроме времени,
Удалившегося на покой
И не жаждущего перемен.

***

Час за часом по жизни своей
Ты идешь,
Точно землю пашешь.

И ты делаешь это
Не для будущих
Урожаев.

А потому что так надо.

***

То, что в мире всего тяжелее,
Необязательно много весит,
Это вовсе не скалы, не леса, не стада,

© Gallimard, 1987
© Gallimard, 1993

А нечто совсем другое.
Неведомое
И загадочное,

Что рыщет по белу свету
И порою тебя затягивает
В водовороты свои —

Наверно, надеется в тебе отыскать
Конечную станцию
Своих странствий.

***

Можешь ли ты поклясться
В том, что всегда

Предпочитаешь конечное
Бесконечному?

Ведь бесконечное
Это ты сам,
Растворенный во всем, что не ты.

***

Когда я думаю, солнце,
Что сравнительно
С бесконечностью,
В которой мы оба плаваем,

Ты лишь чуточку больше размером,
Чем я...

***

Дай мне
Тоже поцарствовать,
Солнце!

Над чем?

Над сводом небесным
И над тобою.

Дай мне
Тебя погасить и зажечь.

АЛЕН БОСКЕ

Из книги «ТРЕВОГИ ГОСПОДА БОГА»

Жану Грожану

Бог — это препятствие,
которое я воздвигаю между самим собою и мной,
чтобы мне не надо было себя понимать.

А.Б.

«Мне очень грустно, — говорит Бог, —
оттого что я взрослым родился.
У меня так и не было детства,
и мне никто не позволил открыть
уже созданный мир.
Я не нашел никого,
кому я мог бы сказать: «Добрый день, мой отец»
или: «Как, маменька, ваше здоровье?»
Во мне очень мало детского простодушия.
Лава, кремень, мошкара,
зефир, человек, пион —
каждый требовал, чтобы с первой минуты
был я ответственным и активным.
Мне очень грустно:
у меня никакого прошлого нет».

***

«Я не могу, — говорит Бог, —
вести свой интимный дневник —
слов для этого не существует.
Я к вам не могу обратиться
ни по-русски, ни, скажем, по-датски, ни на латыни —
я должен все же блюсти хоть какую-то тайну.
Не могу я, на себя напустивши испуганный вид,
с наступлением сумерек прятаться
в глазу антилопы
или в траве луговой —
это было бы слишком наивно.
Глагол «быть» не очень ко мне применим.
Надеюсь, вы знаете, как я нежно к вам отношусь,
да только нельзя мне
вам это показывать.
Такова уж планида моя».

***

«Мне надоели все эти поэты, — говорит Бог, —
которые навешивают свои трескучие рифмы
на самую прекрасную из моих роз
и норовят за моим лучезарным солнцем,
сверкающим на небе в полной своей красе,
увидеть черное солнце,
ядовитое, как проказа.
Мне надоели все лжефилософы эти,
что шарят под лазурным моим небосводом,

© Gallimard, 1986

как блудодеи под юбками продажных женщин.
Мне надоели шуты,
которые меня обволакивают
мишурой слов
в нелепой надежде изречь мою истину.
Замолчите! Довольно!»

***

«Я взвесил тело свое на весах, —
рассказывает человек, —
пятьдесят один килограмм во мне весу.
Взвесил тоску свою и тревогу —
по четыре тонны каждая тянет.
После этого взвесил душу свою —
легче пушинки она оказалась.
Слово свое положил на весы —
было оно с утра полновесным,
а к вечеру запропастилось куда-то.
Стал наконец я взвешивать Бога —
стрелка весов замерла на нуле».
«Это не страшно, — говорит ему Бог, —
дело в том, что весы твои — я».

***

«Если при имени «Бог» у вас начинается
приступ крапивницы, — говорит Бог, —
зовите меня «алебастром», «ласточкой» или «ручьем» —
я буду знать, что речь идет обо мне.
Если от имени «Бог» вам становится худо,
изобретите взамен другое какое-то слово,
что-нибудь вроде «легкого вздоха», «росы»
или «ужаса небытия».
Меня оскорбить невозможно:
все на свете слова — синонимы для меня».

***

Я верую в Бога,
поскольку он слегка подновляет лазурь,
передвигает с места на место дерево,
останавливает поток,
награждает пощечиной утро,
если оно не желает вставать.
Я не верую в Бога,
поскольку перевожу его творенья в слова.
Я верую в Бога, не веря в Бога,
поскольку я сам — и небо, и дерево,
и река, и утро, и ночь
благодаря всем этим словам,
которые я краду у него.

***

Я счастлив, как морская пена,
как вечерний ветер,
как мимоза, которая вздрагивает и трепещет
всей музыкой чутких веток.

Я на поводке выгуливаю свои строки
с их тропическими островами
и с кораблями, которые легче,
чем мимолетный просверк в зрачке баклана.
Лоскут лазури зубами зажав,
я кидаюсь в счастье, как в омут,
как верхом на коне
кидаешься в омут некошеных трав,
облитых росою.

Выходной

Сегодня у моих стихов
выходной,
они могут с утра
позволить себе поваляться в постели
и выходят из дома лишь для того,
чтобы стащить за углом на прилавке
пару-другую фантастических фруктов.
Потом, уютно устроившись внутри своих слов,
мои стихи сооружают вселенную
для личного своего пользования.
Завтра
они будут вести себя много серьезней:
по будничным дням мои стихи идут на работу
и подчиняются правилам
нашей реальности.

Раздвоение

У меня всегда было две головы —
большая для грусти
и крохотная для веселья.
У меня всегда две памяти было —
ах, как сверкало прошлое в первой,
как было все пусто, мертво
во второй!
Всегда во мне бились, стучали два сердца —
одно для любви,
другое для скуки.
Что касается моих жизней,
я уже сбился со счета,
часто мне кажется, что их были сотни,
населенных цветами, и птицами,
и монументами, нежными, как женские губы,
а иногда я боюсь, что их не было ни одной.
Рядом со мной всегда бежали две тени:
одна — чтобы мне аплодировать,
другая — чтобы меня разносить в пух и прах.
И если уж быть до конца логичным,
мне суждены, должно быть, две смерти:
одна — чтоб я мог над собой посмеяться,
другая — чтоб чем-то потешить себя.

ЗИНОВИЙ ЗИНИК
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДУБЛИН

1. ЛЕОПОЛЬД БЛУМ, СВ.ПАТРИК И ВЛАДИМИР ПЕЧЕРИН

Дублин — один из немногих городов мира, вроде Москвы или Иерусалима, осознающих себя избранниками. Такой город — непременно столица некой невидимой (для постороннего взгляда) духовной империи. Эта империя избранников, однако, ощущает себя одновременно и провинцией, придатком соседней цивилизации, политически более изощренной и более мощной. У Иерусалима (библейского) таким великим соседом был Рим, у Москвы (XIX века) — Париж, у Дублина — Лондон. Лондон (XX века) поблек бы перед Нью-Йорком, но Лондон принципиально всегда считал себя лишь большой деревней, точнее — конгломератом хуторов. Своего цивилизованного и всесильного соседа дублинец одновременно и презирает, и заискивает перед ним. Дублинец, переселившийся в Лондон, заклеймен как предатель своими соотечественниками. Но грош тебе цена, если ты не мог добиться успеха в Лондоне и всю жизнь проторчал в Дублине.

Дублинцы — это нация, которая не может смириться с собственным существованием в четырех стенах своего родного дома-города. Тут сто́ит заметить, что архитектура Дублина, по крайней мере то, что заслуживает внимания, вроде Мэрион-сквер (где проживала вся ирландская артистическая элита XIX века), создана англичанами. Бунтарские речи ирландских гениев отражались от английских стен эхом-горохом. Это были идеи в чуждом окружении, в одежде с чужого плеча. Ирландцы, как известно, не без основания полагают, что никто лучше их не говорит по-английски. При этом своим родным языком они считают гэльский, но на этом родном языке в Дублине говорят лишь считанные единицы. Даже ирландский (антибританский) патриотизм в самой радикальной из форм — республиканское движение — был вдохновлен в первую очередь самими британцами, утопическими идеалистами, не без влияния русской революции начала века.

Дублин постоянно перестраивается, поскольку дома разрушаются на глазах: ни у кого нет ни желания, ни сил производить ремонт. Вместо городских особняков вырастают бетонные коробки. Даже отель «Блум» (в честь джойсовского героя Леопольда Блума) — стекло и бетон, хотя туалет в отеле оклеен обоями с цитатами из «Улисса». Такое впечатление, что дублинцы уничтожают материальные воплощения чужеродных идей с религиозным ражем разрушителей идолов. Но тут скорее не иконоборчество, а просто наплевательство и инстинктивный эгалитаризм (не исключающий, как и в России, зуда выделиться любым способом из толпы себе подобных). Эта индифферентность не исключает, впрочем, и мстительности в отношении тех, кто вырвался из дублинского порочного круга самоотвращения и тайной гордыни.

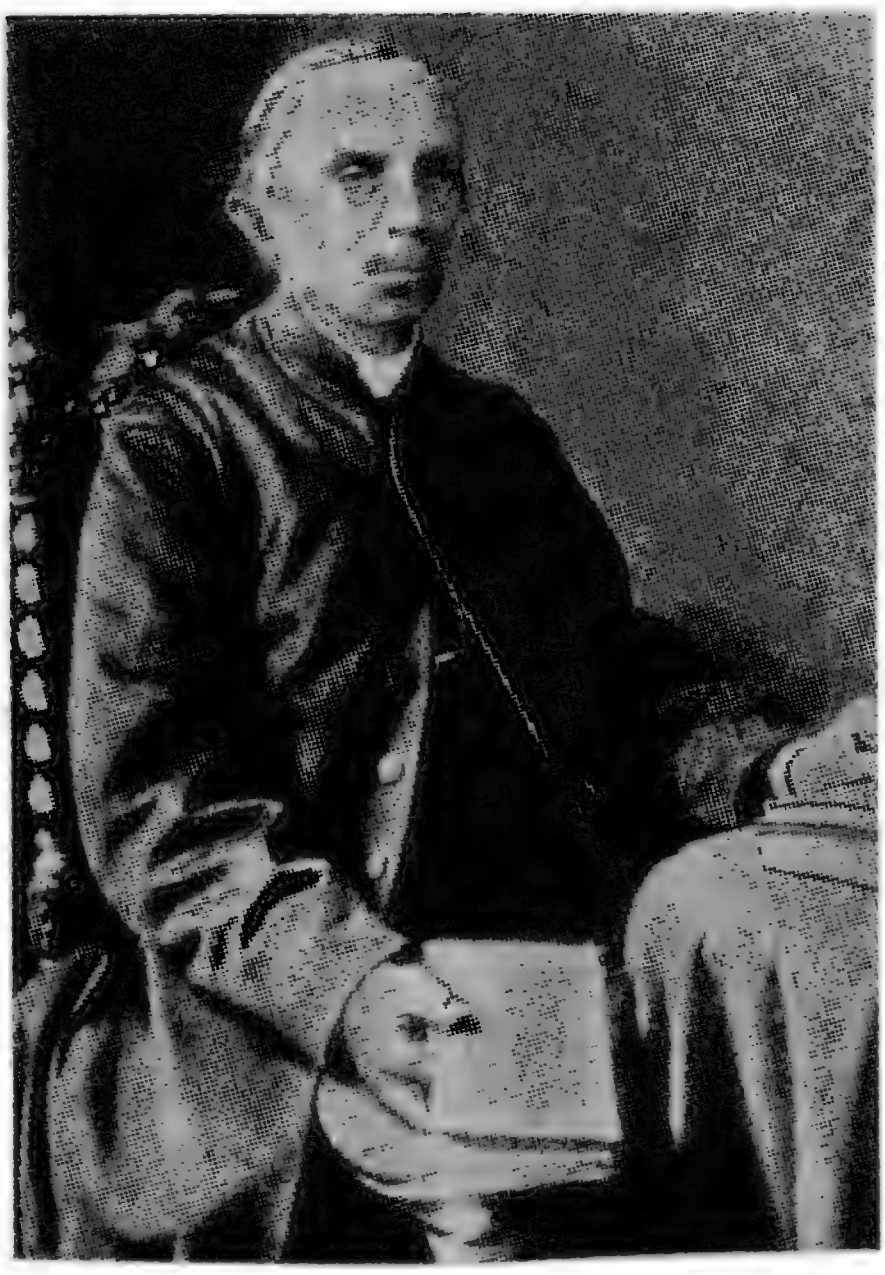
До 60-х годов при упоминании имени Джойса дублинцы плевались. Их можно понять. Как, скажите на милость, относиться к писателю, назвавшему твою родину-мать «свиньей, пожирающей собственных поросят»? Перед тем как дублинская «джойсиана» стала привлекать тысячи туристов и, соответственно, деньги в карман дублинцев, соотечественники Джеймса Джойса с какой-то злорадной снисходительностью позволили местным властям разрушить дом жены Джойса, Норы Барнакл, где Джойс поселил своего Блума. В наши дни Леопольд Блум — чуть ли не народный кумир. Мотив психологического самоистязания свойствен ирландцам в той же степени, что и русским: как иначе можно объяснить тот факт, что героем этого города-католика стал еврей-прохиндей? Но церковь взяла свое: на месте разрушенного дома Леопольда Блума было построено новое крыло больницы The Mater Misericordiae; по иронии судьбы, здесь закончил свои дни капелланом предтеча «лишних людей», русский эмигрант и монах ордена Редемптористов (Искупителя), Владимир Сергеевич Печерин (1807 — 1885).

Конечно, я должен был помнить (из биографии Гершензона), что этот исторический персонаж, попавший на страницы чуть ли не всей русской литературы, оказался в конце концов в Дублине. Но я недооценивал, насколько все это близко, конкретно и страшно — оказаться в маленьком и тесном городском закутке мира, где каждый считает себя гением и погода меняется ежеминутно. Эта переменчивость отчасти соответствовала и его собственному темпераменту. Этот ученый-классик, знаток Древней Греции и Рима, оставшийся в Европе вопреки

настоятельным уговорам друзей и правительственных эмиссаров, перепробовал вроде бы всевозможные роли в своей жизни. Но в его переменчивости была своя метода, свое постоянство. Мы знаем этот темперамент: сначала безумно увлекаться, а потом бездумно оплевывать.

Его восторги после первой встречи с европейской цивилизацией продолжались до тех пор, пока хозяйка пансиона не намекнула ему: мол, если у тебя есть деньги, чтобы просиживать днями и ночами в кафе, изволь регулярно платить за квартиру. После этого вся европейская цивилизация была проклята как ничтожный мелкобуржуазный мир сантимников. Печерин подался в стан социалистов и анархистов. Пока один из анархистов не взял у него в долг последние деньги, присланные из России, и не исчез без следа, что привело Печерина, тут же разочаровавшегося в политике, в стан иезуитов. Но после нескольких месяцев изучения догматов в толковании этого ордена Печерин решил, что он окружен архилицемерами. Даже тот факт, что он в конце концов все-таки перешел в католичество, объясняется, видимо, его стремлением полностью порвать с российским (то есть православным) прошлым.

Его ужас перед возвращением в Россию почти советский. Когда его, по простоте душевной, навестил представитель российского консульства, Печерин обвинил этого добродушного чиновника в том, что тот — агент царской охранки. Печерин попал в Англию в качестве монаха, но тут же дал завлечь себя еще в одну интригу и скандал со своим собратом по ордену, в результате чего удалился в Ирландию. Как и следовало ожидать, он стал героем республиканцев, и не совсем случайно: в костер, где сжигались еретические брошюры, какой-то провокатор подбросил протестантскую Библию, что, естественно, было неправильно воспринято английскими (то есть антикатолическими) властями: Печерин (Father Pecherine) угодил в тюрьму, и про него даже распевались уличные куплеты. Видимо, при всей его строптивости, негативизме и доктринерской одержимости в нем жила инстинктивная внутренняя доброта. Его явно любили. Но конец его грустен: он разочаровался во всем — и в социализме, и в христианстве («этом бреде из Назарета»). Он продолжал регулярно писать письма своему единственному другу в России. «Отзовись, старый мой товарищ, кроме тебя, нет у меня никого на свете», — повторял он в письмах, не получая ответа. Старого друга-товарища давно не было в живых, а письма все шли.



Владимир Печерин

Но вернемся к еврею Блуму. Я впервые попал в Дублин переменчивым, как все тут, летом, поскольку мой день рождения приходится на 16 июня — тот самый день, когда происходит действие в романе «Улисс». Все действие этого романа, напомню, состоит в том, что Леопольд Блум передвигается по Дублину из одного питейного заведения в другое. Вместе с толпой дублинцев и иностранцев повторил этот маршрут и я со своей женой Ниной. В пабе «Бейли» я обнаружил единственную реликвию, оставшуюся от Леопольда Блума, когда он был «вытеснен» из квартиры соотечественником его предков (предки дублинских евреев всегда из России), отцом Печериным. Эта реликвия — входная дверь. Элегический поэт Дублина Патрик Каванах водрузил эту дверь в легендарном пабе. «Отныне объявляю эту дверь открытой!» — заявил он на клоунской церемонии открытия этого импровизированного музея памяти Джойса.

Во время моего второго визита в Дублин (сырым и колючим, как будто от небритости, мартом 1995 года, в день Св. Патрика) я обнаружил, что дверь эта заперта: паб «Бейли» стоял заколоченным. Его скупил супермаркет «Маркс и Спенсер». Каламбурная анекдотичность имен основателей этой торговой фирмы может быть и случайна (это не тот Маркс и не тот Спенсер), но смешно, что в который раз дублинские места, связанные с памятью Джойса, узурпированы эмигрантами из России и Восточной Европы, откуда родом еврейская семья Маркса-Спенсера. (В начале века они придумали продавать с прилавков галантерейную мелочь по пенсу за штуку.) Все эмигранты на свете каким-то образом связаны: это своего рода семейные (несчастливые по-своему) узы. При жизни Джойсу пришлось эмигрировать от своих соотечественников; после смерти —

от своих еврейских героев. Даже в загробном мире есть свои эмигранты. Некоторые пытаются вернуться в Дублин в виде привидений.

Дублин, как и Москва, — большой вокзал. Дублин — это город, откуда уезжают. Дублин — это город, в который возвращаются: чтобы сравнить надежды собственного прошлого со своим успехом или поражением. Но есть те, кто не отличает своего поражения от победы, и тогда в Дублин переселяются окончательно: вроде монаха Владимира Печерина, обратившегося из православия в католицизм, или еще одного монаха — Джеральда Мэнли Хопкинса. Этот английский Мандельштам XIX века пришел в католицизм из англиканства и закончил свои дни в Дублине, где его чтили, но не любили (он, судя по всему, предпочитал исповедь в церкви, а не за стойкой бара). В Дублине прописаны все транзитные пассажиры небесных авиалиний. Это город внутренних эмигрантов, воображающих себя патриотами. Дублинцы говорят о собственном городе с презрительной горькой ухмылкой и даже с бешеной ненавистью, если речь заходит о соседях по улице. Но от чужака ожидаются лишь гимны Дублину.

Дублинцы предпочитают фикцию реальности. Паб — это, как известно, фиктивный, выдуманный идеальный дом, уютная гостиная с креслами, камином, картинками на стенах и плотными шторами на окнах: это подмена домашнего уюта — без склочной супруги, тещи или орущих детей. Дублинец, чувствующий себя несколько неуютно дома, предпочитает реальной жизни разговор в пабе. В пабном общении — вся идеальная жизнь дублинца.

Я помню свои первые дублинские восторги: после нейтральной вежливости, холодноватой дружелюбности лондонского паба вдруг попадаешь в парадиз необузданной готовности общаться. Ты плывешь на эмоциональной волне открытости — манер и слов — на полных парусах, точнее — с полной кружкой в руках, а волны тут — это потоки гинеса. Пресловутая густая пена в кружке гинеса как будто поддерживает в целостности и сохранности свежесть общения. Поскольку гинес чувствителен к транспортировке, отчужденность ирландских эмигрантов (как, впрочем, и расстояния в самом Дублине) можно измерять качеством гинеса, в зависимости от степени удаленности от пивоварни «Гинес». В настоящем ирландском пабе пенная шапка на кружке гинеса украшается, как печатью качества, последним пенным завитком в форме национальной эмблемы Ирландии — трилистника. Этим трилистником покрыты скалы вокруг Дублина, где море в солнечную погоду чернеет, как гинес. А воздух терпкий и насыщенный, как виски. Гинес пьют «с прицепом»: пинта гинеса, стаканчик виски (ирландского виски, с дымком, поскольку процеживают виски сквозь торфяной уголь). В этом климате, в этом ландшафте моря и воздуха «с прицепом» собеседники нетрезвы заранее, с первого слова, но вида не подают.

Ни один разговор, само собой, не обходится тут без упоминания выпивки. По прибытии в отель «Блум» я тотчас узнал от портье, что день Св. Патрика для дублинцев — это день, когда запрещалась (до 1975 года) продажа спиртного и в пабах, и в магазинах. Портье звали Падди (то есть Патрик). У него были седоватые усики бильярдиста и шармера-волокиты и совершенно обесцвеченные, как мартовская беловатость неба над Дублином, глаза выпивохи. Он тут же угадал во мне духовного собрата по алкогольным увлечениям. Кроме того, я, очевидно, был для него новым слушателем его старых историй. Все они были про то, как ирландцы обходили алкогольный запрет в день Св. Патрика. Самый известный ход — отправиться на выставку собак. Лишь на собачьей выставке бар почему-то работал без перерыва и без ограничений, и в день Св. Патрика дублинские жены с удивлением узнавали о неистовом интересе своих мужей к собаководству. Запрет не распространялся на транзитных пассажиров, и поэтому алкоголь разрешалось продавать в станционных буфетах. Входные билеты на перрон в этот день продавались бойко: как-то чудом выходило, что дублинцы по дням Св. Патрика непременно или провожали кого-то, или кого-то встречали (как выяснялось: друг друга провожали, а потом тут же и встречали). На улицах в этот день появлялись продавцы святой воды с подносами: в стаканах, естественно, была не вода, а прозрачный джин («Ведь Он воду превратил в вино, не так ли?»).

Там, где выпивка, там и разговор. Однако говорящих в дублинском пабе трудно назвать собеседниками. После первых мгновений бурного общения с незнакомцем ты понимаешь, что тебе не удается вставить в разговор ни единого слова. То есть не совсем верно: ты начинаешь фразу, ее едва выслушивают и тут же тебя перебивают, угадывая направление твоей мысли, точнее — выдумывают за тебя, что ты хочешь сказать, и договаривают за тебя то, что ты сказать совершенно не собирался, продолжая свой собственный монолог в несколько ином повороте. Разговор в дублинском пабе — это монолог, подделывающийся под диалог. И одержим говорящий в общем-то одной идеей: опровергнуть в глазах собеседника им же создаваемый образ самого себя. Дублинцу постоянно кажется, что его неправильно поняли. Не российская ли это черта (я, по крайней мере, всегда ловил себя

на подобной манере речи и мышления)? «Есть нечто общее, — проводит параллели на этот счет знаток Дублина сэр Виктор Притчетт, — и в русской широте, и в ирландской щедрости, и в обоюдном для русских и ирландцев инстинктивном неприятии успеха».

Подобные параллели и обобщения звучат страшно соблазнительно — слишком подкупающе, слишком убедительно, чтобы быть правдой. Там, где мерещится общее, и следует, как известно, выискивать разницу: видимость сходства между обезьяной и человеком лишь обманное прикрытие кардинального различия в породах. Ирландцы, как и русские, похожи на всех тех, кто пытается жить ни на кого не похожими, подражая всем одновременно. Естественно, что мой уход от российской общности и притягивает меня к дублинцам. В дублинцах я вижу собратьев по изгойской судьбе — тех, кто хочет быть там, откуда ушел, и обижается, что его не принимают за великого человека среди тех, чье мнение он презирает. Дублин притягивает всех, кто ощущает себя сброшенным с парохода современности, и кичащихся тем, что в них никто больше не заинтересован; притягивает всех обойденных, обиженных, недопонятых, не добитых судьбой.

Но, в отличие от российских неудачников, ирландцы способны превратить это состояние депрессивности и убожества в меланхолию безупречного стиля, в уникальный театр, где каждая трагическая гримаса неудачника продумана до малейших деталей и поэтому смотрится как нечто прекрасное — вроде потертого лакированного сиденья в закутке ирландского паба с зелеными стенами. (Зеленая гвоздика в петлице у ирландца Оскара Уайльда была вовсе не эксцентрической прихотью, экзотикой и шокингом, как это могло показаться со стороны лондонскому обывателю.) Великий человек великолепен в своих неудачах в той же степени, что и в своих достижениях. В понимании фатальной грандиозности собственного поражения — залог будущего успеха. Оскар Уайльд, знаток великого успеха и грандиозного поражения, развил даже теорию на этот счет: о том, что, по аналогии с желудком, душа человека может переваривать разные ингредиенты с совершенно непредсказуемыми результатами, где поражения от победы ты сам не должен отличать. Таковы, я думаю, уроки ирландского отношения к жизни: поражение — столь же достойный опыт, что и победа. Таково мнение не только Пастернака и Уайльда, но и боксера, или, как он себя называет, «кулачного бойца» Криса Юбэнка.

2. КРИС ЮБЭНК

«Мой лозунг в боксе: преобладание стиля над содержанием», — заявил боксер Крис Юбэнк, неосознанно цитируя Оскара Уайльда, после того как уступил свое звание чемпиона во втором среднем весе дублинцу Стиву Коллинзу. Дублин научил меня серьезно относиться к боксу. Это произошло в ночь после празднования дня Св. Патрика. Св. Патрик обратил Ирландию в христианство. В каждом кельтском поселении Св. Патрику грозила смерть, но он бесстрашно входил в логово язычников, и каждая община, принятая им в лоно христианской церкви, раскладывала на своем священном, самом высоком холме гигантский костер, оповещая всю страну о торжестве Спасителя.

В ночь накануне боксерского матча между Крисом Юбэнком из английского курортного города Брайтона и дублинцем по имени Стив Коллинз с каждого дублинского холма, пригорка, склона и ската светился вместо костра экран телевизора. В каждом пабе был установлен суперэкран размером в ползала. Я думал: выпью свою пинту с порцией виски и отправлюсь к себе в комнату — перечитывать Оскара Уайльда. Я наивно полагал, что не поддамся этому однообразному спектаклю, то бишь мордобитию с антрактом. Но как только Крис Юбэнк, негр с лицом курносого марсианина, въехал на ринг на платформе верхом на сияющем серебром и эмалью мотоцикле «Харли-Дэвидсон» в окружении кордебалета, я понял, что никуда не уйду.

Я не знаю, почему мне не понравился Стив Коллинз. Он сидел в наушниках плейера под натянутым по самые глаза капюшоном тренировочного костюма. Казалось, он явно во что-то вслушивается до последнего мгновения перед выходом на ринг — в какую-то свою молитву, мантру, нашептывания. Как выяснилось (я потом перечитал на этот счет все газеты), он распространил слух, что нанял психиатра-гипнотизера. Юбэнк чуть ли не отказался от поединка, потому что якобы не хотел вступать в кулачный бой с человеком, который не отвечает за собственные поступки, находясь в состоянии гипноза. Он однажды раскурочил череп одному из претендентов (на его престол чемпиона во втором среднем весе), и мысль о том, что он может сделать еще одного человека инвалидом на всю жизнь, ему претила. Так он заявил прессе. «Я не могу драться с монстром», — повторял он, как будто его противник, накачанный гипнотизером, превращается в некое воплощение всего того, чего Юбэнк боится и что ненавидит в боксе, в собственную уродливую тень.

Уже после боя выяснилось, что со стороны Коллинза это был чистый розыгрыш, блеф и надувательство. Он хотел лишь сму-

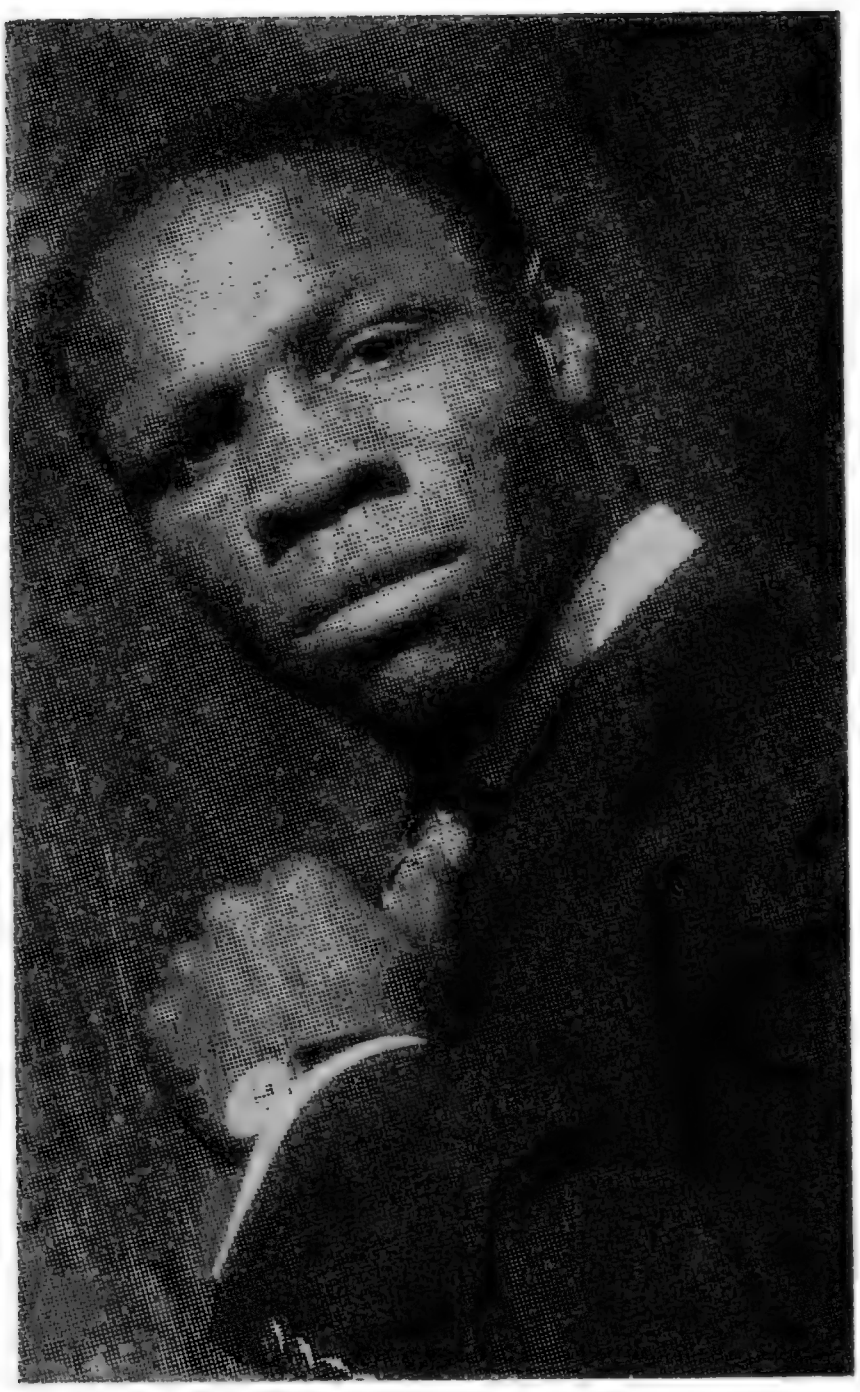
тить противника, выбить его психологически из колеи. Никакого гипнотизера, как оказалось, вообще не было. Были наушники, капюшон, остекленевший взгляд — театрализованное шарлатанство. Но Юбэнк купился. При всей своей браваде, бахвальстве и пижонстве Юбэнк — если и не наивный, то крайне доверчивый человек.

Всего этого я не знал. Я видел лишь победную ухмылку негра, которого освистывают, и неподвижное и одержимое лицо ирландца, чье каждое движение на ринге встречается его соотечественниками ревом энтузиазма. Через несколько раундов Коллинз после длинного и прямого удара правой Юбэнка пошатнулся и упал на колени. Рефери начал отсчитывать *нокаут*. Коллинз успел подняться, шатаясь, как раненый жираф (он гораздо выше Юбэнка, или мне так показалось). Вместо того чтобы в ту же секунду пристукнуть своего противника окончательно, Юбэнк продолжал клоунское кривляние: он вышагивал по рингу победной поступью, как по цирковой арене, выпятив грудь и демонстрируя свою мускулатуру и белозубую улыбку. Он превращал серьезный боксерский матч в балаган. Ему явно важнее было добиться расположения публики, развлечь ее любыми способами, вместо того чтобы всеми средствами прикончить на ринге своего противника.

Я уже следил за боем не отрываясь. Пока Юбэнк занимался клоунадой, Коллинз успел прийти в себя, собраться заново с силами и начал атаковать Юбэнка размеренными, без пауз, ударами. Он победил Юбэнка по очкам. Всякому дураку было ясно: как боксер Юбэнк сильнее и смелее, но не умеет или не хочет рассчитывать свои силы. Однако, судя по всему, ирландских болельщиков и ирландских комментаторов не интересовало, кто гениальнее в боксе: как всякий спорт, решил я, бокс — лишь повод для проявления патриотических чувств. На следующий день дублинцы хором твердили со страниц газет, по радио и с телевизионных экранов, что в боксе важен не только красивый удар, сила и ловкость, но и выдержка, дисциплина, трудолюбие, терпение и настойчивость, расчет и тактика. Ирландское благородство и показная (наряду с врожденной) щедрость, склонность к широким жестам, природная театральность, католическое милосердие — все было забыто, когда речь зашла о поединке между соотечественником и чужаком. Наш, свой, закусил губу и медленно и верно выбил из пришельца необходимую победу. Истина бывает только наша; все не наше — лживо и несправедливо. Мне было противно выходить на дублинские улицы из своего номера в отеле «Блум».

«Юбэнк — несерьезный человек», — сказал портье Падди, как будто речь шла о провалившейся банковской сделке. Я был склонен доверять Падди. Лишь позже, когда я стал читать прессу про Юбэнка, я узнал, что все не так уж случайно и реакция на Юбэнка не так уж стихийна. Этот чемпион заявлял на каждом углу, что презирает бокс и что выступает на ринге исключительно ради денег. Поскольку ставки в боксе идут на миллионы, а болельщики при этом воображают себя последними на земле романтиками, можно себе представить, как они воспринимают циничные заявления Юбэнка. Деньги его пересчитывает вся страна: особняк-дворец в Брайтоне, «ягуары», толпы манекенщиц и тот факт, что ни одной рубашки от Версачи он ни разу не надел дважды. Но главное, конечно, что вся эта роскошь досталась негритянскому плебею, бывшему хулигану из трущобного района пролетарского Южного Лондона.

Юбэнк, по его словам, готов был простить Коллинзу даже унизительный розыгрыш с гипнотизером. Но высказывание Коллинза по поводу происхождения Юбэнка проигнорировать невозможно. Тот сказал, что Юбэнк, забыв свои африканские корни, ведет себя как распоясавшийся англичанин (an Englishman at large, что означает еще и преступника на свободе). Насчет африканских корней — это было лишнее. Такое про английского негра — это все равно как сказать российскому еврею, что ему пора убираться в свой Израиль. Я готов был встать на защиту Юбэнка с гусиным пером в боксерских перчатках.



Крис Юбэнк

Но портье Падди в баре отеля «Блум» намекнул мне, что не стоит так мелодраматически воспринимать обмен оскорблениями в мире бокса. Это самый продажный вид спорта, где все приемы саморекламы достойны и уместны. Юбэнк — дешевка, потому что до поединка с Коллинзом подбирал себе противников заведомо слабее себя и поэтому так долго держался на престоле чемпиона. Как только он почувствовал свою слабость, он стал поливать грязью бокс. Кроме того, это спорт для толстокожих. Знаю ли я, что боксер — это тот человек, чье лицо нечувствительно к ударам? Ты бьешь человека по морде, а он ничего не чувствует. Кроме того, боксом занимаются те, кто, начав драться, не способен остановиться и, свалив человека с ног ударом в челюсть, продолжает избивать его ногами. Если ты способен остановиться и подать противнику руку — ты не годен для бокса. Про бокс и боксеров можно наговорить массу мудрых и благородных слов, но бокс — это, по сути дела, дарвинистский поединок двух человеческих особей на зоологическое выживание: два человека у тебя на глазах пытаются убить друг друга, а толпа стоит вокруг и ревет от восторга. Это и есть бокс. И нечего тут, как Юбэнк, цитировать Киплинга и Ницше.

Звучало убедительно. Юбэнк действительно цитирует неофициальный выпускной гимн частных гимназий Британской империи — Киплинга: «О, если ты покоен, не растерян, когда теряют голову вокруг, и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг»[1]. И звучали бы эти цитаты столь же фальшиво, нелепо и вызывающе, что и мотоцикл «Харли-Дэвидсон» на боксерском ринге, и костюмы от Версачи, и манекенщицы в мехах, если бы я не увидел Криса Юбэнка вживе вне ринга — без боксерских перчаток. Самое поразительное во внешности этого мультимиллионера с репутацией маэстро показухи — его руки. У него были длинные, точеные, холеные пальцы пианиста. При взгляде на эти пальцы становится ясно, что он не кривляется, когда говорит, что избегает агрессивной тактики в боксе просто потому, что не хочет выбитых зубов. Но главное не это. Уступив звание чемпиона Стиву Коллинзу, он сказал: «Теперь, когда я больше не победитель, мои соседи, жители Брайтона, может быть, начнут относиться ко мне как к равному, то есть как к своему». Он как будто опасался, что герой, побеждающий монстров, сам таковым и становится. В своем Брайтоне он был внутренним эмигрантом, но в Ирландии он не нашел собратьев.

Он не учел, что бокс и скачки для ирландцев — единственные серьезные занятия. Кроме, конечно, диалога в пабе. Но диалог в пабе, как вы уже поняли, лишь словесное прикрытие каких-то внутренних счетов с самим собой, где собеседник — зеркало твоих поз и мыслей. Боксерский поединок — единственный вид общения, где контакт с другим человеком не символический: ты ему бьешь по морде, а он тебе. И все же это мордобитие знает свои правила. Одно из самых главных правил — воспринимать данный вид общения всерьез. Как-никак такое общение может превратить тебя в инвалида. Шутки тут неуместны. Своим гипнотизерским блефом дублинец Коллинз продемонстрировал Юбэнку, в какой дешевый театр Юбэнк превращает повод для серьезного разговора. Юбэнк хотел дать понять, что презирает в принципе этот жанр общения, при всем своем уважении к собеседнику. Согласно Коллинзу, надо уважать боксерский диалог, даже если ты презираешь собеседника.

Или я приписываю легендарному кусочку Дублина географию своих собственных дилемм? С серого холодного неба сыпалась крупа мелкого снежка, и дул истерический ветер. Но даже если все эти резоны надуманны, почему они пришли мне в голову в Дублине? Накануне матча, в день Св. Патрика, на улицах Дублина вытанцовывал в воздухе военный свисток, грохотали литавры и мелькало больше американских флагов и транспарантов, чем на улицах Нью-Йорка, где американские ирландцы в этот день духовно солидаризируются со своими бывшими соотечественниками в Дублине. Дублинцы же, в свою очередь, ностальгируют по американскому будущему своих сородичей: они сами хотели бы стать иностранцами (ирландскими эмигрантами в Америке), не уезжая из Ирландии. Но в Дублине происходят и обратные метаморфозы: истинным дублинцем, ирландцем, евреем — официальным, так сказать, изгоем — хотел бы стать в своей жизни Энтони Бёрджесс.

3. ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС

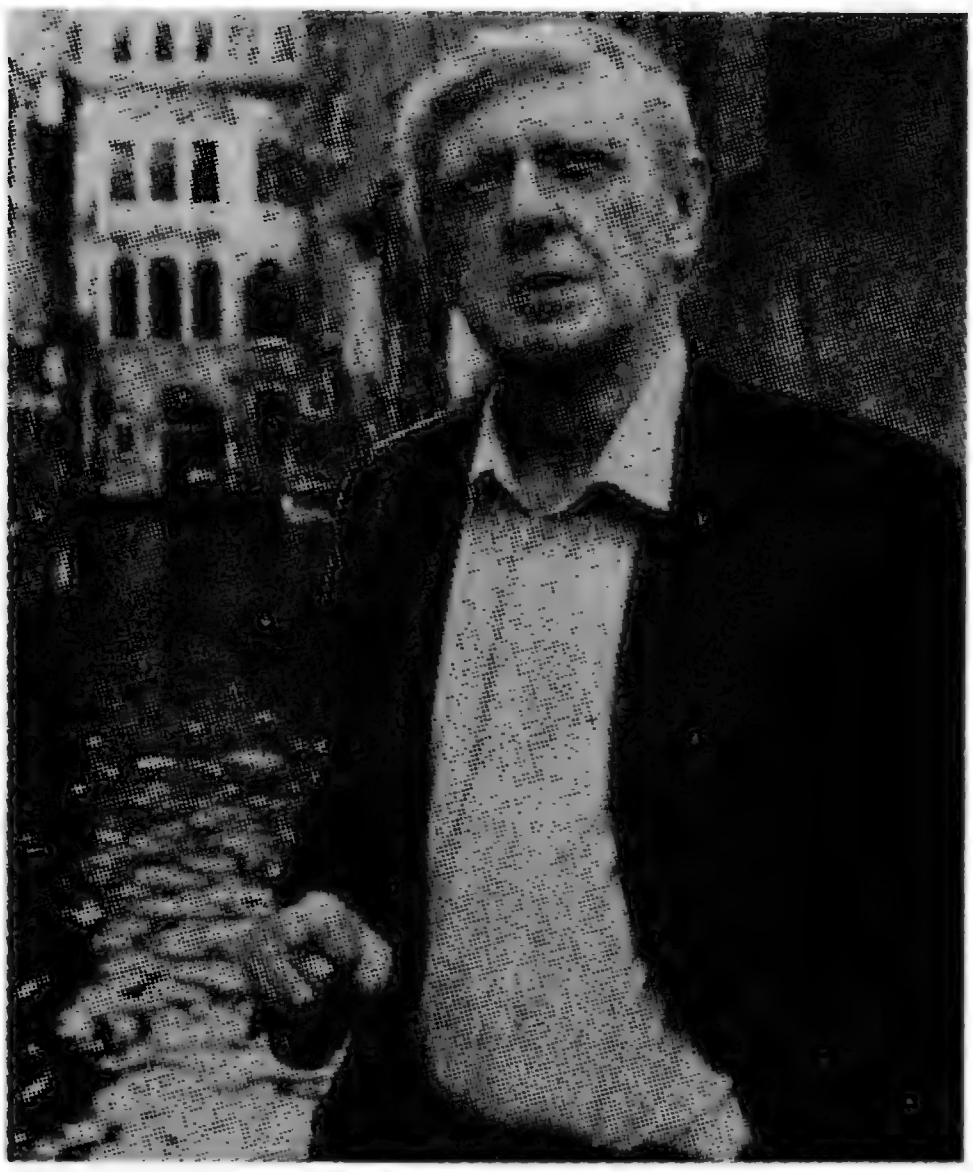
Дублин для меня — еще и встреча-знакомство с Энтони Бёрджессом; и возвращение в Дублин — напоминание о том, что его уже нет в живых. Он был родом из английского Манчестера, полжизни прожил в Европе, но периодически наезжал в Дублин как в Мекку: в первую очередь для того, чтоб отдать дань памяти своему кумиру — Джеймсу Джойсу. Я вспоминаю лицо Бёрджесса, и мне кажется, что есть нечто общее между ним и лицом портье из отеля «Блум». Их общее свойство — подвижность и одновременно настороженность взгляда, почти вороватая оглядка на собеседника, режиссерский огляд-прикид: подействовало твое сло-

[1] Перевод С.Маршака (*прим.ред.*).

во или нет? И не имеет ли смысл быстро сменить выражение глаз, улыбку, слово — для вящего эффекта?

Я думаю, самому Бёрджессу понравилась бы и мысль об этой общности лиц, и сравнение позиции Юбэнка в отношении к боксу с эстетизмом раннего Оскара Уайльда, как и мысль о схожести юбэнковской тактики на ринге с разговорной манерой самого Бёрджесса. Во время нашей встречи в ресторане дублинского «Хилтона» он жонглировал одновременно и окровавленным гамбургером с чипсами, и записной книжкой, и сигарой, и собственными словами, запивая (но не заливая) все это огромными порциями бренди. В нем была демонстративно размашистая кельтская щедрость и одновременно ловкость и напористость хорошо вышколенного гарцующего скакуна (гарцуна, как сказал бы Джеймс Джойс) старой школы. Мою жену Нину, крайне сдержанную на людях, он разговорил в два счета, принимая ее за столом как самую почетную гостью и постоянно обращаясь именно к ней в своих монологах. Энтони Бёрджесс принадлежал к вымирающей породе великих говорунов: их уникальный дар — сближение далековатостей на самых крутых и неожиданных поворотах разговора и судьбы. Это — благородная изнанка эгоистов и эгоцентриков (каковым, не сомневаюсь, был и Энтони Бёрджесс): они настолько сосредоточены на себе, что все сказанное тобой кажется им страшно важным, потому что воспринимается ими всегда лично и на свой счет. В результате ты сам вырастаешь в собственных глазах.

Отправляясь на встречу с ним, я заранее ощущал себя выросшим в собственных глазах уже достаточно высоко, хотя бы потому лишь, что легендарный автор «Заводного апельсина» (предвосхитившего панков) пригласил меня через общего знакомого (дублинского сенатора Энтони Кронина) на ленч: как выяснилось, Бёрджесс — поклонник моего эмигрантского романа, известного в переводе на английский как «The Mushroom Picker» (то есть «Грибник», в оригинале — «Руссофобка и фунгофил»). Не всплыл ли у него в уме мой роман еще и потому, что в тот период он, как знаток русского языка, работал над переводом Грибоедова? Я, в свою очередь, вспомнил, что рядом с памятником Грибоедову в Москве был когда-то магазин «Грибы и ягоды» — под ягодой, видимо, подсознательно подразумевая апельсин. Роман Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин», как известно, про банду панков из авторитарного будущего, и говорят они на неком англо-русском арго, называя себя при этом «другс». Не так уж далеко от нынешних «баксов» в новорусском, и в этом смысле роман оказался пророческим для России. Бёрджесс тут же отметил, что слово «дом»



Энтони Бёрджесс

по-русски — от латинского dome. Не отсюда ли вечная российская подозрительность по отношению к латинскому миру, где лежит недоступный тебе прообраз твоего родного дома? (Напомню, что отец Владимир Печерин был в юности университетским латинистом.) У всякого другого народа слово «дом» местного происхождения; у русских же — иностранного; то есть у русских даже дом — и тот не родной. Зато английский «дом» — house — на русский слух звучит как «хаос».

Горе, конечно же, не от ума, а от собственного языка. Точнее, от родного языка, воспринимающегося как иностранный. Эмиграция всегда связана, вне зависимости от политического режима на родине, связана со страхом перед собственной несостоятельностью — недовоплощенностью. Отсюда и чувство вины: у тебя могла бы быть жизнь, от которой ты ушел, бросив близких на произвол судьбы. Сам Бёрджесс жил в трех странах одновременно (во Франции, Швейцарии и Италии), то есть практически в своем автомобиле, то есть нигде, в дороге. Бёрджессу подобное чувство вины как ощущения непоправимой потери у человека, не осознающего себя вне своих слов, не присуще, ведь его слова всегда при нем. Поэт, по словам Бёрджесса, всегда один, так или иначе существует сам по себе, и география тут ни при чем: не одна вина, так другая. Я позволил себе заметить, что русское слово «царь», tsar — однокоренное, видимо, с английским sire, или sir, сэр. «Поэт, ты — сэр, живи один» — так можно было бы перевести Пушкина на английский. «Я так один» — изобразил эту мысль немецкий поэт Рильке по-русски, совершив, естественно, неуловимую для иностранца грамматическую

ошибку.

Поэт бытийствует в языке. И поэтому чувство вины эмигрантского писателя по-настоящему начинается лишь с его отказа от родного языка. Он уходит в иное словесное общение, потому что не решился высказать на родном языке нечто существенное для себя и прикрывает страх перед собственным высказыванием — страх перед самим собой, — переходя на чужой язык, где он заранее стеснен, несвободен, избавлен от ответственности за собственные слова. Так, по крайней мере, я сам интерпретировал слова Бёрджесса об уходе из родной литературы. Любопытно, что Джойс всю жизнь продолжал писать по-английски и исключительно об Ирландии, в то время как его ученик Беккет перешел на французский, и в его метафизических мотивах Ирландию можно лишь угадывать.

Но для этого не надо буквально переходить на иностранный язык. Когда-то я умудрялся смотреть на свое английское настоящее российскими глазами как на некий ненаписанный роман. Эмиграция казалась литературным приемом. Но постепенно точки зрения (английская и русская) поменялись местами: я сейчас смотрю на свое российское прошлое (и неосуществившееся настоящее) глазами иностранца. Однако описываю это состояние на русском языке. Это позиция профессора-латиниста, изучающего древний Рим. Вернуться к прежнему взгляду на мир и на себя невозможно; сменить язык — это шаг такого грандиозного предательства (подумай о всех не написанных в будущем русских романах!), на который может решиться лишь очень плохой писатель крупного масштаба с благородной душой — тот, кто решил спасти родную литературу своим исчезновением из нее.

В какие только эмиграции не уходил наш разговор. Но всякий раз возвращался к одному мотиву, классическому для Дублина — города непризнанных гениев. Бёрджесс — гений признанный, но самый болезненный для него вопрос касался не гениальности, а рыцарства: Энтони Бёрджесс был твердо уверен, что никогда не получит рыцарского звания сэра. Главных причин было названо три. Во-первых, он — автор «Заводного апельсина», романа, развратившего молодое поколение британцев. Во-вторых, он — католик. (Как королева, глава англиканской церкви, может сделать своим рыцарем человека чуждой религии?) И в-третьих, он живет за границей. (То есть он не только вне страны в трудный для нее час, но еще к тому же не платит налогов казне.) Всякий раз громкий хор голосов за столом пытался опровергнуть Бёрджесса противоречащими друг другу примерами. («Поэт, ты — сэр, живи один».)

Ресторан был отделен, как экспозиция в музее, лишь шелковым шнурком от гигантского холла «Хилтона», и снующие мимо толпы людей косились в сторону нашего шумного застолья. Поэтому я не удивился, когда в нескольких шагах от нас задержалась чуть ли не целая делегация. Я наблюдал вполглаза, как от этой группы отделился молодой человек и приблизился к нашему столику. Он остановился передо мной как вкопанный. «Вы Зиновий Зиник?!» — прошептал он по-русски. Я, совершенно ошарашенный, вскочил и раскланялся. Неизвестный представился как поэт со значащей фамилией Хлебников. Он стал долго и красноречиво объяснять мне грандиозность моего литературного дара. Я благодарно краснел и переминался с ноги на ногу. Краем глаза я видел недоуменное и помрачневшее лицо Энтони Бёрджесса. Это лицо известно каждой бродячей собаке и транзитному пассажиру, умеющему читать, — оно глядит на публику с обложек книг Бёрджесса в аэропортах, со страниц ежедневных газет и телевизионных экранов. Однако московский поэт из всех сидящих за столом узнал в лицо лишь меня. Переводчик «Горя от ума» был явно неприятно удивлен.

— Вы получите звание сэра, — сказал в конце концов Бёрджесс, хмурясь на меня, когда московский поэт отбыл в своем направлении. Я отрицательно мотнул головой:

— Боюсь, что нет.

— Это почему? — серьезно удивился Бёрджесс.

Впервые в жизни я нашелся.

— Потому что, — помедлил я, нацеливаясь на парадокс, — потому что я не развращал молодое поколение. К тому же я — не католик. И я не живу за границей.

***

Я, впрочем, несколько приврал насчет заграницы. Заграница — понятие относительное. Паспортная граница, паспорт — это не родина, а родина — это не обязательно твой дом, дом же — не прописка, не паспорт и даже не гражданство. Получая британское подданство, надо поклясться в верности королеве. Ты клянешься защищать жизнь Ее Величества и всех ее законных наследников. Больше ничего. От тебя, казалось бы, не требуется ни верность государству, ни церкви. Но если учесть, что королева — глава и государства и церкви, то клянешься ты в конечном счете защищать жизнь всей британской нации. Можно поставить подпись под юридически заверенным обязательством, а можно поклясться на Библии. Я, всегда уклонявшийся от личной ответственности, решил переложить ее на плечи Бога, и адвокат принес Евангелие. Но

я сказал, что при всей моей безответственности я не хочу перекладывать столь серьезные личные обязательства на плечи *чужого* Бога. Адвокат забегал по конторе, но обнаружил из Ветхого Завета только томик-переплет с книгами Исхода и Пророков. Вполне уместно для клятвы еврея, вступающего в новое подданство. Бёрджесс, возможно, был прав: эта клятва — своего рода посвящение в рыцарское звание. Отныне я — сэр Зиник. (Все мы в Англии немножко сэры — от серой погоды?)

Дом — это, конечно же, не dome, то есть не храм — это твой идеальный дом, и никто не понимал этого отчетливей, чем евреи. Диаспора, то есть жизнь вне стен своего дома, создала новую религию — религию разрушенного храма, распавшегося прошлого. Если верить талмудистам, этот храм будет оставаться в руинах, пока не придет Мессия. Тогда, и только тогда, евреи соберутся в Святой Земле и Храм будет восстановлен. Талмудический закон — это не что иное, как правила поведения в вечном зале ожидания. Как во всяком привокзальном зале ожидания, вход и выход — свободный; но снаружи, в городе, делать нечего. Иудаизм — это религия ожидания, пережидания (жид, жить, жизнь), жизни на чемоданах, из дома в дом со своими пожитками и жидами. Это состояние временности, возведенное в статус вечности. Это страх перед возвращением в собственное прошлое, ставшее чужой (римской, турецкой, христианской) жизнью, это сакрализация своего отказа возвращения домой (ожидание Мессии).

«Леопольд Блум не был, кстати, евреем с талмудической точки зрения, — заметил Бёрджесс. — Отец у него — крещеный еврей, а мать — ирландка. Но в дублинском пабе в подобные тонкости никто не вникает».

Тот факт, что для дублинского плебса Леопольд Блум был жидом, а для талмудиста не был даже евреем, не помешал Блуму стать мифологической фигурой дублинской истории. Энтони Бёрджесс так и не получил рыцарского звания, несмотря на свою верность английской королеве (от своего английского подданства он никогда не отказывался). Как в свое время заметил самый остроумный сын Дублина Оскар Уайльд, боги ведут себя загадочно: они наказывают нас не только за дурные поступки, но и за добрые дела. Вознаграждение бывает в той же степени незаслуженным, в какой заслуженным бывает наказание за преступление, которого ты не совершал. Боги наказывают и вознаграждают за нечто такое в нас, что нам самим неведомо. Как это и произошло, собственно, с самим Оскаром Уайльдом.

4. ОСКАР УАЙЛЬД

У каждого человека, обжегшегося на собственной судьбе (одержимого собственными промахами и достижениями), есть свой двойник — идеальная или, наоборот, пародийная версия самого себя. Дублин, город репатриантов, будущих и бывших эмигрантов, — это город двойников (имя Дублина созвучно слову «дубль»): каждый, кто покинул свою страну, воображает себя оставшимся, воображает, как бы повернулась его судьба, если бы он не уехал. Был двойник и у Энтони Бёрджесса. В ходе беседы с Бёрджессом мне показалось, что он следил за судьбой Грэма Грина как за своею сатанинской тенью. Что сказал бы на это сам Грэм Грин? Кто из них тень другого и кто хозяин собственной тени? Как и Бёрджесс, Грэм Грин был католиком; как и Бёрджесс, Грин жил за границей; как и Бёрджесс. не получил рыцарского звания сэра. Но как насчет развращения молодого поколения? Для Бёрджесса Грин был дурным человеком, нехорошим человеком. «В один прекрасный день (уроки нацизма) Грин понял, что добро и истина не тождественны моральной чистоте и благопристойности, — объяснял Бёрджесс. — Отсюда он сделал ложный вывод, что добро и истину следует искать исключительно в злом и преступном».

Но в какой степени слова сочинителя (его поэмы, романы), даже его аморальные заявления подлежат моральной оценке? Этот вопрос беспокоил, конечно же, и Бёрджесса. Как известно, режиссер Кубрик запретил собственную киноверсию романа «Заводной апельсин», поскольку, по его мнению, фильм провоцирует молодое поколение на акты вандализма и насилия. Бёрджесс под конец жизни согласился с запретом: не потому, что сам фильм (или роман) провоцирует невинных юношей на чудовищные деяния, а потому, что предлагает темпераменту, склонному к насилию и вандализму, новые формы самовыражения, до которых тот сам никогда бы не додумался. Это, в свою очередь, заставляет задуматься о несколько более щекотливом моменте сочинительства, словотворчества: в какой степени зло оживающее, то есть обретающее форму в воображении сочинителя, влияет на его собственную личность, на его моральный облик, на его критерии добра и зла? В какой степени игра со злом, как игра с огнем, бросает тень на светлый облик играющего?

Каждое произведение великого человека — это интуитивное предугадывание собственного будущего, воспоминание о будущем, как при пересказе собственного сна. С точки зрения Уайльда, для поэта (художника, артиста) «прошлое — это все то, что с тобой не должно было бы произойти; настоящее — это то, чему не следовало бы про-

исходить; будущее — это и есть ты». Мы не занимаемся воспоминаниями о прошлом, не описываем настоящее — мы сочиняем наше собственное будущее. Поэт именно в этом смысле и есть пророк — самого себя (и еще собственной эпохи, если он и есть эпоха). Каждый писатель поэтому подсознательно стремится испытать то, что он описал в собственном романе: проверить предугаданные чувства. В этом смысле «Портрет Дориана Грея» оказался для Оскара Уайльда фатальным.

Мой второй визит в Дублин, в 1995 году, в день Св. Патрика совпал с еще одним юбилеем — столетием лондонского суда над дублинским эмигрантом Оскаром Уайльдом. Еще зимой 1895 года этот несколько растолстевший лондонский денди, окруженный толпой поклонников и любовников, с зеленой гвоздикой в петлице, все еще разбрасывал направо и налево деньги и афоризмы в ресторанах Сохо. Его комедия «Как важно быть серьезным» чуть ли не сразу после премьеры была не только переведена на все языки мира, сделав его самым богатым драматургом в истории Англии, но и сама тут же вошла в английский язык, как разошлась в свое время на цитаты грибоедовская комедия «Горе от ума». Не прошло и полугода после сногсшибательной премьеры, как этот баловень судьбы был объявлен банкротом, его имя было снято с афиш спектаклей по его же пьесам, он был навсегда лишен права видеться с собственными детьми. Когда его направляли в место отбытия тюремного срока (в Рединг), его в ожидании поезда выставили на полчаса в тюремной робе и в наручниках на платформе самой большой пересадочной станции в пригороде Лондона, Clapham Junction. Когда прохожие узнавали, что обритый наголо арестант — тот самый декадент Оскар Уайльд, развлекавшийся сексом с лакеями, в него плевались. На протяжении целого года после этого каждый день ровно в тот же час он начинал плакать.

История взлета и падения Оскара Уайльда читается как трагедия, потому что любая, самая незначительная, казалось бы, деталь в ней значима, и ничего в этой жизни изменить невозможно. В его жизни не было ничего случайного. Даже орфографические ошибки сыграли в его судьбе фатальную роль. Он родился в Дублине — этом двойнике Лондона, чье имя, как я уже заметил, есть искаженное «дубль», и закончил свою литературную карьеру в тюрьме (название Рединг — Reading — можно считать неправильно произнесенным словом «чтение»), где Оскару Уайльду запрещалось писать, а в его тюремные обязанности, в духе трудотерапии, входило обертывание книг из тюремной библиотеки коричневой бумагой. Суд над Уайльдом был, как известно, результатом того, что неудачное дело о клевете, которое возбудил сам Уайльд, обернулось против него. Иск был возбужден Уайльдом с подачки его любовника Альфреда Дугласа против отца Альфреда, агрессивного и взбалмошного лорда Куинсбери, помешавшегося на гомосексуальных связях своего сына. Поводом для иска послужила оскорбительная записка Куинсбери, публично адресованная Уайльду в его клубе. В этой записке Уайльд заклеймен как «соМдомит».

Фатальных совпадений в жизни Уайльда больше, чем подобных орфографических нелепостей. Прокурором на суде Оскара Уайльда был тоже дублинец, и по иронии судьбы именно с ним любил играть в песочек в Дублинском заливе маленький Оскар. Чего они не поделили в детстве, какой пирожок из песка? Или же Оскар повторял судьбу своего отца? Сэр Уильям был знаменитым (и в Дублине, и в Лондоне) окулистом-хирургом, автором ряда монографий по археологии и древностям, но и не менее знаменитым ловеласом — на чем он и погорел. На него подала в суд одна из пациенток. Она утверждала, что сэр Уильям соблазнил ее под наркозом. Суд присудил символическую сатисфакцию в одно пенни, но репутация сэра Уильяма была разрушена навсегда, и он из светского бонвивана превратился в городского сумасшедшего, от которого шарахался дублинский свет (как отшатывались от опустившегося и нищенствующего Оскара в Париже).

Не бежал ли он из Дублина от пожизненной позорной тени отца? Скорее всего и по этой причине тоже, но в первую очередь — от удушливой мизерности провинциального Дублина. Оскар Уайльд — из протестантской семьи, то есть мог бы считать себя если и не англичанином, то, уж конечно же, полноценным британцем (хотя его мать, богемная салонная дама, поэтесса, патриотка-революционерка Ирландии, и утверждала, что перекрестила его в католичество). В отличие от истинных католиков, скажем Джойса, переезд-эмиграция Уайльда в Лондон был, казалось бы, переменой лишь места жительства, почтового адреса, а не политическим жестом. Но в Оскаре, очевидно, таилось ощущение неполноценности: тайная тяга к той «любви, что не осмеливается называть себя по имени».

За четыре года до сочинения сюжета о Дориане Грее и его отражении в кривом зеркале души Оскар Уайльд сблизился с Робертом Россом, который и ввел его в гомосексуальные круги Лондона. Через четыре года после публикации романа он встретился с Альфредом Дугласом, идеальным кандидатом на роль Дориана Грея для инсценировки этого романа в жизни. Оглядываясь назад, ясно видишь, что «Портрет Дориана

Грея» был написан лишь для того, чтобы сознательно пережить все то, чего до этого романа высказано не было, скрывалось от самого себя. «То, что было для меня парадоксом в сфере мысли, стало извращением в сфере чувства... Я не учел, что самые незначительные каждодневные дела создают или разрушают личность человека, и поэтому о том, что совершалось по секрету в задней комнате, однажды придется во весь голос прокричать с крыш» , — записал Оскар Уайльд в своей исповеди «De profundis».

Есть национальные темпераменты (вроде русского или ирландского), которые считают своим долгом воевать со злом, пытаются это зло переубедить, перевоспитать в добро. Английский темперамент склонен (так, по крайней мере, кажется со стороны) или игнорировать зло, или придавать ему форму, оболочку, картинную раму, где этот феномен хиреет, как в одиночной камере, и погибает, не оставив после себя ни друзей, ни наследников. Для оформления порочного начала в себе Оскару Уайльду, ирландцу, необходима была Англия. «Портрет Дориана Грея» — это портрет лондонского Оскара Уайльда, увиденного глазами Уайльда-дублинца.

Оскар Уайльд

Как бы Оскар Уайльд ни оправдывал свои сексуальные склонности интеллектуально, как бы ни ссылался на авторитет античных авторов, пуританский инстинкт ирландского протестанта не мог позволить ему воспринимать однополую любовь иначе как преступное извращение. Как бы толерантно ни относилось общество к гомосексуализму (до тех пор, пока гомосексуальные связи оставались делом приватным), никто не сомневался, что это пристрастие — порочно, то есть аморально, то есть преступно. Что бы по этому поводу ни думал сам Оскар, его двойная жизнь (счастливый семьянин по воскресеньям и чувственный декадент в остальные дни недели), явная подпольщина его сексуальных увлечений приводила к состоянию душевной расщепленности, скрытности, которая претит всякому артистическому темпераменту. Лозунг «Поэт, ты — царь, живи один» верен лишь как хорошая мина при плохой игре, поскольку идеал поэта — это как раз не отъединение, а слияние: с народом, с музой, с правдой. Идеал, однако, продолжает оставаться лишь чем-то неосуществимым и поэтому лучше уединенность, чем фальшивое единство. И тем не менее эта пропасть между твоей позицией и поэтическим идеалом, ощущаемая как личная вина, воспринимается поэтом как преступление (например, предательский уход из родной литературы через эмиграцию).

Выход из этого состояния расщепленности лишь один — создать новую этику, где то, что считалось раньше преступным, антиморальным, извращенным, таковым быть перестает. Но Оскар Уайльд отказывался называть вещи своими именами. Литература не есть инвентарный список. У него не было особого сочувствия к страдальцам. Он полагал, что те, кто радеет за страдающих, выставляют напоказ лишь язвы и раны, отказываясь воспринимать жизнь человека как нечто целое, с его поражениями и победами. В этом «страдальческом» подходе ему виделась некая асимметрия, ущербность, отсутствие эстетики (то есть гармонии). Он инстинктивно полагал, что все живое, каким бы уродливым и аморальным оно ни казалось обывателю, имеет право на существование, когда воплощается, обретает форму, то есть собственную эстетику. Новая этика возникает тогда, когда зритель благодаря художнику-творцу воспринимает как прекрасное нечто такое, что раньше казалось аморальным, то есть уродливым.

В этом, собственно, и суть философии сэра Генри, духовного провокатора и соблазнителя (явно любовника) Дориана Грея из романа. Жизнь — это лишь материал, глина в наших руках, руках художников-экспериментаторов жизни. В жизни все надо попробовать. И завороженный этой идеей Дориан смело пробует. Он экспериментирует с собственной жизнью. Но не только с собственной. И в этом, видимо, отличие позиции сэра Генри и Дориана. «Всякое преступление — вульгарно, — говорит сэр Генри, — а всякая вульгарность — преступна». Согласно сэру Генри, для людей вуль-

гарных, лишенных воображения, преступление — это то, что для изощренного ума — искусство, то есть источник необычных ощущений. Согласно самому Уайльду, преступление как акт индивидуализма порой может походить на произведение искусства своей безупречностью в исполнении (об этом говорил еще Томас Де Куинси в своем эссе «Убийство как одна из форм искусства»); однако индивидуализм и свобода преступника кажущиеся: преступник, и убийца в частности, всегда имеет дело с другими людьми, с обществом, в это время как истинный художник ни от кого не зависит в своем творении и потому абсолютно свободен. Из этого следует, что преступник и убийца Дориан не выдержал экзамена: он таки вульгарный ум, лишенный воображения, заключенный в тюрьму своих чувственных инстинктов.

Однако подобные рассуждения философски несостоятельны. Где кончается преступление и начинается искусство? Единственное произведение искусства, исключающее вмешательство других людей, — это вера в Бога, но даже публичная манифестация этой веры, отправление религиозного культа, подразумевает общение с другими. Кроме того, искусство, как всякая идея, влияет на поведение того, кто эту идею воспринимает. Жизнь начинает подражать искусству, как это утверждал сам Оскар Уайльд. В этом смысле идеи ничем не отличаются от поступков. Но какие последствия твои поступки имеют для тебя самого? Изменяешься ли ты в результате своих преступных действий, и если да, насколько эти изменения кардинальны?

Вопрос о безнаказанности преступлений — один из самых актуальных в наши дни. Все искусство (и литература) послевоенной эпохи доказывает, что человек может убивать и при этом оставаться добрым и честным малым (для своих), милым соседом по человеческому общежитию. В раздробленном обществе, разбитом на воюющие кланы, убийство — это часть жизненной рутины, семейно-клановый долг по защите близких и сородичей, и поэтому оно вообще не является критерием моральной репутации того или иного члена клана (или мафиозной группировки). Девятнадцатый, викторианский век создал иллюзию, что заповедь «не убий» носит абсолютно универсальный характер и, кроме всего прочего, является целесообразной необходимостью. Выясняется, что можно прекрасно существовать, не выполняя этой заповеди. Придушив миллион врагов рода человеческого в газовой камере, самое время приласкать кошечку или своего младенца с мадонной. Убийца в глазах одних является народным героем в глазах других.

Оскар Уайльд подобный релятивизм отвергал. Портрет Дориана Грея — это портрет его души, инвентарный список преступлений этого грешника. Уайльд верил, что есть на свете Некто, кто за нами следит и все записывает (или зарисовывает, как на неком портрете на небесах). Однако этот метод перевоспитания Дориана Грея весьма сомнителен, потому что вызывает у нас еще больше вопросов о путях возможного раскаяния в совершенных преступлениях. На первом этапе Дориана Грея особо не терзают муки совести. Он, однако, все еще озабочен своей репутацией (своим портретом) в глазах других. Но постепенно ему становится наплевать и на это — лишь бы остаться непойманным. Главный душевный изъян (грех) Дориана как человека в том, что он, лишенный воображения, нуждался в действиях, поступках (добрых или злых), чтобы испытать возбуждение от соприкосновения с жизнью. Но действия, в отличие от игры ума, с определенного момента начинают повторять самих себя, то есть вызывать скуку и раздражение в первую очередь у того, кто эти действия совершает.

Портрет, спрятанный на чердаке, подавляет его своим уродством. В чем, собственно, заключается это уродство, сказать трудно. Наличие бородавок, греховной ухмылки порочных губ, синяков под глазами и морщин на лбу? Дориан Грей (если не сам Оскар Уайльд) понимает идеал красоты довольно однозначно, в ренессансном духе — греческой скульптуры, золотого сечения, пифагорейских пропорций, всего того, что можно назвать красивым в античных залах Британского музея. У Дориана поэтому вызывает раздражение лицо любого состарившегося человека, и нигде у Уайльда не описано как прекрасное лицо с морщинами, бородавками и отвислой кожей — все то, что мы любили в детстве у своих бабушек и дедушек.

Собственно, Дориана Грея подавляет сам факт, что его внутреннее содержание (каковым и является портрет) воплощается в лице старика. Мысль (как и осмысленное чувство) старит, это несомненно. Адам был изгнан из Рая (то есть стал смертным, то есть начал стареть), когда вкусил плод с древа Добра и Зла, то есть стал мыслить. У идиотов, как известно, лицо ребенка. Дориан Грей не стареет, потому что не задумывается над своими поступками, над своим портретом. Он не задумывался над собственными преступлениями, потому что никогда по-настоящему не любил собственных жертв (сколько бы он в этом самому себе ни клялся). Это было лишь механическое (физиологическое) ощущение сближения с чуждым существом или удаленности от него. В индифферентной невозмутимости и депрессивном состоянии Дориана есть нечто для этой эпохи классически гомосексуальное: ощущение отделенности, отверженности, пре-

ступной чуждости внешнему миру вообще, принадлежности к иной расе, иному племени, к инопланетянам.

Такую отчужденность, безусловно, испытывал и сам Уайльд: и как ирландец, и как гомосексуалист. В этом есть, несомненно, что-то общее с классическим эмигрантом в его попытках завоевать любовь и публики, и близких, и даже собственных врагов — стать одним из них, стать как все, стать нормальным. И сознание того, что это невозможно. Это отчаяние от сознания невозможности и является, видимо, тем порогом, где кончается жизнь. И начинается искусство.

В этом — литературный соблазн добровольной эмиграции как одной из крайних форм самоотчуждения. Это сгусток отрицательных эмоций: отрицание собственного прошлого (родины) и неспособность окончательно принять избранное тобой самим настоящее (заграницу); зависть к призраку самого себя, которым ты мог бы стать, если бы остался, и к тому, кем ты никогда не станешь в своей новой жизни; обида на тех, кто этой глубинной невоплощенности не понимает, и раздражение на тех, кто осознает в тебе эту неполноценность слишком хорошо, видит тебя насквозь. Из этого сгустка, из этого уродливого клубка, из этой клеклой паутины отрицательных идей и эмоций надо создать новую красоту, чудесное королевское платье; и одновременно остаться голым — отделенным от собственного образа в глазах толпы.

Традиционно вечный образ (искусство) и меняющийся человеческий прототип (жизнь) поменялись в уайльдовском сюжете местами и ролями. Ведь это история разделения одного героя на два образа, слитых в какой-то момент воедино: портрет Дориана выглядел *как живой.* Потом портрет начинает стареть, а его прототип остается молодым вплоть до окончательной развязки, когда все вновь встает на свои места: портрет возвращается к собственному оригиналу, а человек — к смерти.

Не в этой ли жизненной ситуации очутились те, кто, вроде меня, эмигрировав, оказались задержанными в своем развитии по отношению к своему прошлому? Время для нас остановилось, точнее, стало отсчитываться заново. Но при этом мы еще оставили у себя за спиной собственный образ. В наших глазах этот образ нас самих в прошлом до некоторой поры становился все уродливее и уродливее: так мы воспринимали самих себя в оставленной стране, чтобы психологически оправдать свой уход. Но лишь со стороны — скажем, из России — становилось ясно, как все уродливей и уродливей становились за границей мы сами. Пока мы этого не осознали, взглянув в зеркало на самих себя, когда рухнул «железный занавес», отделявший нас от собственного прошлого «я».

Портрет молодого Дориана кисти его друга Базиля — лишь подмалевок: всю остальную жизнь Дориан Грей этот подмалевок наполняет новым содержанием, пишет свой портрет. В какой-то момент портрет следует считать законченым (дальше по пути порока ехать некуда). Дориан не может вынести вида своего портрета и протыкает его ножом. Но если произведение это было закончено и обладало столь ужасающей силой, значит, в нем была некая гармония и, следовательно, красота. Красота эта была несомненно своеобразная, но не в этом ли смысл всех уайльдовских манифестов — провозглашение новой красоты (то есть новой гармонии), утверждающей новую мораль через эстетизирование того, что прежде считалось аморальным (например, гомосексуализм)? Задача искусства — это легитимитизация преступного и злого. Это вера, основанная на том, что зло само по себе не существует: это лишь извращенное добро, которое следует извлечь из вывернутого наизнанку зла.

Есть и еще один парадоксальный аспект в этом уайльдовском сюжете. Явное зло, как нам хорошо известно, более заметно глазу, чем скрытое добро. Заурядное зло поэтому воспринимается как стандарт, и все, что этому стандарту не соответствует, расценивается как уродство. Добро поэтому чаще всего носит на лице уродливую маску (например, старости). Красота всегда открывается в том, что считается повсеместно уродством. Если Уайльд утверждает, что портрет был уродлив, значит, этот портрет не обладал гармонией, присущей произведению искусства. Он не мог продержаться вечность, он сам распадался на части и был уничтожен прототипом. Было нечто патологическое (негармоничное), с точки зрения Уайльда, и в самом нестареющем Дориане, иначе он не превратился бы в одно мгновение в уродливого старика. Или же это и был ошеломляющий, согласно Уайльду, эффект воздействия искусства (портрет) на жизнь (Дориана Грея)?

Если считать Дориана Грея автором собственного портрета, то уайльдовская притча говорит о двух аспектах творчества. Во-первых, художник, погружающийся в порок ради открытия новой истины, гибнет, замаранный и подверженный разложению, как бы зараженный чужими пороками, которые он описывал (испытывал в поисках новой темы в творчестве). С другой стороны, истинное произведение искусства, пройдя ад разложения в ходе созидания, восстает в прежнем виде как новый образец красоты, даже если прототип этой красоты (Дориан Грей) глубоко порочен.

Меня всегда занимала следующая мысль: а что, если бы у Дориана Грея украли его портрет? Изменились бы его манеры, его

мысли, его поступки, если бы он никогда не видел, как эти поступки визуально запечатлеваются на портрете? И что, если в распоряжении Дориана Грея был бы не один, а два или даже несколько портретов, причем разные портреты реагировали бы на его поступки по-разному?

За полвека до Оскара Уайльда еще один человек слова сочинил новеллу о портрете с ожившим лицом. И это тоже была притча о грехе и красоте. Автор этой притчи, Николай Васильевич Гоголь, всю жизнь скрывал свой гомосексуализм, и в первую очередь — от самого себя. Когда же он признался в этом своему православному исповеднику, тот, судя по всему, запугал Гоголя такими карами ада, что бедный мыслитель уморил себя голодом. Москва была для Гоголя тем же, чем Лондон для Оскара Уайльда: украинец Гоголь был в России тоже эмигрантом. Гоголь уморил себя, потому что считал свою жизнь порочной.

Порочной считал свою жизнь и Уайльд. Как иначе можно объяснить тот факт, что он, презиравший мораль заурядностей, сидел и дожидался тюремного приговора, вместо того чтобы уплыть во Францию, как на том настаивали друзья и как того ожидали все судебные инстанции, включая судью и прокурора: им достаточно было и того, что Уайльд был публично опозорен. Политическая ошибка Уайльда состояла в том, что он перестал публично скрывать свой гомосексуализм, и властям ничего не оставалось, как приговорить его к тюремному заключению. Однако без этого приговора не было бы, с точки зрения Уайльда, завершающего момента в его личной трагедии. Это было необходимо для окончательного завершения портрета его души. Вполне возможно, что эта история не породила новой этики, как того хотелось Уайльду. Но она породила новую литературу и новое, терпимое отношение к тому, что раньше считалось сатанинским пороком. Сейчас, когда в Уголке поэтов ему отведен витраж, душа этого добровольного мученика из Дублина может с достоинством взирать из стрельчатых окон Вестминстерского аббатства на столичный ландшафт английской литературы.

Не есть ли это окончательное публичное оправдание и признание полноправности самого презираемого из всех гражданских статусов — статуса эмигранта — в жизни, в литературе, в религии? И одновременно признание Лондоном уникального статуса Дублина — города-эмигранта, города-еврея, города-избранника? Этот Дублин, однако, уже успел через голову Лондона эмигрировать в Европу. Стоит ли в этот уходящий от нас Дублин возвращаться вновь?

Лондон, 1995.

■

ОПЫТ-ПРЕДЕЛ: СЛУЧАЙ ЭМИЛЯ ЧОРАНА

От переводчика

По статусу во французской культуре скончавшийся 20 июня прошлого года Эмиль Мишель Чоран (вернем его этой транскрипцией в родную Румынию, откуда, кстати, в том же XX веке в Париж явились Бранкузи и Элиаде, Целан и Ионеско) — национальный классик. И недавний выход тома его «Сочинений» в солидной «Библиотеке Плеяды» крупнейшего издательства «Галлимар» одновременно с публикацией увесистой биографии Габриеля Лийчану «Маршруты одной жизни» лишь символически утвердил этот неоспоримый, но более чем странный для данного автора факт. Странный по причине просто-таки образцовой маргинальности Чорана в жизни, литературе, манере мыслить и писать.

Начать с того, что Чоран — чужак в стране, в ее языке. И подобное обстоятельство не узкоэмпирический факт, который силятся позабыть или преодолеть, а выношенная и дорогая позиция (кстати, это в конце семидесятых, уже во времена чорановской известности, каждый пятый среди французских писателей был по рождению не французом, а в тридцатых, когда командированный Бухарестским университетом стажер решил навсегда остаться в Париже, отношение к «метекам» было не в пример жестче). «Моим девизом, — писал Чоран в эссе о Борхесе, — было и осталось одно: нигде не пускать корни, не привязывать себя ни к какому сообществу. Глядя на черту горизонта, я всегда хотел знать, что за ней... Моим богом стал чужестранец». В то же время мало кто был более безжалостным аналитиком любых, говоря давними словами Льва Шестова, «апофеозов беспочвенности», чем наш автор.

В таких вот, казалось бы, взаимоисключающих крайностях — он весь, этот чистейший, почти лабораторный препарат «исторической неуместности», идеальное пособие по «культурной несвоевременности», воплощенный побег и неуспех, «письмо краха», как сказал бы другой затворник, Морис Бланшо. Сам для себя современник немецких романтиков рубежа XVIII—XIX веков в литературе и тогдашних французских консерваторов — в политической теории (как оставался мыслями в бодлеровском столичном Вавилоне еще один тогдашний изгнанник в Париже, мастер фрагмента и гений провала — Вальтер Беньямин), Чоран был и упрямо продолжал быть архаистом и правым те несколько труднейших, переломных для Европы десятилетий, когда практически все вокруг слыли новаторами и левыми — красный или коричневый оттенок носила эта левизна, сейчас не обсуждаю. И не зря чорановская настойчивость в переоценке ценностей, беспощадность в отношении любых иллюзий чьей бы то ни было мысли — импульс, со времен Ницше и до Хайдеггера именуемый «нигилизмом», — оказались востребованы лишь с конца шестидесятых, когда понадобилось оценить размах охватившего Запад застоя и вместе с тем запал направленного против него бунта. Опять-таки не случайно наибольшую чуткость к нелицеприятным ходам чорановской мысли, к его принципиально несистемному и нелинейному письму проявили тогда маргиналы, начиная с экспатриантов из стран победившего социализма. Среди них — восточноевропейцы Кундера и Милош, кубинцы Кабрера Инфанте и Северо Сардуй, российский изгнанник Бродский. Отсюда же интерес к Чорану со стороны всегда следившего за окраинами Европы Апдайка, но особенно — у Сьюзен Сонтаг, открывавшей для Америки шестидесятых крайности и тупики прежде всего французской и немецкой мысли XX века (впрочем, и русской — например, Цветаеву).

Без обращения к книге Чорана «История и утопия» — как всегда у него, опередившей большинство утопических и антиутопических бестселлеров 60— 80-х гг. — не обходится теперь ни один сколько-нибудь серьезный труд по истории и теории утопической мысли. Пассаж из нее взят эпиграфом к известной книге польского обществоведа Ежи Шацкого «Утопии», ее положения обстоятельно разбираются в авторитетной работе испанского историка и политолога Хосе Антонио Мараваля об утопизме и реформаторстве в Испании. Я впервые услышал имя Чорана в начале восьмидесятых от Виктории Чаликовой (1935—1991), которой мы на российской почве вообще обязаны знакомством с утопической тематикой на протяжении двух последних десятилетий: по ее инициативе в России среди многого другого (начиная с романов Оруэлла) вышли и Шацкий, и (пусть во фрагментах) Мараваль. Настоящая публикация — не возвращение этого долга, даже частичное (в истории и культуре ничего никогда не возвращается), а, напротив, напоминание о его неоплатности.

ЭМИЛЬ МИШЕЛЬ ЧОРАН
МЕХАНИКА УТОПИИ

В какой бы большой город ни заносила меня игра случая, я всякий раз удивляюсь: как это в нем что ни день не разражаются мятежи, резня, неслыханные побоища, светопреставление, наконец? Как столько людей могут сосуществовать в этакой тесноте, не уничтожая один другого, не питая друг к другу смертной ненависти? Любой из нас, естественно, ненавидит окружающих. Но не до белого каления. И эта усредненность, эта дряблость хранит общество от срыва, утверждает преемственность, прочность. Временами как будто чувствуешь подземный толчок, инстинкты просыпаются — но вот все уже опять смотрят друг другу в глаза, словно решительно ничего не произошло, и живут бок о бок, не поедая соседа, — по крайней мере, на людях. Все приходит в порядок, возвращается к спокойствию повседневных зверств, в конечном счете не менее опасному, чем только что нарушивший его хаос.

Но еще удивительней другое: в обществе со всеми его прелестями находятся люди, упорно воображающие, будто оно может стать иным, в корне перемениться. Откуда такое простодушие, такое неразумие? Вопрос, казалось бы, естественный, больше того — банальный. Но, может быть, мне извинят стоящее за ним любопытство, которое, напротив, здоровым не назовешь.

Ища новых испытаний и совсем было отчаявшись их отыскать, я подумал: а что, если взяться за утопическую словесность, обратиться к ее так называемым шедеврам, погрузиться, нырнуть в это все с головой? К вящей радости, там я нашел, чем утолить свою жажду покаяния, тягу к самоуничтожению. Несколько месяцев подряд сличать между собой сны о лучшем будущем, о пресловутом идеальном обществе, питаться этим неудобочитаемым хламом — какая невероятная удача! Предупрежу сразу: в подобной никчемной словесности скрыто немало поучительного, и тот, кто в нее окунется, не потеряет времени уж совсем даром. Он воочию увидит ту роль (полезную или губительную, решайте сами), которую играет в завязке любых событий даже не само счастье, а *идея* счастья. Идея, без которой не понять, почему с тех самых пор, как на земле вместе с историей воцарился железный век, каждая эпоха пускается на поиски совсем другого века — золотого. Положите этим поискам конец, и начнется всеобщий застой. Нас ведет одно — чары несбыточного. Иначе говоря, обществу, которое неспособно дать жизнь утопии и посвятить себя ей, угрожают склероз и распад. Житейская мудрость (до чар, как известно, не охотница) советует держаться счастья *общедоступного*, непридуманного. Человек отвечает отказом, и этот отказ — единственное, что делает его историческим существом, другими словами — искателем *недосягаемого* счастья.

Эмиль Мишель Чоран

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали»[1], — сказано в Апокалипсисе. Опустим небо, ограничимся «новой землей» — и перед нами ключ и формула утопических систем. Для пущей точности стоило бы заменить «землю» «городом», но это уже детали. Важно другое: предчувствие нового пришествия, лихорадка неотступного ожидания, обмельчавшая, осовремененная парусия[2], которая и порождает эти системы, дорогие сердцам обездоленных. Нищета — заветная соломинка утописта, сырье его труда, хлеб мысли, путеводная звезда наваждений. Что бы он делал, не будь нищеты? Она поглощает его ум, окрыляет или стоит поперек дороги — смотря по тому, беден он или богат. Но и нищете, в свою очередь, не обойтись без утописта: ей позарез нужен такой теоретик, такой фанатик будущего. Тем более что сама она, бесконечно размышляя над тем, как сбежать из настоящего, без одержимости *иной* землей впадает в непереносимое отчаяние. Не верите? Значит, не пришлось вам хлебнуть настоящей нужды. А если приведется, тогда вы поймете: чем большего вы лишены, тем больше времени и энергии расходуете на то, чтобы мысленно изменить все, иначе гово-

[1] Откровение Святаго Иоанна Богослова, 21,1 (*прим.ред.*).
[2] Нисхождение Святого Духа (*греч.; прим.перев.*).

ря — тратите попусту. Я имею в виду не учреждения, дело рук человеческих, — их вы прокляли раз и навсегда, — а сам ход вещей, обычных вещей, в том числе самых ничтожных. Не принимая их такими как есть, вы пытаетесь навязать им свои законы и причуды, а сами красуетесь за их счет в роли законодателя, самодержца. Вы не оставляете в покое даже природу, рветесь перекроить ее облик и строй. Воздух не по вам — сменить, и немедленно! Камень? — та же история. А растительность? А человек? Добраться до устоев бытия, до самых основ хаоса — подчинить даже их, утвердиться даже там! Человек без гроша в кармане не находит себе места, он в горячке, он мечтает завладеть всем на свете и, пока в нем бушует неистовство, взаправду владеет этим всем, равный Богу, только никто этого не видит, даже Бог, даже он сам. Бред неимущих — прародитель любых событий, первоначало истории. Толпа бесноватых, жаждущих иного мира здесь и сейчас же, — это они вдохновляют утопии, это ради них утопии создаются. Но утопия, как мы помним, значит «нигдейя».

И *откуда* бы в самом деле взяться этим городам, которые стороной обходит беда, где труд — благословение и в чьих стенах никто не боится смерти? Там царит принудительное счастье геометрических идиллий, регламентированных экстазов, несчетных и тошнотворных чудес, которые с неизбежностью подразумевает картина *совершенного*, сфабрикованного мира. Кампанелла с умилительной дотошностью перечисляет жителей своего Солнцеграда, не знающих «подагры, ревматизма, катаров, ишиаса, колик, водянки, газов в кишечнике...» У солнцеградцев всего в избытке, «ведь каждый здесь стремится к совершенству в том, что делает. Отличившийся в чем-то зовется Правителем... Женщины и мужчины, объединенные в группы, предаются труду, ни в чем не отступая от приказа своих Правителей и никогда не выглядя усталыми, как это бывает у нас. Они видят в своих вождях отцов или старших братьев». Сколько подобных пошлостей в любом образце утопического жанра, особенно у Кабе, Фурье, Морриса, где нет даже щепотки соли, без которой не бывает искусства, хоть словесного, хоть любого иного.

Чтобы всерьез возводить *подлинную* утопию, с убежденностью живописать картину идеального общества, нужна, что ни говорите, известная доза простодушия (то бишь глуповатости). А она колет глаз и рано или поздно начинает раздражать читателя. Единственные нескучные утопии — пародийные. Написанные для игры, ради развлечения или в приступе мизантропии, они либо предвосхищают, либо вызывают в памяти «Путешествия Гулливера», эту Библию разочарованных, квинтэссенцию видений трезвого ума, утопию *без надежды*. Свифтовские сарказмы лишили жанр невинности, и хорошо, если не уничтожили его вовсе.

Что проще смастерить: утопию или апокалипсис? У них разные правила, разные шаблоны. Первая — ее трафареты ближе нашим глубинным инстинктам — положила начало утопической словесности, которая оказалась бы необозримой, не будь второго. Не каждый готов ставить на мировую катастрофу, не всем близки язык и манера тех, кто ее возвещает и афиширует. Но поклонники и фанатики жанра не без извращенного удовлетворения читают евангельские пассажи и клише, пригодившиеся потом на Патмосе: «...Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба... восплачутся все племена земные... не прейдет род сей, как все сие будет»[1]. Предчувствие небывалого, предвосхищение коренного перелома, эпохальное ожидание могут обернуться либо миражом (и надеждой на рай, земной или небесный), либо тревогой, и тогда перед нами образ идеального Зла, притягательного и отталкивающего катаклизма.

«Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы»[2]. Все эти ужасы, разумеется, условность, прием. Иоанн Богослов не мог не прибегнуть к ним, решившись на свою блистательную тарабарщину, парад катастроф, который, впрочем, куда предпочтительней бесконечных островов и городов, где читателя душат безликим счастьем, где вас затягивают и перемалывают жернова «всемирной гармонии». Мечты утопистов рано или поздно сбываются, но в умах других. То, что для них было совершенством, для нас превращается в изъян, их химеры становятся нашими бедами. Тип общества, рисовавшийся им в самых возвышенных тонах, для нас, в ежедневном употреблении, непереносим. Взять хотя бы этот отрывок из «Путешествия в Икарию»: «Две с половиной тысячи женщин-модисток трудятся в ателье, одни сидя, другие стоя, почти все — приятные на вид... Поскольку каждая делает только свою деталь, это вдвое убыстряет работу и повышает качество. Самые элегантные головные уборы выходят из рук прелестных мастериц тысячами за утро...» Можно, конечно, признать подобные благоглупости плодами слабоумия или дурного вкуса. Но физические детали Кабе, что ни говори, разглядел верно, а ошибся в другом — в сути. Нимало не подозревая о зазоре между *существованием* и

---

[1] Евангелие от Матфея, 24, 29, 30, 34 (*прим.ред.*).
[2] Откровение Святаго Иоанна Богослова, 19,15 (*прим.ред.*).

производством (человек по-настоящему живет лишь помимо того, что делает, за пределами своих поступков), Кабе не сумел увидеть роковую силу принуждения, которое неотделимо от всякого труда, будь он ремесленным, промышленным или любым другим. Что больше всего поражает в утопической литературе, так это отсутствие психологического нюха, обыкновенного чутья. Ее герои — автоматы, игрушки, символы: они всегда неправдоподобны, всегда послушно исполняют роль куклы, идеи, затерянной в безликом мире. Кто в утопиях абсолютно неузнаваем, так это дети. В социетарном государстве Фурье они до того невинны, что им и в голову не приходит взять что-нибудь чужое, «сорвать яблоко с ветки». Но ребенок, который не воровал, это не ребенок. Так стоит ли придумывать общество, состоящее из марионеток? По-моему, лучшего рвотного, чем описание Фаланстера, не найти.

В противоположность Ларошфуко, изобретатель утопий — это моралист, видящий в людях одно бескорыстие, самопожертвование, самозабвение. Лишенные плоти и крови, безупречные и никакие, растоптанные общественным Благом, свободные от изъянов и пороков, объемов и контуров, знать не знающие о реальной жизни, об искусстве краснеть за самого себя, изощряться в самообвинениях и самомучительстве, они не подозревают об удовольствии, которое приносят человеку горести ему подобных, о нетерпении, с каким он предвкушает и торопит их провал. Кстати, эти удовольствие и нетерпение могут идти от вполне доброкачественного любопытства и никакой дьявольщины в себе не заключать. Набирая общественный вес, добиваясь процветания, двигаясь вперед, человек не знает, каков он на самом деле. Ведь поднимаясь выше и выше, он все дальше от самого себя, все острей чувствует свою пустоту, выморочность. Именно поэтому понимать себя начинаешь, только пережив провал, постигнув невозможность успеха ни в одном из человеческих предприятий: крах раскрывает глаза, лишь теперь ты становишься хозяином самому себе, порывая с привычной толстокожестью прочих. Чтобы в полную силу пережить собственное или чужое банкротство, нужно узнать беду, а если потребуется — даже окунуться в нее с головой; но как это сделать в городах и на островах, где подобное начисто исключено по высшим государственным соображениям? Сумерки здесь запрещены, дозволяется только свет. Никакого раздвоения: утопия как таковая противостоит манихейству. Враждебная всякому отклонению, всему бесформенному, всему выбивающемуся из ряда, утопия укрепляет однородное, типичное, повторяющееся, правильное. Но жизнь — это взрыв, ересь, нарушение физических норм. Тем более человек: если соотносить его с жизнью, он — ересь в квадрате, победа индивидуальности, прихоти, явление возмутительное, существо, несущее раскол. Общество, эта совокупность до поры до времени спящих чудовищ, стремится наставить человека на *истинный путь*. А он, еретик по природе, чудовище уже разбуженное, воплощенный одиночка, нарушитель мирового порядка, находит удовольствие в своей исключительности, несет тяжкое бремя привилегий, расплачиваясь за превосходство над себе подобными собственной *недолговечностью*. Чем резче он выделяется, тем он опасней и уязвимее разом, ценой своей жизни возмущая покой других и утверждая в самом центре города устав изгнанника.

«Наши надежды на будущее государственное устройство рода человеческого можно свести к трем главным пунктам: уничтожение неравенства между разными государствами, развитие равенства в каждом отдельном государстве и, наконец, усовершенствование человека» (Кондорсе). Описывая лишь *реально* существовавшие города, история, везде и во всем видящая скорее крах, чем исполнение наших надежд, увы, не узаконила ни одного из этих ожиданий. Для Тацитов не существует *идеального* Рима.

Устраняя все неразумное и непоправимое, утопия противостоит трагедии — вершине и квинтэссенции истории. В совершенном городе не будет конфликтов; воля каждого подчинится, утихомирится и каким-то чудом сольется с волей остальных; воцарится полное единение, без самомалейших неожиданностей или противоречий. Утопия — это смесь ребяческой рассудительности с обмирщенным ангелоподобием.

Человечество тонет во зле. Мы не просто совершаем злые поступки, но и, делая порой *добро*, мучимся, поскольку пошли наперекор собственной воле: не зря добродетельная жизнь требует покаяния, умерщвления плоти. Обращенный в демиурга падший ангел, Сатана, получив во владение землю, кичится перед лицом Бога и чувствует себя здесь, внизу, куда вольнее и могущественней, чем Господь. Если ограничить мир человеком, то Сатана — не захватчик его, а хозяин, полноправный суверен, восторжествовавший над Всевышним. Наберемся же смелости признать, в чьих мы руках.

Великие религии на сей счет не заблуждались. Мара предлагает Будде, Ахриман Зороастру, а Искуситель Иисусу именно землю и господство надо всем земным, которым Князь мира владеет безраздельно. Пытаться утвердить на земле новое царство, всеобщую утопию или мировую империю — значит ввязаться в игру Сатаны, включиться в дьявольский замысел и довести его до кон-

ца: чего он хочет больше всего, так это втянуть нас в участие и тем самым увести от света, от сожаления о счастье, потерянном навсегда.

Запертый в течение пяти тысячелетий рай, по Святому Иоанну Златоусту, снова открыл свои врата, когда Иисус испустил дух на кресте. В сопровождении наконец-то вернувшегося Адама туда был впущен разбойник и узкий круг праведников, прозябавших до того в аду, ожидая, когда пробьет «час искупления».

Судя по всему, потом его снова заперли — и надолго. Взять Царство небесное силой невозможно. Горстка блаженствующих избранников, понятно, забаррикадировалась, использовав опыт, прелестям которого вполне обучилась на земле. Вот он, наш рай, совсем как настоящий. Это о нем мы мечтаем в минуты глубочайшего уныния, в нем хотели бы раствориться. И вдруг внезапный рывок увлекает и переносит нас туда: неужели мы не хотели бы на минуту вернуть то, что навсегда утратили, исправить ошибку собственного рождения? Лучший ключ к метафизическому смыслу ностальгии — невозможность слиться со временем. Человек ищет утешения в далеком, незапамятном и недостижимом прошлом, еще до всякого становления. Мучащая при этом боль — действие первоначального разрыва — не дает перенести золотой век в будущее. По природе ностальгии ближе древнее, исконное; она стремится к нему не в поисках утехи, а для того, чтобы исчезнуть, сбросить ношу сознания. Она возвращается к истоку времен, чтобы найти настоящий рай, предмет своих сожалений. А земной рай, наоборот, свободен от всякого сожаления. Это перевернутая, ложная, ущербная ностальгия, обращенная к будущему и затушеванная «прогрессом», — опровержение времени, глумливая перелицовка первозданного рая. Зараза это или привычка, но такая перелицовка в конце концов порабощает каждого. Вольно или невольно мы начинаем полагаться на будущее, делаем из него панацею и, свыкшись с этим перерождением времени в *иное* время, видим в нем теперь бесконечную и вместе с тем завершенную длительность, некую *вневременную историю*. Перед нами противоречие в терминах, неразрывное с надеждами на новое царство, на победу несокрушимого над становящимся, причем в рамках того же становления. В основе наших грез о лучшем будущем — попросту слабость теории. Так надо ли удивляться, что для ее подкрепления приходится прибегать к *капитальнейшим* парадоксам?

Пока все помыслы людей поглощало христианство, они оставались глухи к соблазнам утопий. А вот когда в христианстве начали разочаровываться, утопия пустилась завоевывать и обживать умы. Она принялась за дело уже в период Ренессанса, но победить смогла лишь двумя веками позднее, в эпоху «просвещения» предрассудков. Тогда и родилось Будущее — образ неукоснительного счастья, рая по указке, где нет места случаю, а в любой фантазии видят ересь или вызов. Описывать его — значит углубляться в подробности невообразимого. Сама мысль об идеальном городе — сущая пытка для разума, предприятие во славу сердца и в посрамление рассудка. (Как мог Платон опуститься до таких вещей? Ведь именно он — сколько ни отгоняй от себя эту мысль — стоял у истока подобных извращений, подхваченных и удесятеренных потом *отцом-основателем* современных иллюзий Томасом Мором.) Сооружать общество, где каждый твой шаг учтен и упорядочен по чудовищному ранжиру, где из доведенной до неприличия милости к ближним следишь даже за собственными задними мыслями, — да это значит переносить в золотой век все муки ада, строить дом призрения при пособничестве Сатаны. Безобразные имена солнцеградцев, утопийцев, гармонийцев под стать их судьбе, обетованному кошмару, поджидающему и нас, поскольку подобный идеал — наших рук дело.

Прославляя достоинства трудовой жизни, утопии неизбежно противостоят Книге Бытия. В этом узком смысле они — автопортрет человечества, с головой ушедшего в работу и с удовольствием, даже со спесью принявшего последствия грехопадения, тягчайшим среди которых остается неотвязный труд. Мы с гордостью и хвастовством несем на себе стигматы человеческого рода, который дорожит «потом лица своего», который превращает его в знак отличия и который суетится и мается, находя в этом *радость*. Отсюда — тот ужас, который нам, проклятым, внушают избранные, отказавшиеся гнуть спину и добиваться превосходства в своем деле. Этот отказ, за который мы укоряем отступника, может быть, делает его единственным, кто еще хранит воспоминание о незапамятном счастье. Чужой среди себе подобных, он такой же, как мы, и все-таки не в силах слиться с нами. С какой-то явной для него одного стороны он чувствует себя *нездешним;* во всем окружающем ему чудится посягательство на его «я» — взять хотя бы имя... Любое его начинание ждет провал, он хватается то за одно, то за другое, по-настоящему не веря в эти призрачные подделки, от которых его отвращает *явственный* образ иного мира. Чтобы изгнанник из рая не томился и не мучился, он получает взамен способность хотеть, стремиться к действию, бросаться в него с жаром, забывая себя. А что делать, за что уце-

питься отсутствующему с его отчуждением, его выходящей уже за всякие границы расслабленностью? Из отрешенного состояния его не выведет ничто. Но и ему не избегнуть общего проклятья: он тоже *истощает* свои силы, расходуя на сожаление не меньше энергии, чем мы на свои подвиги.

Провозгласив, что Царство Божие не «здесь» и не «там», а внутри нас, Христос заранее отверг все утопические постройки, для которых любое «царство» всегда *вовне* и не связано ни с нашим подспудным «я», ни с индивидуальным спасением каждого. Но мы настолько срослись с подобными мыслями, что ждем освобождения только со стороны, от хода вещей или развития общества. Отсюда потребность в Смысле истории, мода на который вытеснила прежний Прогресс, ничего не изменив по сути. Тем не менее стоило бы сдать в утиль если не само это понятие, то, по крайней мере, одну из его словесных формулировок, которой слишком злоупотребляют. Не прибегая к синонимам, нового шага в идеологии не сделать.

Идея совершенства, как ее ни переодевай, вошла в каждого: под ней подписывается даже тот, кто ставит ее под вопрос. С тем, что *прямого продолжения* в истории не существует, что она вовсе не движется заданным курсом к определенной цели, в наше время не согласится никто. «У Истории есть цель, к которой она стремится, которую она содержит в себе как возможность» — вот что провозглашают наши желания и учения в один голос. Чем больше идея обещает на завтра, тем скорее она победит сегодня. Не способные найти Царство Божие в себе самих или, скорее, слишком испорченные, чтобы подобным поискам предаваться, христиане перенесли его в будущее: исказили смысл преподанного урока, зато застраховали себя от неудач. Но и Христос допускал тут известную двойственность. С одной стороны, он, парируя нападки фарисеев, ратовал за царство внутри нас, неподвластное времени, а с другой — предсказывал ученикам, что спасение близко и что они вместе с нынешним «родом» увидят гибель этого мира. Понимая, что смертные видят в ореоле мученика химеру, а не истину, он снисходил к их слабости — иначе под угрозой оказывалось все предприятие. Но то, что было для него уступкой и тактикой, для утопистов стало постулатом и страстью.

Решительный шаг вперед был сделан в тот день, когда человечество поняло: чтобы как следует тиранить других, нужно организоваться, объединиться в общество. До той поры, если верить утопистам, это удавалось лишь отчасти. Утопии предложили здесь свою помощь, обеспечивая людей планом того, как достичь абсолютного счастья. В качестве платы требовалось одно: отказаться от свободы или, если она все-таки сохранялась, пользоваться ею лишь для изъявлений радости под пытками, каким наперебой подвергали себя утопийцы. Видимо, в этом и состоит смысл дьявольской заботы, которой окружен человек в утопиях. Как тут не вывернуть утопию наизнанку — как не отказаться от ничтожных благ и несчетных зол любого социального порядка? Соблазнительная мысль, непобедимое искушение. Что за гигантское сборище уродств — нет ли способа с ним покончить? Как пригодился бы здесь какой-нибудь *всеобщий растворитель* из тех, что искали алхимики и чье действие стоило бы опробовать не на металлах, а на человеческих установлениях. А пока нужного средства не найдено, между делом отметим, что во всем положительном алхимия и утопия близки: мечтая о похожей, если вообще не об одной и той же, трансмутации в разных областях, первая подкапывается под неуничтожимое в природе, вторая — в истории. Идеи жизненного эликсира и совершенного города питаются одним умственным изъяном или, если угодно, одной надеждой.

Чтобы выделиться среди других народов, чтобы унизить и растоптать их или просто чтобы найти свое неповторимое лицо, народу нужна безумная идея, которая его ведет, ставит перед ним цели, несоизмеримые с любыми реальными возможностями. Точно так же и общество: оно развивается и упрочивается, только если ему подсказывают либо внушают идеалы, абсолютно непропорциональные нынешнему состоянию. Утопия для общества — то же, что предназначение для народа. А идеологии — побочный продукт, как бы простейшее выражение мессианских или утопических чаяний.

Сама по себе идеология ни хороша, ни плоха. Все зависит от того, в какой момент ее усваивают. Скажем, на окрепшую страну коммунистическое учение действует как стимулятор: толкает вперед, способствует расширению. Но если страна подточена, коммунистическое влияние может оказаться не столь благоприятным. Ни истинное, ни ложное, оно лишь ускоряет идущие процессы, и Россия достигла своего нынешнего могущества не *по причине, а через посредство* коммунистических идей. Сохранят ли они ту же роль, если воцарятся во всей остальной Европе? Останутся ли опорой обновления? Кое-кому хотелось бы на это надеяться. В любом случае ответ тут возможен только приблизительный, косвенный, с помощью исторических аналогий. Задумаемся над воздействием раннего христианства. Античному обществу оно нанесло смертельный удар, парализовало его,

довело до гибели. Для варваров же, наоборот, стало благословением, обострив на первое время их природные инстинкты. Не возродив одряхлевшего мира, оно возродило только возродившихся. Таково и коммунистическое учение: *напрямую* оно спасает лишь тех, кто и так спасен. Но оно не в силах дать твердую надежду умирающим, а еще меньше — вернуть к жизни умерших.

Разоблачив нелепости утопий, обратимся к их достоинствам.

Поскольку человечество так прижилось в обществе и государстве, что почти не замечает их прирожденного зла, последуем за ним, присоединимся к невменяемым.

Утопии — и тут их роль вряд ли можно переоценить — показали весь вред собственности, весь ужас, который она воплощает, все беды, которые несет с собой. Мелкий или крупный, каждый собственник развращен, раз и навсегда испорчен. Он бросает тень на любую мелочь, которую тронул и присвоил. Когда угрожают его «достатку», когда его обирают, сознание собственника работает с такой остротой, на какую в нормальной обстановке оно не способно. Чтобы вернуть ему человеческий облик, так называемую душу, его надо разорить, надо, чтобы он признал свое разорение. На помощь приходит революция.

Возвращая к первобытной наготе, революция, по сиюминутным понятиям, уничтожает собственника. Но по абсолютным меркам она его спасает, освобождая — речь, понятно, о внутреннем освобождении — именно тех, на кого в первую очередь и обрушивается: имущих. Революция их *деклассирует,* иными словами — возвращает на прежний уровень, к тем ценностям, от которых они отступились. Но даже не обратившись еще в орудие или причину возмездия, революция зароняет в них спасительный страх. Она бередит их сон, питает кошмары, а ведь кошмар — начальная точка метафизического пробуждения. И разрушительное воздействие революции — залог ее пользы. При всех злосчастьях, ее оправдание в одном: только у нее есть в запасе ужас, способный потрясти самый бесчеловечный из возможных миров — мир собственников. Любая форма обладания — давайте не побоимся это признать — унижает и портит человека, потакая чудовищу, дремлющему в каждом. Владеть хотя бы простой шваброй, считать что бы то ни было *своим* достоянием — значит соучаствовать в общем бесчестье. И напротив: сколько достоинства в сознании, что у тебя ничего нет! Какое освобождение! Только что ты считал себя последним из людей и вдруг, потрясенный, как будто прозревший, больше не мучишься, напротив — гордишься. И единственное, чего ты, пожалуй, еще хотел бы, так это разориться совсем, дотла, как святой или сумасшедший.

Устав от традиционных ценностей, с неизбежностью обращаются к идеологии, которая не оставляет от них камня на камне. Секрет ее притягательности — в силе отрицания, а не в утвердительных формулировках. Призывая к подрыву общественного порядка, коммунистическая мысль указывает выход из кризиса. Так обстоит дело сегодня, так было вчера, так будет завтра. С эпохи Ренессанса повторяется одна и та же история: кажется, что умы привлекает либерализм, а по сути их влечет коммунизм. Он вовсе не продукт уникальных обстоятельств, не историческая случайность. Он наследник утопических систем прошлого, по-хозяйски присваивающий плоды многовекового скрытого труда. Когда-то прихоть и ересь, со временем он приобрел черты самой судьбы, единоспасающего учения. С тех пор для сознания существуют лишь две формы бунта: коммунистический и антикоммунистический. Но неужели кто-то не видит, что антикоммунизм дышит той же яростной, ужасающей верой в будущее коммунизма?

Когда приходит час идеологии, все, даже ее враги, работают на ее успех. Никакая полемика, никакая полиция не в силах сдержать ее натиск, отсрочить победу. Она ищет любую возможность — и обладает силой! — реализоваться, воплотиться в жизнь. Но чем большего она добивается, тем скорее рискует истощить силы. Упрочиваясь, она лишается идеального смысла, иссушает свои истоки, чтобы рано или поздно, обманув надежды на спасение, которыми питалась, выродиться в болтовню и обратиться огородным пугалом.

Срок, отпущенный коммунистической идее, зависит от скорости, с какой она израсходует свои утопические запасы. Но пока они есть, коммунизм неизбежно будет соблазнять общества, которые его еще не пережили. Отступая в одном, выигрывая в другом, наделенный добродетелями, которых нет у идеологий-соперниц, он обойдет весь земной шар, замещая умершие или ослабевшие религии и на каждом углу суля нынешним толпам достойный их ничтожества абсолют.

Сам по себе он выглядит единственной реальностью, на которую еще может положиться всякий, кто сохранил хоть соломинку веры в будущее, — вот почему мы все в той или иной степени коммунисты... Но разве человечество не впадает в пустые абстракции, когда судит то или иное учение, забывая об уродствах, неотрывных от его воплощения в жизнь? Человек всегда надеется на торжество справедливости. Ради ее триумфа он готов пожертвовать даже сво-

бодой, о которой потом горько пожалеет. За что бы он ни взялся, любое дело, любая мысль неминуемо ведут его в тупик, как будто тупик — не предел пути, а его отправная точка, условие, разгадка. Ни одна новая форма общественного устройства не способна даже на самое простое: сохранить преимущества старой — и примерно одну и ту же сумму неудобств встретишь в обществе любого типа. Проклятое равновесие, неизлечимый застой, от которого страдают и отдельные люди, и целые общественные группы! Теории бессильны: глубины истории непроницаемы для доктрин, задевающих лишь ее поверхность. Эпоха христианства в корне отличалась от христианства как такового; коммунистическая эра, в свою очередь, вряд ли будет похожа на идеалы коммунизма. По своей природе события не бывают ни христианскими, ни коммунистическими.

Если утопия — это материализованная иллюзия, то коммунизм — иллюзия еще и навязанная, принудительная: вызов, брошенный вездесущему злу, *оптимизм поневоле*. К нему вряд ли приспособится искушенный и зрелый ум, который опьяняет лишь одно — разочарование, или тот, кому по примеру составителя Книги Бытия претит связывать золотой век с идеей развития. Не то чтобы он презирал маньяков, бредящих «бесконечным прогрессом» и прилагающих все силы, чтобы водворить справедливость на земле. Но он, к своему несчастью, знает: справедливость — это воплощенная несбыточность, гигантская неосуществимость, единственный идеал, о котором можно уверенно утверждать, что он не реализуется нигде и никогда, и которому, кажется, противостоят все законы природы и общества.

Подобные противоречия и конфликты — вовсе не удел одиночек. С той или иной остротой их переживает каждый: кто среди нас не мечтал разрушить нынешнее общество, зная при этом, сколько разочарований готовит ему будущее? Всеобщее, пусть даже бесполезное, потрясение, революция *без веры* — вот все, на что еще осталось надеяться в эпоху, когда ни у кого не хватает простодушия, чтобы стать настоящим революционером. Тот, кто, жертвуя неистовством разума, отдается неистовству хаоса, поступает как собравшийся с силами одержимый, как победивший болезнь безумец или как бог, который в приступе трезвой ярости с удовлетворением пускает на ветер и свое порождение, и собственное бытие.

Отныне наши мечты о будущем неотделимы от страхов. Вначале утопическая словесность ополчалась на Средневековье, на тогдашний пиетет перед адом и пристрастие к картинам светопреставленья. Успокоительные системы Кампанеллы и Мора ставили, можно сказать, одну цель — дискредитировать видения Святой Хильдегарды. Свыкшись с ужасным, мы переживаем сегодня сращение утопии с апокалипсисом. Обетованный «новый мир» все больше напоминает новый ад. Но мы с нетерпением ждем этого ада и даже считаем своим долгом поторапливать его приход. Два жанра, казавшихся противоположными, — утопия и апокалипсис — смешиваются, окрашивают друг друга, образуя третий, замечательно приспособленный отражать ту разновидность реальности, которая нам грозит и которой мы тем не менее говорим «да», твердое и трезвое «да». Такова наша единственная возможность *сохранить безупречность* перед лицом рока.

Перевод с французского БОРИСА ДУБИНА

СЬЮЗЕН СОНТАГ

«ДУМАТЬ НАПЕРЕКОР СЕБЕ»: РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЧОРАНЕ

Какой прок переходить от одного неудобного положения к другому, всегда ища смысла там же, где потерял?

Сэмюэл Беккет

Во всяком месте и времени можно найти абсолютное ничто — ничто как возможность.

Джон Кейдж

Любое интеллектуальное, художественное или моральное событие нашего времени попадает в заблаговременно распахнутые объятия разума с его так называемым историзмом. Каждое твое слово, каждое действие могут либо расценить как необходимое промежуточное «звено», либо — спустимся этажом ниже — преуменьшить

до простой «моды». Человеческий ум обзавелся в наши дни, можно сказать, второй природой — такой точкой зрения на собственные находки, которая неминуемо сводит их достоинства и заявки на истинность к нулю. Более чем за сто лет эта историзирующая точка зрения срослась с нашими способностями вообще что бы то ни было понимать. Вчера, вероятно, всего лишь малозаметный тик разума, сегодня это всеохватывающий и неподконтрольный образ мысли — мысли, посредством которой человек неустанно защищает себя.

Мы понимаем что-то, лишь расположив его в тысячу раз промеренном временном континууме. Существовать теперь — значит хоть на минуту сверкнуть в неудержимо бегущем потоке прошлого, настоящего и будущего. Но и самые яркие события рано или поздно блекнут. Каждое отдельное произведение — в конце концов, лишь часть наследия; подробности жизни — не более чем звенья жизненной истории; жизненная история индивида получает смысл только на фоне истории общества, его экономики и культуры, а жизнь общества сводится к сумме «всего, что было до нас». Значение тонет в становлении — бессмысленном и повторяющемся ритме прибытия и ухода. Становление человека — это история исчерпания его возможностей.

И тем не менее демона исторического сознания не перехитришь, попросту обернув смертоносный исторический взгляд на него самого. Как ни грустно, длинный ряд исчерпанных (разоблаченных и дискредитированных хоть разумом, хоть историей) возможностей, к каковым нынешний человек готов причислить и себя, кажется, не свести всего лишь к мыслительной «установке», от которой легко избавиться, попросту переведя мысль на другое. Лучшее из того, что придумано и создано Западом за последние сто пятьдесят лет, бесспорно, может показаться кому-то самым энергичным, самым содержательным, самым тонким, самым захватывающим и самым подлинным на протяжении всей человеческой истории. И тем не менее столь же бесспорный плод всей этой одаренности — сегодняшнее чувство, что мы стоим на руинах разума, на краю развалин истории и самого человека. (Мыслю, следовательно, не просуществую.) Время новых коллективных озарений благополучно осталось в прошлом: на нынешний день все — и самые яркие, и самые тупые, и глупейшие, и мудрейшие — так или иначе высказались. Однако нужда отдельного человека в духовной опоре никогда еще не была такой острой. Sauve qui peut[1].

Расцвет исторического сознания скорее всего связан с крахом почтенного предприятия по созиданию философских систем, последовавшим в начале XIX века. После греков философия (рука об руку с религией или на правах противостоящей ей светской мудрости) была по большей части коллективным, сверхличным образом мира. Стремясь — на разных эпистемологических и онтологических основаниях — дать картину существующего, философия под эгидой таких понятий, как порядок, гармония, ясность, умопостигаемость и согласованность, внушала вместе с тем скрытые и окрашенные будущим представления о должном. Однако долголетие подобных коллективных и безличных образов мира зависело от философских постулатов, которые приходилось формулировать так, чтобы обеспечить им множество приложений и толкований, но защитить от любых случайных и непредвиденных разоблачений. Отказавшись от преимуществ мифа, имевшего в запасе утонченнейшие *повествовательные* способы объяснять перемены и понятийные парадоксы, философии пришлось развить собственную риторическую технику — абстрагирование. Вот на этом абстрактном, вневременном языке с его претензиями описать отвлеченные от конкретики, «всеобщие» и устойчивые формы, лежащие в основе нашего переменчивого мира, и покоился во все времена авторитет философии. Больше того, сама возможность объективных, доступных формализации представлений о бытии и познании, предложенных традиционной философией, зависела от всякий раз особых взаимосвязей между извечными структурами, с одной стороны, и сдвигами в человеческом опыте — с другой: главное место тут принадлежало «природе», а производное — изменению. Но подобная расстановка сил была опрокинута — и, может быть, навсегда — в эпоху, завершившуюся Французской революцией, когда «история» в конце концов потеснила жавшуюся рядом «природу» и взяла лидерство на себя.

Поскольку история как система координат человеческого опыта подчинила себе природу, человечество принялось думать о своем опыте в исторических категориях, а традиционные понятия философии с их внеисторизмом стали обнаруживать свою бессодержательность. Единственным мыслителем, который рискнул встретить этот нешуточный вызов лицом к лицу, оказался Гегель. Он решил, будто сумеет спасти философское предприятие от вставшей на повестку дня коренной перестройки человеческого сознания, если предложит рассматривать философию в качестве, по сути дела, *истории* философии — ни больше, ни меньше. Но представив свою философскую систему, подытожившую всю историческую перспек-

[1] Спасайся кто может (*франц., прим перев.*).

тиву, в качестве окончательной (то есть надысторической) истины, Гегель положения не спас. В той мере, в какой гегелевская система была истинной, она подводила под философией черту. Подлинной философией могла считаться лишь последняя философская система. Тем самым снова раз и навсегда в мире устанавливалась «вечность», а история подходила (либо уже подошла) к концу. Но история не желала стоять на месте. И простое течение времени доказывало банкротство гегелевской системы. Системы, но не метода. (Метод, распространивший свое могущество на все науки о человеке, сослужил свою службу, дав мощнейший и уникальный стимул к укреплению позиций исторического сознания.)

Теперь, после гегелевских усилий, поиск вечности как один из путей философской мысли (такая подкупавшая и непобедимая когда-то повадка ума) предстал во всей своей ходульности и инфантилизме. Философия изнуряла себя в старомодных фантазиях разума, возвращавших к провинциальности духа, детству человечества. Как бы прочно ни увязывались философские положения в системе доводов, ум не мог отделаться от коренного вопроса о «смысле» входивших в эти положения терминов, вернуть начисто потерянное доверие к звонкой монете слов, подобные доводы обеспечивавших. Не справляясь с новым приливом обмирщенной, решительно более сведущей и результативной человеческой воли с ее опорой на подконтрольную, взнузданную, перекроенную «природу», с ее рисковыми ходами в мире слишком конкретных моральных и политических прописей, которые не поспевали за ускоряющимися переменами человеческого ландшафта (в том числе за явственным накоплением эмпирического знания в печатных книгах и документах), ключевые слова философии выглядели все более условными. Или, что то же самое, все более пустыми и обессмысленными.

Сносившись в ходе этих небывалых по масштабу перемен, традиционные для философии и досужие в их «абстрактности» фигуры мысли теперь, казалось, не соответствовали ничему: они уже не наполнялись смыслом, который извлекал прежде из их употребления любой думающий человек. Описывая ли Бытие (действительность, мир, Вселенную) или — по другой версии, составившей одну из первых и мощнейших оборонительных линий философского предприятия (Бытие, действительность, мир, Вселенная объявлялись тут лежащими «вне пределов» разума), — описывая только сам разум, философия больше не внушала доверия к своим способностям достичь обещанной цели: дать людям доступные формализации модели какого бы то ни было *понимания*. В конце концов языковому обиходу философии потребовались иные тактики обороны, перегруппировка сил.

Одним из ответов на провал философского системосозидания в XIX веке стал подъем идеологий — открыто и агрессивно антифилософских систем мысли, принявших форму тех или иных «положительных» либо описательных наук о человеке. Можно вспомнить Конта, Маркса, Фрейда, первопроходцев антропологии, социологии, лингвистики.

Другим откликом на крах стал новый тип философствования — личный по тону (а то и прямо автобиографический), афористичный, лирический, антисистемный. Лучшие образцы здесь — Кьеркегор, Ницше, Витгенштейн. Чоран — крупнейший представитель подобной школы письма на нынешний день.

Отправная точка этой современной постфилософской школы философствования — в осознании развала всех традиционных форм философского языка. Немногочисленные возможности, которые уцелели, исковерканы: это речь либо в форме обрывков (афоризм, заметка, дневниковая запись), либо на грани перехода в другие формы (притча, стихотворение, философская сказка, литературно-критический разбор).

Чоран явно предпочел форму эссе. За пятнадцать лет вышли пять сборников его эссеистики: «Трактат о распаде» (1949), «Умозаключения горечи» (1952), «Соблазн существования» (1956), «История и утопия» (1960) и «Падение во время» (1964). По обыкновенным меркам эти эссе выглядят странно: отвлеченные, категоричные по аргументам, афористичные по стилю. Кто-то заметит у этого выходца из Румынии, изучавшего философию в Бухарестском университете, с 1937 года обосновавшегося в Париже и пишущего по-французски, судорожную манеру немецкой философской мысли нового времени, взявшей девизом «Вечность за афоризм». (Примеры — философские афоризмы Лихтенберга и Новалиса, конечно же Ницше, пассажи «Дуинских элегий» Рильке и кафкианские «Размышления о Любви, Грехе, Надежде, Смерти и Пути».)

Чорановский метод отрывочной аргументации мало похож на объективистскую афористику Ларошфуко или Грасиана, где задержки и броски мысли отражают расколотую картину «мира». Скорее это свидетельствует о тупике спекулятивного разума, который, кажется, только затем и выходит за свои пределы, чтобы оцепенеть и сдаться перед сложностью собственных посылок. Афористический стиль для Чорана — принцип не столько реальности, сколько познания: любая хоть чего-нибудь стоящая мысль

обречена тут же потерпеть поражение от другой, которую сама втайне породила.

Не теряя надежды вернуть себе что-то похожее на прежний решпект, философия вынуждена теперь беспрерывно доказывать чистоту своих помыслов. К наличному реквизиту ее понятий уже никто не относится так, будто он сам по себе — носитель гарантированного смысла. Однако есть сила, способная удостоверить этот смысл наново, — страсть мыслителя.

Философия отныне — личное дело философа. Мысль ограничивается «мышлением», а оно, в свою очередь, лишается всякого смысла, если не впадает в крайности и ничем не рискует. Мышление превращается в исповедь, в изгнание бесов, в набор абсолютно личных пароксизмов мысли.

Началом всего, заметьте, по-прежнему остается картезианский скачок. Существование приравнено к мышлению. Разница в одном: за точку отсчета берется не мышление как таковое, а только определенный разряд *трудных* мыслей. Мышление и существование — не сырые факты и не логические данности, а парадоксальные, непредсказуемые ситуации. Именно в этом смысл эссе, давшего титул одной из чорановских книг и первому сборнику его переводов на английский, — «Соблазн существования». «Существование, — пишет в нем Чоран, — это навык, который я не теряю надежду приобрести».

Тема Чорана — сознание, ставшее *разумным* и поднявшееся тем самым на высшую ступень изощренности. Для него окончательное оправдание написанного — если на этот счет вообще можно строить догадки — скорее всего близко к тезису, который когда-то классически сформулировал Клейст в эссе «О театре марионеток». Сколько бы разлада, утверждает там Клейст, ни внесло сознание в природное изящество человека, простой капитуляцией сознания это изящество не вернуть. Пути назад, возврата к прежней невинности нет. Нам остается одно: довести мысль до конца и так, в полном самосознании, может быть, снова обрести гармонию и невинность.

Разум у Чорана — соглядатай. Только подсматривает он не за «миром», а за собой. Чоран — не меньше, чем, скажем, Беккет — хочет добиться абсолютной цельности мысли. Иначе говоря, ограничить ее рамками или пределами мышления о мышлении — и только. «По-настоящему свободный ум, — роняет Чоран, — недоступен для любых интимностей с бытием, с объектом и поглощен одним — собственной бездной».

Однако этот акт самоопустошения разума вовсе не исключает «фаустовской», или «европейской», страсти. Напротив, Чоран не дает питомцам западной культуры ни малейшей надежды — хотя бы в качестве выхода из тупика — «по-азиатски» отказаться от разума. (Любопытно сравнить осознанное во всей его гибельности пристрастие Чорана к Западу с жизнеутверждающей ностальгией Леви-Стросса по «духу неолита».)

Философия превращается в пытку мыслью. Мыслью, которая пожирает себя, но, вопреки — или благодаря — этим повторяющимся приступам каннибализма, остается в живых и даже ухитряется цвести. В игре страстей мысли мыслящий берет на себя обе роли — и героя, и супостата. Он и страдалец Прометей, и орел, без зазрения совести пожирающий его зажившие за ночь внутренности.

Материал Чорана — недостижимые состояния бытия, невозможные мысли (мысль наперекор себе и т.п.). Но он опоздал: Ницше практически исчерпал этот подход веком раньше. Любопытно, почему тонкий и сильный ум соглашается на перепев того, что по большей части уже сказано? Чтобы его по-настоящему усвоить? Или думая, что верное в первом изложении стало со временем *еще верней*?

Как бы там ни было, «наличие» Ницше имело для Чорана самые прямые последствия. Ему пришлось затягивать гайки еще туже, аргументировать еще весомей. Мучительней. Искусней.

Характерно, что Чоран заводит разговор на том месте, где другой эссеист закругляется. Он начинает с конца и делает шаг в сторону.

Его слова обращены к тем, кто и так знает, о чем речь: его читатели уже заглядывали в головокружительную глубину этой самосредоточенной мысли. Чоран никого не собирается «убеждать» неожиданной поэтической связью своих идей, своей беспощадной иронией, изящной свободой своих отсылок ко всему наследию европейской мысли, начиная с греков. Его доводы «принимаешь» и без особой помощи с его стороны. Хороший вкус требует, чтобы мыслитель являл миру лишь яркие блестки своих интеллектуальных и духовных метаний. Отсюда чорановский тон — тон предельного самообладания, властный, порой иронический, нередко гордый. Но вопреки всему, что может показаться высокомерием, в Чоране нет ни малейшего самодовольства, если не считать таковым неистребимое чувство тщеты и бескомпромиссно элитарный взгляд на жизнь духа.

Как Ницше тянуло к моральному затворничеству, так Чорана тянет к трудному. Не то чтобы его эссе нелегко понять, но их, скажем так, моральный заряд — в бесконечном выявлении трудностей. Обычное чоранов-

ское эссе можно описать в нескольких словах: это свод тем для размышления одновременно с подрывом любой приверженности к изложенным мыслям, не говоря уж о «действии» на их основе. Вырабатывая сложнейшие интеллектуальные формулировки для одного интеллектуального тупика за другим, Чоран создает замкнутый мир — мир трудного, главный предмет своей лирики.

Чоран — один из самых *ненавязчивых* умов среди современных писателей по-настоящему сильного стиля. Оттенок, ирония, изощренность — само существо его мысли. Тем не менее в эссе «Об удушающей цивилизации» он утверждает: «Людским умам нужна простая истина, ответ, избавляющий от вопросов, евангелие, эпитафия. За тягой к изощренному кроется начало смерти: нет ничего более хрупкого, чем утонченность».

Противоречие? Не совсем. Скорее обычный двойной стандарт, который философия практикует со времен своего краха: для широкой культуры — мерка одна (здоровье), для затворника-философа — другая (духовная неуспокоенность). Первое требует, по словам Ницше, пожертвовать интеллектом. Второе — пожертвовать здоровьем, человеческим счастьем, связью с семьей и другими общественными установлениями, а то и душевным равновесием. Для этой философской традиции, идущей от Кьеркегора и Ницше, готовность мыслителя к мученическому венцу едва ли не равносильна правильному воспитанию. И один из признаков его хорошего вкуса именно как философа — презрение к философии. Отсюда идея Витгенштейна, будто философия — это что-то вроде болезни и дело философа — изучать ее, как врач малярию: не для того, чтобы передавать другим, а чтобы их от нее излечивать.

Однако — принимай мы подобное поведение за ненависть философа к себе или всего лишь за кокетничанье собственной пустотой — к простому разноречию дело не сводится. В случае с Чораном подлинность его отречений от разума ничуть не подрывается фактом, что они принадлежат человеку, который столь энергично и профессионально этим разумом пользуется. Возьмем бесстрастные советы в эссе 1952 года «Письмо о тупиках». В нем постоянно печатающийся во Франции писатель Чоран встает в странную позицию. Он упрекает друга, превратившегося-де в такое «чудовище», как «автор», и предавшего чудесную «отрешенность, презрение и безмолвие», описав их в книге. Нет, Чоран вовсе не хвастает своим безболезненно двойственным отношением к писательскому призванию. Он ищет слов для мучительного, по-настоящему парадоксального опыта, который приобретает свободный ум, присягнувший литературе и нашедший свою аудиторию. Но одно дело — идти на мучение и риск самому, и совсем иное — советовать подобное другу. А поскольку прибегать к помощи разума для Чорана мучительно, то делать это публично — и более того, становиться писателем — поступок неоднозначный, отчасти постыдный, всегда подозрительный и, в конечном счете, даже непристойный. Причем во всех отношениях — и в социальном, и в личном.

Чоран — еще один новобранец в меланхолических шеренгах европейских интеллектуалов, выступающих против интеллекта, в бунте идеалистов против «идеализма», лидерами которого были Ницше и Маркс. И здесь суждения Чорана по большей части не отличаются от всего уже сказанного на сей счет бесчисленными поэтами и философами прошлого и нынешнего веков, не говоря о зловещем, травмирующем обстоятельстве — проникновении нападок на интеллект в риторику и практику фашизма. Но даже если веский довод не нов, это вовсе не значит, будто его можно не принимать всерьез. А что уместней снова пущенного Чораном в оборот тезиса, который гласит: свободный ум — явление совершенно антисоциальное и для общественного здоровья разрушительное?

Чоран не раз — но тверже всего в эссе «Об удушающей цивилизации» и «Краткая теория рока» — вставал на сторону критиков просветительства. «Начиная с эпохи Просвещения, — пишет он, — Европа непрерывно обескровливала своих идолов во имя терпимости». Но эти идолы, или так называемые «предубеждения — выдумки, неотъемлемые от любой цивилизации, — обеспечивают ей устойчивость, оберегают ее неповторимый облик. К ним надлежит относиться уважительно». И еще, в первом из упомянутых эссе: «Тому, кто не собирается порывать с историей, без толики неразумия не обойтись». Первый среди недугов, подгачивающих цивилизацию, — гипертрофия разума, ослабляющего способность к «вдохновенному недомыслию... плодотворному порыву, на которые никогда не решится ясное, разложившее все по полочкам сознание». Как только цивилизация «начинает осознавать ошибки, которым обязана своим цветом и блеском, и ставить под вопрос собственные истины, она обречена». Далее Чоран принимается, ничуть не смущаясь, оплакивать исчезновение в Европе фигуры варвара, человека неразумного. «Все его инстинкты были задушены приличиями», — роняет он об англичанине. Защищенный от испытаний, «обескровленный ностальгией, этим воплощением скуки», средний европеец захвачен

и поглощен теперь «идеей благополучия (манией эпох упадка)». Европу ждет «судьба провинции». Новыми хозяевами мира станут далеко не столь цивилизованные народы Америки, России и ждущие выхода на историческую арену орды одержимых миллионов из еще менее цивилизованных «пригородов земли», за которыми — будущее.

Большинство этих обветшалых аргументов Чоран берет на вооружение, ни на йоту не меняя. Та же стародавняя героика, тот же отказ духа от самого себя, снова поставленный на службу прежней антитезе — сердце против головы, инстинкт против разума. «Чрезмерная ясность сознания», снова ведущая к утрате равновесия. (Среди доводов, удесятеряющих и без того нескрываемую недоверчивость Чорана в «Письме о тупиках», в «Стиле как шансе», во всей книге, — сам языковой характер человеческой коммуникации, литература как таковая, по крайней мере, в нынешнем ее состоянии.)

Однако как минимум одна из привычных антитез — мысль против действия — доведена Чораном до блеска. В эссе «Об удушающей цивилизации» он еще целиком следует за расхожим мнением романтиков XIX века и особо останавливается на цене, которую разум платит за свою выучку. Это способность действовать. «Действовать — одно; знать, как де́йствуют, — другое. Стоит вмешаться ясному сознанию, стоит ему только закрасться в действие, и действие обречено, а вместе с ним обречено и предубеждение, задача которого, в точном смысле слова, — поработить, подчинить сознание действию». Однако в эссе «Думать наперекор себе» противопоставление мысли и действия проводится тоньше и своеобразней. Мысль здесь не просто мешает прямо и энергично перейти к действию. Посягательство действия на права мысли — вот что занимает Чорана на этот раз. Подчеркивая, что «действие сужает поле сознания», он поддерживает идею «освобождения» от действия как единственную подлинную разновидность человеческой свободы.

Но и в упростительских пассажах эссе «Об удушающей цивилизации» Чоран выводил на сцену типично европейскую фигуру «пресыщенного интеллектуала» вовсе не ради очередных нападок на роль интеллектуалов, а пытаясь уточнить разницу между двумя действительно разными состояниями: цивилизованностью, с одной стороны, и тем искажением природы личности, которое иногда (и, может быть, предвзято) называют «перецивилизованностью» — с другой. О терминах можно спорить, но само явление существует, а в кругах профессиональных интеллектуалов даже свирепствует, хотя ими, понятно, не ограничивается. А как совершенно точно замечает Чоран, главная опасность перецивилизованности в том, что вне жизни на пределе возможностей и без ненасытной потребности в «подстегивании» интеллектуал готов тотчас же впасть в самое грубое и неуправляемое варварство. Тем самым «разоблачитель условностей» в безграничном стремлении к ясности разума, которую отстаивает современная либеральная культура, «отказывается от собственных ресурсов и, в этом смысле, от себя как личности. А значит, становится беззащитен перед другими условностями, которые начисто его отрицают, поскольку не коренятся в нем самом». Поэтому, заключает Чоран, «ни один человек, озабоченный душевным равновесием, не рискнет подниматься над общепринятым уровнем сознания и анализа».

Как бы там ни было, подобный призыв к умеренности отнюдь не сковывает самого Чорана. Пресытясь разафишированным и (на его взгляд) необратимым закатом европейской цивилизации, этот образцовый европейский ум, насколько можно судить, освобождает себя от ответственности как за собственное, так и за общественное здоровье. При всех издевках над нервическим состоянием и провинциальным уделом цивилизации, к которой он принадлежит, Чоран — один из самых одаренных ее печальников. Может быть, вообще один из последних печальников по уходящей «Европе» — по европейскому страданию, европейской интеллектуальной отваге, европейской энергии, европейской усложненности. Последних и решивших, со своей стороны, разделить ее судьбу до конца.

Его высочайшее честолюбие — «оставаться на стороне Безнадежного».

Это принцип непрестанной напряженности духа. «Поскольку, — цитирую «Соблазн существования», — любая форма жизни подтачивает и разрушает Жизнь, человек, взявшийся жить в полную силу, берет на себя предельный груз противоречий, беспрерывного труда на радость и на муку разом...» Для Чорана очевидно, что за это высшее (точней всего отвечающее природному смыслу Жизни) из возможных состояний мысли приходится дорого платить каждый день. Плата здесь, если говорить о действии, — принятие его тщеты. Но нужно видеть в сознании тщетности усилий не крах надежд и порывов, а выигрышную и надежную опору для атлетического прыжка разума в глубины собственной сложности. Именно такое притягательное состояние имеет в виду Чоран, когда пишет: «Нет ничего труднее безрезультатности». Она требует от нас «идти непроторенными путями, оставаться, в метафизическом смысле, вечными чужестранцами».

Само то, что подобное существование кажется Чорану огромной и трудной зада-

чей, скорее всего говорит о его неиссякаемом душевном здоровье. И, может быть, объясняет, почему эссе «Народ одиночек» — это одна из немногих вещей Чорана, написанных, по-моему, бесконечно ниже его уровня, без обычного блеска и проницательности. Рассуждая о еврействе, которое для Чорана — вкупе с Гегелем и легионом прочих — воплощает «отчуждение как таковое», он демонстрирует поразительную моральную глухоту к нынешнему повороту своей темы. Даже если забыть о расставившей здесь все точки сартровской статье «Антисемит и еврей», трудно не признать эссе Чорана на редкость поверхностным и высокомерным.

Все в Чоране — в диковинном противоборстве: это невероятная смесь из привычных составных частей. С одной стороны, традиционное для романтиков и виталистов презрение к «интеллекту», к гипертрофии разума за счет тела, чувства, способности к действию. С другой — восторг перед цветением духа за счет того же тела, чувства и способности к действию, восторг не менее безоглядный и самовластный.

Ближайший образец подобных парадоксов в оценке разума — традиция гностической мистики, в западном христианстве восходящая к Дионисию Ареопагиту и автору «Облака непостижности».

Слова Чорана о мистиках как нельзя лучше приложимы к его собственному мышлению. «Мистик, по большей части, изобретает себе противников сам... его мысль вычисляет, выдумывает других: это стратегия самодостаточности. Его мышление сводится, в конце концов, к спору с собой. Он стремится к полноте бытия и жаждет уподобиться толпе, пусть всего лишь меняя маски, множа личины. В этом он похож на Создателя, от которого и унаследовал ремесло гистриона».

При всей ироничности приведенных строк зависть Чорана к мистикам, чье занятие так напоминает его собственное — «поиск того, что выше и долговечней разрозненных человеческих предприятий, вневременного остатка после всех переливов нашего «я», — явна и непритворна. Как и его наставник Ницше, Чоран пригвожден к кресту неверующего духа. Может быть, его эссе — лучший путеводитель по лабиринтам подобного сознания. «Перестав связывать свою внутреннюю жизнь с Богом, мы сумеем достичь такого же экстаза, как мистики, и подчиним себе земной мир, не прибегая к Потустороннему», — так начинается последний параграф чорановского эссе «В разговорах с мистиками».

В политическом плане Чорана приходится причислить к консерваторам.

Либеральный гуманизм для него — предмет, попросту не заслуживающий ни времени, ни интереса, а надежды на радикальную революцию — что-то вроде недуга, от которого ум излечивается с годами. («Желание спасти мир — возрастная болезнь молодых наций», — замечает Чоран в «Краткой теории рока», говоря о России.)

Может быть, пора напомнить, что Чоран родился (в 1911 году) в Румынии — а едва ли не все интеллектуалы, эмигрировавшие из тех краев, были до сих пор либо вне политики, либо на стороне открытой реакции — и что единственная, кроме пяти перечисленных сборников, выпущенная Чораном книга — это вышедшее в 1957 году издание трудов Жозефа де Местра, для которого он написал вступительную статью и отобрал тексты[1]. И хотя он в явной форме никогда не развивал теологию контрреволюции на манер де Местра, доводы последнего, кажется, близки к позиции, молчаливо разделяемой Чораном. Вместе с де Местром, Доносо Кортесом или более близким по времени Эриком Фёгелином Чоран придерживается того, что — с одной, вполне определенной точки зрения — можно назвать католическим образом чувств правого толка. В новейшей привычке подстрекать к революциям против установленного социального порядка во имя справедливости и равенства он видит своего рода детскую одержимость — так старый кардинал мог бы косо взглянуть на дикость какой-нибудь милленаристской секты. Отсюда же склонность Чорана трактовать марксизм как «грех оптимизма» и его противостояние просвещенческим идеалам «терпимости» и свободомыслия. (Может быть, стоит добавить, что отец Чорана был православным священником.)

Но хотя Чоран вынашивает проект безошибочно узнаваемого, пусть даже не описанного впрямую политического строя, в основе его подхода, в конечном счете, вовсе не религиозная приверженность. Как ни близки его политические и моральные симпатии к образу чувств правых католиков, единственное, чему привержен Чоран, это, как я уже говорила, парадоксы атеистической теологии. Вера, на его взгляд, сама по себе ничего не решает.

Может быть, от привязанности к любому, даже секуляризованному подобию католической теологии социального порядка Чорана удерживает то, что он слишком хорошо понимает и слишком глубоко усвоил духовные предпосылки романтизма. Как ни критикуй он революционное левачество, сколько ни анализируй, чуть свысока, «не-

[1] Еще он опубликовал эссе о Макиавелли и Сен-Жон Персе, в книги пока не включенные (*прим. автора*).

заслуженные привилегии, которыми пользуется у нас всяческий бунт», он не может сбросить со счетов тот факт, что «практически любым открытием человек обязан собственному неистовству, разрушению своего душевного равновесия». Предлагаю сопоставить консервативную подоплеку некоторых эссе Чорана, его презрительную трактовку феномена беспочвенности с положительным, при всей иронии, отношением к мятежу в эссе «Думать наперекор себе», которое заканчивается следующей репликой: «С тех пор как Абсолют соотносится со смыслом, пестовать который мы не в силах, нам остается отдаться на волю бунта — в надежде, что рано или поздно он обратится против себя самого и против нас...»

Чоран явно не может сдержать восхищения перед всем необычным, своенравным, доходящим до края. Один из примеров здесь — необычный, своенравный *аскетизм* великих западных мистиков. Другой — ресурс крайностей из обихода выдающихся безумцев. «Мы черпаем жизненные силы из кладовых сумасшествия», — пишет он в «Соблазне существования». В эссе о мистиках он говорит о «способности человека броситься в водоворот ничем не освященного безумия. В области неведомого можно заходить так же далеко, как святые. Не обязательно пользоваться их средствами, достаточно просто принудить разум как можно дольше молчать».

От консерваторов в современном смысле слова чорановскую позицию отличает, в первую голову, аристократизм. Ограничусь единственной иллюстрацией его запасов — эссе «По ту сторону романа», где роман подвергнут красноречивому и убедительному суду за духовную вульгарность, преданность тому, что Чоран называет «низким предназначением».

Через все написанное Чораном проходит проблема *безупречного духовного вкуса*. Уход от всего вульгарного, от всякого разжижения собственного «я» — предпосылка, без которой невозможен тяжелейший двойной труд самосохранения личности, которую необходимо и во всей полноте утвердить, и, вместе с тем, преодолеть. Чоран берет под защиту даже такое чувство, как жалость к себе: тот, кто не признается в своих печалях, отсекая их от своего существа и лишая голоса, кто отказывает себе в праве жаловаться и стенать, — тот «разрывает связь с собственной жизнью, превращая ее в посторонний предмет». Нередкая у Чорана самозащита от вульгарных соблазнов радоваться жизни, от «тупиков счастья», может показаться жестокой. Но здесь нет ни бесчувственности, ни притворства, стоит лишь вспомнить неимоверный чорановский замысел: «Не быть нигде, чтобы ничто внешнее не могло заставить тебя поступать так-то и так-то... устраниться из мира — скольких сил требует самоуничтожение!»

Если говорить реально, то самое большее, на что, пожалуй, может надеяться человек, — это некий набор ситуаций, образ жизни, среда, в которой есть место сознанию, готовому на риск и свободному от тягот. Вспомним чорановский портрет испанцев в «Краткой теории рока»: «Они живут какой-то музыкой суровости, трагизмом несерьезного, хранящим их от вульгарности, от счастья и от успеха».

Однако книги самого Чорана свидетельствуют: писательская роль не дает подобного духовного взлета. В «Преимуществах изгнания» и лапидарной «Демиургии слова» он показывает, как призвание писателя, особенно поэта, ведет к невыносимой самонедостоверности. Страдают все, но, перенося свои страдания в книгу, приходишь лишь к «тиражированию собственной неразберихи, грошовых ужасов и старомодных восторгов». Впрочем, вряд ли призвание философа чем-то лучше. (И философия, и искусство, пишет Чоран в «Стиле как шансе», — это могила разума.) Но — насколько могу судить — философия, на взгляд Чорана, по крайней мере, соблюдает приличия. Падкий на славу или богатство переживаний ничуть не меньше поэта философ, может быть, глубже понимает — и выше ценит — сдержанность невыразимого.

Предпочитая видеть в ницшеанской философии «сумму взглядов», которую исследователи совершенно напрасно и вопреки автору принимают за величину постоянную, Чоран явно следует Ницше с его критикой «объективной истины» как единой системы.

В «Письме о тупиках» Чоран поминает «бесчисленные глупости, неразлучные с культом истины». Смысл этих и других подобных пассажей у Чорана в том, что в словах настоящего философа стоит искать не так называемую «истину», а скорее что-то нужное или освобождающее. «Истина» же равнозначна безликости.

Связь между Чораном и Ницше, скажу еще раз, невозможно переоценить. Критика «истины» неразрывна для них обоих с отношением к «истории». Не связав двух этих вещей, не понять сомнений Ницше в ценности истины как таковой и в пользе исторической истины, в частности. Ницше отвергает исторический подход не потому, что он ложный. Напротив, он должен быть отвергнут как раз потому, что он истинный. Иначе говоря, он содержит ослабляющую человека истину, которую надо преодолеть, чтобы открыть перед сознанием более широкие горизонты.

В «Соблазне существования» Чоран пишет: «История есть просто-напросто выхолощенное бытие, прямая измена человека собственному предназначению, отказ от метафизики». А в эссе «Думать наперекор себе» говорит об «истории, этой агрессии человека против себя самого».

Печать Ницше лежит как на форме чорановской мысли, так и на его мировоззрении. Но главное сходство между ними — в темпераменте. Без общего с Ницше темперамента, скажу иначе — персонального стиля, не объяснить увязанность у Чорана таких разных вещей, как акцент на сверхчеловеческом напряжении умственной жизни, проект абсолютного духовного самообладания с опорой на «мысль наперекор себе», снова и снова повторяющиеся ницшеанские антитезы силы и слабости, здоровья и болезни, засилье беспощадной, временами болезненной иронии (совершенно не похожей на продуманную, диалектическую игру иронии и серьезности у Кьеркегора), всепоглощающая борьба с банальностью и скукой, двойственное отношение к роли поэта, притягательный, но в итоге всегда побеждаемый соблазн религиозной веры и, конечно, непримиримая враждебность к истории, а по большей части и к «современности».

Чего у Чорана нет, так это героического усилия Ницше преодолеть нигилизм (то есть идеи вечного возвращения). И резче всего Чоран расходится с Ницше в том, что не разделяет ницшеанской критики платонизма. Презирающий историю, но одержимый временем и смертью, Ницше отвергает любой возврат к платоновской риторике, которая сулит победу над временем и смертью, хотя на самом деле только усугубляет то, в чем Ницше видит ложь и недобросовестность мысленной отсылки платоников к запредельному. Ницшеанские доводы явно не убеждают Чорана. Все повидавшие виды платоновские двойчатки мелькают у Чорана то здесь, то там, связывая его аргументы и лишь смягчаясь порой ироническим холодком: тут и время против вечности, и ум против тела, и дух против материи, и пары поновее — жизнь против Жизни с большой буквы, бытие против существования. Насколько все это всерьез, сказать трудно.

Может быть, платоновский реквизит — лишь эстетический шифр мысли Чорана? Или, напротив, что-то вроде моральной терапии? Так или иначе, ницшеанская критика платонизма сохраняет силу и остается неопровергнутой.

В англоязычной культуре на теоретическое предприятие, сопоставимое по интеллектуальной мощи и размаху с чорановским, решился только один человек — Джон Кейдж.

Мыслители одной пост- и антифилософской традиции — традиции осколочного, афористичного слова, Кейдж и Чоран едины в своем отвращении к «психологии» и «истории», приверженности к коренной переоценке ценностей. Но вполне сопоставимая с чорановской по масштабу, увлеченности и энергии, во всем остальном мысль Кейджа с ней самым решительным образом расходится. Главное различие их темпераментов в том, что Кейдж имеет дело с миром, в котором подавляющая часть чорановских проблем и забот просто-напросто отсутствует. Словесная вселенная Чорана сосредоточена на темах болезни (индивидуальной и общественной), тупика, страдания, конечности бытия. Его эссеистика — это диагноз и если не прямая терапия, то по крайней мере пособие по безупречному духовному вкусу, с помощью которого можно уберечь собственную жизнь от превращения в объект, в неодушевленную вещь. Словесная вселенная Кейджа, ничуть не уступая чорановской ни в крайности подходов, ни в притязаниях мысли, ни одной из перечисленных тем в себе не содержит.

В отличие от непримиримо элитарного Чорана, Кейдж видит мир как полностью демократическое пространство духа, пространство «естественной активности», в котором «общепринято, что все чисто и ничего грязного нет». В отличие от Чорана с его барочными мерками хорошего и дурного вкуса в области интеллекта и морали, Кейдж держится мнения, что таких вещей, как хороший и дурной вкус, не существует. Опять-таки в отличие от чорановских взглядов на человеческие ошибки, падения и возможность искупить содеянное, Кейдж считает, что можно действовать безошибочно, если такую возможность признает за собой сам человек. «Ошибка — это вымысел, а не реальность. В музыке не будет ошибок, если мысль не порабощена причиной и следствием. В любой другой музыке ошибки неизбежны. Иными словами, пропасти между духом и материей нет». И еще, из той же книги «Молчание»: «Как можно говорить об ошибке, если идти от принципа «раз и навсегда»?» И, наконец, в отличие от чорановской тяги к бесконечной пластичности и гибкости разума в его поисках настоящей опоры, надежного места в предательском мире, Кейдж предлагает нам мир, где о том, чтобы поступать иначе или быть другим, нет даже речи. «Думать, будто ты не здесь, а где-то еще, — пишет Кейдж, — значит только попусту раздражаться. Мы тут и сейчас».

Что становится при таком сравнении совершенно ясно, так это насколько Чоран верует в *волю* и в ее способность преобразить мир. Сравним у Кейджа: «Стоит встать в позицию ничегонеделания, и все

преображается само по себе». Какие разные выводы можно сделать из коренного отрицания истории, опять-таки видно, если сопоставить Чорана с Кейджем, который пишет: «Конечно, быть, причем быть в настоящем. Повторение? Только если мы решили, что оно написано нам на роду. Если нет, мир свободен и мы тоже».

Читая Чорана, понимаешь, до какой степени он связан догмами исторического сознания, с какой неотвратимостью снова и снова воспроизводит его нормы, сколько бы ни пытался их преодолеть. Мысль Чорана с неизбежностью цепенеет на полпути между мучительным принятием этих норм и подлинной их переоценкой. Но если говорить об однозначной переоценке, скорее стоит обратиться к таким мыслителям, как Кейдж, которым — благодаря духовной мощи или по духовной бесчувственности, это уже другой вопрос — под силу бросить за борт большую часть унаследованных мук и сложностей западной цивилизации. Пылкие, напряженно-полемические рассуждения Чорана блестяще подытоживают потребности европейского разума на стадии распада, но не дают другого утешения, кроме неоспоримых радостей мысли. Впрочем, вряд ли Чоран думает об утешении. Его задача — диагноз. А ищущим утешения, вероятно, стоило бы поступиться гордостью многого знания и острого чувства — нашей местной гордостью, которая стала нам теперь не по средствам.

«Философия, — писал Новалис, — это, по сути, ностальгия, стремление быть всюду дома». Если человеческий разум и вправду способен быть дома всюду, ему придется в конце концов отказаться от своей местной «европейской» гордости и допустить — какой бы невероятной толстокожестью и интеллектуальным опрощенством ему это ни казалось, — что на свете существует многое другое. «Все, что нужно, — с обычной убийственной иронией говорит Кейдж, — это пустое пространство времени, и пусть оно движется своим магнетическим путем».

1967

Перевод с английского ***БОРИСА ДУБИНА***

Книги издательства «ЛАДОМИР» — почтой

К.А.Вульпиус. *Ринальдо Ринальдини* (416 стр., цена 10 000 руб.)

Впервые на русском языке издается знаменитый немецкий «готический» роман Кристиана Августа Вульпиуса (1762—1827), родственника Гёте, который, по мнению ряда исследователей, был одним из соавторов этого популярнейшего произведения. Местом действия романтических событий и дерзких, захватывающих дух приключений автор выбирает Италию и Сицилию. Устав от грабежа и разбоя, великий атаман разбойников Ринальдо Ринальдини ищет забвения на отдаленных островах Средиземного моря, мечтая там начать праведную жизнь, обрести любовь и душевный покой. Однако злосчастный рок преследует его, ввергая во все новые приключения, и заставляет творить еще большее зло.

А.Дюма. *Путевые впечатления. В России.* В 3-х томах (объем соотв. 448, 432, 616 стр., цена 35 000 руб. за комплект).

Впервые публикуется полный перевод воспоминаний писателя о путешествии по России в 1858—1859 гг.

Лисий. *Речи* (368 стр., цена 15 000 руб.)

М.А. Лукан. *Фарсалия, или Поэма о гражданской войне* (350 стр., цена 15 000 руб.)

Музиль Р. *Человек без свойств*. В 2-х томах (объем соотв. 752, 504 стр., цена 25 000 руб. за комплект).

И.Нижнанский. *Кровавая графиня* (574 стр., цена 6500 руб.).

В словацкой литературе, пожалуй, трудно найти книгу столь популярную, столь широко известную среди многих поколений читателей, как историко-приключенческий роман Иозефа Нижнанского (1903—1976) «Чахтицкая госпожа» (1932). Книга переведена почти на все основные языки мира. Роман переполнен многочисленными любовно-эротическими сценами, имеет захватывающую интригу в духе лучших традиций В.Скотта, А.Дюма и Г.Сенкевича. События, описанные в романе, послужили основой скандально знаменитого фильма В.Боровчика «Аморальные истории».

Цао Сюэцинь. *Сон в красном тереме.* В 3-х томах. (600 — 640 стр., цена 80 000 руб. за комплект).

«Сон в красном тереме» — самый знаменитый китайский роман. Цао Сюэцинь (1724—1764) создал захватывающую сагу о трех поколениях китайской аристократической семьи. Она возвышается, когда император берет в наложницы одну из девушек рода Цзя. Главный герой Цзя Баоюй с юных лет купается в роскоши, ему доступны все земные блага. Роман насыщен любовью, многочисленные герои связаны между собой чувственными отношениями, которым сопутствуют ревность и интриги.

Цены указаны без стоимости доставки и упаковки.
Заказы направлять по адресу:
103617, Москва, Зеленоград, корп. 1435, НИЦ «Ладомир».
Тел.: (095) 530-01-25, (095) 531-54-88, факс (095) 537-47-42

Трибуна переводчика

МОРИС ФРИДБЕРГ

ПЕРЕВОД В РОССИИ

Искусство, цензура, читатель

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ

Вместо предисловия

Картинка из жизни: в метро пожилой господин в галстуке редактирует на коленях рукопись переводного романа — изредка меняет «сказал» на «промолвил» и имена Мэри-Энн на Гюльнару и Лесли на Анатолия. Вероятно, пассажиры присутствуют при краже.

Предисловие полагалось бы начать с того, что книга об истории художественного перевода в России выходит в самое неподходящее время, что спрос на иностранную художественную прозу, а тем более поэзию падает, что они тонут в море паралитературы, технологическими методами изготовленной и методом быстрой халтуры переведенной.

Но, как во всяком сильном утверждении, содержание истины здесь едва ли будет превышать сорок процентов. У нас большая страна со старой культурной традицией, окраинная по отношению к Западу и ориентированная на Запад (или против), сколько бы ни твердили о нашем евразийстве. И пока Запад способен к плодоношению, здесь будет жить интерес к его плодам и потребность в посредниках. Пока в них есть потребность, они будут появляться.

Морис Фридберг, человек с широким литературным кругозором (он родился в Польше, учился в Польше, Франции и США и преподает в Иллинойсе русскую литературу), вероятно, прав, отказывая «советской школе перевода» в исключительности, на которой много лет настаивали наши авторы. Если что и выделяло ее, то большая активность по сравнению, например, с англосаксонскими странами. Активность эта была в какой-то степени вынужденной. Культурный поток из-за рубежа, отсеченный «железным занавесом», свелся практически к очень пристрастно отбираемой художественной литературе. (И почти все время мы больше импортировали, чем экспортировали: то, что говорится изнутри социальной катастрофы, — не более чем экзотика для публики, благополучно этой катастрофы избежавшей). Для нескольких поколений эта литература была очень важным куском жизни.

Книга Фридберга не теоретическая и обращена не к теоретикам, а к людям, читающим книги. Безусловно, и переводчик-практик найдет в ней сформулированными те вопросы, над которыми он задумывался или мог задуматься. Скорей вопросы, чем ответы: позицию автора можно назвать скептической. Прежде всего, как человек, переводивший сам, он знает о том, что анализ в конечном счете бессилен перед художеством. Он вроде лесов на доме: можно влезть на них и рассмотреть детали или идею конструкции, но жить приходится в доме, а не на них. Литературоведы не мечтают о некоем идеальном произведении. Теоретизирующие же о переводе почему-то бессознательно придерживаются другого мнения, лелея идею о некоей норме (в том числе практики от Чуковского до Н.Галь, нередко подразумевающие под таковой свою работу).

Как человек, мыслящий исторически, Фридберг показывает переменчивость норм и критериев качества, их обусловленность не только господствующими литературными вкусами, но и внелитературными факторами, скажем, политическими. Нагляднее всего это продемонстрировано на примере извечной дискуссии «буквализм — вольность». В наши дни она представляется отчасти надуманной и больше интересует тех, кто о переводе рассуждает. Может возникнуть впечатление, что сам автор сочувствует больше буквалистам, но американцы и мы понимаем буквализм немного по-разному: они — скорее как точность, мы — как непереваренность. Ясно, что степень вольности в переводе диктует не только мода и склонности переводчика, а сама книга. Бесполезно переводить «Алису в Стране чудес» близко к тексту, пока языковые реалии англичан не станут нашими языковыми реалиями, а вероятность этого исчезающе мала. Бессмысленно вольничать при переводе Хемингуэя. Считалось, что А.Франковский (переводы Стерна, Пруста и др.) тяготел к буквализму. Книги, переведенные им, переводили потом другие люди, стоявшие на «более прогрессивных» позициях, — результатом были не лучшие или худшие тексты. С другой стороны, переводы записных буквалистов Брюсова или Ланна и Кривцовой чувствительному человеку больно читать. Видимо, реальная граница проходит между хорошими переводами и плохими, обе

©Морис Фридберг, 1991

Целиком книга готовится к печати в издательстве «Литера», которое любезно предоставило нам право на публикацию фрагментов.

характеристики включают в себя массу эмпирических черт, относительная важность которых зависит опять-таки от оригинала и от читающего. Введение научных терминов, вроде «адекватный перевод», ничего не меняет, ибо они не имеют операционного определения, разные люди толкуют их по-разному, и в итоге все сводится опять к «плохой перевод — хороший перевод». И так же, как в художестве, в переводе отсутствует прогресс. Да, количество знаний об иностранном контексте увеличивается за счет предыдущих переводов и заимствований, что освобождает переводчика от многих проблем, но это не значит, что книга, толково переведенная сейчас, произведет на публику большее впечатление, чем то, коряво на нынешний взгляд, что вышло сто лет назад из рук не очень умелого и непрофессионального переводчика. Все это доходчиво показано в книге Фридберга. Несомненное достоинство ее в том, что она выходит за пределы чисто переводческой ментальности: Фридберга, пожалуй, больше интересует то, что переводили и как это влияло на национальную литературу и умственную среду, чем собственно техника и теория перевода.

Широкий взгляд на вещи оставляет неразрешенной такую, например, дилемму: как вести себя профессионалу — переводить все что угодно и в этом видеть свою доблесть или заниматься тем, что родственно ему по крови. Совершенно очевидно, что в художественном смысле только второе может привести к наилучшему результату. Первое — к услуге обществу, нуждающемуся в просвещении. И все-таки в *художественном* переводе наибольшая услуга та, в которой больше художества.

Людям, любящим читать книги, но не особенно задумывающимся о переводе (а таких среди читателей большинство), в этой книге откроется одна занимательная область человеческой деятельности. Переводчику же она поможет взглянуть на свои профессиональные трудности с исторической высоты и, быть может, увидеть даже такие, о существовании которых он не подозревал.

Ну а что касается упадка русского художественного перевода, о котором шла речь в начале этой заметки, то спешить с похоронами не следует. Русский текст этой книги, предъявляющей большие требования к технике и добросовестности переводчиков, сделан группой совсем молодых людей, участников переводческого семинара в Литературном институте, среди которых следует выделить Артема Осокина, выполнившего большую часть работы.

В. ГОЛЫШЕВ

Возвращаясь мыслями к прошлому, я осознаю, как много переводов было среди книг моего польского детства. «Гекльберри Финн» — первая книжка, которую я прочел самостоятельно; сказки Перро и Ханса Кристиана Андерсена мне читала мать. Позднее в мою жизнь вошли Роберт Луис Стивенсон и Джеймс Фенимор Купер, Джек Лондон и Жюль Верн. Стали моими спутниками также и Карл Май, немецкий писатель девятнадцатого века, создатель образа благородного индейца Виннету, и его современник Майн Рид, англичанин, увлеченный темой освоения Америки. Парадоксально то, что двое последних практически неизвестны в нашей стране, хотя, судя по некрологу, опубликованному в лондонской «Таймс» 22 октября 1883 года, Майн Рид некогда был довольно популярен. Некролог начинался словами: «Каждый школьник и каждый, кто когда-либо был школьником, с грустью воспримет известие о смерти капитана Майн Рида». В подтверждение этого можно вспомнить и рассказ Чехова «Мальчики», где изображены два подростка, увлечение которых Майн Ридом доходит до того, что они решают предпринять рискованное путешествие на Дикий Запад, — во многом это похоже на роковое пристрастие к куртуазным романам, сведшее с ума Дон Кихота.

Причина постоянного преобладания переводов в читательском рационе моей юности очень проста: ведь на родном мне польском языке книг подобного жанра почти совсем не существовало. Как показал Чехов, такие книги отсутствовали и в России, и эта особенность присуща русской литературе до сих пор: там мало добротных приключенческих романов, не говоря уж о любовных, да и в целом жанр развлекательной литературы не особенно развит. Чехов презрительно отзывался об «оффенбаховских пряностях» — оперетках, заполнивших российскую сцену на рубеже столетий, — но он, очевидно, не сознавал, что это свидетельствовало о поражении русских драматургов — и самого Чехова, — не сумевших создать аналогичный отечественный репертуар. Переводы же — отчасти нормальная реакция рынка на отсутствие или плохое качество отечественной литературной продукции. Они

имеют успех также из-за естественного любопытства к заграничной жизни и обычаям (то, что советские социологи называют «комплексом Колумба»), и это главный фактор в странах, настолько изолированных от остального мира, насколько традиционно были изолированы Россия и особенно Советский Союз. Именно эти два соображения позволяют понять, почему переводным книгам (а также фильмам!) отводится довольно скромное место в культуре Соединенных Штатов и Западной Европы — как в высокой, так и в массовой. Есть и менее очевидные причины: превосходство художественных достоинств или духовная глубина произведений зарубежной литературы, но они серьезно воздействуют только на относительно просвещенных читателей, у которых круг чтения шире и в отношении книг они более разборчивы.

Литература в современном понимании этого слова, а попросту говоря, светская литература, появляется в России только в XVIII веке, то есть на несколько веков позже, чем Данте и Шекспир, Сервантес и Рабле. Можно только поражаться, что в столь короткие сроки нация, культурно и во многих других отношениях отсталая, смогла создать собственную литературу и достигла в ней уровня стран с более древними и богатыми литературными традициями. Первые шаги ее были, конечно, робкими. Два ранних замечательных произведения, оба увидевшие свет в 1833 году, отразили значимость иностранной литературы для узкого круга просвещенной читающей публики России. Когда старой графине в пушкинской «Пиковой даме» предлагают прочесть роман, который мог бы прийтись ей по вкусу, она спрашивает с недоверием, *существуют ли* вообще русские романы. Они существовали, но были еще не слишком хороши. В комедии Грибоедова «Горе от ума» важный чиновник Фамусов, отец дочери на выданье, замечает: «Ей сна нет от французских книг, а мне от русских больно спится». Девушка из дворянской семьи, безусловно, читает французские романы в оригинале, но что касается других языков, вероятно, ей приходится прибегать к переводам. Литературные свидетельства Пушкина и Грибоедова были подтверждены спустя примерно двадцать лет радикальным критиком Николаем Гавриловичем Чернышевским. «Огромную важность, — писал он в 1857 году, — имеет у нас переводная литература. До самого Пушкина она была несравненно важнее оригинальной. Да и теперь еще не так легко решить, взяла ли над нею верх оригинальная литература». Она продолжала играть огромную роль вплоть до сегодняшнего дня. Если оставить в стороне период борьбы с космополитизмом при Сталине, переводы западноевропейской и американской прозы, поэзии и драматургии всегда сохраняли свое традиционное место как неотъемлемая составляющая литературной пищи фактически каждого русского.

Перевод — искусство древнее. Известно, что наиболее ранним был перевод древнееврейской Библии на греческий, осуществленный между 285 и 244 годами до н. э. Над ним трудились семьдесят человек, и он получил поэтому название «Септуагинта». Первым в истории *литературным* переводом стал перевод гомеровской «Одиссеи» на латынь Ливием Андроником, законченный около 250 года до н. э. Точно установить время зарождения перевода в России сложнее. С крещением Киевской Руси в 988 году связывают обычно — и это справедливо — начало формирования трех восточнославянских народов: русского, украинского и белорусского. Еще большей проблемой является определение времени возникновения трех самостоятельных языков. Вполне возможно, что переводы могли существовать у восточных славян и до крещения киевского князя Владимира. В «Житии Святого Кирилла» (византийского проповедника, приехавшего в восточнославянские земли вместе с Мефодием), составленном никак не позже конца девятого века, мы читаем о том, что, посещая греческую колонию в Корсуни (Херсонес), Кирилл повстречал славянина («русина»), у которого был славянский перевод Евангелия и Псалтири, записанный «русскими письменами». Достоверность этой легенды сомнительна. Существует тем не менее убедительное доказательство того, что к концу XI века уже имелись славянские переводы этих текстов. Использовавшийся в них славянский диалект легко понимали в Моравии, Болгарии и на Руси.

Переводы и пересказы множились в России со средневековья до XVII века. И это касалось не только византийской агиографии, но и некоторых светских произведений и даже религиозных трудов, относившихся к другим традициям — таким, как жизнеописание Будды и «Иудейская война» Иосифа Флавия. *Литературный*

же перевод появился в России лишь в XVIII веке. Однако развивался он так стремительно, что уже в 1811 году вышла в свет первая книга, посвященная проблемам техники перевода в России, «особенно в том, что касается поэзии». Характерно, что книга эта, принадлежавшая перу русского автора и напечатанная в Санкт-Петербурге, написана по-французски, на языке просвещенной аристократии[1]. К XIX веку литературный перевод занял в этой стране столь прочные позиции, что к России теперь вполне подходило наблюдение, сделанное ранее немецким романтиком Новалисом (1772--1801):

> «Мы, немцы, переводили долгое время, и страсть к переводам оказывается национальный чертой, поскольку вряд ли найдется хоть один значительный немецкий писатель, который бы не переводил и который бы не гордился своими переводами как собственными произведениями; и все же, кажется, нет ничего, о чем бы мы знали меньше, чем... о переводе...
>
> Не считая римлян, мы единственная нация, которая ощущает столь непреодолимую потребность переводить и чья культура в таком неоплатном долгу перед переводами».

Десятилетиями в России усердно переводили западноевропейскую литературу, и благодаря этому утончились вкусы читателей, появились образцы для подражания у писателей, а литературный язык сделался богаче, причем зачастую через элементарные кальки — особенно это касалось тех лексических областей, которые просто не имели аналогов в русском. В России не существовало, например, традиции куртуазной любви и рыцарского романа, и переводы с французского способствовали появлению таких слов, как «любовник» — от «amant» и «свидание» — от «rendez-vous». Михаил Васильевич Ломоносов, ученый и поэт классицизма XVIII века, пожалуй, чересчур забегал вперед, когда в порыве патриотической гордости приписал русскому языку чудесные свойства, которые тот только-только начинал обретать:

> «... великолепие гишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италианского, сверх того богатство и сильная в изображениях крепость греческого и латинского языка... сильное красноречие Цицерона, великолепная Вергилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке».

Коммунистический переворот 7 ноября 1917 года первоначально оказал неоднозначное влияние на все области литературной деятельности. Что касается перевода, он скорее выиграл, чем проиграл. Ему уделялось огромное внимание, так как в нем видели способ воплощения лозунга «пролетарского интернационализма» в сфере культуры. Перевод стал спасением для сотен безработных, голодных интеллигентов, в буквальном смысле слова обеспечил им кусок хлеба. И очень характерной для раннего революционного энтузиазма — то были месяцы грандиозных перемен в условиях все еще бушевавшей гражданской войны — стала программа, пожалуй, самая амбициозная в истории литературного перевода.

10 сентября 1918 года газета «Известия», орган советского правительства, торжественно объявила о новом проекте, получившем название «Всемирная литература». Суть инициативы заключалась в том, чтобы в течение не более чем трех лет опубликовать 800 томов и 2000 брошюр переводов западноевропейских и американских авторов. (Ясно, что брошюры, состоявшие из одного-двух рассказов или нескольких коротких стихотворений, предназначались тем, кто лишь недавно начал читать книги.) За год рамки мероприятия расширились, и оно включило в себя еще и восточную литературу, а количество наименований книг возросло чуть ли не вдвое — до 1500. Руководителями и вдохновителями этой акции были народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский как член правительства и Максим Горький как представитель издателей и писателей. Эти два человека решили, что в дальнейшем библиотека должна будет состоять из 70 000 томов, и организовали мастерскую по подготовке литературных переводчиков. Пока новых кадров еще не хватало, к работе во «Всемирной литературе» широко привлекались мужчины и женщины из «деклассированной» старой интеллигенции. Наименее везучим платили утратившими всякую ценность деньгами. Более удачливые переводчики награждались крупой и селедкой. Ряды переводчиков (а в первую очередь организаторов) быстро

---

[1] Имеется в виду книга В.М. Голицына «Reflexion sur les traducteurs russes». (*Здесь и далее — прим. ред.*)

редели — в основном в результате эмиграции; и к 1924 году «Всемирная литература» прекратила свое существование.

Как уже упоминалось выше, в 30-е годы начался упадок литературного перевода, но после смерти Сталина он возродился с новой силой. В 1979 году журнал «Babel», специальное издание для переводчиков, сухо сообщил, что «L'Unesco a déjŕ constaté que l'Union Soviétique se trouve bien en tęte en ce qui concerne le nombre de livres traduits»[1]. Утверждение это может быть и ошибочным, так как десятилетиями советская издательская статистика не делала различий между книгами и брошюрами, а также учитывала переиздания, каждый том из собрания сочинений в отдельности, переводы с многочисленных языков меньшинств и на них. Но, несмотря на это, не подлежит сомнению, что Советский Союз занимал одно из ведущих мест по изданию переводов иностранной прозы, поэзии и драматургии. Так или иначе, в начале 70-х семьдесят процентов всей литературы, издававшейся в Советском Союзе, составляли переводы.

<...> Споры о слабых сторонах перевода стары, как старо и само это искусство. Еще в XVII веке Джон Локк пришел к выводу, что перевод, в сущности, почти невозможен, ведь в разных культурах не всегда присутствуют одни и те же понятия. Локку возражал в XVIII веке Дэвид Юм, утверждавший, что даже очень далекие друг от друга языки содержат слова, выражающие самые элементарные понятия. С этим спорил, однако, его современник Джон Пристли, утверждавший, что слова, употребляемые метафорически — то есть в литературном контексте, — имеют на разных языках неодинаковое значение. С точкой зрения Пристли много лет спустя согласился Бенедетто Кроче. Он считал, что перевод невозможен в принципе, так как «то, что уже приобрело художественную форму, не может быть вылито в другую, столь же художественную форму». Никогда не исчезнут, наверное, и сомнения в действенности переводов. И удивительно, что суть этих сомнений сводится к одному и тому же. Саркастическое наблюдение Рабле о том, что перевод — как женщина, которая неверна, если красива, и преданна, если невзрачна, повторил в наше время Исаак Башевис Зингер, писавший на идише и часто принимавший участие в переводе своих произведений. Он заявил, что «перевод, как и женщина, может быть преданным и верным, но в то же время ничтожным». Слова Фридриха Шлегеля «лучшее — это то, что уничтожается и в просто хороших, и даже в блестящих переводах», стали известны в Америке спустя сто пятьдесят лет, когда Роберт Фрост определил поэзию как «нечто, что исчезает при переводе». А Джордж Штейнер заметил в 1975 году: «Какой бы учебник по искусству перевода мы ни взяли, везде наблюдается одна и та же дихотомия: между «буквой» и «духом», между «словом» и «смыслом», и замечание это справедливо по отношению даже к самой глубокой старине. В 46 году до нашей эры Цицерон в «Книге о лучшем поколении ораторов» (IV, 14) писал: «Я переводил их не как переводчик, а как оратор... не слово за словом (verbum pro verbo), а сохраняя общий стиль и силу языка». «Сила языка», кстати, была главным переводческим критерием у Бориса Пастернака!

Дело в том, что литературный перевод — своего рода *толкование* текста, и в этом качестве он неизбежно субъективен, даже если переложение с одного языка на другой приближено к тексту настолько, насколько могут позволить грамматика и строение другого языка. Литературные вкусы меняются. Если те, кто способен прочесть текст в оригинале, более не находят его достойным внимания (не важно, по какой причине), они просто откладывают его в сторону, до тех пор пока маятник вкуса не качнется обратно. Так, был период, когда в России мало читали Пушкина. Однако при этом оригинал мы принимаем как некую «константу». Другое дело перевод. Это «толкование». Когда одно толкование перестает нам подходить, нам нужно и должно заменить его другим. Прав был Аллен Тейт, предполагавший, что в идеале каждое поколение должно заново переводить классику. Пакистанский поэт Зульфикар Гхош удивлялся:

«Я нахожу любопытным, что Гомер в любое время остается Гомером, но все его переводчики обречены на то, чтобы выйти из моды. Мне кажется весьма примечательным, что мы до сих пор с великим удовольствием читаем Александра Попа, но мало кто из нас наслаждается чтением его переводов».

Понимая, что перевод не более чем «ех-

---

[1] ЮНЕСКО уже отмечала тот факт, что Советскому Союзу принадлежит мировое первенство по количеству переведенных книг (*франц.*).

plication de texte», никто никогда не рассматривает его как нечто «священное» — даже если таковым принято считать текст оригинала. Именно по этой причине Библию время от времени заново переводят на разные языки. Справедливо также и обратное. Как правильно заметил Смит Палмер Бови, критики — те же переводчики. Критика — в значительной части разновидность перевода... Довольно часто критики разъясняют нам то, что хотел сказать поэт, но говорят об этом на своем собственном языке — на языке критики. Если поэт — по мысли Валери — перевел обычную речь на язык богов, то критик вновь переведет его вам на язык обыденности.

Советский армянский исследователь Левон Мкртчян тонко подметил:

«Даже наиточнейший перевод не может во всем совпадать с оригиналом, быть «абсолютно точным». Полностью может совпадать калька, где нет нового единства формы и содержания, нет и творческого воссоздания оригинала. Перевод не должен полностью повторять оригинал — искусству противопоказаны повторения. Как заметил Ю.Левин в статье «Перевод и бытие литературы», перевод, уступая в чем-то (и, может быть, даже очень значительном) оригиналу, все-таки практически заменяет оригинал и даже оказывает влияние на жизнь оригинала (способствует большей его известности, вызывает к жизни новые неожиданные толкования). *Перевод потому и возможен, потому и нужен, что он отличается от оригинала, что это не оригинал*».

Поскольку перевод — это толкование, в новом переводе порой нуждаются даже тексты, написанные на том же самом языке, но только на более ранней ступени его развития. Примером тому — перевод «Беовульфа» на современный английский или «Слова о полку Игореве» на нынешний русский («Слово» переводилось множество раз). Андре Лефевр объясняет это так:

«Перевод становится необходим, когда «различия» (между языком и культурными ассоциациями в литературном памятнике и в современности. — *М.Ф.*) скорее затемняют, нежели проясняют воплощение темы автором оригинала. Это происходит в тех случаях, когда читатель говорит на другом языке (*или даже на том же языке, что и автор, но претерпевшем изменения*), живет в более позднее время или в ином месте и принадлежит к другой культурной традиции. Задача переводчика состоит исключительно в том, чтобы переложить текст источника, избранную автором оригинала тему, выраженную с помощью определенных понятий так, чтобы перевод был ясен читателю, незнакомому с этими понятиями, и для этого нужно заменять их эквивалентами на другом языке, в другом времени, месте и в рамках другой традиции. *Следует особо отметить, что переводчик должен заменить все имеющиеся в тексте источника понятия их эквивалентами, не ограничиваясь отысканием лишь чисто лингвистических параллелей*».

Влияние перевода на литературный процесс колоссально. Благодаря ему прибавляется читателей у авторов, пишущих на таких языках, как исландский, фламандский или датский. Большинство поклонников Милана Кундеры читали его не почешски, а Исаака Башевиса Зингера немногие читают на идише. Ибсен и Стриндберг — признанные во всем мире классики драмы, но норвежские и шведские спектакли смотрит лишь малая часть их всемирной аудитории. Литературный перевод дарует истинное бессмертие произведениям, написанным на ныне мертвых языках. Свой язык пережили и Гомер, и Вергилий, и Софокл. Едва ли найдется хотя бы один христианин, читающий Ветхий Завет на древнееврейском или Новый — по-гречески.

<...>Удивительно, но переводы, оказывается, иногда полезны и для тех, кто способен прочитать оригинал. И это подтверждает тезис о том, что перевод является также и комментарием, позволяющим читателю увидеть оригинал в полном свете. Вот один пример.

«Лев Николаевич Толстой когда-то писал, что все удивительное совершенство пушкинской драматической поэмы «Цыганы» раскрылось ему, лишь когда он прочитал ее в переводе на французский. Сопоставление оригинала и перевода неожиданно открыло ему неизвестные дотоле эстетические богатства слишком привычного русского текста. Перевод оказался зеркалом, в котором Толстой увидел черты оригинала, каких до этого не мог заметить»[1].

Еще удивительнее случай с Гёте. Жерару де Нервалю, переведшему на француз-

[1] *Г.Ленков.* Приближаясь к Пушкину. «ИЛ», 1977, № 12, с. 227.

ский язык «Фауста», он писал: «Я еще никогда так хорошо не понимал самого себя, как при чтении вашего перевода»[1]. Гёте объяснял это так: «По-немецки... мне больше уже не хочется перечитывать «Фауста», но в этом французском переводе все опять производит на меня впечатление и кажется свежим, новым и острым». А в 1825 году Гёте признался Эккерману, что «Герман и Доротея» — единственная из его поэм, которая до сих пор продолжает его радовать: «В особенности она мне нравится в латинском переводе — по-латыни она мне представляется благороднее...». Лев Гинзбург писал:

«Знающие русский язык англичане признавались, что, прочитав переводы С.Маршака, по-новому узнали и полюбили Бернса. Русский читатель живее и острее воспринимает Вийона в переводах И.Эренбурга, чем француз, который читает те же стихи в подлиннике.

Современный поэт-переводчик имеет неоспоримые преимущества перед автором, жившим двести-триста лет назад. Он говорит на современном языке, он более оснащен «технически», за его спиной — опыт нескольких поколений поэтов, отточенная и усовершенствованная за столетия техника стиха».

Немцы давно и оправданно гордятся своими переводами Шекспира. Так, Алоис Брандль отмечал:

«Наш классический перевод (Шекспира. — *М.Ф.*) Шлегеля — Тик настолько ясен и понятен, что когда мне пришлось готовить текст для популярного издания, то порой в целой драме мне не встречалось ни одного места, которое бы нуждалось в пояснении — так превосходно язык времен Тюдоров был переложен на совершенно современный и нисколько не тяжеловесный немецкий».

Хорст Френц из Индианского университета добавляет:

«И поэтому немецкому читателю и зрителю легче приблизиться к пониманию Шекспира, нежели (по словам Брандля) «лондонцу, вынужденному читать его в подлиннике».

В том же ключе рассуждает и Дадли Фитте:

«Общеизвестен парадоксальный факт: существуют переводы стихов, которые не только не хуже оригинала, но даже в некоторых случаях лучше. За примером далеко ходить не надо — вот, скажем, По. По не бог весть какой поэт, но он очень почитаем теми, кто познакомился с ним на других языках».

И это действительно так. В России давно любят и чтут и По, и другого американца, Джека Лондона, который тоже, как считают у него на родине, «не бог весть какой писатель».

Известный советский специалист в области литературного перевода Юрий Левин разъясняет:

«Восприятие литературного произведения за рубежом, как мы знаем, обычно отличается от восприятия на его родине. И было бы ошибкой квалифицировать такое зарубежное восприятие как неправильное: оно вполне закономерно. Более того, это зарубежное восприятие, осуществляемое с определенной дистанции, позволяет иной раз разглядеть то, что не замечается вблизи. («Большое видится на расстоянии», — сказал поэт.) Мне уже приходилось раньше цитировать Синклера Льюиса, который, прочтя английский перевод «Отцов и детей» Тургенева, увидел в Базарове «прототип всех радикалов и новаторов всех времен».

Для нас же широкий общечеловеческий смысл этого образа во многом заслонен конкретным историческим его истолкованием в связи с общественной борьбой в России 1860-х годов. Не случайно Гумилев как-то заметил: «Для того чтобы вполне понять какого-либо поэта, надо его прочесть переведенным на все языки».

Лев Гинзбург — как мы увидим, необоснованно — сетовал на то, что западные читатели до сих пор не имеют доступа к Пушкину, Лермонтову и Блоку и любовь русских к западной литературе остается без взаимности (и это исследователь считает крайней несправедливостью). Подобная точка зрения была характерна для сверхполитизированной советской литературной полемики. Следует помнить и о том, что похожие, но гораздо более справедливые сожаления высказывались более ста лет назад Федором Михайловичем Достоевским в его «Дневнике писателя». Иностранцы, писал Достоевский в 1873 году, никогда не поймут Гоголя, Пушкина или Тургенева: «Так что всем нашим крупным талантам, мне кажется, суждено надолго, может быть, остаться для Европы совсем неизвестными; и даже так, что чем крупнее

[1] *Г.Ленков.* Приближаясь к Пушкину. «ИЛ», 1977, № 12, с. 228.

и своеобразнее талант, тем он будет и неузнаваемее». (Разумеется, Достоевский был не прав, но это уже предмет другого разговора.) Он развивал свою мысль так:

«Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше соотечественников. А, однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс! Что же из этого заключить? Есть ли такое понимание чужих национальностей особый дар русских перед европейцами? Дар особенный, может быть, и есть, и если есть этот дар (равно как и дар говорить на чужих языках, действительно сильнейший, чем у европейцев), то дар этот чрезвычайно значителен и сулит много в будущем, на многое русских предназначает — хотя и не знаю: вполне ли это хороший дар или есть что-нибудь и дурное...»

Достоевский опасался — и вполне обоснованно — того же, чего и многие российские и советские политики и мыслители последующих десятилетий. Подобные волнения были, по-видимому, свойственны культурной жизни России, начиная с реформ Петра Великого первой четверти XVIII века. Дилемма такова: как модернизировать страну (в частности, ее культуру), не разрушив при этом ее исконных ценностей и верований? Выполняя функцию импорта культуры, переводы неизбежно переносят чужеземные идеи, а идеи эти зачастую неугодны духовным и политическим вождям. Неудивительно поэтому, что и в царской России, и тем более в Советском Союзе переводная литература подвергалась цензуре. До совсем недавнего времени цензоры не допускали к печати даже такой, казалось бы, аполитичный роман, как «Улисс», книги Пруста и Кафки, не говоря уж о Камю, Хаксли и Оруэлле.

<...>Давно известно, что литературные переводы в каком-то смысле меняют весь облик национальной культуры. Цицерон понял это еще две тысячи с лишним лет назад. Бесчисленные читатели черпают из переводов (а теперь еще из привозных фильмов) большую часть сведений (порой ложных) о жизни в иных странах.

Переводы приводят в движение важные процессы в жизни народов. Поэтому Ф.О. Матиссен, может, лишь слегка преувеличивает, заявляя:

«Путем изучения переводов елизаветинской эпохи можно понять, каким образом в Англию пришло Возрождение. Нация осознала свою культурную отсталость от Континента и внезапно зажглась желанием превзойти соперников не только во флоте и в золотом запасе, но и в литературе. Труд переводчика стал патриотическим делом. Теперь мог и он, подобно купцам и мореплавателям, принести пользу своей стране, ибо верил, что иностранные книги преумножают национальное богатство не меньше, чем морские открытия, и со всем воодушевлением первопроходца завоевывал эти книги для соотечественников. Если сравнить эти переводы с подлинниками, становится понятно многое о строе мыслей людей, живших во времена Елизаветы».

Как уже отмечалось, читатели обычно не делают больших различий между переводными и оригинальными произведениями. В этом смысле они солидарны с Лессингом, который еще в XVIII веке настаивал на равенстве между автором и переводчиком; в России сторонником этой позиции был современник Лессинга Василий Тредиаковский. Лессинг подчеркивал ответственность переводчика за формирование канона мировой литературы и предупреждал о том, какой урон в этой области может нанести плохой перевод. Так, Хорст Френц утверждает, что неудачный перевод Рабле, принадлежащий сэру Томасу Эркарту, будучи выполненным в «тяжелом стиле XVII века, скрыл от читателей истинного Рабле». Френц также полагает, что именно перевод сэра Томаса повинен в том, что в англоязычном мире Рабле превратился из широко читаемого автора в предмет узкого культа. А классический образец очень хорошего перевода — это перевод Шекспира на немецкий, сделанный Шлегелем и Тик.

«С 1797 по 1810 год Август Вильгельм Шлегель опубликовал переводы семнадцати пьес Шекспира, а остальные были переведены графом фон Бандиссин и Доротеей Тик под руководством и в сотрудничестве с ее отцом, Людвигом Тиком. Основной принцип этого перевода — точность. Понимая, как важно сочетание стихов и прозы в шекспировском тексте, Шлегель сохранил его; он передал различия между риторической и разговорной прозой и во многих других случаях следовал за особенностями оригинала. *Этот перевод сделал Шекспира классическим немецким драматургом, которого играли, читали, цитировали не меньше, чем собственно немецких классиков*».

И этот немецкий Шекспир отнюдь не единственный пример удачного перевода. Во многих странах Европы

«... романы, скажем, Купера, Скотта, Диккенса были гораздо популярнее, чем современные им отечественные произведения. Так, романы Бальзака и Золя стали символами «современного» Запада и породили небывалый расцвет «космополитической» литературы в других странах. Слава Ибсена по всей Европе заставила замолчать его противников на родине; *а другие писатели-скандинавы — Стриндберг, Якобсен, Лагерлёф, Ундсет, Гамсун — чему еще они обязаны своей мировой популярностью, как не переводам?* Особенно показательна в этом смысле судьба классиков русской литературы. Задолго до того, как русский язык стали изучать в Европе, Тургенев, Толстой и Достоевский приобрели даже в странах с богатой литературной традицией гораздо большее значение, чем национальные писатели»[1].

Я не согласен с профессором Френцем в том, что всемирная популярность ряда скандинавских писателей возникла исключительно благодаря переводам. Успех этих произведений можно, в частности, объяснить тем, что они подняли вопросы (социальные, этические и др.), не затронутые до того в литературных трудах стран, — например, вопрос о положении женщины в начале века, к чему Ибсен относился сочувственно, а Стриндберг — наоборот. В пользу нашего предположения говорит тот факт, что большинство произведений Золя выходило в России через какие-нибудь месяцы после публикации во Франции, а один роман, «Жерминаль», появился в русском переводе даже *до* выхода оригинала. Как бы то ни было, после выхода в свет перевод начинает жить собственной жизнью. Некоторые переводы становятся классикой на своей приемной родине, как, к примеру, Библия короля Якова: даже сейчас нет-нет да и встретишь американца, который серьезно считает, что Библия была *изначально* написана на английском. А Джеймса Фенимора Купера, Джека Лондона и Майн Рида продолжают запоем читать в России и Восточной Европе, чего не скажешь об их родине. Другой пример — Этель Войнич, в 1879 году опубликовавшая «Овода». Преданная полному забвению в родной Англии, она чрезвычайно прославилась в России. История благородной борьбы против негодяев клириков в Италии XIX века приводила в восторг многие поколения подростков и до, и после революции. Помню, как-то в конце 50-х годов группа советских туристов в Нью-Йорке настойчиво добивалась встречи с Этель Войнич, а ей тогда было уже за девяносто и она жила в Гринич-Виллидже в совершенной безвестности. Можно без труда найти десятки подобных примеров. Как писал Эзра Паунд еще семьдесят лет назад:

«Если не брать в расчет литературные взгляды современной Франции, то можно утверждать, что оценка произведений за рубежом иногда бывает более объективной. Англия, например, до сих пор не принимает (благоговейного) отношения Европы к Байрону. А истина, вероятно, где-то посередине. Да и Гейне, насколько мне известно, в Германии читают куда меньше, чем за ее пределами. С другой стороны, континентальная Европа, так и не понявшая идиотского преклонения англичан перед Мильтоном, ничего не сделала, чтобы исправить репутацию Ландора, столь же идиотски соотечественниками презираемого».

Зачастую переводные произведения восполняют пробелы в национальной литературе. <...> Переводы знакомят читателей и с новыми жанрами. Так, в первой половине XIX века французы узнали такие литературные новинки, как рассказы о сверхъестественном, готические романы, «женские романы» и, уже к 1820 году, народные книги. Примерно тогда же переводы подготовили во Франции почву для окончательной победы романтизма.

«Дешан, переводя «Макбета», а де Виньи — «Отелло», ввели «новый» стихотворный размер — нетрадиционный александрийский стих, впоследствии излюбленный размер романтиков, в частности Виктора Гюго. Вообще тогда в переводах зарубежной литературы Шиллера, Шекспира, испанских драматургов отчетливо просматривался полный набор новаторских романтических черт. Облаченный в александрийский стих, даже Шекспир становился автором-новатором, причем новатором в большей степени, чем Казимир Делавинь или Гюго. Собственно говоря, самый смелый репертуар поставляли на французскую

---

[1] *P. Newton Stallknecht and Horst Frenz (eds)*. Comparative Literature: Method and Perspective. Southern Illinois University Press, 1961, p. 80.

сцену переводчики зарубежной драмы... *Драма играла определенную роль в борьбе за романтизм, и роль переводных пьес в этой борьбе нельзя недооценивать: именно им романтизм в огромной мере обязан своей победой»*[1].

Переводные произведения и дальше продолжали оказывать влияние на развитие французской литературы.

«Возможно, вершиной французской литературы XIX века явилось творчество Флобера, Золя и других писателей реалистического направления. *И этот расцвет обязан переводной прозе в гораздо большей степени, чем можно предположить, хотя чаще всего переводчики совершали свой труд в безвестности»*[2].

Получается, что основная заслуга в победе романтизма во Франции принадлежит переводчикам Шекспира. В связи с этим особенно интересно предположение о том, что в свое время французские переводчики также питали воображение Шекспира. В 1559 году оксерский епископ Жак Амио перевел «Сравнительные жизнеописания знаменитых греков и римлян» Плутарха. И хотя перевод, как уже говорилось, кишмя кишел ошибками, его приняли восторженно, а Амио стали называть «королем переводчиков». Этот перевод в 1579 году был в свою очередь переведен на английский сэром Томасом Нортом и «оказал заметное влияние на создателя «Кориолана», «Юлия Цезаря» и «Антония и Клеопатры»[3].

Роль переводной литературы в формировании немецкой литературы оказалась, пожалуй, еще значительнее. Она не только помогла расправить крылья немецкой поэзии; как пишет Ральф-Райнер Вутенов, история перевода в Германии одновременно является и историей развития жанров и художественных приемов в немецкой литературе. Что же касается неевропейской литературной традиции, то совершенно очевидно, что здесь переводная литература оказывала решающее влияние. По мнению американского переводчика с японского Гарольда П.Райта, «весь мир современной японской поэзии возник благодаря переводам западной».

Иржи Левый подметил двоякое значение переводной литературы, если рассматривать его в широком плане и в историческом перспективе. Стимулируя, с одной стороны, большее разнообразие формы и содержания в отдельно взятых национальных литературах, переводы в то же время способствуют стиранию индивидуальности каждой из них, создавая тем самым литературную Gleichschaltung[1]:

«С позиции каждой отдельной национальной литературы переводы представляют собой фактор, ведущий к большему разнообразию, как бы сообщающий отечественным имманентным стилям и образу мышления импульсы, исходящие от Хемингуэя, Фолкнера и Ионеско, и тем способствующий внутренней дифференциации национальной литературы. Однако, с другой стороны, переводы помогают распространять некоторое число доминирующих прозаических, поэтических или драматических стилей по всему миру и, таким образом, с позиции *мировой литературы* действуют как объединяющий, *заражающий* фактор».

<...>Есть великие произведения, а есть исторически важные. «Моби Дик» и «Анна Каренина» — великие книги, но исторически важные — это «Хижина дяди Тома» и топорный дидактический трактат Н.Г.Чернышевского «Что делать?». Несмотря на то что подавляющее большинство мастерских в художественном отношении переводов было создано в XIX — XX веках, я бы назвал самым *важным* периодом русского перевода XVIII век. В.М.Жирмунский верно отметил, что «переводы, как и другие виды литературного импорта, играют особенно важную роль в преодолении культурного отставания». А в то время ради выживания и последующего процветания России требовалось в короткие сроки преодолеть отсталость страны — как в культурной, так и в других областях, — порожденную многовековой изоляцией от Европы. В этом и состояла суть петровских реформ. Поэтому, как объясняет переводчик Владимир Россельс,

«В России XVIII века переводов было больше, чем оригинальных произведений, и все (!) крупнейшие литераторы переводили стихи, прозу и драматические сочинения. Большинство переводов того времени были переделками, или, как тогда выражались, «склонением на наши нравы». Но при этом — а в известной мере и благодаря этому — появлялись на русской почве новые и новые жанры, от-

---

1. *Theo Hermans* (ed.) The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation. London and Sydney, 1985, p.159.
2. Там же, с.153—154.
3. Там же, с.162.

---

[1] Нивелировку (*нем.*).

тачивался язык, разрабатывались художественные приемы... Так сложилось, что к началу XIX века переводная литература в России была неотъемлемой частью, органическим элементом оригинальной».

<...> По выражению Жирмунского, «импортированное литературное наследие» имело огромное влияние на литературные и идеологические споры, происходившие тогда в России. В качестве примера он приводит «Клариссу» Сэмюэла Ричардсона, «Новую Элоизу» Руссо, «Вертера» Гёте и в особенности Байрона. Так, в 90-х годах XVIII века появилось много подражаний «Вертеру». Но, вероятно, прав был скорее Брюсов, который в 1924 году в предисловии к своему переводу Полного собрания сочинений Э.По особо подчеркнул, что «подлинное влияние на литературу оказывают иностранные писатели только в переводах». Так что не сам «Гамлет», а именно переводы дали начало русскому гамлетизму и породили тургеневского «Гамлета Щигровского уезда» и позабытую теперь повесть писателя-народника Якова Абрамова «Гамлеты — пара за грош». Как писали в 1930 году Корней Чуковский и Андрей Федоров, переводные произведения обогащают литературу «новыми элементами, которые потом становятся привычны». Причем иногда их внедряют намеренно. Например, нет никаких сомнений в том, что переводы Жуковского из Шиллера помогли укрепиться жанру русской баллады. А перевод «Ифигении», созданный в 1812 году А.Х.Востоковым, представляет интерес как первый опыт освоения русской поэзией драматического белого стиха, пятистопного ямба, которым позже будут написаны «Борис Годунов» и «маленькие трагедии» Пушкина[1]. Переводы символистов обогатили русское стихосложение неизвестными доселе размерами. Переводы Блока из Гейне ввели дольник — акцентный стих, ранее встречавшийся преимущественно в народной поэзии. А переводы Чуковского из Уолта Уитмена считаются предтечей русского футуризма. Лев Гинзбург подводит итог:

«В XVIII — XIX веках благодаря переводу русская поэзия освоила гекзаметр, александрийский стих, книттельфер (размер немецкой поэзии XV — XVI веков), гейневский дольник, освоила сонет, рондо, терцины... В советские годы большие мастера ввели в русскую поэзию такие формы восточной поэзии, как рубаи и газель».

Известный пушкинист В.В.Виноградов пишет, что Пушкин пополнял свой запас стилистических средств путем тщательного изучения помимо русского фольклора и творчества ранних русских поэтов еще и текстов Библии, Корана, стилей Байрона, Шенье, Горация, Овидия, Вордсворта, Шекспира, Мюссе, Беранже, Данте, Петрарки, Хафиза и многих других поэтов. Правда, Виноградов не уточняет, кого из них Пушкин читал в переводе, а кого — в оригинале (во всяком случае, он не знал древнееврейского, арабского и персидского). А вот как Б.В.Томашевский оценивает переводы самого Пушкина с французского:

«Их цель — не передача в точности оригинала, а обогащение русской поэзии формами, существовавшими на чужом языке».

Ю.Д.Левин добавляет, что «это заключение можно распространить *на все пушкинские переводы и переделки*». Следует отметить, что Пушкин использовал эти заимствованные формы в своих произведениях «из иностранной жизни» — в «Сцене из Фауста», в «Египетских ночах», в «Марии Шонинг», в «маленьких трагедиях» (например, в «Моцарте и Сальери», в «Каменном госте»), в стихотворении «Странник», написанном под влиянием «Пути паломника» Джона Беньяна. А один раз Пушкин даже мистифицировал читателя, представив «Скупого рыцаря» как перевод трагикомедии некоего Ченстона, которого на самом деле не существовало!

Переводы не только вдохновляли многие произведения великого русского поэта, но и существенно обогатили русский музыкальный репертуар. По крайней мере, пять выдающихся композиторов — Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский, Ц.А.Кюи, М.А.Балакирев и А.К.Лядов — писали музыку именно на переводы (М.Л.Михайлова) стихов Гейне. Наконец, изучение художественного перевода породило два новых раздела литературоведения — сравнительную стилистику и сравнительную поэтику.

Выводы. В восемнадцатом веке в России перевод «прорубил окно» в западноевропейскую литературу, предопределив, таким образом, западную ориентацию только-только нарождающейся светской литерату-

---

[1] *В.М.Жирмунский.* Гёте в русской литературе, с.97-98.

ры. В XIX веке резкая активизация переводческой деятельности стала неотделима от стремительного роста русской литературы как в количественном, так и в художественном отношении. Развернувшаяся позже борьба с неграмотностью открыла доступ к отечественной и переводной литературе и для низших классов общества, даже для крестьян. После ноябрьского коммунистического переворота в 1917 году, провозгласив «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и распевая «Интернационал», большевики поначалу доброжелательно относились к художественному переводу. Считалось, что он несет в массы культурное наследие всех народов и к тому же способствует объединению с рабочими и крестьянами других стран.

<...>Когда в конце 20-х годов к власти пришел Сталин, ситуация изменилась кардинальным образом. Идею мировой революции, лелеемую Троцким, вытеснил сталинский лозунг о построении социализма в одной отдельно взятой стране, и изоляционистские настроения приобрели небывалый размах. Поэтому уже в начале 30-х годов резко сокращается и объем, и ассортимент переводимой литературы. Положение немного выправилось во время второй мировой войны, но в послевоенные годы спад возобновился. Последние годы правления Сталина были отмечены патологической ксенофобией и «охотой на ведьм» — на тех, кто якобы обливал грязью советские достижения и преклонялся перед Западом. Понятно, что подобная политика сказалась губительно и на художественном переводе, и на культурных связях вообще. Въезд и выезд из Советского Союза стал почти невозможен. Переписка с друзьями или родственниками за границей немедленно вызывала подозрения. Было практически обязательно ругать все западное. Такая обстановка заставила одного американского советолога в 1950 году на страницах журнала «Форин афферс» задать вопрос: а не стремится ли Россия вообще изолировать себя от цивилизованного мира?

Но этого не произошло, хотя могло бы, не умри в 1953 году Сталин. Теперь, по прошествии многих лет, ясно, что русская литература XIX века и переводные произведения были тогда чуть ли не единственным оплотом несталинских ценностей. Пушкин, Чехов, Бальзак, Флобер, Марк Твен, О.Генри, Достоевский, Тургенев, Толстой, Гёте, Шиллер, Томас Манн — они помогали простым советским гражданам выдержать пропагандистские атаки соцреализма. Русские и зарубежные произведения несоветских авторов опровергали тоталитарную мораль, пронизывающую произведения советских писателей, в чьих романах, стихотворениях, пьесах личные взгляды были *непременно* (причем, в отличие от произведений классицистов, с рабской готовностью!) подчинены официальной идеологии. А с ее позиции можно было оправдать любой жестокий или безнравственный поступок. Требовалось также безоговорочно и с восторгом повиноваться распоряжениям вождей. Переводная литература и русская классика XIX века когда исподволь, а когда и в открытую подрывали такие порядки.

Русская классическая литература и переводы произведений западноевропейских и американских писателей помогли советским гражданам сохранить, пусть и втайне, те человеческие ценности, что объединяют нас всех в иудейско-христианской традиции. Поэтому самым важным периодом русского художественного перевода после XVIII века следует считать сталинскую эпоху.

Перевод с английского А. ОСОКИНА, А. ФИНОГЕНОВОЙ, Ю. ВЕЛЕМБОВСКОЙ

■

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ (FRIEDRICH DÜRRENMATT; 1921—1990) — швейцарский писатель, драматург; лауреат международных и национальных литературных премий. Автор романов, повестей, пьес, рассказов, эссе. «Иностранная литература» публиковала его произведения разных жанров: повести «Авария. Одна из еще возможных историй» (1961, № 7), «Обещание» (1966, № 5); «Зимняя война в Тибете» (Библиотека «ИЛ», 1990); пьесы «Визит старой дамы» (1958, № 3), «Метеор» (1967, № 2), «Играем Стриндберга» (1973, № 4); роман «Правосудие» (1988, № 6), новеллу «Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями» (1990, № 1). На русском языке изданы также сборник «Комедии», пьеса «Грек ищет гречанку», роман «Судья и его палач», приключенческие повести «Операция «Вега», «Подозрение» и др.
Фрагмент детективного романа «Пенсионер» был опубликован в Швейцарии в 1995 году («Der Pensionierte». Zürich, Diogenes Verlag).

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ (ВАЛЕРИ ПЕТРОВ; род. в 1920 г.) — болгарский поэт, прозаик, драматург, переводчик, Народный деятель культуры, лауреат Димитровской премии. Автор поэтических сборников, среди которых «Стихотворения» (1949), «Дождь идет — солнце светит» («Дъжд вали — слънце грее», 1967), «Если оглянуться назад» («Ако погледнеш назад», 1969), «Поэзия» («Поезия», 1973), поэмы «Погожей осенью» («В меката есен», 1960), пьесы «Когда танцуют розы» («Когато розите танцуват»), которая с успехом шла в болгарских театрах и московском театре Советской Армии, а также других пьес и книг для детей. По сценариям В.Петрова сняты фильмы «На маленьком острове», «Первый удар», «Солнце и тень». В его переводе издано собрание сочинений Шекспира.
На русском языке издана книга «Поэмы» (1965), стихи его печатались в антологиях и периодике, в том числе в «ИЛ» (1964, № 9; 1977, № 6).
Публикуемые стихи взяты из двухтомника «Избранные произведения» («Избрани произведения». София, «Български писател», 1990).

УИЛЬЯМ КЕННЕДИ (WILLIAM KENNEDY; род в 1928 г.) — американский писатель. Автор романов «Чернильный хлам» («Ink Truck», 1969), «Ноги» («Legs», 1975), «Самая крупная игра Билли Фелана» («Billy Phelan's Greatest Game», 1978), «Книга Куинна» («Quinn's Book», 1988), «Очень древние кости» («Very Old Bones», 1992), книги эссе «О, Олбани!» («О, Albany!», 1983), сценария фильма «Коттон-клуб» («Cotton Club», 1984). Роман «Железный бурьян» был издан в США в 1983 году («Iron Weed». New York, Viking Penguin Inc.; Пулицеровская премия, 1983).

АДОЛЬФО БЬОЙ КАСАРЕС (ADOLFO BIOY CASARES; род. в 1914 г.) — аргентинский писатель, лауреат нескольких национальных премий, международной премии «Монделло» (1984), присуждаемой за лучшую иностранную книгу. Автор романов «Изобретение Мореля» («La invención de Morel», 1940), «План бегства» («Plan de evasión», 1945), «Сон героев» («El sueño de los heroes», 1954), «Спать на солнцепеке» («Dormir al sol», 1973), сборника рассказов «Фантастические истории» («Historias fantásticas», 1972), книги «Шесть проблем дона Исидро Пароди» («Seis problemas para don Isidro Parodi», 1942, написанной им в соавторстве с Хорхе Луисом Борхесом) и др. произведений. В русском переводе вышла книга рассказов «Теневая сторона» (Библиотека «ИЛ», 1987).
Роман «Дневник войны со свиньями» был издан в Аргентине в 1969 г. («Diario de la guerra del cerdo». Buenos Aires).

КУЗНЕЦОВА ИРИНА ИСАЕВНА — переводчик с французского. В ее переводах публиковались стихи Г.Аполлинера, А. Рембо, Ш.Кро, А.Боске, романы А. де Виньи «Стелло, или Синие демоны», А.Ланжевена «Пыль над городом», С.Пру «Терраса Бернардини», С.-Г. Колетт «Конец Ангела», пьесы А.Камю «Осадное положение» («ИЛ», 1990, № 10), Э.Ионеско «Бескорыстный убийца» (Библиотека «ИЛ», 1990), Жан-Клода Брисвиля «Ужин» («ИЛ», 1993, № 5), главы из романа «Первый человек» А.Камю («ИЛ», 1995, № 5) и др. Автор многих статей о современной французской литературе.

ЗИНОВИЙ ЗИНИК (род. в 1945 г. в Москве) — писатель; эмигрировал из Советского Союза в 1975 г. Живет в Лондоне. Редактор и ведущий радиообозрения «Уэст-Энд» Русской службы Би-би-си, сотрудничает с лондонским еженедельником «The Times Literary Supplement». Автор пяти романов, переведенных на ряд европейских языков. На русском языке переизданы «Руссофобка и фунгофил» (изд. «Русслит»), «Лорд и егерь» (изд. «Слово»), «Русская служба и другие истории» (изд. «Слово»).
Публикуемое эссе «Возвращение в Дублин» получено редакцией в рукописи.

ЭМИЛЬ МИШЕЛЬ ЧОРАН (EMIL MICHEL CIORAN, 1911—1995) — французский мыслитель-эссеист, родился в Трансильвании, с 1937 г. жил во Франции. Его

первые книги философской эссеистики написаны по-румынски: «На краю отчаяния» («Pe culmile desperarii», 1934), «Слезы и святые» («Lacrimi si sfinsti», 1937). С 1946 г. писал по-французски. Автор сборников эссе и афоризмов «Трактат о распаде» («Precis de decomposition», 1949), «Соблазн существования» («La tentation d'exister», 1956), «Злой творец» («Le mauvais demiurge», 1969), «Попытки восхищения» («Exercises d'admiration», 1986) и др.
Эссе «Механизм утопии» взято из книги «История и утопия» («Histoire et utopie». Paris, Gallimard, 1960).

СЬЮЗЕН СОНТАГ (SUSAN SONTAG; род. в 1933 г.) — американская писательница, литературный критик, культуролог, теоретик контркультуры. Автор романов «Благодетель» («The Benefactor», 1963), «Набор смерти» («Death Kit», 1967), сборника рассказов «Я и т.д.» («I, et cetera», 1978), сценария фильма «Дуэт для каннибалов» («Duet for Cannibals», 1970), книг эссе о современной культуре и художественном авангарде Европы и США «Против интерпретации» («Against Interpretation», 1964; рус. пер. «ИЛ», 1992, № 1), «О фотографии» («On Photography», 1977), «Болезнь как метафора» («Illness as Metaphor», 1978), «Под знаком Сатурна» («Under the Sign of Saturn», 1980) и др.
Статья о Чоране взята из книги С.Сонтаг «Стили безоглядной воли» («Styles of Radical Will». New York, Farrar, Straus and Giroux, 1969).

МОРИС ФРИДБЕРГ (MAURICE FRIEDBERG; род. в 1929 г. в Польше) — американский литературовед, профессор словесности в университете штата Иллинойс, преподает русскую литературу. Автор книг «Русские классики в советских обложках» («Russian Classics in Soviet Jackets»), «Десятилетие эйфории: западная литература в послесталинской России (1954—64)» («A Decade of Euphoria: Western Literature in Post-Stalin Russia (1954—64)», «Русская культура в 1980-е годы» («Russian Culture in the 1980») и др.

■Переводчики:

ФРИДЛЯНД СОФЬЯ ЛЬВОВНА — переводчик с немецкого и скандинавских языков. В ее переводе публиковались романы «Дом без хозяина» Г.Бёлля, «Погонщик волов», «Оле Бинкоп» («ИЛ», 1965, № 7—10 совместно с Н.Ман), «Лавка» Э.Штриттматтера; «Мы не пыль на ветру» и повесть «Солдат и женщина» М.В. Шульца («ИЛ», 1979, № 10), «Правосудие» Ф.Дюрренматта («ИЛ», 1988, № 6), «Жестяной барабан» (книга первая) Г.Грасса («ИЛ», 1995, № 11), новеллы С.Цвейга, К.Гамсуна, А.Стриндберга, рассказы Й.Рединга («ИЛ», 1982, № 2).

ОЗЕРОВ ЛЕВ АДОЛЬФОВИЧ (1914—1996) — поэт и переводчик, историк и теоретик литературы, профессор Литературного института имени А.М.Горького. Автор многих сборников стихов, в том числе «Светотень» (1961), «Дороги новый поворот» (1965), «Неземное тяготение» (1969), «Вечерняя почта» (1974), «Далекая слышимость» (1975), «За кадром» (1978), «Земная ось» (1986), «Гравюра на самшите» (1990), а также книг о поэзии «Работа поэта», «Мастерство и волшебство», «Необходимость прекрасного»; переводил Гёте, Гейне, Рильке, болгарских поэтов Яворова и Ботева, чешских, украинских и др. поэтов.

ГОЛЫШЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (род. в 1937 г.) — переводчик с английского. В его переводах издавались романы «Вся королевская рать» Р.П.Уоррена, «Свет в августе» У.Фолкнера, «Над кукушкиным гнездом» К.Кизи, «Теофил Норт» Т.Уайлдера («ИЛ», 1976, № 6—8), «Другие голоса, другие комнаты» Т.Капоте («ИЛ», 1993, № 12); повести «Большой налет» и «106 тысяч за голову» Д.Хэммета («ИЛ», 1988, № 7), «Когда я умирала» У.Фолкнера («ИЛ», 1990, № 8), роман «Макулатура» («ИЛ», 1996, № 1) и рассказы Ч.Буковски («ИЛ», 1995, № 8) и др. Лауреат премий «ИЛ» (1990 и 1993).

ЛЫСЕНКО ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА — переводчик с испанского, польского и французского языков. В ее переводах издавались произведения испанских писателей «золотого века»: «Хромой бес» Л.Весела Гевары, повесть «Алеф» Х.Л.Борхеса, роман «62. Модель для сборки» Х.Кортасара; с польского — романы «Камо грядеши» Г.Сенкевича, «Красные щиты» и повесть «Мать Иоанна от Ангелов» Я.Ивашкевича; с французского — статьи Ж.Руссо, письма Г.Флобера. В «ИЛ» в ее переводе публиковались рассказ Т.Боровского «У нас в Аушвице» (1988, № 10), роман «Книга Мануэля» Х.Кортасара (1994, № 3), «Из книги вымышленных существ» Х.Л.Борхеса (1995, № 6). Лауреат премии «ИЛ» (1988).

ДУБИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1946 г.) — литературовед, переводчик с испанского, английского и французского языков, автор статей по социологии культуры. В его переводах публиковались стихи французских и латиноамериканских поэтов, в том числе А.Мачадо, Х.Р.Хименеса, Ф.Гарсиа Лорки, Г.Аполлинера и др.; в «ИЛ» напечатаны переводы стихов Х.Л.Борхеса (1984, № 3 и 1990, № 12), М.Д.Мартинеса (1987, № 4), «Антиэлегии середины века» (1995, № 1). Дубин — автор рубрики «Портрет в зеркалах» (1995, № 1 и № 12). Лауреат премий «ИЛ» (1992) и «ИЛлюминатор» (1994).

■

Иностранная литература 1996

ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ РЕДАКЦИЯ НАМЕРЕНА ОПУБЛИКОВАТЬ

«ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЧАЕВА» - знаменитый роман испанца **Хорхе Семпруна**

«НА ЛЕСНОМ ОЗЕРЕ» - роман американца **Тима О'Брайена**, ярчайшее событие последней Франкфуртской книжной ярмарки

«ПОКА МЫ ЛИЦ НЕ ОБРЕЛИ» - роман-миф англичанина **Клайва С. Льюиса**

«ФРАНЦУЗСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» - роман пишущего по-французски русского писателя **Андрея Макина**, в 1995 году удостоенный впервые в истории сразу двух главных литературных премий Франции - Гонкуровской и премии Медичи

«КОНИ, КОНИ...» - роман **Кормака Маккарти**, написанный в лучших традициях великой американской прозы

«АРХИПЕЛАГ» - бестселлер **Мишеля Рио**, одного из самых заметных французских писателей новой генерации

«КЛУБ РАДОСТИ И УДАЧИ» - роман американки **Эми Тан**, принесший писательнице громкий успех

«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ» - эссеистическую книгу **Александра Гениса** о современном искусстве

«СЕКТЫ-УБИЙЦЫ» - документальное исследование американца **Джеймса Бойла**

Фрагментами будут представлены только что вышедшие книги:

«ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ МАВРА» - роман, написанный **Сальманом Рушди** в подполье и ставший литературной сенсацией

«ДОРОГА В МИР» - блестящий роман вест-индского писателя **В.С.Найпола**

Готовятся специальные номера:

АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-х
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ
ВОСТОК НА ЗАПАДЕ И ЗАПАД НА ВОСТОКЕ

Среди материалов, находящихся в портфеле редакции:

ИОСИФ БРОДСКИЙ. IN MEMORIAM

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ и ЛУ АНДРЕАС САЛОМЕ - большая публикация, приуроченная к 70-летию со дня смерти великого австрийца

Одноактные пьесы СЭМЮЭЛА БЕККЕТА

ПАУЛЬ ЦЕЛАН и БРУНО ШУЛЬЦ в рубрике БОРИСА ДУБИНА ***«Портрет в зеркалах»***

Новые главы книги ПЕТРА ВАЙЛЯ ***«Гений места»***: *Верона — Шекспир, Севилья — Мериме; Мехико — Ривера, Буэнос-Айрес — Борхес; Венеция — Карпаччо, Виченца — Палладио*

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи. Подписной индекс 70394.

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ОФОРМЛЕНА ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ, ЦЕНА НА ЖУРНАЛ НЕ ПОВЫШАЕТСЯ.

А если Вы имеете возможность получать номера в редакции, советуем подписаться прямо у нас - это надежнее и намного дешевле. Подписка в редакции будет производиться с 1 апреля до 1 июня ежедневно с 12 до 18 часов, кроме пятницы и выходных. *Адрес редакции: Пятницкая улица, дом 41 (метро «Новокузнецкая» или «Третьяковская»), телефон 233-51-47.*

ИНДЕКС 70394

Мир Знаний

эксклюзивный дистрибьютор продукции компании

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"

"Мир Знаний" - городу и миру

"Британская энциклопедия"

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗДАНИЕ САМОЙ АВТОРИТЕТНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ В МИРЕ

32 тома в роскошном кожаном переплете

- содержит самый большой объем информации среди всех энциклопедий мира;
- предоставляет самую свежую информацию и обновляется ежегодно;
- имеет международный характер и интересна читателю любой страны;
- написана простым и понятным английским языком;
- предназначена всем - от школьника до академика;
- используется во многих странах в качестве обучающего пособия;
- напечатана в США на высочайшем полиграфическом уровне.

- 65 000 статей, 24 000 иллюстраций, 2 173 библиографии, 6 000 авторов из 100 стран, среди которых *Айзек Азимов, Тур Хейердал, Карл Саган*;
- 1 268 новых и переработанных статей. Вот темы некоторых из них: *"Маркетинг", "Секс и сексуальность", "Россия", "Интернет", "Алкоголь", "ДНК", "Майкл Джордан", "Лев Яшин", "Борис Ельцин"*.

"**Британская энциклопедия**" состоит из 4 частей:

Первая часть - двухтомный **"Индекс"**, содержащий 500 000 перекрестных ссылок.

Вторая часть - "Микропедия" (12 т.). Ее 64 490 *кратких* статей за *минимальное* время дают *основную* информацию по любому вопросу.

Третья часть - "Макропедия" (17 т.). Содержит 673 статьи, представляющих собой *фундаментальные исследования* по различным областям знаний.

Четвертая часть - "Пропедия". Этот учебный том содержит подробные планы, позволяющие изучить при помощи "Британники" любую интересующую Вас тему.

"Британника" никогда не устаревает благодаря **"Ежегодникам"**, в которых приводятся новые статьи, последняя статистика обо всех странах мира, новости культуры, науки, экономики, политики.

АОЗТ "Мир Знаний"

Тел.: (095) 962 0735, 962 0779 факс: (095) 962 0197 - в Москве;
Тел.: (812) 352 3016, 352 3004; факс: (812) 352 3016 - в Санкт-Петербурге;
Тел.: (8462) 356 821, 358 608 - в Самаре.
Почтовый адрес: Россия, 107392, Москва, а/я 14. E-mail: mir@znanija.msk.su

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1996, №4, 1 — 256